

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

# ПРОЛОГ

Эк[redacted]

Людмиле

За хорошую учебу

Дирекция школы

25 июня 1963 г.

Министерство Путей Сообщения СССР * Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с производственным обучением № 86 станции Красноуфимск Горьковской железной дороги

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

# ПРОЛОГ

### РОМАН ИЗ НАЧАЛА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

Вступительная статья
и примечания
Г. М. Фридлендера

Оформление художника
И. Сталидзан



# «ПРОЛОГ» Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В. И. Ленин сказал, что от сочинений Чернышевского «веет духом классовой борьбы»[1]. Это определение Ленина замечательно точно характеризует не только научные и публицистические, но и художественные произведения великого русского революционного демократа. Наряду с романом «Что делать?» самым выдающимся среди них является «Пролог», написанный Чернышевским на каторге.

«Пролог» имеет подзаголовок «Роман из начала шестидесятых годов». Чернышевский воссоздал в нем картину общественной борьбы в России накануне крестьянской реформы 1861 года. Действие романа продолжается с весны до осени 1857 года. Это было время, когда царское правительство, ослабленное поражением в Крымской войне, было вынуждено из страха перед возраставшим с каждым годом крестьянским движением сделать первые официальные заявления о подготовке к отмене крепостного права. В связи с обсуждением крестьянского вопроса в русском обществе определились взгляды основных противостоявших друг другу общественных лагерей.

В борьбе вокруг выработки условий крестьянской реформы в 1857—1861 годах принимали участие две главных группировки господствующего класса — крепостники и либералы. Первые были открытыми противниками отмены крепостного права или — в лучшем случае — хотели «освободить» крестьян без земли, оставив всю землю в руках помещиков. В отличие от крепостников либералы на словах выступали сторонниками уничтожения крепостничества и освобождения народных масс. На деле либералы, как и крепостники, всецело защищали интересы господствующего класса. Они хотели сохранить самодержавие и помещичье землевладение, уступив крестьянам за

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 224.

выкуп ничтожную долю земли. «Либералы,— писал Ленин,— хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духу времени»[1].

Стоявший во главе революционно-демократического лагеря шестидесятых годов Чернышевский в период подготовки крестьянской реформы выступил непримиримым идейным противником не только крепостников, но и либералов. Чернышевский был убежден, что подлинное освобождение народа невозможно без свержения самодержавия и уничтожения помещичьего землевладения, составлявшего экономическую основу власти помещиков. Либеральной программе реформ, либеральной тактике соглашения с крепостниками и с царской монархией Чернышевский противопоставил свою революционную программу и тактику.

«Пролог» состоит из двух частей, первая из которых не случайно озаглавлена «Пролог пролога». Предреформенную борьбу Чернышевский рассматривал как «пролог» крестьянской реформы 1861 года, последнюю же в свою очередь он считал «прологом» к революционным переменам, предстоящим в России. Эта революционная позиция Чернышевского и отражена в романе. С большой глубиной в нем изображаются главные общественные силы, боровшиеся в шестидесятые годы,— еще крайне немногочисленные тогда, по выражению Ленина, революционеры, защищавшие интересы крепостного крестьянства, во главе которых стоял сам Чернышевский, и их противники, политические представители господствующих классов — крепостники и либералы.

Художественный вымысел сочетается в «Прологе» с исторически правдивым, почти документально точным изображением многих лиц и событий того времени. Чернышевский работал над «Прологом» с мыслью издать роман за границей. Поэтому в «Прологе» он мог меньше считаться с требованиями царской цензуры, чем в «Что делать?» (написанном для опубликования в «Современнике»).

Руководителем изображенных в романе революционеров является Волгин, образ которого Чернышевский наделил многими автобиографическими чертами. В уста Волгина в романе вложены высказывания, раскрывающие важнейшие стороны взглядов великого русского революционера.

Однако, несмотря на сознательно подчеркнутую в самом романе автобиографичность образа Волгина, его нельзя все же полностью отождествлять с Чернышевским 1857 года. Роман был написан почти через пятнадцать лет после изображенных в нем событий, и во

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 96.

взглядах Волгина нашли свое отражение как идеи Чернышевского конца пятидесятых годов, так и более позднего времени. Кроме того, одну из важных сторон своей деятельности Чернышевский не мог осветить на страницах романа. В разговорах Волгина с Левицким, в его беседах с Нивельзиным и Соколовским содержатся отдельные намеки на необходимость для Волгина соблюдать особую осторожность, тщательно обдумывать выбор своих знакомств, оберегать себя и других от грозящей им опасности. Знакомясь с Левицким, Волгин на вопрос: «Кто же... рекомендовал меня?», отвечает: «Ах, это после, когда побольше познакомимся». В другом месте, рассказав Нивельзину биографию Соколовского, Волгин затем объясняет жене: «Нивельзину я рассказывал только пустяки, которые, конечно, рассказывает о себе и сам Соколовский: то, что можно и должно говорить перед всеми. Но Зелинский полагался на меня и говорил больше». Однако подобные намеки намеренно не раскрыты автором. Лишь современный читатель, который располагает более обширными сведениями о деятельности Чернышевского-революционера, чем читатель того времени, когда писался роман, может проникнуть в смысл намеков Чернышевского, говорящих о причастности Волгина к практической революционной работе по собиранию и организации сил, способных возглавить борьбу народных масс против самодержавия.

Рисуя в лице Волгина и Левицкого руководителей освободительного движения шестидесятых годов, Чернышевский опровергает распространявшееся либералами представление о революционерах как о сухих, рассудочных «теоретиках», лишенных живого, непосредственного чувства. Оба главных героя «Пролога» — люди не только большого ума, но и большого сердца, люди, полные горячей любви к народу и преданности революционным идеалам, живущие сложной и разносторонней душевной жизнью.

Отличаясь замечательным самообладанием, трезвостью, ясным учетом исторической обстановки, Волгин прекрасно разбирается в людях, отчетливо сознает их достоинства и недостатки, необыкновенно быстро и точно проникает в смысл происходящих вокруг него событий. Огромное превосходство Волгина сразу чувствует каждый, кому приходится с ним близко соприкасаться,— не только друзья, но и враги.

Отношение Волгина к крестьянской реформе отражает отношение к ней самого Чернышевского. Подобно Чернышевскому, Волгин считает, что разница между реакционными и либерально-помещичьими проектами реформы «не колоссальная, а ничтожная»: и те и другие сводятся одинаково к обману и ограблению народа. Волгин многократно подчеркивает мысль о том, что либералы — такие же представители помещичьего класса, как и крепостники. «Если бы противниками консерваторов были только наши господа-либералы! — воскли-

цает он.— Все шло бы вперед и быстро и спокойно. Консерваторы не затруднялись бы производить улучшения; чего же затрудняться, когда нет в перспективе ничего опасного ни для чьей головы, ни для чьего кармана?» В результате подготовляемой либералами сделки между правительством и помещиками, думает Волгин, помещики «останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства».

Как разъясняет Волгин в разговоре с Левицким, основным вопросом, от которого зависело все дело освобождения крестьян, был земельный вопрос. «Сущность дела в том, что за право существовать и работать мужик обязан платить частному лицу — землевладельцу— подать,— натурою или деньгами — барщину или оброк». По сравнению с вопросом о земле вопрос о личном освобождении крестьянина,— разъясняет Волгин Левицкому,— является относительно второстепенным, так как «освобожденный» крестьянин неизбежно окажется рабом, если земля останется в руках помещика или если мужика заставят заплатить за нее выкуп, разоряющий его и отдающий его в кабалу тому же помещику. «Вот серьезная сторона дела. Перемены в ней не будет, потому что общество не думает об этом». Волгин глубоко убежден, что помещики не имеют права ни «на один вершок земли в русской стране» и ни «на грош вознаграждения» за землю, которая должна перейти к освобожденным крестьянам. «Вся земля мужицкая, выкупу никакого! — Убирайся, помещики, пока живы!» — так формулирует в романе программу Волгина и его товарищей, отражающую точку зрения крестьянства, один из их наиболее умных врагов, «усатый помещик».

Волгин относится поэтому с глубоким презрением к подготовляемым правительством реформам и всей шумной, но бесплодной деятельности либеральных «прогрессистов» конца пятидесятых годов. Неверие Волгина в реформу, его трезво скептическая позиция по отношению к либералам нередко в первый момент ставят в тупик благородных и искренних, но еще недостаточно политически опытных и закаленных борцов за демократию, какими изображены в романе Соколовский и «юношески нетерпеливый» Левицкий. В действительности отрицательное отношение Волгина к крестьянской реформе вытекает именно из горячей любви к народу и преданности его интересам.

Чернышевский не отвергал принципиально значения реформ: он оценивал каждую общественную реформу с точки зрения ее соответствия интересам народных масс. С этой подлинно революционной точки зрения Чернышевский подходил и к анализу крестьянской реформы. Когда были опубликованы рескрипты Александра II о подготовке крестьянской реформы, Чернышевский в 1858 году напечатал в «Современнике» ряд статей. Используя открывшуюся возможность легального обсуждения крестьянского вопроса, он стремился сплотить

демократические силы и в то же время побудить правительство разъяснить истинный характер своих планов. Когда в ходе обсуждения крестьянского вопроса самодержавие и либеральное дворянство открыто показали свою враждебность действительному улучшению положения народа, Чернышевский, считая свою цель достигнутой, с 1859 года перестал печатать в «Современнике» статьи о реформе, не отозвался даже на манифест 19 февраля 1861 года, выразив этим демонстративным молчанием свое отрицательное отношение к проводимой крепостниками реформе.

Такова же в годы подготовки крестьянской реформы и тактика Волгина, которую он разъясняет Соколовскому, обманутому либеральной шумихой и верящему, что в результате Крымской войны правительству действительно стала ясна необходимость «обновить все части государственного устройства»: «Я говорю вам, что равнодушен к реформам... Я и не пишу о них». «Я не желаю, чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом».

Свои надежды Волгин возлагает не на соглашение с правительством и не на реформы, осуществляемые «сверху», а на народную, крестьянскую революцию. Волгин великолепно понимает, что проповедуемая либералами политика компромисса не способна привести к сколько-нибудь серьезному улучшению положения народных масс, но что ее победа неизбежно затянет на десятилетия нищету и страдания народа. Вот почему в разговоре с Соколовским Волгин высказывает мысль, что для народа было бы даже лучше, если бы либералы потерпели поражение в своей борьбе с крепостниками и инициатива проведения реформы перешла в руки открыто реакционной помещичьей партии, так как это неизбежно ускорило бы нарастание народной революции и свержение самодержавно-крепостнического строя. «Если б крестьяне увидели себя освобожденными без земли, они... поголовно восстали бы против помещиков»,— писал об этом Чернышевский еще в 1858 году [1].

О взгляде Чернышевского на реформу, выраженном в словах Волгина: «Пусть дело об освобождении крестьян будет передано в руки людям помещичьей партии. Разница не велика... Если сказать правду, пусть будут освобождены без земли», Ленин писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер,— чтобы понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили обществен-

[1] Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, М. 1950, стр. 138.

ные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприацию крестьянства... Чернышевский понимал, что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести «мерзость», жалкий компромисс интересов либералов (выкуп — та же покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов» [1].

Надеясь на революционную энергию народных масс, Волгин понимает в то же время слабость стихийного крестьянского движения, лишенного политического сознания и руководства. «Мужицкий бунт не важная опасность для вас. Войско легко подавляет мужицкие бунты»,— заявляет Волгин в романе «усатому помещику».— «И до той поры, пока будет разгонять, вам нечего бояться».

Не стихийный «мужицкий бунт», но лишь революция, возглавляемая сознательными политическими борцами за дело народа, может, как понимает Волгин, привести к победе над самодержавием. Волгин придает большое значение подготовке и воспитанию таких борцов. В беседах с представителями небольшого кружка, который группируется вокруг него, Волгин не раз возвращается к анализу революции 1848 г. и других революционных движений прошлого, стремясь извлечь из них уроки для русских революционеров. Волгин разъясняет своим слушателям обреченность действий тех революционеров, которые не опираются на учет исторической обстановки, действуют в отрыве от массового движения, пренебрегают материальными интересами народа.

В мировоззрении Чернышевского революционный демократизм органически сливался с утопическим социализмом, с верой, что уничтожение помещичьего землевладения и завоевание власти народом откроет для России путь к социализму. Эта сторона учения Чернышевского также нашла свое отражение во взглядах Волгина. Чернышевский характеризует последнего как выразителя мнений «мужиков, не понимающих ничего, кроме полного мужицкого равенства, и приготовленных сделаться коммунистами, потому что живут в общинном устройстве» (на это место из «Пролога» опирался Ленин, говоря о «мужицком демократизме» Чернышевского и Добролюбова). Подобно Чернышевскому Волгин верит в будущее социалистическое переуст-

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 263, 264.

ройство общества и в то же время ясно видит, что для победы социализма понадобятся значительное время и напряженная борьба.

Волгин в романе не одинок. Его окружает группа людей, частью разделяющих его взгляды, частью еще колеблющихся, но постепенно, шаг за шагом, благодаря урокам общественной борьбы двигающихся вперед и приближающихся к его революционным позициям. Наиболее близким единомышленником Волгина является Левицкий, которого Чернышевский наделил многими чертами своего гениального друга Н. А. Добролюбова[1]. Образу мышления Волгина сочувствует его жена: «К чему приведет моего мужа его дорога, все равно: он видит и не пожалеет, что шел ею»,— восклицает она. Под влиянием Волгина от либеральных иллюзий начинают освобождаться талантливый молодой ученый Нивельзин, благородный и энергичный польский революционер Соколовский: хотя на страницах романа их жизненный путь не дорисован, но, как показывает Чернышевский, логика их духовного развития должна неизбежно привести обоих в лагерь Волгина — Левицкого. Роль Волгина в отрезвлении Соколовского от либеральных иллюзий отражает то могучее идейное влияние, которое имели русские революционные демократы на революционных деятелей Польши, участников польского восстания 1863 года[2]. Устами Соколовского Чернышевский высказывает свое глубокое убеждение в братстве русского и польского народов и в единстве их интересов в борьбе с самодержавием.

Волгин беспощаден, выражая свое отвращение к реформе, которую он называет «мерзостью», высказывая свое презрение к либералам и либеральному фразерству. С иронией относится он и к пылким, искренним, но оторванным от реальной почвы революционным стремлениям, не опирающимся на трезвый учет исторической обстановки. Благодаря своей обычной иронии Волгин легко может показаться на первый взгляд холодным и даже бесстрастным. Но с какой глубокой любовью этот суровый человек говорит о народе! Как внимателен он,— упрекающий себя поминутно в своей «неуклюжести»,— к каждому из людей, с которыми ему приходится сталкиваться. Не только трогательная любовь Волгина к жене и его отеческая забота о более молодом Левицком, но и его отношения к Нивельзину, Соколовскому, Савеловой показывают, какой огромной душевной чуткостью обладает этот насмешливый, постоянно занятый своей работой человек.

Левицкий, Соколовский, Нивельзин — в отличие от Волгина — переживают еще процесс формирования подлинно демократических убеждений, стоят на различных стадиях этого процесса, который самим

---

[1] Вопрос об исторических прототипах героев «Пролога» освещен в комментариях.

[2] См. об этом книгу Ю. Ковальского «Русская революционная демократия и январское восстание 1863 г. в Польше», М. 1953.

Волгиным уже давно завершен. В своих отношениях с ними Волгин выступает как воспитатель будущих — более молодых — революционных борцов, заботливый к ним и в то же время суровый и беспощадный ко всяческим иллюзиям и обольщениям, мешающим им трезво глядеть в глаза действительной жизни, видеть ее реальные трудности.

Значительное место в первой части романа отведено спорам Волгина с Соколовским. Соколовский, по характеристике Волгина, «замечательный человек», бесконечно отличающийся своим умом и энергией, своей решительностью и самоотверженной преданностью народным интересам от либеральных реформаторов и болтунов. Особенно высоко ценит Волгин в Соколовском те его качества — хладнокровие, самообладание, умение выбрать практические средства борьбы,— которые показывают, что он наделен подлинным «инстинктом политического деятеля», призван быть «агитаторской натурой». Но Соколовский еще находится в чаду либеральных иллюзий. Разработав проект демократической реформы армии, свидетельствующий не только о горячей любви к русскому солдату, но и о больших знаниях и ясности теоретической мысли, Соколовский мечтает убедить высшие сферы в практической целесообразности этой реформы. Соколовский уже не верит в благородные чувства правительства и помещиков, но еще пытается апеллировать к их разуму, мечтает выиграть борьбу с помощью тонко рассчитанных дипломатических средств. Подобную дипломатию он пытается применить и по отношению к помещикам, взволнованным слухами об отмене крепостного права: на обеде у Илатонцева он хочет запугать их и таким образом добиться от них уступок в пользу крестьян. Рисуя крах затеи Соколовского, Чернышевский показывает, что при помощи одних убеждений и ловкой дипломатии нельзя победить там, где в борьбу вступают жизненные интересы целых классов населения. Это отчетливо понимает Волгин, называющий попытку Соколовского добиться у помещиков уступок с помощью обмана «совершенно пустым» и «недобросовестным» делом, неминуемо обреченным на провал.

Одну из важных сторон общественных взглядов революционеров шестидесятых годов отражают высказывания Соколовского о русской армии. Соколовский заявляет, что все прошлые успехи русской армии были достигнуты не благодаря самодержавию, а вопреки ему, что самодержавие и крепостническая организация армии составляют главную помеху не только экономическому благосостоянию населения, но и политическому могуществу страны.

Волгину, Левицкому, Соколовскому, мысли и чувства которых отразили моральную чистоту и преданность народу, свойственные революционерам шестидесятых годов, Чернышевский противопоставляет в романе сатирически обрисованные фигуры крепостников и

либералов, разоблачая не только политический, но и моральный облик своих противников.

Бюрократ Савелов именует себя среди друзей демократом, ненавистником аристократии, а в более широких кругах слывет «двигателем освобождения крестьян». На деле — это холодный и расчетливый карьерист, видящий в других лишь орудие собственного возвышения. За безукоризненной внешностью, лоском «культурного человека» и изысканными манерами Савелов прячет бессердечие и моральное лакейство. Ради продвижения по ступеням служебной лестницы он готов пожертвовать человеческим достоинством жены, ее честью и добрым именем, толкает ее на путь морального падения. Основные принципы реформы для Савелова —охрана собственности и соблюдение выгод помещиков, беспощадное подавление всяких «беспорядков».

Савелов — тип либерала-«практика». Его друг, профессор-юрист Рязанцев,— представитель другого типа, либерала-«теоретика». Репутация энтузиаста, пламенно преданного «народному делу», которой он пользуется в обществе, не мешает Рязанцеву дорожить своим званием помещика. Желая угодить духу времени, он заискивает перед Герценом, но гораздо больше благоговеет перед «священными предначертаниями правительства» и мудростью высшей бюрократии.

Образы Савелова и Рязанцева, которые на обеде у Илатонцева спешат «успокоить» перепуганное дворянство и заверить его, что ему нечего бояться реформы, так как и правительство и сами либералы стоят на страже помещичьих интересов, подтверждают ту гневную характеристику либералов, которую дает Волгин, называющий их «хвастунами», «болтунами» и «дурачьем». Эти слова Волгина Ленин вспоминал, борясь с кадетами и октябристами — потомками обрисованных Чернышевским либералов шестидесятых годов.

Особое место среди сатирических образов романа занимает граф Чаплин. Изображенная с огромной силой революционной ненависти фигура Чаплина характеризует дикое, звероподобное лицо высшей сановной аристократии царской России. Чернышевский наделяет Чаплина омерзительной внешностью обрюзгшего, заплывшего жиром «мясника», привыкшего дышать запахом крови «с пользой своему здоровью». Этой внешности соответствует и внутренний мир Чаплина, способного испытывать лишь самые грубые, животные ощущения. Образ «мясника» Чаплина ярко раскрывает уродство «верхов» той помещичье-крепостнической среды, против которой борются Волгин и другие лучшие люди шестидесятых годов.

Вторая часть романа — «Дневник Левицкого» — дошла до нас в незаконченном и не обработанном Чернышевским для печати виде.

Подготавливая после смерти Добролюбова издание материалов для его биографии, Чернышевский тщательно изучил дневники

Добролюбова. В «Дневнике Левицкого» до некоторой степени воспроизведены идейная атмосфера и общий тон этих дневников.

Мужественный, энергичный юноша, наделенный огромными душевными силами, Левицкий еще только вступает в жизнь. Но образ его мыслей уже прочно определился. Как характеризует себя сам Левицкий на страницах «Дневника», он — «демократ, социалист, революционер», желающий «стереть с лица земли разницу сословий и состояний».

Левицкий горячо рвется к практическому революционному делу. Этим обусловлен его спор с Волгиным, отразившийся на многих страницах «Дневника». Спор этот имеет очень большое значение для понимания идейного смысла «Пролога». Как и в спорах Волгина с Соколовским, здесь подняты важнейшие вопросы революционной тактики в предреформенные годы.

Волгин стремится объяснить Левицкому всю сложность той исторической обстановки, в которой нужно было действовать революционерам шестидесятых годов. Внушая Левицкому ненависть и презрение к либералам, Волгин в то же время предостерегает его от необоснованных надежд на легкую и близкую победу демократических сил. Он разъясняет ему, что Россию ожидает впереди «серьезное время» революционной бури, которая «в последующий раз захватит Петербург и Москву». Но время это еще не пришло, поэтому основная задача революционеров — не растрачивать свои силы попусту, а копить их для будущей революции, чтобы быть наготове, когда народу понадобятся сознательные политические борцы.

Высоко оценивая ум и революционную энергию Левицкого, Волгин считает, что его главный долг — сохранить себя для будущего. Левицкий обладает необходимыми качествами для того, чтобы во время приближающейся народной революции стать одним из передовых борцов за дело народа. Он еще молод, и революция застанет его «в полном цвете сил». Следовательно, его задача заключается в том, чтобы сохранить свою жизнь и свои силы для участия в будущей революции. Между тем если он с молодых лет отдастся, подобно самому Волгину, журнальной и революционной работе, то скорее всего погибнет, так как будет мешать «концерту русских либералов», вызовет их ненависть и преследования правительства.

Неверие Волгина в возможность непосредственных открытых революционных действий в настоящем, пока народ к ним не подготовлен, требование беречь свою энергию для будущей революции, терпеливо выжидая ее и не увлекаясь либеральной или анархической фразой, производит в первый момент на Левицкого ошеломляющее впечатление. Порывистый и нетерпеливый, он готов упрекать Волгина

в холодности и равнодушии к судьбам народа. Позднее Левицкому становится понятен подлинный смысл советов Волгина. Волгин научил Левицкого видеть перед собой широкую перспективу общественного развития, готовить себя к большим революционным делам. Интересы сегодняшнего дня не должны скрывать от революционера общие цели движения. Однако Волгин не только оказал глубокое воздействие на Левицкого, воспитав из него подлинного революционера, но и сам под влиянием Левицкого многое по-новому понял в вопросах революционной тактики. Левицкий убежден: «никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно». Это его убеждение торжествует в романе. Чернышевский утверждает мысль о том, что надо не только ждать приближающейся революции и беречь для нее силы, но и практически подготавливать ее, несмотря на все опасности и трудности борьбы. Из деревни Левицкий по вызову Волгина возвращается в Петербург, чтобы стать товарищем и помощником Волгина в журнальной работе.

Левицкий-студент окружен группой передовой разночинской молодежи. Чернышевский показывает дружбу, основанную на общности идейных интересов, которая связывает Левицкого и его товарищей. Это — молодые люди, принципиальные не только в своих общих взглядах, но и в личной жизни, в быту, чуткие и требовательные друг к другу, готовые сурово карать ошибки и отступления от правильного пути. В наиболее одаренных и энергичных из них Левицкий видит будущих участников революционного движения. «Человек простого, прямого, близкого долга. И с тем вместе, человек, всегда готовый хладнокровно погибнуть за убеждения»,— говорит он о своем любимом друге Ликаонском.

Чернышевский с большой любовью рисует в «Дневнике Левицкого» процесс формирования личности молодого деятеля революционного движения. При этом он не скрывает ошибок, заблуждений, уклонений от прямого пути, которыми характеризуется развитие Левицкого. С благородной откровенностью и прямотой писатель освещает сложный путь исканий своего героя, рассказывая не только о его моральных победах, но и о его тяжелых просчетах и неудачах. Если в лице Волгина Левицкому сравнительно скоро удается найти более опытного старшего друга и руководителя, то его отношения с другими людьми складываются значительно более сложно. В большей части товарищей по институту ему приходится разочароваться после того, как они поверили распущенной о нем клевете. Но Левицкому не удается найти и равной себе по уму и развитию подруги. Женщины из дворянской среды, с которыми он встречается, отталкивают его своей фальшью и моральной испорченностью. Женщины же из демократиче-

ской разночинной среды — Анюта, Настенька — несут на себе печать социальной и духовной приниженности. Попытки Левицкого способствовать их развитию остаются безрезультатными. Отсюда — скорбные страницы «Дневника Левицкого», отражающие сложность исторической судьбы немногочисленных еще революционеров шестидесятых годов.

Образ представителя революционно-демократической молодежи, созданный Чернышевским во второй части «Пролога», произвел большое впечатление на первых слушателей романа — политических заключенных, товарищей Чернышевского по каторге, которым он читал «Пролог». «Из этого дневника,— писал один из слушателей романа,— на вас глядит натура страстная, с сильным умом,— натура, не понимающая разделения слова от дела, сурово строгая в исполнении того, что считает своим долгом, и вместе мягкая и отзывчивая к чужому горю» [1].

Уже в первой части романа значительное место отведено вопросам морали, семьи, брака, положения женщины. В лице Волгиной изображен тип женщины, близкий передовым идеалам шестидесятых годов. Она обладает большой непосредственностью, глубокими и сильными чувствами и в то же время живет богатой умственной жизнью. Привязанность к мужу и к сыну не заставляет Волгину замыкаться в кругу узко личных интересов. Она всегда готова оказать помощь другим, а ее свободному и широкому уму доступны и интересы искусства и общественные вопросы. Нежная и женственная, Волгина в нужную минуту становится мужественной и способной к энергичному отпору там, где она встречается с угнетением человеческой личности. Семейная жизнь Волгина, основанная на любви и взаимном доверии, противопоставлена в романе фальши и лицемерию дворянско-буржуазного брака, ярко показанным на примере взаимоотношений Савелова и его жены. В «Дневнике Левицкого» Чернышевский стремится обрисовать новое отношение к женщине, характерное для революционеров шестидесятых годов, их горячее желание помочь освобождению женщины от угнетения, способствовать ее развитию и нравственной самостоятельности.

Широко изображая быт дворянской среды — от аристократа, «вельможи» Илатонцева до провинциальных помещиков Дедюхиных,— Чернышевский с гневом и возмущением говорит об открытом и прикрытом разврате, царившем в многочисленных дворянских поместьях в эпоху крепостного права. Описывая судьбу Анюты, Настеньки, Мери, Чернышевский с позиций революционера критикует бесчеловечные общественные условия, которые коверкали жизнь женщины, обрекая ее на разврат и проституцию. В то же время Чернышевский показы-

---

[1] В. Н. Шаганов, Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке, СПБ. 1907, стр. 20.

вает, что такие женщины из народа, как Даша, Анюта и Мери, несмотря на то, что их сознание искалечено и развращено окружающей средой, все же несравненно менее испорчены и более нравственно здоровы, чем праздная и никчемная барыня Зинаида Никаноровна Дедюхина, ее муж или граф Чаплин.

Среди женских характеров второй части «Пролога» особенно важное место занимает Мери. Это обаятельная и умная девушка. Ее предками были несколько поколений крепостных слуг, безропотно покорных и преданных своим господам. Порывая с «наследственной» рабской моралью своего отца и дяди, Мери стремится проложить себе дорогу к счастью, к материальной и нравственной самостоятельности. Однако в своих поисках счастья Мери не находит правильного пути и становится любовницей, а затем (по воспоминаниям лиц, слышавших продолжение романа) женой своего барина. Сознание Мери сковано понятиями, навязанными ей общественной средой, в которой она выросла,— средой, где главными ценностями считаются богатство, роскошь, высокое положение в обществе. Познакомившись в деревне Илатонцевых с Левицким, Мери сознает правоту Левицкого, обаяние новых для нее взглядов юноши. Она видит, что избранный ею путь не принесет ей настоящего человеческого счастья, но изменить свою трагическую судьбу уже бессильна. В лице Мери Чернышевский рисует одну из тех умных и энергичных женщин из народа, которые боролись против старого общества его же собственными средствами, не умея проложить для себя дороги к новым, светлым идеалам революционной морали.

По сравнению с «Что делать?» «Пролог» отражает ряд новых черт в развитии Чернышевского-романиста. В «Что делать?» внимание Чернышевского было направлено главным образом на изображение мыслей, чувств и идеалов «новых людей», носителей передовых моральных и общественных норм, противостоящих гнусной морали старого, крепостнического общества. В «Прологе» Чернышевский дает более широкую, чем в «Что делать?», картину жизни всего тогдашнего Петербурга. Перед нами не только семья передового журналиста Волгина, но и представители высших аристократических кругов — Чаплин, Илатонцев, фрейлина Тенищева, либеральные профессора и общественные деятели в лице Рязанцева и Савелова, демократическая среда, студенчество. Чернышевский ведет читателя на Невский проспект, в театр, на острова, на обед у Илатонцева, где собираются провинциальные помещики, испуганные предстоящей отменой крепостного права. На этом широком реалистическом фоне мастерски изображены основные моменты политической борьбы эпохи, раскрыты взгляды и человеческие качества представителей обоих борющихся направлений.

Композиция романа тщательно продумана писателем. Обе его части, в которых действие происходит в одно и то же время, как бы взаимно дополняют друг друга, давая в совокупности широкую картину русской жизни в эпоху, предшествовавшую реформе. Если в первой части изображен Петербург, охарактеризованы культурная жизнь столицы, идейные направления и политические партии, то во второй части действие переносится в деревню, с ее провинциальным крепостническим бытом и нравами. Избранная Чернышевским во второй части форма дневника героя позволяет ему раскрыть внутренний мир революционной молодежи шестидесятых годов, показать столкновение и борьбу старых и новых понятий не только в общественной, но и в личной жизни, в быту, в вопросах морали.

Как историк и социолог Чернышевский придавал огромное значение классовой борьбе. Он выдвигал мысль о зависимости философских и политических идей от интересов борющихся классов и партий. Эта мысль получила отчетливое выражение в романе. Чернышевский обнажает связь между идеями либералов и защитой помещичьих интересов, указывает на «мужицкий» характер взглядов Волгина, отражающих подлинные интересы народных масс (еще неосознанные в шестидесятые годы самим народом в силу слабого политического развития и недостатка организованности крестьянства).

Чернышевский — один из великих представителей той линии русского критического реализма, о которой еще Белинский, в связи с оценкой романа Герцена «Кто виноват?», писал, что особенность ее состоит «в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой». Каждое лицо и положение в «Прологе» освещены глубокой и передовой революционной мыслью. Мысль Чернышевского не останавливается на поверхности явлений, но проникает в их глубину, выявляет их скрытые качества. Она обнаруживает с беспощадной ясностью моральную низость и духовное убожество людей типа Савелова, раскрывает высокое умственное благородство, честность и самоотвержение, скрытые во внешне некрасивом студенте Левицком или наивном энтузиасте Соколовском, нескладная фигура которого может вызвать при первом знакомстве с ним улыбку читателя.

Широко проявилось в романе юмористическое и сатирическое дарование Чернышевского. Здесь встречаются и гневная, бичующая сатира на крепостников, и холодная, острая ироническая характеристика «прогрессистов», и теплая, согретая любовью улыбка при изображении внешних черт людей из революционного лагеря, помогающая иногда Чернышевскому путем контраста еще ярче выявить силу и благородство их мысли, показать красоту и величие их духовной жизни.

Чернышевский поднимает в романе, как было показано выше, сложнейшие проблемы идейной борьбы шестидесятых годов, слож-

нейшие теоретические вопросы революционного движения, которые освещаются в высказываниях Волгина, Левицкого, Соколовского. И, однако, основные положительные образы «Пролога» ни на минуту не становятся от этого отвлеченными, но остаются все время живыми фигурами, сохраняющими свое своеобразие, свой глубоко индивидуальный характер. Чернышевский мастерски умел придать индивидуальные черты не только внешнему облику своих главных героев, их поведению в различных обстоятельствах, но и их речи, пластически передающей особенности мышления и душевной жизни каждого из них. Каждый из этих главных героев «Пролога» — живой, цельный и вместе с тем сложный человек, прошедший свой индивидуальный путь развития, имеющий свой жизненный опыт, свои достоинства и недостатки.

Литература, по убеждению Чернышевского, должна не только правдиво воспроизводить жизнь, но и произносить над нею приговор, оценивать каждое изображаемое типическое лицо и явление с точки зрения его положительного или отрицательного значения для народной жизни и его соответствия передовым, революционным идеалам. Это требование эстетики Чернышевского нашло свое непосредственное выражение в «Прологе». Роман Чернышевского содержит не только реалистическое отражение одного из важнейших, узловых моментов русской истории XIX века, но и глубокий анализ исторической ситуации в России накануне реформы, помогающий нам ясно понять историческое значение тогдашних общественных партий, смысл их борьбы и ее связь с последующими страницами истории нашего освободительного движения.

Крестьянское движение в годы реформы 1861 года не переросло в крестьянскую революцию. «В России в 1861 году,— писал Ленин,— народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли» [1].

Чернышевский жил в эпоху, когда пролетариат в России только начинал складываться. Великий революционер-демократ не понимал и еще не мог понимать, что только пролетариат был способен сплотить крестьянство и повести его на победоносную революционную борьбу против самодержавия, осуществить социалистическое преобразование общества.

В самом «Прологе», несмотря на могучий революционный оптимизм Чернышевского, сказалось трагическое ощущение им слабости тог-

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 65.

дашнего освободительного движения. Русский народ еще «не способен поддерживать вступающихся за него»,— с грустью думает Волгин.

В своих произведениях начала шестидесятых годов и в «Что делать?» Чернышевский исходил из глубокой веры в то, что русская революция — дело близкого будущего. Ленин писал, что накануне реформы и в момент ее проведения такая вера была исторически оправдана: самый трезвый и осторожный политик должен был бы признать, что историческая обстановка этого времени таила в себе реальную возможность революционного взрыва. Но революционная ситуация конца пятидесятых — начала шестидесятых годов не привела к революции. В годы, когда Чернышевский создавал «Пролог», это было уже совершенно ясным. Работая над романом, Чернышевский не мог не ставить перед собой вопроса о причинах спада революционной волны. Отвечая на этот вопрос, Чернышевский подчеркнул в «Прологе», что неподготовленность народных масс к революции была главной причиной поражения революционеров шестидесятых годов.

Указывая на эту неподготовленность, Чернышевский, однако, не делал из опыта исторической борьбы в эпоху реформы пессимистических выводов. Напротив, он с огромной убежденностью утверждал устами своего героя, что для России неизбежно и скоро «придет серьезное время». Если века порабощения воспитали в народном сознании много элементов косности и рутины, то задача русских революционеров состоит в упорной работе по просвещению и организации народных масс, по развитию у них политического сознания,— таков вывод, который Чернышевский хотел сделать достоянием революционной молодежи конца шестидесятых — начала семидесятых годов.

Находясь на каторге, Чернышевский по-прежнему считал, что только свержение самодержавия и помещиков в результате победоносной народной революции может обеспечить народу свободу и материальное благосостояние. Великий русский писатель продолжал верить в приближение народной революции. «Я уж не молод, мой друг, но помни: наша с тобой жизнь еще впереди»,— писал он 12 января 1871 года О. С. Чернышевской, посылая ей в Петербург рукопись «Пролога».

Убежденный в неизбежном приближении революции, Чернышевский стремился передать следующим поколениям русских революционеров свой исторический опыт и революционные традиции. Этим определяется главное в идейном содержании «Пролога». Чернышевский хотел сделать достоянием последующих революционеров уроки общественной борьбы времен крестьянской реформы.

Хотя Чернышевский писал «Пролог» в Сибири, в условиях каторги, в своем романе он решал те же самые общественные и литературные задачи, которые стояли перед всей демократической литерату-

рой второй половины шестидесятых годов. При всем глубоком своеобразии «Пролога» нетрудно увидеть органическую связь между проблематикой этого романа Чернышевского и вопросами, стоявшими в центре внимания других демократических писателей пореформенной эпохи.

Долг писателей-демократов пореформенной эпохи состоял в том, чтобы в условиях победившей реакции вновь и вновь напоминать русскому обществу о его революционных традициях. Эту задачу стремился разрешить во второй половине шестидесятых и в семидесятых годах Некрасов в своих историко-революционных поэмах, стихотворениях, посвященных Писареву («Не рыдай так безумно над ним», 1868) и Чернышевскому («Пророк», 1874). Другой важнейшей задачей, стоявшей перед демократическим лагерем, было разъяснение народу того, что крестьянская реформа и другие буржуазные реформы шестидесятых годов не устранили ни одного из основных противоречий русской общественной жизни и перед широкими слоями населения стоят те же самые вопросы борьбы с помещиками и самодержавием, что и до реформы. С этим теснейшим образом была связана задача непримиримого разоблачения русского буржуазно-помещичьего либерализма и его политики соглашения с царским правительством. Эти вопросы стояли в центре творчества Некрасова и Салтыкова-Щедрина в конце шестидесятых — начале семидесятых годов. Они определили основной пафос таких важнейших для этой эпохи произведений — глубоко различных по своей тематике, по своим идейным и художественным особенностям, но вместе с тем родственных между собой по основной социально-политической направленности — как «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877) и «История одного города» (1869—1870), «Современники» (1875) и «Дневник провинциала в Петербурге» (1872).

Так же, как Некрасов и Щедрин, Чернышевский стремился показать в «Прологе», что либералы являются не друзьями, а врагами крестьянства, врагами революции, для победы которой нужна беспощадная борьба против либеральных фраз и иллюзий. Вместе с тем Чернышевский учил русских революционеров, что революционная деятельность может быть плодотворна лишь тогда, когда она опирается на борьбу народных масс.

Эти уроки Чернышевского никогда не были усвоены полностью народниками семидесятых — восьмидесятых годов. Ленин писал, характеризуя народничество: «Оно никогда не могло, как общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и от анархизма слева» [1]. Лишь представители нового, пролетарского периода освободительного

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 224.

движения явились в следующую эпоху наследниками революционных традиций Чернышевского, которые они продолжили и обогатили.

В своих статьях, посвященных крестьянской реформе 1861 года, В. И. Ленин дал научный анализ борьбы демократов 1860-х годов во главе с Чернышевским против либералов. Ленин показал, что борьба Чернышевского против либералов и его критика реформы 1861 года продолжали сохранять свое живое политическое значение для всей эпохи буржуазно-демократической революции в России. Полемизируя с либеральными народниками и их оценкой крестьянской реформы, беспощадно разоблачая буржуазно-помещичий либерализм, критикуя столыпинскую аграрную политику, В. И. Ленин неоднократно обращался к «Прологу», каждый раз подходя к роману с новой стороны и подчеркивая при этом огромное революционное значение идей Чернышевского для последующего периода развития общественной борьбы в России.

Оценивая историческую роль революционеров шестидесятых годов, во главе которых стоял Чернышевский, Ленин указывал:

«Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, повидимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи, и, чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либеральных реформистов» [1].

Историческое значение «Пролога» заключается в том, что это — роман о революционерах шестидесятых годов, о людях, которых Ленин назвал подлинно «великими деятелями той эпохи». Так же как в созданных Чернышевским в «Что делать?» образах Рахметова, Лопухова, Веры Павловны, в образах главных героев «Пролога» правдиво запечатлены типические черты революционных деятелей разночинского периода освободительного движения, чистота их мысли и их горячая любовь к народу, их высокое самоотвержение и суровая требовательность к себе, их новые, светлые моральные идеалы. Читая и изучая «Пролог», советский читатель почерпнет для себя из этого романа Чернышевского очень много ценного о жизни и борьбе великих революционеров-демократов шестидесятых годов, революционные традиции которых являются национальной гордостью русского народа.

*Г. Фридлендер*

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 100.

# ПРОЛОГ

РОМАН ИЗ НАЧАЛА
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



# ПРОЛОГ ПРОЛОГА



*Посвящается той,*
*в которой будут узнавать*
*Волгину* *

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Было начало весны 1857 года. Весь образованный Петербург восхищался прекрасным началом своей весны. Вот уже третий день погода стояла не очень холодная, не совсем пасмурная; иной час даже казалось, будто хочет проясняться. Как же не восхищался бы образованный Петербург? Он был прав, если судить его чувство по петербургским понятиям о весне.

Но, восхищаясь весною, он продолжал жить по-зимнему, за двойными рамами. И в этом он был прав: ладожский лед еще не прошел.

---

Часу в двенадцатом утра по солнечной стороне Владимирской площади, в направлении к Невскому, шли смуглая дама и бледноватый мужчина с плохою рыжею бородою. Они были жена и муж. Мужу было лет двадцать восемь или тридцать. Он был некрасив, неловок и казался флегматиком. Тускло-серые глаза его, в золотых очках, смотрели с тихою задумчивостью на жену. Жена весело смотрела вперед, беззаботно опираясь на руку своего спутника, и, по-видимому, очень мало думала о нем. Но заметила, что он не спускает с нее глаз, улыбнулась, сказала: «В три года все еще не нагляделся», и опять перестала обращать внимание на него.

---

* Роман посвящен жене Н. Г. Чернышевского — Ольге Сократовне Чернышевской. *(Ред.)*

— Твоя правда, голубочка,— вяло согласился муж, подумавши; вздохнул и сказал:—А знаешь ли, о чем я думал, голубочка? — Когда ж это будут у тебя свои лошади?

— Довольно смешно вздыхать, мой друг. Теперь мы живем хорошо; со временем будешь получать больше. Тогда куплю себе и лошадей. А пока отучайся не спускать с меня глаз: это забавно.

— Твоя правда, голубочка,— отвечал он и стал рассеянно глядеть по сторонам. Через минуту сострадательно усмехнулся.

Навстречу шел студент с длинными, гладкими, светлорусыми волосами,— тоже некрасивый и неловкий, как и спутник смуглой дамы, тоже несколько сгорбленный,— только в нем это было гораздо заметнее, потому что он был очень высокого роста,— тоже бледноватый, тоже с тускло-серыми глазами, тоже в золотых очках. Он пристально смотрел на смуглую даму, и лицо его оставалось спокойно, холодно. Потому-то муж смуглой дамы и не мог удержаться от сострадательной усмешки: наконец-то нашелся человек еще хуже его самого. Еще юноша, и такая рыбья кровь! — Муж смуглой дамы не знал, более ли смешон, или более жалок ему этот студент.

— Чрезвычайно умное лицо у этого молодого человека,— сказала смуглая дама, когда студент прошел: — Необыкновенно умное лицо.

Муж подумал. Точно, лицо студента было не только холодно, но и умно.

— Правда твоя, голубочка. Должно быть, умный человек. Но бездушное существо, хуже меня.

— Почему же? — Не влюбился в меня?

— Не смейся, голубочка,— отвечал муж,— это моя правда.

— Ты забавный человек, мой друг,— сказала жена, засмеявшись.

— Вовсе не я, голубочка, разве я сам думаю? — Вовсе не сам; ты знаешь, я говорю это больше по слуху, чем сам. Все говорят мне. Чем же я виноват? — вяло возразил он.— Я тут посторонний человек; я говорю по чужим словам. А чужое мнение в этом надобно считать справедливым. Что правда, то правда.

— Перестань, мой друг, надоел.

— Ну, хорошо, голубочка,— согласился он и замолчал. Через минуту начал мурлыкать нараспев, сначала

про себя, потом послышнее и послышнее,— неслыханным и невозможным ни в какой музыке мотивом: «Как у наших у ворот,— ай, люли, у ворот,— стоял девок хоровод,— ай, люли, хоровод». Он был глубоко убежден, что изумительный мотив не был его собственным сочинением.

— Перестань, мой друг,— заметила жена.— Ты, кажется, забыл, что ты идешь не один.

— А, точно, голубочка,— согласился он и несколько сконфузился. Зная достоинство своей вокализации, он вообще занимался ею только для собственного удовольствия. Кроме того, жена убеждала его, что идти по улице и напевать — смешно, и он постоянно желал помнить это.

— С тобою стыд и смех, мой друг.

— Ну так что же за важность, голубочка,— с философским спокойствием отвечал он и стал с усиленным усердием глядеть по сторонам, чтобы опять не замурлыкать по рассеянности.

— Знаешь ли что, голубочка? — начал он через минуту.— Ты отпустила бы меня. Уверяю, отпустила бы,— ну, что же не отпустить? Прогулялся довольно. А ты сама купишь мне перьев. Уверяю, купишь. А то, в другой раз: у меня еще есть несколько.

— Как тебе не совестно? Прошел двадцать шагов и уверяет, что довольно!

— Не двадцать, голубочка, а двести или гораздо больше. Уверяю.

Жена оставила это уверение без всякого ответа.

— Ну, что же, голубочка? — Я только так сказал, а я иду с удовольствием. Уверяю. Как же? — Разве я не понимаю, что ты принуждаешь меня только для моей же пользы, а не то что тебе самой приятно, что я иду с тобою.

— Если понимаешь, то зачем же сердишь? — С тобою больше скуки, чем с Володею.

— Видишь ли, голубочка: ты делаешь это потому, что думаешь, будто вредно, что я все сижу. Но я не все только сижу, я тоже и лежу. Зачем же мне ходить?

Рассуждение не было лишено основательности. Но жена только промолчала на него. Муж глубоко вздохнул и опять стал глядеть по сторонам, с апатиею, не совершенно соответствовавшею тяжкости страдания, выраженного вздохом.

По одну сторону была мелочная лавочка, дальше вывеска сапожника,— дальше ничего замечательного. По

другую сторону — тротуарные тумбы,— голубая извозчичья карета,— опять тумбы, тумбы, тумбы... Дальше, с этой стороны все то же: тумбы, тумбы; с той — лавочка, лавка, лавочка,—прекрасный подъезд с резными дубовыми дверьми, с бронзою.

Шедший с удовольствием муж внимательно рассматривал все это, для рассеяния своей скорби.

— Эх, голубочка,— начал он.— Если бы я был хоть немного поумнее, то и теперь у тебя уже были бы свои лошади...

На эту новую мысль навело его то, что он с женою подходил к карете.

— Ты не поверишь, как я глуп в своих делах.

— Замолчи, не серди.

— Ну, хорошо, голубочка,— согласился он и взглянул налево, направо — как раз против окна кареты.

Занавесь окна кареты была опущена, только угол приподнят. Рука, придерживавшая его, торопливо упала. Но муж смуглой дамы еще успел рассмотреть лицо, спешившее закрыться. Это было очень чисто выбритое лицо мужчины лет тридцати пяти, не жирное, скорее, напротив, сухощавое, но свежее, здоровое; овальное, с тонкими чертами, с красивым профилем. Темные волоса были коротко острижены; оттого высокий лоб казался еще выше. Светло-карие глаза зорко смотрели на подъезд с дубовыми резными дверьми, бывший в полусотне шагов,— карета стояла поодаль от него.

— Видела, голубочка? — Каков бестия?

— Видела, и помешаю ему. Пойду на этот подъезд, найду, где она. Найду.

— Трудно будет найти, голубочка. По этой лестнице квартир десять, я думаю. Где она, там прислуге велено отказывать.

— Не велико затруднение.

— Твоя правда, голубочка,— тотчас же рассудил муж.— Подъезд богатый, потому квартиры большие. Спросишь у швейцара обо всех. Вероятно, почти все заняты семейными...

В эту минуту дверь подъезда отворилась. Вышел стройный молодой человек в гороховом пальто. Из-под шляпы вились каштановые волосы, слегка кудреватые. Лицо было прекрасно, что редкость в красивых мужских лицах, не женоподобно.— Муж смуглой дамы с любезной улыбкою,—

потому что был такой же искусный светский человек, как и певец,— хватился за фуражку и поклонился с грациею, свойственною всем медведям и очень немногим людям,— но светскость осталась оказана совершенно понапрасну: молодой человек, выходя из двери, уже повертывался к Невскому и не видел замечательной эволюции любезного светского человека. Любезный светский человек надел фуражку и продолжал свое рассуждение, прерванное для светской эволюции.

— Почти везде семейные люди, у них нечего искать. Одна, много две квартиры, где надобно искать. А то, что прислуга говорит: «никакой дамы здесь нет» — что за важность? По тону будет видно, правда ли. Уверяю, голубочка.

— Хорошо, верю. Но ты знаешь этого молодого человека? — Что за прекрасное лицо! — Он очень понравился мне. Ты позови его к нам.

— Я вижу его, голубочка, когда бываю у Рязанцева. Очень благородный...

— Слышишь? — Да не оглядывайся, мой друг: если опять взглянешь так ловко, этот, в карете, поймет, что мы заняты им и любовником! Мне будет трудно помочь жене или сестре, или кто она ему. А я не хочу бросить этого!

— А! — Точно! — Слышу, голубочка.

Дав молодому человеку отойти подальше, извозчичья карета тронулась. Муж смуглой дамы хоть и отличался не столько догадливостью, сколько основательностью, понял, что карета следит за молодым человеком, с которым он неудачно раскланялся.

— Так вот кого подкарауливал этот шельма! Видно, жена-то осторожна, не уследишь,— так он за молодыми знакомыми! Видишь, я недаром сказал: о, бестия! Да что же, голубочка: ты сказала «жена, или сестра, или кто она ему»,— не знаешь, значит, что он женатый, видно, не знаешь его?

— Не знаю, мой друг,— а кто ж это?

— Все у того же Рязанцева! — Это, я тебе скажу, удивительно, кого не увидишь у этого Рязанцева! Раз я сижу у него один,— входит эта шельма,— Рязанцев рекомендует: Савелов! — Я, разумеется, сейчас ушел: черт с ними!

— Так это муж милочки Савеловой? — О, как я рада, что я услужу ей! — Я просто влюбилась в нее, когда увидела в концерте,— мало и слушала, все любовалась! — Но мужа там не было, она была с кем-то другим, старше

его. Ах, что это за красавица! Вот это, мой друг, красавица! — Большие темно-голубые глаза, тихие, нежные,— сама беленькая, беленькая, нежненькая,— ах, так и расцеловала бы ее! Ах, как я рада услужить такой милочке!

Молодой человек в гороховом пальто шел очень быстро. Карета, следившая за ним, опередила смуглую даму и ее мужа.

— Подзови извозчика, мой друг,— сказала смуглая дама. Муж подозвал.— Садись и ты.

— Точно, голубочка. Со мною лучше. Может быть, и понадоблюсь.

— Нет, мой друг; но я хочу, чтоб ты рассказал мне об этом молодом человеке. Вот это парочка, мой друг, он и Савелова! Ах, как я рада, что у нее такой любовник! Ах, что за прелесть оба! Я расцелую их обоих — и ее, так и быть, и ее!

— Ну, голубочка, себя-то она позволит тебе целовать,— а его-то не очень-то.

— Вот прекрасно! — Смеет! — Если б у меня был такой любовник,— я не позволила бы ей,— а ей, такой милочке, бояться меня!

— Ну, голубочка, знаю я этих красавиц!— Основательный муж покачал головою.— Видывал, голубочка. Когда прежде жил в Петербурге, бывал в опере,— видел. Красавицы! Видишь ли, голубочка: по-моему,— ну, да вот покажи мне свою Савелову,— ну, покажи. Вперед знаю: ничего особенного.

— Ах, не люблю, когда ты так врешь. Лучше рассказывай о нем. Вот если б у меня был такой муж или хоть любовник,— ах, как бы я любила его!

— Ну, голубочка, это еще неизвестно, стоило ли бы любить,— основательно возразил муж.— Были ж у тебя женихи не хуже его,— что же не шла?

— Ах, нет, такого не было! — О нем ты не смей и говорить! Это прелесть, прелесть! — Да что же ты знаешь о нем, говори скорей! — Ах, если бы можно было отнять его у нее! Ах, отняла бы, отняла бы, мой друг! Ах, зачем она лучше меня? Я отняла б его у нее! Отняла бы, отняла бы, мой друг! — Нет, лучше рассказывай о нем, а то я готова плакать,— ах, какая досада!

Муж покачал головою. В самом деле, странно было то, как думала о себе смуглая дама. Она никогда, нигде не встречала соперниц себе. Когда она бывала в театре, и

продажные и непродажные аристократки красоты зеленели и багровели от зависти. Она одна не хотела замечать эффекта, который производит.— Впрочем, ее муж находил это нисколько не удивительным: живость характера не оставляла ей досуга наблюдать, производит ли она эффект. На бале она была занята балом, танцами, разговорами; в опере — оперою, разговорами с теми, кто сидел подле нее. А главное, она приходила в восхищение от каждой хорошенькой блондинки, она любовалась на блондинок до того, что забывала о себе и даже не любила себя: зачем она не такая беленькая, беленькая, зачем у нее не голубые глаза.— Когда ее заставляли замечать, как отвлекаются ею глаза мужчин от всех, и от блондинок и от брюнеток, она говорила, что мужчины глупы, слепы, и через четверть часа забывала о них, чтобы восхищаться какою-нибудь блондинкою. Так, она слишком мало думала о себе и после, когда ей много раз указывали эффект, какой она производит в больших собраниях. Но теперь она еще только начинала выезжать в общество, и любовник Савеловой был первый человек в Петербурге, лицом которого она увлеклась. В первый раз после девических лет, о которых теперь она вспоминала как о ребяческих, она подумала о том, хороша ли она собою,— и готова была расплакаться от досады, зачем она не блондинка.

— Друг мой, скажи мне, что это со мною? — начала она, наполовину смеясь, наполовину грустно.— Неужели я делаюсь глупою девчонкою в мои лета? Неужели я могу влюбиться? — Это было бы смешно, мой друг.

— Не знаю, как тебе сказать, голубочка,— отвечал основательный муж.

— Но мне кажется, я в самом деле была бы готова полюбить кого-нибудь... Я так увлеклась,— не смешно ли это?

— Что касается собственно до этого, голубочка,— глубокомысленно отвечал муж,— это, разумеется, еще ничего не значит; — стала говорить со мною, заговорилась, расфантазировалась. Пустяки.

Она задумалась.— Но рассказывай, что ты знаешь о нем,— сказала она, опять смеясь: — Не могу отнять его у Савеловой, так и быть. Но хочется полюбить кого-нибудь,— вот увидишь, найду себе любовника.

— Ну, посмотрим, голубочка,— желаю тебе, чтоб нашла еще лучше этого. А впрочем, и этот хороший человек,

не говоря о том, хорош ли собою,— флегматически пошутил муж и стал рассказывать основательно.

Фамилия молодого человека была Нивельзин. Муж смуглой дамы встречал его, когда бывал у Рязанцева, тогдашнего авторитета петербургских прогрессистов. Молодой человек не возвышал голоса между знаменитостями петербургского либерализма, и муж смуглой дамы едва обменивался с ним несколькими словами, но довольно слышал о нем от Рязанцева.

Рязанцев очень хвалит Нивельзина, и, кажется, справедливо; да, справедливо; — подтвердил сам себя основательный рассказчик, подумавши: — по крайней мере верно то, что Нивельзин очень хороший человек и безусловно честный. Нет, мало того, и даровитый человек, и при этом очень скромный; да, очень: говорит о себе, что должен еще учиться; — больше слушает, нежели говорит: как же? — там рассуждают такие мудрецы! — Рязанцев и другие — такие ученые, знаменитые, что остается только слушать! — Он скромный человек, он мало говорит, а между тем когда скажет что-нибудь, всегда умно и дельно.

Он помещик, довольно богатый. Отец его, важный генерал, отдал сына в школу гвардейских подпрапорщиков. Сделавшись офицером, сын продолжал учиться. Отец находил это лишним. Были размолвки. Сын остался при своем и поступил в академию Генерального штаба. Тогда это считалось неприличным аристократу. Отец негодовал. Но сын приобрел репутацию офицера, подающего высокие надежды. Отец примирился. Сын пошел по службе очень быстро. Но как умер отец, подал в отставку. Он математик и астроном. Его уважают как ученого. Его работы печатаются в бюллетенях Академии наук.

Прежде он был ветреником. Да и не мог не быть: светские дамы вешались ему на шею. И натурально, что вешались: надобно признаться, хорош собою и блистательный человек. Да, ветреничал. Но потом почувствовал, что увлекаться кокетками — пошлость, и стал чуждаться большого света. Этой перемене сильно помогло то, что он заинтересовался общественными вопросами. Поехал в свое поместье. Честно устроил свои отношения с крестьянами, не жалея уменьшить свои доходы, чтобы облегчить совесть. Да, он один из тех немногих богатых людей, у которых честный образ мыслей применяется к делу.

Между тем Нивельзин повернул на Невский, перешел Аничков мост. Карета с Савеловым переехала Аничков мост.

Нивельзин вошел в богатый модный магазин. Карета с Савеловым остановилась, немножко не доезжая магазина.

— К тротуару, направо,— сказала смуглая дама извозчику.— Ты можешь ехать домой,— заметила она мужу.— Рад?

— Натурально, голубочка; ну, а погляжу, как ты пойдешь.

— О, какой ты чудак, мой друг! — Смешнее всякого жениха!

— Ну, что за важность, что тебе смешно, голубочка,— совершенно основательно возразил он.

Она взошла в магазин. Он велел извозчику ехать назад; извозчик стал поворачивать лошадь.

— Милостивый государь, позвольте сделать вам один вопрос,— сказал с тротуара твердый и спокойный голос. Муж смуглой дамы оглянулся: подходил тот высокий студент с бесстрастным лицом.

— А, это вы! — Извольте, какой вопрос? — Муж смуглой дамы умел разговаривать очень замысловато: он не показал виду, что понимает, о ком будет вопрос.

— Кто эта девушка?

— А, так и вы не угадали! — Точно, никто не угадывает. Она три года замужем.

Смуглые женщины вообще кажутся старше своих лет. А ее все принимали за очень молоденькую девушку, хоть она была три года замужем и имела двадцать лет, выходя замуж.— Когда она говорила, что она замужем, ей отвечали: «Вы смеетесь»; когда она говорила, что она уже давно замужем, что у нее уже есть сын,— перестали сомневаться, что она мистифирует; когда она говорила, что ей уже двадцать четвертый год, ей отвечали тем, что формально объяснялись в безграничном уважении и просили ее руки, потому что на такую неловкую мистификацию нельзя было обращать уже никакого внимания.

— Да, милостивый государь, она давно повенчана,— продолжал хитрый человек, усиливая впечатление своей замысловатости в разговорах остроумнейшими оборотами слов.— Я могу ручаться вам, что она давно замужем, потому что сам был на ее свадьбе.

По лицу студента пробежало что-то похожее на легкую тень, но мгновенно и едва заметно.— Она ваша супруга?

— Да. А вы, должно быть, вздумали влюбиться в нее? — Хитрый человек был не только чрезвычайный хитрец, но и великий мастер шутить. Уместны ли шутки, или неуместны, умны или глупы, это выходило как случится; его забота была только то, чтоб выходило, по его мнению, шутливо,— но не огорчайтесь на меня. Я не думал, что она повенчается со мною. Я не был влюблен в нее, молодой человек. Я был тогда благоразумнее вас; — впрочем, мне было тогда двадцать пять лет. В ваши лета простительно быть неблагоразумным.

— Вы шутите, но в сущности вы прав,— отвечал студент, уже давно сделавшийся по-прежнему бесстрастным.— Глупо влюбляться в таких женщин,— если есть другие такие женщины. Надобно молиться на них. Я и думал, что я не забывал этого. Из ваших слов я вижу, что кажусь несколько влюбленным. Но если вы и не ошиблись, это чувство совершенно ничтожно: я человек апатический.

— Мне самому так показалось; иначе разве стал бы я шутить?

— Я не мог думать, что она уже вышла замуж, и подходил к вам с тем, чтобы узнать, каким образом мог бы я познакомиться с ее родными. Теперь я прошу позволения бывать у вас.

— Признаться вам сказать, я очень мало тут значу. Заходите ко мне; — если понравитесь ей, прекрасно; если нет, то я сам по себе,— извините за откровенность,— не стану приглашать вас. Я, признаться сказать, не люблю никаких знакомств. Но полагаю, что она полюбит вас. Вы, должно быть, умный человек,— потому что так ей показалось. Вот вам,— он вынул свою карточку.— Заходите.

— Вы Алексей Иваныч Волгин? — с некоторою оживленностью сказал студент, взглянув на карточку.

— Да-с,— флегматически отвечал муж смуглой дамы и вслед за тем взвизгнул пронзительным ультра-сопрано, от которого зазвенели стекла в соседних окнах: — Ххи-ххи-ххи-хха-хха-хха-ххо-ххо-ххо! — изумительная рулада перелилась через теноровые раздирающие ухо звуки в контрабасовый рев, от которого, сквозь шум экипажей, загудела мостовая:—Ххо-ххо-ххо-хха-хха-ххи-ххи-ххи! — поднялась рулада опять до пронзительного визга.— Ххи-ххи-ххи! — А

вы, я вижу, мой поклонник? — Вот находка! — Драгоценность! — В целой России, только два экземпляра: вы да я сам.— Ну, прощайте. Заходите. Думаю, что жена полюбит вас. Прощайте.— Нет, позвольте: в котором курсе вы?

— Я студент педагогического института, а не университета. Кончаю курс.

— Ну, вот видите, я чуть не сделал глупости, забывши спросить.— Кончаете курс, то прежде кончайте курс: экзамены на носу,— или уже начались? Занимайтесь. Кончите, тогда заходите.— Прощайте. Погодите, опять глупо: не сообразил. По окончании курса вас пошлют из Петербурга черт знает куда? — Так заходите теперь.

Студент подумал.— Нет, я не буду у вас до окончания курса. Тогда я приду к вам с какою-нибудь статьею. Надобно приготовить что-нибудь прежде, чем идти к вам.

— Хорошо. Но вас отправят черт знает куда?

— Нет. Я останусь в Петербурге.

— Ваш скотина директор любит вас?

— Нет. Но товарищ министра знает меня и обещал.

— Ну, это плохая надежда: тряпка.

— Кроме того, я даю уроки у Илатонцева; это вельможа. Он хочет, чтобы я продолжал их.

— А когда так, то другое дело. Попросит, и останетесь, правда. Прощайте же, наконец.— Да, опять забыл: а фамилия-то ваша как же?

— Левицкий.

— Ну, прощайте,— ххи-ххи-ххи — мой поклонник — ххо-ххо-ххо-хки-хки-хки...— залился он пронзительными и ревущими перекатами по всем возможным и невозможным для обыкновенного человеческого горла визгам, воплям и грохотам.

Мелодичности своих рулад он нисколько не удивлялся, но решительно не понимал и сам, как это визг и рев выходят у него такие оглушительные, когда он расхохочется. Обыкновенным голосом он говорил тихо, и пока он не начинал, по забывчивости, давать волю своей глотке, никто бы не мог ожидать, что он перекричит и петуха и медведя.

---

— Я пришла к вам не покупать наряды,— сказала Волгина хозяйке магазина в ответ на фразу о приятности нового знакомства.— Мне надобно сказать вам несколько слов.

Любезно-вопросительное выражение лица магазинщицы сменилось одобрительно-скромным.— Мой магазин в полном вашем распоряжении. Смею вас уверить, что ваше доверие ко мне будет оправдано. Прошу вас,— она отворила дверь в свою квартиру.— Нам удобнее будет продолжать разговор в моей гостиной.

— Конечно,— сказала Волгина. Через большой зал с великолепными зеркалами они прошли в гостиную, очень роскошную.

— Прошу вас. Здесь мы можем говорить совершенно свободно.— Они сели.

— Я пришла затем, чтобы предупредить молодого человека в гороховом пальто, который сейчас вошел сюда, что за ним следит господин,— имя которого он, вероятно, угадает. От самой квартиры за Нивельзиным ехала голубая карета,—он не заметил, скажите ему, что нехорошо быть таким неосмотрительным. Карета стоит теперь у вашего подъезда. Он увидит ее. Пусть он сейчас уходит отсюда.

— О, боже! — Какое было б это несчастье! Monsieur Saveloff [1] так силен! Он погубил бы меня! — Магазинщица, всплескивая руками, вскочила идти.

— Прошу вас, дослушайте же.— Отдайте ему эту перчатку,— Волгина сняла перчатку с правой руки,— и пусть он любуется на нее, идя отсюда. Я выйду через минуту и тоже пойду мимо кареты,— конечно, тот господин в карете будет ждать даму Нивельзина,— я уроню зонтик, буду поправлять шляпку,— словом, тот господин увидит, что у меня одна рука в перчатке, другая без перчатки,— он увидит, что Нивельзин любовался на мою перчатку.— Да берите же, несите ему,— берите же.

Хитрое, дурное лицо магазинщицы сделалось честным.

— Нет, я не возьму вашу перчатку. Я не могу допустить, чтобы вы так ужасно компрометировали себя. Он уйдет, этого будет довольно.

— Нет, этого не будет довольно. Карета стала бы ждать и дождалась бы. Вы сами говорите, что господин, который сидит в карете, умеет мстить; той, которую он подозревает, он может мстить сильнее, нежели вам. Она погибла, если войдет сюда прежде, нежели он убедится, что подозревал напрасно, что Нивельзин был здесь для

---

[1] Господин Савелов *(франц.)*.

меня.— Самого Нивельзина я не хочу видеть; но ей я оставлю мой адрес, и мы подумаем, что ей делать.

— Вы незнакома с madame Saveloff?[1] И так ужасно компрометируете себя для нее?

— Идете вы или нет?

— Вы незнакома с madame Saveloff?

— Незнакома или дружна, как вам угодно, только идите же.

— Но если вы незнакома с нею, почему ж вы знаете, что ее еще нет здесь?

— Как вы сердите меня! — нетерпеливо сказала Волгина.— Кто ж не знает, что мужчина приходит на свидание первый, пока женщина еще не надоела ему? — Почему я знаю, что она еще не надоела ему? — Можете полюбопытствовать после. А теперь идите.

— Вы незнакома с нею,— незнакома или во вражде с ним, потому что не хотите видеть его,— и между тем так ужасно компрометируете себя для нее!

— Кажется, вы уже начинаете подозревать, нет ли у меня злого умысла? — Это лишнее. Идете вы или нет? — Я сумею обойтись и без вас.— Брови Волгиной сдвинулись.— Идете вы или нет?

— Иду, иду,— проговорила модистка, торопливо вставая.

— Берите же перчатку,— забыли.

Модистка побежала и через минуту вернулась:

— Он умоляет вас сказать ваше имя,— он хочет знать, кто та, которой он обязан так...

— Умолять не было надобности, услышал бы от той дамы. Мое имя Волгина. Да пусть же он уходит поскорее.

Модистка убежала и возвратилась, запыхавшись:

— Он не знает вас. Но знает вашего супруга... Я не могу найти довольно слов, чтобы достаточно выразить вам свою благодарность. Вы спасли репутацию моего магазина,— я так дорожу ею! — Поверьте, это был совершенно исключительный случай, что я согласилась на просьбу madame Saveloff. Я так привязана к этой милой, милой молодой даме, что у меня недостало бы сил отказать ей ни в чем. Только поэтому, только для нее нарушила я свое неизменное правило с негодованием отвергать подобные просьбы...

---

[1] Госпожою Савеловой *(франц.)*.

Волгина засмеялась.— Все это прекрасно. Но я сделаю вам маленький выговор. С какой стати заговорили вы о madame Saveloff? — Я не говорила ни о какой madame; я говорила только о monsieur Nivelsine [1].

— Я согласна, это была ошибка с моей стороны. Но в сущности тут не было нескромности. Понятно, вы должны были знать, кто она: вы видели, кто следит за monsieur Nivelsine.

— Я могла видеть, что за ним следит кто-то, и не знать, кто. Но, я думаю, Нивельзин уже довольно далеко, и я могу идти.

---

Слушая рассказ жены о развязке этого маленького приключения, Волгин погружался в размышления, потому что был человек искусный в размышлениях.

— Ну, хорошо, голубочка; только ты скажи мне: по-русски говорила ты с этою магазинщицею или, я думаю, по-французски?

— По-французски, мой друг. Думала, совсем забыла,— нет, еще могу говорить, хоть не очень хорошо.

— Нет, голубочка, я вот о чем: как же она говорила тебе? «Вы» — по твоим словам выходит,— «вы»...

— Да, vous,— что ж такое? — Vous.

— Гм! — То-то же и есть!

— Что же такого особенного тут?

— Нет, я так, голубочка, ничего.— Он размыслил, что в разговорах с незнакомою дамою по-французски обращаются к ней не словом «vous», а словом «madame». Но если б он высказал свое соображение, что вот и магазинщица принимала ее за очень молоденькую девушку,— потому-то и спорила против нее,— то жена с досадою сказала бы: «И охота тебе говорить мне такой вздор!» — Потому он умолчал свое размышление о vous и madame, а обратился к другому размышлению.

— Но вот что, голубочка. Ты сказала ей: «Эта дама еще не здесь, потому что мужчина приходит на свидание первый, пока женщина не надоела ему»; согласен, так. Но почему ж ты могла знать, что Савелова еще не надоела ему? — А впрочем, это удивительно, как я глуп! — воскликнул он, не переводя духа и в величайшем восторге от своего удивительного открытия.— Само собою, это было

---

[1] Господине Нивельзине *(франц.)*.

видно из того, как он шел на свиданье! — Не то, чтобы заглядываться на женщин, которые встречались,—он под ногами у себя земли не слышал. Да, он сильно влюблен в нее. Это видно. Уверяю тебя, голубочка.

— Верю,— сказала она, засмеявшись.— Но уйду, не буду мешать тебе работать. И так я отняла у тебя много времени этою прогулкою и своею болтовнею. И вот еще заставляю тебя знакомиться с Нивельзиным.

— Да,— воскликнул он от нового соображения,— что ж это ты, голубочка, не захотела видеть-то его? — Неужели тебе пришло в голову, что лучше и не знакомиться с ним? — Да это пустяки, голубочка!

— Да не сейчас ли я сказала, что мы будем знакомы с ним, что мне жаль, что заставляю тебя тратить время на него? — Ты слишком рассеян, мой друг.

— Это твоя правда, голубочка,— согласился глубокомысленный муж.— Но как же это, что он будет отнимать у меня время? — Каким же это образом? — Твой гость, а не мой. Я своих гостей не люблю. А твои — что́ мне? Все они вместе много ли мешают мне? — Ну, сама скажи: много ли?

— Он, мой друг, не то, что мои гости. Он старше их; ученый. С ним ты не будешь без церемоний, как с этими ребятишками.

— Правда твоя, голубочка,— согласился он.— Но не велика важность.— Да, та́к почему ж ты не захотела видеть его?

— Я вздумала, что прежде надобно увидеться с нею; потому что, мне кажется, тут что-нибудь не так: едва ли тут серьезная любовь с обеих сторон.

— Почему ж ты вздумала это, голубочка? — А впрочем, натурально, это всего вероятнее,— тотчас же размыслил он, потому что был чрезвычайно быстр в соображениях.— Это очень вероятно, голубочка; потому что, уверяю тебя: «люблю», «люблю»,— думаешь, и точно, серьезно,— а выходит обыкновенно, пустые слова. Уверяю тебя, голубочка.

— Верю,— сказала жена, засмеявшись.— Но работай, не мешаю тебе.

— Да, это твоя правда, голубочка,— подтвердил он.— Оно точно, что нынешний день мне надобно несколько поработать.

— Да, «нынешний день» и «несколько».— Она вздохнула.— Друг мой, ты убиваешь себя.

— Э, пустяки, голубочка, совершенно пустяки,— сказал он вслед ей.

---

На следующее утро Волгин лежал, перебирая пальцами свою рыжеватую жиденькую бороду, чем занимался только в затруднительных обстоятельствах. Обстоятельства были так затруднительны, что он не мог продолжать работу; лег читать — и то не шло. Четверть часа назад жена взошла и спросила, не надобно ли ему ехать куда-нибудь: она взяла бы его, ей все равно, она хочет прокатиться.— Нет, ему никуда не нужно.— «Если так, мой друг, то и прекрасно. Быть может, приедет Савелова. Ты прими ее. Я скоро вернусь, только пройду в Гостиный двор».— Не предвидел он, что выйдет ему такая комиссия! — Приедет, прими ее! — А впрочем, что за важность? — утешал он себя.— Может быть, она и не приедет ныне. Или, может быть, Лидия Васильевна возвратится раньше того. А если и не так, что за важность?

— Алексей Иваныч,— сказала служанка,— приехала Савелова; я попросила ее взойти, как велела Лидия Васильевна, потом сказала, что Лидия Васильевна скоро будет, а вы дома. Пожалуйте.

«Ничего. Надобно только уметь держать себя, то и ничего».— Он повязал галстук, сбросил халат и надел пальто, безо всякой трусости.

— Жена извиняется перед вами,— очень развязно начал он, входя в гостиную и делая усердный поклон прежде, нежели успел разобрать, в какой стороне комнаты гостья и туда ли он обращается с поклоном, куда следует.— Жена извиняется перед вами; она не была уверена, что вы приедете ныне; она скоро...—На этом пресеклось объяснение, и голова развязного хозяина, поднимавшаяся из глубокого поклона, заморгала, заморгала: он постиг, что ляпнул непростительную неловкость: он знает, что она должна была приехать к его жене,— стало быть, знает, по какому случаю приехала! — Как он глуп! — И что она подумает о Лидии Васильевне? — Какое право Лидия Васильевна имела сообщать ему чужую тайну? — Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в его уме, потому что он был необыкновенно быстр в соображениях, он заморгал в отчаянии; но отчаяние и дало ему силу: он махнул рукою,

приподнимавшеюся перебирать бороду, и не моргая, прямо смотря в глаза гостье, быстро заговорил:

— Не вините Лидию Васильевну: она умела бы молчать и передо мною. Но дело вышло так, что я был свидетелем. Мы шли вместе. Я знаю в лицо вашего мужа. Я не мог не понять, что это значит. Да и не опасайтесь меня: я неловок, но поверьте, я не совершенно бесчестный человек.

Он смотрел прямо в глаза Савеловой. Но он и вообще не был мастер наблюдать, а тут, вдобавок, был взволнован стыдом за свою неловкость и усердием оправдать жену. Потому он решительно не заметил, какие впечатления сменялись на лице Савеловой. Вероятно, она была озадачена; может быть, испугалась. Но об этом он мог только догадываться: видеть он ничего не видел. А впрочем, он видел все, как следует, и совершенно согласно с тем, как описывала Лидия Васильевна: он видел, что Савелова высокая, очень молодая — года двадцать два,— белая, нежная; с большими темно-голубыми глазами, что она из тех женщин, которые считаются очаровательными красавицами,— ну, и прекрасно, тем больше, что Лидия Васильевна находит ее дивною, прелестною,— пусть так и будет,—уступчиво решил он.

— Madame Волгина скоро возвратится, по вашим словам? — Я подожду ее. А пока поговорю с вами, monsieur Волгин. Сядем.

Прекрасно. Теперь ему нет надобности смотреть на нее, пока усядется. Он стал рассматривать пол, сам занимаясь размышлениями, приличными случаю. Он не заметил никакого волнения в ее голосе. Ему показалось, что она так спокойна, будто приехала с визитом по какому-нибудь из обыкновеннейших, ничтожнейших поводов к деланию нового знакомства. Не следует ли из этого, что слишком усердная светская полировка стерла в ней все живое и благородное? — Очень вероятно.— Но если и так, не она виновата; она еще так молода, что не успела бы сама испортить себя.

А между тем он не забывал обязанности хозяина. Ему было видно ее платье. Он наблюдал, когда она усядется,— тогда, по его мнению, ему опять надобно будет смотреть на нее.— Она села, оправила складки платья;— судя по движению локтей, должно быть, сняла шляпу, оправила волосы.— Хорошо, если она сама придумает

разговор; а если надобно будет ему самому придумать,— что бы такое придумать? Она опять оправляла складки платья, несколько сдвинувшиеся от движения при снимании шляпки... Кончила. О чем же выдумать говорить?.. Не выдумывается. Но она сама найдет, она светская, и так спокойна. Надобно только опять смотреть на нее, она уже сама завяжет разговор.— Он перевел глаза с пола на нее.

Она сидела, задумчиво и застенчиво потупившись. На щеках ее горел румянец. Она с трудом переводила дух.

Он мгновенно расчувствовался.

— Вы должны осуждать меня, monsieur Волгин,— проговорила она, почти задыхаясь.

— Осуждать? — Помилуйте! — Что вы! — Он схватил и погладил ее руку.— Помилуйте! — Что вы! — С чего взяли?

— Я вижу, monsieur Волгин, что вы жалеете меня. Благодарю вас.

— Вы извините меня, я вовсе не умею держать себя,— сказал он, увидевши, что она стала дышать гораздо спокойнее, и потому рассудивши, что довольно погладил ее руку и может прибрать свои.— Совсем не умею держать себя; Лидия Васильевна всегда смеется над моею светскостью. Ну, да это пустяки, разумеется. А если вы с Лидиею Васильевною вздумаете что-нибудь, так это будет прекрасно.

— Да, я не знаю, что мне делать; посоветуйте мне, monsieur Волгин.

— Лучше подождем Лидию Васильевну,— отвечал он.— Я плохо полагаюсь на свои мнения, даже и по таким делам, которые кажутся мне очень просты.

И она, должно быть, видела, что он более способен сочувствовать, нежели советовать. Но то, что он искренне сочувствует, она видела. Она откровенно отвечала на его вопросы, полные дружеского участия; и если она не все договаривала, или даже сама не все понимала, то даже и недогадливому Волгину нетрудно было получить довольно точное представление и о ее истории и о ее характере.

Ее отец — младший брат генерал-адъютанта Агафонова, который умер с год тому назад. Волгин слышал о генерал-адъютанте Агафонове. Это был человек довольно сильный; старый холостяк, игрок, мот. Его обеды были великолепны. Он умер, оставивши порядочные недочеты в

разных кассах, откуда мог черпать, и, кроме того, кучу долгов.

Но ее отец не имел никаких сношений со старшим братом. Они разошлись еще в молодости, когда один был столоначальником, другой каким-нибудь капитаном. Когда старший брат стал важным генералом, он и вовсе потерял охоту помнить о брате, которого никогда не любил. Да и вообще едва ли он когда-нибудь любил кого-нибудь, кроме самого себя.

Ее отец — очень смирный человек; и по честности,— как она говорила,— вероятно, и по робости, по неуменью,— как дополнял Волгин в своих мыслях,— он не мог сделаться взяточником.—Следовательно, не мог и иметь хорошей карьеры в те времена,— дополнил Волгин вслух.— Да. Два года назад он был не больше как советником губернского правления.

Савелов тогда еще не был таким сильным человеком, как теперь, но уже приобрел доверие нового министра. Министр послал его ревизовать ту губернию, где служил ее отец. Министр сказал Савелову: «Если найдете нужным отставить губернатора, он будет отставлен, хоть у него и важные связи; с другими я еще меньше поцеремонюсь».— Савелов предложил губернатору и вице-губернатору подать в отставку. То же и другим, кого не отдал под суд. И точно, все они стоили того: или разбойничали, или прикрывали разбойников. Изо всего состава губернского правления уцелел только ее отец.

Однажды Савелов сказал ему: «Вы назначен вице-губернатором». Не́возможно описать изумление и радость ее отца, всего их семейства. До той поры Савелов не бывал у них. Она и он не знали друг друга. Он едва ли и помнил, если случайно слышал, что она существует на свете. Встречаться им было негде. Он вовсе не бывал на губернских балах. Она почти не бывала в высшем губернском кругу: у отца было слишком мало денег. Она однажды видела Савелова в соборе, в большой царский праздник. Он, разумеется, не заметил ее за толпою стоявших ближе к почетнейшим местам.— Теперь он стал бывать у них. Она понравилась ему. Он ей также, — по крайней мере, так ей казалось тогда. Ей могло казаться это; она могла сама не понимать себя. Правда, ей было уже двадцать лет; но она почти вовсе не бывала в свете. Правда и то, ей уже делали предложения; но какие люди? —

или пожилые, или, если молодые, то слишком неблестящие. У нее не было приданого. А жили они так уединенно, воспитана она была так скромно, что романических отношений она не имела. Она не видывала вблизи молодых людей, которых можно было бы сравнивать с Савеловым. Он красивый мужчина, с прекрасными манерами. Говорили, что он суров; но говорили только взяточники. Все честные люди хвалили его. В их городе он казался полубогом, по своей силе в Петербурге. Ее отец и мать, еще и не мечтая о возможности предложения, так много говорили о нем, о блистательной карьере, какая ждет его. Могло ли ей не казаться, что он нравится ей? — Могла ли она не почесть себя счастливой, когда он сделал предложение?

Так она говорила. Даже и недогадливому Волгину нетрудно было понять из этих слов и ее характер и то, с какими чувствами выходила она замуж.— Человек с поэтическою дурью или с неумолимыми принципами думал бы о ней очень низко. Но Волгин, хотя и простяк, все-таки знал, что люди слишком любят рисоваться, и ценил в ней то, что она не сочинила ни принуждения со стороны отца с матерью, ни романического увлечения со своей стороны. Пусть она вышла замуж больше по расчету, нежели по влечению сердца,— за что презирать ее, когда у нее не было ни расположения к другому, ни отвращения к тому, за кого решалась идти? — Она, конечно, думала, что пылкие страсти — выдумка поэтов или сумасбродство. Вероятно, она и прожила бы весь свой век без увлечений, если бы не попала в общество, где слишком много блеска и пустоты, праздности, скуки, пронырств и волокитства. Она казалась Волгину женщиною кроткого характера и непылкого темперамента; быть может, она увлеклась надеждою блистать в Петербурге, желанием стать важною дамою,— но и жених не был ни старик, ни урод. Напротив, он действительно был красивый мужчина, очень изящный. Волгин не сомневался в том, что, кроме расчета, было у нее и влечение к нему. Пусть не очень глубокое или поэтическое,— но она и говорит о своем влечении без пышных фраз. Простота и честность нравились Волгину, и он всегда называл хорошим человеком того, в ком находил их. За них он всегда готов был извинять и довольно большие слабости.

— Вы не были влюблены в вашего жениха? — спросил он, чтобы испытать, не слишком ли полагается на простоту и честность ее характера.— Она поняла, что он не-

выгодно думает о том, как она шла замуж, и покраснела. Ему показалось, что она и колеблется, как отвечать. Но если она и действительно колебалась, она вышла из борьбы с честью для себя, по крайней мере, в его глазах ее ответ делал честь ей.

— Нет,— сказала она, потупивши глаза.— Я не была влюблена в него; и я не была влюблена ни в кого до... до... вы знаете...— Она не заплакала. Но видно было, что ей легче бы дать волю слезам, нежели сдержать их.

«Она и неглупая женщина,— по крайней мере умеет отвечать,— подумал Волгин.— Потому что заставила меня опять несколько расчувствоваться».

Она довольно долго молчала. Потом стала говорить довольно спокойно. Ее слова были опять так просты, что даже и Волгину было нетрудно видеть из ее рассказа всю правду. Впрочем, и правда эта была очень проста для понимания.

Она не была влюблена в Савелова. Но она была хорошо расположена к нему. От него зависело, чтоб это чувство сохранилось, упрочилось. Но он человек сухого сердца. Она не была требовательна в этом отношении: она не сходила с ума от любви к мужу, и ей вовсе не было надобно, чтоб он был без ума от нее. Но она имела расположение к нему,— и она не могла быть счастливою, когда поняла, что он совершенно холоден к ней.— «Я говорю о его сердце,— сказала она.— Зачем он брал жену, если жена — существо, такое незанимательное для него? — Удобнее, лучше для него было бы нанимать маленькую квартиру для какой-нибудь женщины, взятой с улицы. Это стоило бы ему дешевле, нежели жена. Он не способен понимать, что жениться не значит только взять женщину на содержание. У него сердце, не способное к привязанности».

— Я уверен, что он очень привязан к вам,— вас называют красавицею,— сказал Волгин.

— На улице он мог бы найти любовницу очень красивую,— отвечала она.— Для него было бы все равно, та или другая женщина, лишь была бы молода и красива.— Но что я говорю? — Он верен мне, а я... о, до какого унижения довел он меня! — Я должна сознаваться, что он прав передо мною, а я преступница перед ним!..

Она залилась слезами. Волгин рассудил,— и совершенно справедливо,— что сделал не очень хорошо, заставивши ее плакать.

— На вас досадно смотреть, какими пустяками вы смущаетесь,— извините меня, вы могли уже увидеть, что я не умею говорить деликатно. Что вам за охота не понимать ваших истинных отношений к мужу? — Зачем он женился на вас? — Вы говорите, вы нравились ему. Согласен. Но вы сама говорите, всякая красивая женщина с улицы была бы очень хороша ему, а стоила бы гораздо дешевле. Значит, жена ему была нужна не для него самого,— для общества. Почему он выбрал вас? Аристократку,— то есть настоящую, важную аристократку,— за него не отдали бы тогда; из мелюзги, которая воображает себя аристократиею, отдали бы, но какая польза от такого родства? — Ему нужно было стать своим в настоящем, сильном аристократическом обществе. Он рассчитал: «Ее дядя хорош в нем. Он эгоист, не хочет ничего сделать для родных. Но пусть он увидит племянницу женою человека, который не нуждается в его протекции; пусть он увидит, что она — блестящая молодая женщина. Он примет ее, как самую приятную находку: пусть она украшает собою его обеды, вечера».— Было это? Хорошо принял вас дядя? Просил вас быть хозяйкою на его обедах и вечерах?

— Да.

— То-то же и есть. И вы вошли в аристократическое общество?

— Да.

— А ваш муж?

— Конечно, и его не могут не принимать хорошо в тех домах, которые дружны со мною.

— То-то же и есть. Это хорошая вещь, подружиться с аристократами, не переставая быть демократом. Как ему было втереться самому? Первое, собственно его-то и не впустили бы; второе, стараясь втереться, испортил бы репутацию демократа. Ныне, известно, всё реформы; реформировать должны демократы. Надобно было и залезть в высший круг и сберечь свою славу, что он дельный реформатор. Удалось, как видите. И я думаю, он говорит друзьям-демократам в минуты откровенности: «Против воли якшаюсь с аристократами и продолжаю ненавидеть их».— Так думает Рязанцев,— вероятно, не сам выдумал, слышал от него.— Хорошо. Вы производите эффект; за вами ухаживают; а вы неглупая женщина. Что же из этого? — Натурально: «Прошу тебя, душа моя, будь любезна с таким, он мне нужен».— «Душа моя, прошу тебя,

будь очаровательно мила с женою, или с сестрою, или с теткою такого-то, он мне нужен»,— позвольте спросить, так ли? — Да и спрашивать нечего.— В чем же, оказывается, вся сущность дела? — «Я беру вас, mademoiselle [1], переименоваться в madame [2] и помогать моим делам».— Вы помогаете. Чего ж ему больше? — Больше ничего и не требуется.

Раздался звонок. По манере звонить Волгин узнал жену.

— Ну, вот и Лидия Васильевна. Да-с, чего же ему больше? — Вашего расположения? —Вот, очень нужно оно ему! Если б оно было важностью для него, он и сохранил бы его, вы сами сказали.— Чем ему огорчаться? — Что он, маленький ребенок, что ли? — Не знал он вперед, что если женщина окружена поклонниками и потеряла расположение к мужу, то увлечется кем-нибудь другим? — Зачем же он не берег вашего расположения? — Значит, сам решал: «Душа моя, конечно, для мужа неприятно, если жена увлекается другим, но ты видишь, у меня много интересов гораздо поважнее этого. Мне с тобою некогда нянчиться, душа моя. Знаю, ты увлечешься кем-нибудь,— но, душа моя, продолжай усердно помогать мне в делах, более важных для меня». Теперь, вы видите...

Взошла Волгина. Савелова бросилась на шею к ней. Пока она душила и заливала слезами Лидию Васильевну, он перебирал пальцами бороду: ловко ли уйти, не договоривши,— и особенно, когда говорил с горячим участием? — Неловко.— Но случай уйти не раскланиваясь был очень хорош. Раскланиваться! — Да; если пропустить эту минуту, надобно будет раскланиваться.— Он пятился к двери и благополучно исчез.

Вчера Савелова с трепетом возвращалась домой. Нивельзин оставил ей в магазине записку, наскоро написанную карандашом: «Он подозревал. Но опасность совершенно миновала. Благодарите Волгину». Магазинщица также успокаивала ее. Но она все-таки боялась. Напрасно. Перчатка Волгиной имела полный успех. Савелов был уже дома, когда жена, сделавши несколько визитов, чтобы дать себе время сколько-нибудь оправиться от волнения, вернулась. Муж, против обыкновения, встретил ее: он

---

[1] Барышня *(франц.)*.
[2] Госпожу *(франц.)*.

дожидался! — Это снова испугало ее. Он очень ласково обнял ее и, как ей показалось, не заметил ее смущения. Она ободрилась и успела подавить свое замешательство. Но все она еще не знала, как понимать его ласковость и веселость. Не притворяется ли он, чтобы лучше можно было продолжать следить? — Но ушедши в свою комнату раздеться, она увидела на столике у трюмо новую коробочку. Это был дорогой браслет; слишком дорогой по доходам ее мужа. Такого дорогого подарка он не мог бы сделать для притворства: видно было, что в самом деле он был в восторге, забыл расчет от радости. Теперь она перестала сомневаться. Но как ей тяжело было идти благодарить за подарок! — За подарок, который сделан обманщице обманутым мужем!..

Она с неподдельным чувством говорила о том, как мучительно было для нее лицемерить перед мужем. Она получила награду за верность! — Муж был в этой новой сцене совершенно доверчив; ему было даже как будто бы совестно за себя перед женою. Если б она захотела, она могла вырвать у него признание, что он подозревал ее,— он стал бы просить прощения! — Но ей и без того было слишком тяжело: она получила награду за верность!

— Пусть он перестал подозревать, но надолго ли? — стала говорить Волгина.— Такие опасные отношения не могут продолжаться.

При первых словах ее об этом Савелова заплакала.

— Чего вы требуете от меня? — Чтобы я разлюбила Нивельзина? Чтобы я перестала видеть его? — Я не могу.

Волгина была проникнута сожалением о бедной женщине; но эти слова очень дурно подействовали на нее. С чего она вздумала, что от нее требуют бросить Нивельзина? — Волгина должна была сделать усилие над собою, чтоб не отвечать резко. Но не могла принудить себя говорить с прежнею нежностью. Она не могла притворяться; все, что она могла, было только сдерживать себя.

— Я не говорила, чтоб вы бросили Нивельзина,— сказала она.— Я сказала только, что это не может продолжаться так; и вы сами должна понимать: не может. Ваше положение слишком опасно и тяжело. Как вы думаете выйти из него?

Савелова не заметила перемены в ней. Плакала, плакала, и опять бросилась на шею к ней.— Волгина подавила свою досаду.

— Я слышала, что Нивельзин очень хороший человек; правда это? Я слышала также, что он перестал быть ветреником, и я расположена думать, что он серьезно любит вас,— так и вам кажется? Или я ошибаюсь?

Савелова стала с энтузиазмом говорить о Нивельзине.

— Верю всему, что вы говорите о нем и об искренности его любви к вам. Но я жду, на что же вы решитесь.

Савелова плакала.— Помогите мне!

— Вы видели, я и без вашей просьбы помогала вам.

— Посоветуйте мне; что́ мне делать.

— Послушайте, в таких важных делах нельзя поступать по чужому совету. Решайтесь сами так или иначе.

Савелова плакала.— Я не знаю, на что мне решиться... Давно он убеждает меня бросить мужа... Помогите мне, посоветуйте!..

— Ах, вот что! — сказала Волгина с досадою, но опять подавила ее.— Он убеждал вас. Почему же вы не решались? — Вы не были уверены в том, что его любовь прочна?

— Нет, нет!.. Я знаю, он любит меня!..— Она продолжала плакать.— Помогите мне, посоветуйте, что мне делать...

— Советовать вам я не могу. Вы не ребенок. Помочь? — Извольте. Вы понимаете, что это не может продолжаться так. Если вы не решаетесь бросить мужа, я пошлю моего мужа вытребовать от Нивельзина, чтобы он не видел вас больше. Вы говорите, Нивельзин благородный человек и искренне любит вас,— и я думаю, что это правда; не сомневайтесь же, он поймет необходимость повиноваться...

Савелова слушала, как убитая. Встрепенулась и с энтузиазмом воскликнула:— Я решаюсь бросить мужа.

— Я очень рада, если так,— сказала Волгина.— Я начинала терять терпение с вами.— Она стала ободрять Савелову и сделалась опять ласковою; ободряла, хвалила.— Савелова экзальтировалась и была совершенно счастлива своею решимостью.

---

— Ну, что, голубочка? — спросил Волгин, обертываясь от письменного стола к жене, которая, проводивши Савелову, шла к нему.— Знаешь, она мне понравилась: в сущности, хорошая женщина. Хочет бросить мужа?

— Да. Нивельзин уже предлагал ей это. Остается только, чтобы ты отправился к нему, сказал, что она согласна. Ты говорил мне, нужно трое суток, чтобы получить заграничный паспорт.

— Это обыкновенным порядком, голубочка. Если захотеть, можно и скорее.

— Помню, ты говорил. Но я уже сказала ей, три дня...

— Зачем же ты сказала, голубочка, «три дня», когда можно б и скорее? — не утерпел не сказать Волгин. Если он не мог пояснить, то уже непременно желал пояснений.

— Было бы долго говорить, мой друг: тебе надобно поскорее идти к нему. Но, между прочим, я сказала так и потому, что вовсе нет надобности подымать шум особенными хлопотами.

— Это твоя правда, голубочка,— согласился муж.

— У меня была и другая причина; но после, когда будет время говорить. Может быть, я и ошибаюсь. Но некогда заводить длинный разговор.— Я сказала ей, что она не должна теперь ни видеться с ним, ни переписываться. Ты...

— Натурально, голубочка,— не преминул пояснить муж.— Им обоим надобно теперь держать себя посмирнее, чтобы не возбудить как-нибудь нового подозрения. Значит, и я должен сказать ему: не ищите видеться и не пишите.— Он взял фуражку:— Как же теперь условие? — Берет паспорт себе и еще какой-нибудь женский — не на ее имя, конечно, голубочка? — Натурально, немудрено: ну, там швея какая-нибудь, француженка, едет за границу. Понимаю это. Значит, только время и место.

— В четверг, в одиннадцать часов вечера...

— Правда, голубочка,— не мог не пояснить Волгин.— В одиннадцать — будет уже ночь. Раньше — еще светло.

На каждом слове задерживаемая его основательными пояснениями, Волгина досказала и остальные подробности.

В то время железной дороги из Петербурга к западной границе еще не было. Кто не хотел ждать парохода, ехал на почтовых. Нивельзин, в дорожной карете, будет ждать у квартиры Савеловых.

— Прекрасно,— заключил Волгин общим пояснением, пояснив поодиночке все подробности.— Прекрасно, голубочка. Тем больше, что она понравилась мне.

— Иди же, будь спокоен: верю, что она понравилась тебе. Не уверяй больше.

— Эх, ты голубочка, все смеешься надо мною,— сказал муж и залился руладою, раскаты которой продолжали долетать до Волгиной и с лестницы.

---

Нивельзин ходил по комнате, служившей ему кабинетом. Он встретил Волгина с боязнью. Волгин захохотал во все горло, по одной из многих милых своих привычек:

— Что, видно боитесь, что я стану читать мораль? Оно и стоило бы за вашу вчерашнюю неосторожность. Должны были знать, с каким человеком имеете дело. Следовало бы осматриваться повнимательнее. Ну, да уж так и быть.— Сейчас,— ах, позвольте, как ее имя и отчество? — Я сохраняю нравы доброй старины, не могу говорить, не зная имени и отчества; ну, вас-то зовут Павел Михайлыч, кажется; так? — А ее?

— Антонина Дмитриевна. Но умоляю вас, говорите же скорее: зачем вы? Что вы знаете о ней?

— Сейчас, погодите, попросите прежде сесть,— Волгин залился руладою от восхищения своим остроумием: ха-ха-ха! — Ну-с, теперь можно. Сейчас Антонина Дмитриевна была у нас,— он погрузился в серьезность,— и, проводивши ее, Лидия Васильевна прислала меня сказать вам, чтобы вы собирались за границу.

— Я знал это,— проговорил Нивельзин, опускаясь, как пораженный громом.

— Что вы? — Да натурально с нею! — Она решилась.

— Она решилась! — Она решилась, говорите вы? — Он казался помешанным от радости.

— Само собою, решилась.— Волгин погрузился в размышление.— Антонина Дмитриевна очень хорошая женщина, Павел Михайлыч,— произнес он чрезвычайно поучительным тоном.

— Как поняла она мое чувство к ней! — с увлечением сказал Нивельзин.— Такое доверие ко мне! — Как она знала, что не обманется во мне!

— Позвольте, Павел Михайлыч,— прервал Волгин:— О каком доверии вы говорите? Зачем же вы думаете о себе так низко, будто можно не считать ваших слов серьезными?

— Каких моих слов? — Нивельзин не понимал в свою очередь. Но Волгин уже успел сообразить и потому отвечал очень ловко, по крайней мере очень возгордился в глубине души ловкостью своего ответа.

— Оно разумеется, Павел Михайлыч: с одной стороны, вы и прав. Она вверяет вам свое счастие — как же не доверие?

Нивельзин был так взволнован, что не заметил ловкости, с какою увернулся Волгин. Он был мало знаком с глубокомысленным дипломатом, но достаточно знал его за дикаря, который по рассеянности и неловкости очень часто говорит вздор, ни к селу ни к городу. Вероятно, так он и понял замечание и уступку Волгина; по крайней мере пропустил их без особенного внимания.

— Она оказывает мне великое доверие, и как возвышает она меня им в моем собственном мнении! — продолжал он и довольно долго, очень горячо толковал на эту тему: Савелова оказала ему необыкновенное доверие, он очень гордится тем, что она так хорошо поняла его чувства.

Волгин, как человек, отличавшийся догадливостью нисколько не меньше, нежели ловкостью, теперь уже совершенно ясно понимал, в чем дело: между Нивельзиным и Савеловою никогда не было речи о такой развязке, на какую она решилась. Нивельзин никогда не предлагал ей бросить мужа. Она могла только вообще видеть, что он готов был бы и умереть за нее, не только посвятить свою жизнь ее счастию. Но он никогда не говорил ей ничего, кроме страстных фраз, в которых не бывает никакого определенного смысла или, вернее, ровно никакого смысла.

«Вот это штука! — размыслил он.— И как могла выйти такая штука?» — При своей необычайной сообразительности, он не затруднился и объяснить себе, как могла она выйти, и был готов головою ручаться, что не ошибается в своем предположении; но его прежнее мнение о характере Савеловой значительно изменялось от этого предположения.

— Да, она очень понравилась мне,— заметил он, считая обязанностью выразить свою симпатию разгоряченному Нивельзину, восторженно твердившему, что вся жизнь его будет одною непрерывною заботою о счастье «Нины», как называл он Савелову.— Знаете, я не очень-то много наблюдателен, но тут даже и я увидел с первого

раза:— кроткая женщина, не рисуется,— очень хорошая женщина.

— Вы не ошиблись,— подхватил Нивельзин и совершенно отдался порывам своего чувства, уверенный в сочувствии слушателя. Волгин действительно восхищался честностью сердца, раскрывавшегося перед ним,— расчувствовался, но и глубокомысленно соображал: он всегда соображал, и всегда глубокомысленно.

Кроткая! — надобно слышать, как она говорит о своих завистницах: никогда, ни об одной из них не сказала она злого слова; она умеет мстить им только молчанием, если не может мстить услугами. Скромная! — надобно слышать, что говорят о ней ее завистницы: при всем ожесточении принуждены они сознаваться, что в ней нет кокетства. Они только могут называть ее холодною, лишенною сердца, беснуясь от досады, что не могли до сих пор найти ни малейшего предлога для сплетен о ней. Как стыдится он за свое прошлое, сравнивая себя с нею!— На какие пошлые увлечения потратил он свежесть своего сердца!

До недавнего времени он был пошлым человеком. Единственное хорошее, что было в нем,— он любил науку. Но какую? — отвлеченную, которая могла развить ум, доставить ученую репутацию,— только; она не облагораживала его сердца, и его образ мыслей оставался мелочен, мертв, гадок. Он не думал о народе, не думал о счастии людей. Отечество было для него — официальный механизм, со своею мишурною стройностью, славою. Этому отечеству он служил, и воображал, что исполняет весь долг гражданина, стараясь помогать увеличению силы механизма, который давит народ. Он усердно служил этому чудовищу своими знаниями — и затем считал себя вправе не думать ни о чем, кроме грубых наслаждений. В своем поместье видел он источник средств для покупки наслаждений, в женщинах — торговок, продающих наслаждение собою. Он и был прав, думая так о женщинах, которыми наслаждался. Пока он был юношею, не мог играть роль в свете, он кутил с теми женщинами, которые продают себя прямо за деньги. Он вошел в свет и увлекся другими, более грациозными: этих надобно было покупать, затмевая соперников светским блеском, точно так же бросая деньги, только не прямо в руки им, а на лошадей, на всяческие безрассудства для

потехи им:— а прямо, им самим, вместо денег надобно было давать лесть,— и они отдавались так же легко и с таким же сердечным влечением, как те, обыкновенные продажные женщины...

— Ну, позвольте, Павел Михайлыч, это уже слишком мрачно,— возражал Волгин, с неизменною своею основательностью, и совершенно справедливо объяснял, что и в самых отъявленных кокетках часто бывает некоторая сердечная теплота, потому что и они тоже люди, следовательно, имеют некоторую потребность привязываться; что в бедных женщинах, принужденных продавать себя, это человеческое чувство проявляется еще менее редко. И надобно думать, что довольно многие привязывались к Нивельзину довольно искренне, потому что он и сам по себе очень может нравиться, независимо от своих денег или своей лести.

— Конечно, бывало, что и они привязывались, и я к той или другой,— соглашался Нивельзин.— Но с обеих сторон человеческое чувство было так слабо, так мимолетно, так загрязнено пошлостью и так легко исчезало, лишь только разводил нас или случай, или новый каприз.

— И опять же, нет вам причины особенно стыдиться за себя,— пояснял Волгин.— Правда, вы не имели порядочного образа мыслей, потому провели первые годы молодости в пошлых кутежах и волокитствах. Но все молодые люди, имевшие деньги, вели себя тогда не лучше вашего. Время было такое бессмысленное.

— Я думаю, что мне это менее простительно, нежели другим. Другие были невежды.

— Да, ну это вы сам справедливо заметили: тогдашняя наука была безжизненная; потому и не могла облагораживать человека. Общество не требовало от человека ничего, кроме пошлости.

— Вот это мне горько, что я не мог очнуться от нее сам,— сказал Нивельзин.— Я раскрыл глаза на свою жизнь и стал понимать свои обязанности только тогда, когда пробудилось такое же сознание в целом обществе.

— Об этом уже сказано, Павел Михайлыч:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,—

продекламировал Волгин и залился руладою в одобрение остроумной цитате.

— Аполлон, то есть общество; под именем же поэта разумей всякого человека. Один воин в поле не рать, говоря проще, Павел Михайлыч: потому и хороший воин отлагает оружие и предается занятиям, не свойственным его мужественной природе.— Он опять залился хохотом, потому что и новая острота была очень недурна, по его мнению, а вслед за тем предался размышлению и вздохнул:

— «Пробудилось сознание в целом обществе!» — Ну, хватили, Павел Михайлыч! — Он покачал головою и опять вздохнул.

— По крайней мере стало пробуждаться,— сказал Нивельзин. Тогда и он увидел перед собою вопросы, от которых затрещало у него в голове. Как должны быть решены они? — Он сознал себя невеждою во всяком живом знании, и ясно было для него только одно: он расточал на свои пошлости чужие деньги, добываемые, быть может, не по́том только, но и кровью; быть может,— потому что он не знал, как живут крестьяне его села. Он поехал туда.

— Ну, что же? — и поступили там очень хорошо; Рязанцев говорил,— одобрил Волгин.

Правда, Рязанцев хвалит. И в самом деле, он прожил около года в деревне не совсем без пользы и для крестьян и для себя. Если что помогло крестьянам, то именно его незнакомство с их бытом и надобностями. Оно отнимало у него всякую мечту благодетельствовать им по своему усмотрению. Он мог только спрашивать их, чего они желали бы. Спросивши, он сделал, как они считали хорошим. Они, конечно, остались довольны. Но велики ли желания людей, которые привыкли жить очень бедно? Жалкое благосостояние, благосостояние по их понятиям! — Теперь они даже боятся освобождения! — Трудно ли удовлетворить желаниям людей, которые боятся освобождения?

— А в каком положении были они прежде? Разорены? — спросил Волгин.

— По их словам, и прежде жили хорошо; хорошо! — Впрочем, ответ их был резонный: «Как же не хорошо? Где же в соседях-то живут лучше?»

— Много вам стоило поправить это прежнее хорошее? Половины доходов?

— Да, около.

— То есть больше, нежели половины?

— По двум, трем годам нельзя вывести верного расчета,— отвечал Нивельзин.— Но вообще я стараюсь как можно меньше думать о благоденствии моих крестьян: и вспоминать о нем грустно, а смотреть — было очень неприятно. Поэтому я не выдержал и одного года в деревне, хоть мне очень хотелось бы остаться там подольше: развлечений не было, я мог читать и думать вволю. Но невыносимо было видеть крестьян с их довольством.

Он поехал за границу. Прожил с полгода в Париже. Там он провел время недурно.

Веселая сторона Парижа осталась неизвестна ему: пошлости опротивели ему. Но для человека, желавшего учиться, Париж был хорош. Парижский народ держит в своих руках судьбу Европы. Любопытно было всматриваться, чего можно ждать от него. Но упадок духа в парижских работниках очень велик. Это тоже своего рода русские крепостные крестьяне, по широте размера своих желаний. Разница только та, что у русских крестьян и не было никогда желаний более широких; а там были, но убиты. Это еще грустнее. Он не выдержал в Париже более полугода и поехал в Петербург: у нас все-таки жизнь пробуждается, а не замирает; гораздо больше отрадного.

Но то общество, в котором он погубил свои прежние годы, конечно, не могло уже привлекать его. Он стал сходиться с передовыми людьми Петербурга. Некоторых он нашел пустыми фразерами. Другие внушили ему и любовь и уважение. В особенности Рязанцев, в котором великий ум, колоссальная ученость соединены с энтузиазмом к правде, с пламенною преданностью народному делу. Он был так счастлив, что приобрел расположение Рязанцева. У Рязанцева изредка бывает Савелов. Он познакомился там с этим замечательным человеком, которому, к счастию для русского прогресса, открывается такая блистательная карьера.

— Вот как вы расхваливаете его,— вставил Волгин,— признаться, я не ждал этого.

Нивельзин отвечал, что готов, если бы то понадобилось, стреляться насмерть с Савеловым, как частный человек с частным человеком, но должен признавать его чрезвычайно полезным государственным деятелем. Как реформатор, он безусловно честен. Энергия его непре-

клонна. Он преклоняется перед благородным двигателем освобождения крестьян.

Он стал бывать у Савелова. Не очень часто, потому что время Савелова дорого. Но не редко, потому что Савелов желал сблизиться с ним, хотел сделать его одним из своих помощников. Да, это положительно верно. Уже были намеки, довольно ясные. Савелов говорил с ним о делах; давал прочитывать ему разные проекты и просил делать замечания о них. Говорил, что когда будет решено освобождение крестьян, то Нивельзину будет надобно «бросить свое безделье».— Когда Нивельзин приезжал к Савелову, то обыкновенно обедать. Обед — почти единственный час отдыха и свободы для Савелова. Он живет очень скромно. У него нет состояния, и он бескорыстен. Министр предлагал увеличить его жалованье, он постоянно отказывался. Он отказался бы и от половины того, что получает, если бы не знал, что это показалось бы лицемерием.— Обыкновенно они обедали втроем: изредка чиновник, который заработался до обеда с Савеловым и оставлен был продолжать работу после обеда; еще реже,— какой-нибудь официальный гость, пожилой, умеющий говорить только о службе.— Иногда Савелов оставался с женою и Нивельзиным довольно долго после обеда; чаще ему не было времени, и Нивельзин оставался один с хозяйкою. Савелов был чужд всякой мысли опасаться Нивельзина; отчасти, быть может, потому, что видел в нем человека честного, серьезного, а главное, человека, которому до омерзения надоело волокитство, но еще гораздо больше потому, что не опасался никого: он был совершенно уверен в своей жене.

Она вполне заслуживала того. Такой муж и не мог бы верить ей, если б она не заслуживала того вполне. Возвратившись в Петербург, Нивельзин почти совершенно перестал бывать в большом свете. Но у него остались связи с ним. Нивельзин знал репутацию Савеловой. Странным феноменом казалась эта женщина молодым людям, которые прежде были товарищами Нивельзина по ветрености, из которых иные оставались теперь его приятелями, потому что и сами отчасти подверглись перемене к лучшему. Между множеством кокеток, довольно большим количеством искренних ветрениц в большом свете есть, хоть и немногие, молодые дамы, верные

мужьям. Но это или набитые дуры, у которых недостает ума даже и на то, чтобы изменить,— или женщины, которых никто не желает соблазнять,— так ужасно некрасивы они,— или женщины без души и сердца, совершенно холодные эгоистки, расчетливые лицемерки, злые завистницы, рассудившие, что надобно затмевать других добродетелью, потому что не могли бы затмить их ни красотою, ни грациею. Но таких женщин, как Савелова, приятели Нивельзина не видели в аристократическом кругу. Она была добра и мила; она была умна. По красоте мало было соперниц ей; по грациозности — еще меньше. Толпы поклонников теснились к ней; она дозволяла говорить себе любезности, пока любезности говорились без претензий. Но едва любезность переходила границы ничтожной болтовни, она заставляла замолчать; заставляла без жеманства, не разыгрывая оскорбленную, не прикидываясь ни ангелом наивности, ни мегерою добродетели. Навязчивых глупцов она отдаляла от себя. Неглупые люди, отказавшись от претензий, могли оставаться хороши с нею; и когда они после говорили ей, что не могут понять ее, она отвечала: «Я не так глупа, чтобы верить, и не так ветрена, чтобы увлекаться, когда не верю».— Тем, которые были особенно хороши с нею, она прибавляла: «Я должна быть в обществе и люблю его. Но я езжу в общество затем, чтобы поддерживать отношения, которыми должна дорожить, и вместе с тем веселиться. Но вовсе не затем, чтобы кокетничать,— это дурно; еще меньше затем, чтобы влюбляться; влюбиться — значило бы страдать и подвергнуться унижению; я не хочу ни того, ни другого».— Сначала некоторые глупцы отваживались повторять какую-нибудь сплетню, сочиненную какою-нибудь подлою завистницею. Но их слова были встречаемы таким хохотом и таким презрением менее глупых товарищей, что они со стыдом прикусывали языки.— Довольно давно уже не было попыток сплетничать о Савеловой: кокетки убедились, что она не отнимет ни у одной из них ни одного любовника, добродетельные фурии убедились, что никто не поверил бы новым клеветам.

Нивельзин знал, что она не позволила бы волочиться за собою; да и не был расположен волочиться: пора легкомысленных ухаживаний прошла для него. Но Савелова произвела на него очень хорошее впечатление; кроме своей красоты, также и умом, добротою. Когда муж уходил

после обеда работать, ему было приятно оставаться с нею. И ей также было приятно, что он остается: прежде ей почти всегда приходилось проводить одной время между обедом и началом аристократического вечера. Они продолжали говорить так же, о том же, как и при муже. Иногда они читали. Они стали дружны.

Это могло бы продолжаться много времени, могло бы продолжаться, быть может, до той поры, пока Нивельзин не полюбил бы другую,— конечно, девушку,— потому что, ему казалось, он уже не полюбит иначе, как с мыслью жениться. Одно обстоятельство дало его чувствам направление, какого он не воображал: он увидел, что Савелов держит себя в таких отношениях к жене, которых нельзя одобрить. Она была для мужа не больше, как должностное лицо. Это лицо должно было исполнять свои обязанности. Одна, не очень важная,— заменять экономку; другая, гораздо интимнее,— заменять наложницу; но еще гораздо важнее была третья: помогать его возвышению приобретением очень сильных или очень знатных друзей, которые легче и прочнее привязываются самою ничтожною внимательностью красивой, грациозной молодой дамы, нежели самыми старательными заискиваниями мужчины. Савелова безукоризненно исполняла две первые обязанности, с большим успехом третью. Потому она была в совершенной милости у мужа. Он не делал ей выговоров по хозяйству и по обеду; напротив, часто выражал свое удовольствие тем или другим блюдом. Он не ездил ни к какой лоретке и очень лестно для законной своей одалиски называл себя счастливым мужем. За хорошее выполнение своих инструкций о том, как с кем должна она держать себя в обществе, он очень любезно благодарил ее; однажды,— когда она успела, наконец, очаровать долго не поддававшуюся чрезвычайно важную и еще более злую старуху, он так обрадовался, что благосклонно поцеловал руку жены,— но и тем не ограничил своей награды: с глубоким чувством сказал: «Ты незаменимая жена». Он был очень милостивый начальник.

Довольно долго Нивельзин не видел, что он только начальник и содержатель своей жены. В свете было решено, что она любит мужа: иначе она не могла держать себя так безукоризненно. А он не имел любовницы: как же не владела его сердцем жена, притом же такая

красавица? — конечно, она и владела бы сердцем мужа — если б у мужа было сердце.

Нивельзин не мог предполагать, что Савелов не способен любить. Может ли благородный гражданин быть бездушным эгоистом в частной жизни? — Нивельзин и теперь не понимал, каким образом это возможно. Он только видел, что в Савелове это так. Ему трудно было заметить это, потому что это было неимоверно.

Но убедившись, что Савелов не имеет ни искры теплого чувства к жене, он не мог не понять, что эта добрая и нежная женщина не совсем счастлива. В ней была потребность любви.

Нивельзин заметил, что слишком живо жалеет о ней. Он не был неопытный юноша, чтобы не рассмотреть, какое чувство скрывается под симпатиею к женщине, лицо которой казалось ему очень мило. Он не колебался: он не мог сохранить личной привязанности к человеку сухой души, но глубоко уважал в Савелове благородного государственного деятеля...

— Эх, вы! — перервал Волгин, покачал головою, размыслил и повторил с удвоенным чувством: — Эх, вы! — Связать бы вас с Рязанцевым по ноге да пустить по воде! — Он залился руладою в поощрение остроумию, с которым воспользовался поговоркою.

— Шутки не опровержения,— сказал Нивельзин,— факты за нас с Рязанцевым.

— Хорошо; не спорю; факты,— сказал Волгин, покачал головою и опять превратился в смирного слушателя.

Нивельзин не колебался. Он сказал Савелову, что решился не принимать никакого официального места.— «Прежде мне казалось, что вы не прочь служить, лишь бы с пользою для общества»,— сказал Савелов. «Желал бы; но увидел, что не способен».— Савелов стал говорить, что когда двинется дело об освобождении крестьян, будут устроены консультативные комиссии, что их члены будут пользоваться полною независимостью.— Нивельзин отвечал, что не примет никакого назначения, и потерял интерес для Савелова.

— Вы не были у нас целую неделю,— сказала ему Савелова.

Он пересказал ей разговор, который имел с ее мужем в прошлый раз.— «Прежде мы с ним думали, что можем

пригодиться друг другу. Теперь я нашел, что не могу ни быть полезен ему, ни получить пользы от него».

— Но он всегда будет дорожить вашею дружбою.

— Да; и я его дружбою. Но это не резон, чтобы я попрежнему отнимал у него время.

— Если не хотите отнимать времени у него, то у меня отнимайте как можно больше. У меня его очень много.

Через несколько дней приехал Савелов и увез его к себе, говоря, что так велела жена.

Прошло еще несколько дней. Она увидела его в опере, призвала в ложу, осыпала его упреками за то, что он забывает ее, а она — она скучает без него. Она все еще думала только, что скучает без него. Он видел, что она любит его. Он мог бы давно видеть это, если бы не воображал, что она уже никого не полюбит. Она взяла с него слово, что завтра он обедает у них.

В тот вечер он очень много думал. Его голова стала гореть. Он написал ей. Он говорил ей в этом письме, что не должен больше видеть ее, и умолял ее написать ему хоть одно слово в утешение.— Поутру его голова несколько прояснилась; но было уже поздно: письмо, отданное слуге на рассвете горячечной ночи, было уже отнесено.— Он мучился совестью за свою слабость, за свой эгоизм,— и был рад, что уже не может поправить свое безрассудство.

Она отвечала. Она говорила, что его письмо удивило ее; что она не сердится; что она прощается с ним,— но не навсегда. Она просит его успокоиться. Они были дружны. Его экзальтация пройдет, и тогда они опять будут дружны.

Он отвечал. Она отвечала опять. Они стали переписываться. Если б его письма попали в руки ее мужа, они были бы лучшим оправданием ей.— Он умолял ее о свидании. Она говорила, что это безрассудно. Он покорился и хотел только хоть издали видеть ее: он стал снова бывать в обществе, где мог встретить ее.— Она просила его не делать и этого: они вовсе не должны видеть друг друга, даже и в обществе, пока его экзальтация пройдет.— Он покорился и этому. Она хвалила его послушание, благоразумие, утешала тем, что со временем они снова будут друзьями... Ее письма бывали иногда залиты слезами; но ее нежность всегда была тиха.

Он повиновался ее кроткой воле. Но силы его рассудка изнемогали. По временам безумные проекты овладевали его мыслями. То ему воображалось, что он мог бы послать вызов Савелову, и придумывал предлоги для ссоры. То ему мечталось, будто он говорит Савелову: — «Вы не можете любить никого; ваше великое сердце холодно ко всему, кроме великого, кроме желания заслужить славу, дав счастье народу. Я люблю ее. Жду от вас решимости, достойной вас. Скажите ей, что вы позволяете ей быть счастливою».— Он смеялся над этими фантазиями, но смеялся с ужасом: он чувствовал, что начинает терять власть над своими мыслями.

Никакие развлечения не были возможны для него. Он старался искать рассеяния в физической усталости. Он бродил из улицы в улицу, пока ноги подламывались. Тогда он мог спать.

Он услышал, что послезавтра будет большой бал во дворце.

«Она будет там,— стало думаться ему.— Она не заметила бы меня в толпе».

На другое утро ему думалось: «Я буду там говорить с нею. И муж ее будет там. Я подойду к нему. Я выпрошу у нее позволение бывать у них. Ее муж скажет: «Что ж это, вы совсем забываете нас? — Завтра мы будем ждать вас».

Он шел по Невскому. Далеко впереди, из Караванной, показалась ее карета, проехала сотню шагов и остановилась у модного магазина. Она вышла из кареты. Она не видела его: он был очень далеко.

Он опомнился только уже от того, что рука его взялась за холодную бронзовую ручку двери магазина.— «Идти или нет? — подумалось ему.— Идти. Все равно я увиделся бы с нею так или иначе».

Она испугалась, увидев его.— «Одну минуту разговора, и я опять буду послушен вашей воле»,— сказал он.— «Безумец! — Я думала, что вы уважаете меня».— «Вы боитесь? — сказал он с улыбкою.— Вы боитесь меня? Вы знаете, что вы не должны бояться меня».— Он улыбался, а на глазах у него были слезы.— «Я верю вам, Нивельзин,— сказала она.— Вы не только влюблены в меня, вы друг мне».— «Madame угодно будет пожаловать в комнату за магазином, чтобы примерять платье?» — скромно и ничего не понимая, сказала магазинщица.

Свидание длилось не одну минуту. Но мать, сестра могли бы быть свидетельницами его. Савелова сохраняла власть над собою. Нивельзин был покорен ее тихому напоминанию: «Милый Поль, я верила тебе,— будь же другом, достойным моего доверия».

Он умолял ее согласиться на второе свидание. Она была уверена и в себе и в нем. Она приехала на второе свидание без опасений. И на этот раз она не обманулась ни в себе, ни в Нивельзине.

Свиданья продолжались. Конечно, они не могли долго сохранить того совершенно идеального характера, какой имели вначале. Она привыкла больше и больше надеяться на себя и на повиновение Нивельзина. Она забывала осторожность. Она видела Нивельзина бледным, и тревожилась за него, и позволяла ему все более жгучие ласки.

«Я не виню тебя, милый Поль,— говорила она, когда, очнувшись от забвения, увидела себя его любовницею.— Я не хотела делать тебя моим любовником. Но ты счастлив, Поль; и я счастлива, что ты не будешь думать, что я мало люблю тебя. И не напрасно ли я мучила тебя, безрассудная? — Не теперь я погубила себя, если мой муж узнает, что мы виделись: я погубила себя первым же свиданьем».

---

Прошло уже три дня после того, как Волгин передал Нивельзину решение Савеловой. Погода была ясная. Волгина хотела воспользоваться ею, чтобы ехать искать дачу. Она послала взять карету.— Наташа, очень молоденькая девушка, титуловавшая себя горничною Лидии Васильевны, отправленная с этим поручением, вернулась и с гордостью объявила, что наняла карету полтинником дешевле, нежели думала Лидия Васильевна, и карета самая прекрасная, и лошади самые прекрасные.

Но Волгиной еще надобно было кончить дело, которым начала она заниматься, послав за каретою.

Она стояла в зале, у двух сдвинутых вместе и раскрытых ломберных столов. На столах лежали куски шелковой материи. В руках у Волгиной были ножницы. Она кроила платье.— Блондинка, одетая как барышня, но не барышня по своим слишком бойким манерам, следила, едва помня себя от восторга, за движениями ножниц.

— Если бы вы опоздали еще пять минут, вы уже не застали бы меня,— стала говорить Волгина, когда выкроила лиф и рукава и осталось только отрезать куски для юбки — работа, не требующая внимания: — Слышите, карета уже взята. Я не была бы виновата: я говорила Миронову, что буду ждать вас в двенадцатом часу.

— Все выбирала материю, Лидия Васильевна,— отвечала блондинка: — Денег-то немного, а хочется, чтобы материя была получше.

— Сумеете ли вы перекроить сама другие платья по этому?

— Не знаю, Лидия Васильевна; может быть, сумею.

— Это значит, не сумеете. Но по крайней мере не поленитесь перешить. Судя по тому, в котором вы шли вчера, и по этому, которое теперь на вас, все надобно перешить. И это сидит на вас мешком как-то.

— Не поленюсь, Лидия Васильевна; покорно вас благодарю.— Блондинка с быстротою молнии нагнулась и чмокнула руку Волгиной.

— Что вы, с ума сошли, Даша? А если я прибью вас за такие глупости?

— Как же, Лидия Васильевна, когда вы так милостивы ко мне, больше обещания вашего Петру Ильичу? — Хотите перекроить все. А у меня их целых семь.

— Хочу? — И целых семь? — Хочу все перекроить! — Однако вы догадлива, Даша. Не хочу ли я сделать вам еще какую-нибудь милость?

— Как же, Лидия Васильевна? — Вы прикажете, чтобы я, как сошью это, и потом, какое перешью, приходила бы показывать вам, хорошо ли сидит.

— Извольте, Даша, с удовольствием буду смотреть; и поправлять, если понадобится. Но я уверена, что с первого раза будет хорошо. На такую правильную талию легко кроить. Вы прекрасно сложена, Даша.

Блондинка с примерною застенчивостью потупила глаза и, очевидно, желала бы даже покраснеть. Этого желания не удалось ей исполнить; но глаза потупились как нельзя лучше.

— Будьте же и по поступкам такою же прекрасною девушкою, Даша. Будьте рассудительною, не прихотницею, не мотовкою. Я говорила Миронову, чтобы вы принесли мне перекроить платье, в котором шли с ним,— а вы купили материи на новое. Помните, Даша, что у Миронова

не так много денег; и если б даже мог он получать больше, у него теперь не такое время, чтобы ему следовало набирать много уроков. Помните, что с каникул он будет последний год в университете; ему надобно как можно больше заниматься для окончательного экзамена. Это может иметь влияние на всю его жизнь. Не забывайте этого, хорошенькая моя Дашенька.

— Не думайте так обо мне, Лидия Васильевна,— отвечала блондинка.— Кроме вот этого браслетика,— она приподняла больше на вид руку в браслете, стоившем рублей двадцать,— я ничего не получила от Петра Ильича; и то в первое время.— Буду ли я требовать от него? — Напротив, Лидия Васильевна: сама была бы готова помочь ему, если б он нуждался.

— Вот как! — От кого ж это новое платье, Даша?

— Ах, боже мой! — А я думала, он сказывал вам! — проговорила блондинка, совершенно растерявшись, и сильно покраснела.

— Тем лучше, Даша,— сказала Волгина, засмеявшись.— Но когда так, вам не следовало ходить под ручку с Мироновым: сохрани бог, увидят; — вам беда; и будете разорять Миронова.

— Ну, пусть увидит, толстый дурак: не такое сокровище, чтобы заплакала, если бросит,— отвечала блондинка, сначала рассудивши потупить глаза, потом, нашедши, что это лишнее.— Я уж и сама думаю, не бросить ли его. Скряга-то какой, если бы вы знали, Лидия Васильевна! Да что же, вы можете судить, как я живу, когда я должна сама себе шить платья. А сколько деньжищев-то у него! — Ей-богу, брошу, Лидия Васильевна! Согласитесь сами: надобно же подумать и о будущем. Не век буду молода. А что я могу нажить, живучи с ним? — Так вот, только доброе мое сердце. Но, ей-богу, самой перед собою совестно, что всякий умный человек назовет меня дурою. Одно можно сказать в похвалу ему: не пьянствует. Потому не имеешь неприятностей. Господи! — и что это за слабость у мужчин: нет им веселья без вина! — Но не все же.— Но, ей-богу: лучше уж пойду замуж, соглашусь, если не даст бог человека получше. Ей-богу, пойду, и с волею прощусь, на зло ему, толстому черту, скряге.

— Замуж, Даша? — Так у вас и жених готов? — сказала Волгина, опять засмеявшись, и продолжала серьезно: — Хороший человек, Даша? Не будет с вашей

стороны обмана? И не будет он попрекать вас после? Когда все так, то лучше, нежели связываться с дрянью,— потому что все такие люди дрянь, Даша: у них нет совести; если бы была, не заставляли бы девушек стыдиться,— если нравится жить с девушкою, то и женились бы на ней: не могут отговориться тем, что нет денег, когда находят деньги, чтобы содержать ее, не женившись: совести у них нет, Даша,— лучше же, нежели связываться с такою дрянью, идти замуж, хоть бы и не за богатого человека, но который имеет совесть и истинное расположение.

— Хороший человек, Лидия Васильевна. И обманывать его нечего: знает. Говорит: «Если бы вы пошли за меня, Дарья Ивановна, то никогда бы я не подумал на вас». И точно: чего ж ему тогда думать? — Идешь замуж, то, когда имеешь каплю совести, понимаешь: замужняя женщина должна держать себя как следует замужней женщине. Да и до того ли, скажите сама? — Захочешь детей иметь; а когда дети, то те ли мысли?.. Ах, Лидия Васильевна, какая у меня к вам просьба...— Бойкая блондинка запнулась и оробела.— Лидия Васильевна, Петр Ильич говорил мне, что вы оберегаете Наташу. Но клянусь вам моим богом, не услышит она от меня ничего дурного. Вы уедете, а мне позвольте остаться, поиграть с Володенькою: люблю детей, Лидия Васильевна; а Петр Ильич говорил про вашего маленького, что он...

— Не Миронов ли это, легок на помине? — заметила Волгина,— за вами, вероятно? — Но нет, он не так звонит. Это кто-то чужой.

— Петр Ильич и не может быть; он будет ждать меня. Я сказала, что от вас пройду к нему.

Наташа отворила дверь.

— А! — тихо проговорила Волгина, и тень пробежала по ее лицу.— Играйте с Володею, Даша: я очень рада. Зачем вы думаете, что я считаю вас дурною девушкою?

Вошла Савелова.

---

Беленькое, розовое личико Савеловой было бледно, бледно, и не розовое, а желтовато-красное. Глаза ввалились. Видно было, что бедняжка мало спала в эту ночь и много плакала; и краска ее только краска волнения.

Волгина угадывала, о чем плакала она, и если бы она не была жалка, Волгина сказала бы ей: «Может быть, вы

ошиблись? — Это не квартира Нивельзина. Вероятно, вы спешили к нему? — Если да, то прекрасно». Но жалость взяла верх. Если бы могла, Волгина возвратила бы своему голосу и взгляду ласковость, с которою проводила Дашу. Но она могла только не быть суровою.

Этого было довольно для Савеловой. Глаза, подернутые слезами, видят в сострадании сочувствие. Савелова бросилась на шею Волгиной и заплакала.

— Помогите мне!

— Я обязана. Я вмешалась в ваше дело, я должна не отступаться от него до конца.— Если бы Волгина могла давать своему голосу тот или другой тон по произволу, она сказала бы это с нежностью. Но все, что было в ее власти, было говорить искренне.— Перестаньте плакать. Вы не могли любить вашего мужа, потому что он не способен любить никого, кроме самого себя. Он один виноват в том, что вы полюбили другого. Никто из умных и честных людей не осудит вас за то, что вы не захотели оставаться обманщицею. Он сам покажет себя благородным человеком, когда увидит, что не может вредить вам. Он согласится на развод. Нивельзин безгранично любит вас. Мой муж очень долго говорил с ним и остался в восторге от него. Вся жизнь его будет посвящена вашему счастью. О чем же вы плачете? — Вас надобно оправдывать во всем; нельзя оправдать только в том, что вы плачете.— Савелова плакала.

— Перестаньте. Подумайте, какое впечатление произведут на Нивельзина ваши раскрасневшиеся глаза, ваше желтое лицо, если вы не перестанете плакать.— «Неужели ей так трудно было решиться? — подумает он.— О чем она столько горевала? Неужели она так мало любит меня?» — Скажите, вы мало любите его?

— Его? — Я, мало люблю? — воскликнула Савелова, и нежные слова с искренним энтузиазмом полились у нее.

Искренность чувства бедной женщины опять пробудила в Волгиной расположение к ней. Волгина получила силу приласкать ее.

— Когда вы так любите его, то не плачьте же. Будьте тверда.— Волгина поцеловала ее.— Будьте умница, моя милочка. Вы боитесь, что у вас недостанет решимости. Оставайтесь же здесь, у меня.

Савелова бросилась обнимать Волгину.— «Да, я останусь у вас!»

Волгина продолжала ласкать ее, как маленькую девочку, успокаивала, ободряла. Наконец, Савелова стала казаться твердою.

— Теперь можете дать мне слово, что не будете плакать?

— Да, теперь я не изменю себе и ему! — с энтузиазмом отвечала Савелова.

— И будете счастлива, моя хорошенькая, моя миленькая. До свиданья же. Мне надобно ехать. Я собралась ныне ехать искать дачу. Я объеду острова; может быть, проеду в Лесной. Будьте же без меня хозяйкою. Если я не вернусь в четыре часа, прикажите подавать обед.

— Возьмите меня с собою,— сказала Савелова с умоляющим взглядом.

— Нет, вы должна хозяйничать без меня,— шутя, но решительно отвечала Волгина.— Умойтесь холодною водою, отдохните. Вы утомлена, и вас ждет дорога. Когда я приеду, вы будете опять розовенькая, глазки у вас будут светленькие, веселые; и — так и быть, хоть я не охотница нежничать, я опять поцелую вас; мы сядем обедать,— я вернусь в четыре часа, вернусь, пусть и не успею объехать острова, я вернусь в четыре часа, увижу вас такою миленькою, хорошенькою, что можно будет показать вас Нивельзину,— мы сядем обедать, а сами пошлем сказать ему, чтоб он велел запрягать лошадей,— мы встаем из-за стола, он входит,— я посажу вас в карету, поцелую еще раз, поскорее,— и до свиданья.

---

В половине пятого Волгин вошел к Нивельзину.— В передней лежали два саквояжа и чемодан. В кабинете вещи с письменного стола и с этажерок были убраны.— Нивельзин ходил по комнате.

— Значит, совсем собрались в дорогу, Павел Михайлыч? — вяло сказал Волгин, флегматически усаживаясь на диван.— Когда все готово, то и прекрасно. И лошади наняты, как вы тогда говорили,— с утра готовы, и дорожная карета готова?

— Лошади стоят в конюшне. Карета куплена, привезена. Хотите взглянуть? — Очень покойная и легкая.

— Что смотреть-то, я думаю, хорошая. Да и увижу, как буду провожать вас. Прикажите запрягать лошадей.

— Еще рано.

— Не рано.

— Она у вас? Ждет меня? — Он дернул сонетку и велел поскорее запрягать лошадей.

— Да, она приехала к нам. Да вы садитесь-ко, это лучше.— Он притянул к себе Нивельзина и заставил сесть подле.— Сам не люблю ходить, и другим, по-моему, лучше сидеть.— Он залился руладою, потому что сострил, как по крайней мере сам был убежден. Потом погрузился в размышление.— Это затем я посадил вас подле, чтобы взять в руки, и возьму, и не выпущу, пока не провожу. Нельзя иначе, потому что невозможно надеяться на людей,— надо держать их в руках.— Эта острота была нисколько не хуже первой, и следовало бы Волгину также наградить себя за нее руладою, но он оставил себя без поощрения и, помолчавши, вздохнул, покачал головою и начал: — Да, надобно будет взять вас в руки. Точно, она приехала к нам: это было поутру: была взволно...

— Она у вас с утра? — Что же вы не прислали сказать мне? — Паспорты готовы у меня с десяти часов.

— Не дослушавши, да уж и сердитесь,— эх, вы! — вяло сказал Волгин.— Вы дослушайте. Я вам говорю, она была взволнована...

— Савелов догадался? Сделал сцену? Она больна?

— Да нимало; ничего такого. Здорова, и муж ее до сих пор ничего не предполагает. Да вы лучше слушайте, а не перебивайте. Впрочем, ничего особенного, не пугайтесь. Ровно ничего особенного.— Приехала поутру, была взволнована. Лидия Васильевна успокоила ее,— и точно, бояться было нечего; ну, да и велела мне не уходить из дому,— натурально, я сидел, писал,— что мне? — Конечно, был уверен, что он не приедет, да и не подозревает; — ну, если б и приехал, не велика трудность: «Очень рад, пожалуйте в кабинет,— очень рад»,— а между тем взял за шиворот, повалил на диван, завязал рот,— ну, и лежи: я уж рассудил, как это сделать,— это-то я еще с детства выучился ломать, хоть с виду и плох,— знаете, в детстве-то много играл,— ну, она б и не услышала. Ну, потому я спокоен, тем больше, что сам знаю, этого и не будет, он не приедет, не знает, не подозревает.— Ну, и сижу, натурально, пишу. Хорошо. Слышу, вернулась Лидия Васильевна. Идет, слышу, к себе,— идет потом, слышу, ко мне. Ну, натурально, я знаю, зачем она идет: скажет: «Иди, вели ему,— то есть вам,— прика-

зать запрячь лошадей»,— вот как я теперь и сказал вам,— разумеется, я жду этого от Лидии Васильевны; а она: «Давно уехала Савелова?» — Уехала? Как? Я, натурально, рот рази... Да будьте же мужествен! — Волгин подхватил застонавшего и покачнувшегося Нивельзина: — Будьте мужествен, Павел Михайлыч! — Что это вы, помилуйте! — Будто вы сам не должны были понимать, что это очень возможная вещь — даже слишком возможная. Это только я, дикий человек, не понимал ее характера, сомневался в опасениях Лидии Васильевны за ее характер,— а вы сам должны были иметь эти опасения,— иначе разве вы давным-давно не предложили бы ей бросить мужа? — Предложили бы с первого же свидания! — Чего, с первого свидания, с первого же письма! — Видно, хоть вы и были ослеплены и не могли видеть, а инстинктивно чувствовали, что нельзя предлагать — не бросит мужа,— вас-то, положим, любит, но пока можно не бросая мужа, то и любит: муж-то гораздо поважнее вас для нее...

Волгин мог очень свободно излагать свои совершенно основательные соображения, держа Нивельзина за плечо, чтобы вразумляемый не повалился с дивана: вразумляемый сидел очень смирно под поддерживающею рукою основательного мыслителя; но основательный мыслитель постиг наконец, что слушатель не слышит, потому не способен воспользоваться справедливыми его соображениями.

Совершенно справедливо сообразивши: «Однакоже, в самом деле, удивительный мастер я! — Отлично хватил, как молотком по лбу пристукнул.— Но, разумеется, опамятуется, и ничего: человек молодой, здоровый».— Основательно похвалив и успокоив себя этими очевидно верными соображениями, Волгин прислонил Нивельзина спиною в угол дивана, вздохнул, покачал головою и стал закуривать сигару, в ожидании упрямого сопротивления от Нивельзина, когда Нивельзин очнется. Волгин был глубокий знаток человеческого сердца, потому был уверен, что, как опомнится, Нивельзин окажется очень упрям, вздумает хвататься за всяческие нелепые мысли с пустою надеждою. Но факты были слишком ясны; потому Волгин, как мыслитель очень основательный, нимало не сомневался, что уломает «юношу», как называл его в своем сообразительном уме, таки запрячет его в дорожную карету и благополучно выпроводит из Петербурга.

— Где ж она? — глухо проговорил Нивельзин.— Зачем оставляли ее одну?

— Зачем Лидия Васильевна оставила ее одну? — Затем, Павел Михайлыч, что можно уговаривать, возбуждать человека, но надобно и дать ему время подумать; затем, Павел Михайлыч, что нельзя приневоливать человека быть счастливым по-нашему, потому что у разных людей разные характеры: для одних, например, счастье в любви; для других любовь приятное чувство, но есть вещи дороже ее; — затем, Павел Михайлыч, что и неопытных девушек не велят вести под венец насильно, не велят потому, что от этого не бывает счастья ни им, ни их мужьям. А она не глупенькая девушка, которая еще может не понимать ни людей, ни саму себя: она вернее всех нас может знать, в чем для нее счастье. Она показала вам, в чем: вас она любит; но с мужем у нее такая блистательная карьера! — Он и теперь сильный человек,— куда ни явится, она окружена почетом; а скоро он будет министром — и каким министром? — Каких у нас еще и не бывало. Это что за министры! — Над ними двор; они мелочь. А он возьмет власть по общественной необходимости, во имя реформ и государственного блага. Да, он рассчитывает быть не таким, как эти мелкие люди,— и кто из самых важных аристократов не будет гнуть спины перед женою всемогущего первого министра?..

Нивельзин вскочил и быстро подошел к письменному столу, отпер портфель, лежавший на нем, и пододвинул кресло. Волгин, с неизменною своею сообразительностью, понял, что до сих пор Нивельзин был все еще оглушен ударом и плохо понимал его справедливые рассуждения, но что вот теперь «юноша» опомнился, начнет сумасбродствовать и будет очень упрям.

— Что это, вы хотите писать ей, Павел Михайлыч?

Нивельзин, не отвечая, вынимал из портфеля письменные принадлежности.

Волгин с быстротою молнии сообразил из этого молчания, что не ошибся в своем соображении о том, что «юноша» будет очень упрям. Но, как основательный мыслитель, Волгин не поколебался и в той своей уверенности, что все-таки запрячет его в дорожную карету: факты слишком ясно показывают, что сумасбродство бесполезно,— «юноша», как ни будет отбиваться, уломается.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Прошло с месяц и больше. Волгина давно жила на даче, около Петровского дворца. Местность эта недурна, по крайней мере на островах нет местности менее сырой. Если бы не дела мужа, Волгина, конечно, не захотела бы искать дачу на островах: подальше от Петербурга есть местности лучше его ближайших окрестностей. Волгин обедал обыкновенно на даче, но большую часть времени должен был проводить в Петербурге. Часто дня по два, по три он не показывался на дачу, как ни близка была она.

Недели две он бывал на даче только такими урывками, на несколько часов около времени обеда, дня через два, через три. Наконец он доработался до конца, и теперь на несколько дней будет несколько посвободнее.

Он возвращался к обеду. Обед ждал его.

— Измучился, работавши? — Не спал эту ночь? — Не уверяй, что спал, нечего уверять. И должно быть, очень измучился, когда, при всем своем притворстве, приехал с таким веселым лицом,—говорила жена, ведя его обедать.

— Видишь, голубочка, конечно, я рад, что управился с работою и могу пробыть здесь суток двое, не ездивши в город, но не в этом главная штука, выходит штука очень хорошая, какой, признаться тебе сказать, я уже перестал и надеяться. Вообще, голубочка, могу свалить с себя часть работы,— и теперь ты уже можешь быть спокойна: не буду не спать по ночам, — хоть это и гораздо реже бывало, нежели ты думаешь,— но все-таки; а теперь этого уже вовсе не будет.

— Нашел человека, который тоже может писать, как надобно по-твоему? — с живою радостью сказала Волгина, с такою радостью, что глаза ее сияли.

— Нашелся такой человек,— да, нашелся, голубочка. И вообрази, как ты угадала тогда, — помнишь, когда ты заметила Савелова, как он подстерегал? — Ну, а перед тем самым,— тоже, уже на Владимирской площади встретился нам студент,— помнишь? — и ты сказала: «Чрезвычайно умное лицо; очень редки такие умные лица»,— помнишь? — Ну, он самый и есть. Фамилия его Левицкий. Вчера, вечером, приносит статью — небольшую,— читаю: вижу, совсем не то, как у всех дураков, — читаю, думаю: «Неужели, наконец, попадается человек со смыслом в голове?» — Читаю, — так, так, должно быть, со смыслом в

голове. — Ну, и потом стал говорить с ним. И вот потому-то, собственно, пришлось не спать,— нельзя, мой друг, за это и ты не можешь осудить. Проговорил с ним часов до трех. Это человек, голубочка; со смыслом человек. Будет работать...

— Помню теперь, — заметила Волгина, когда муж наговорился без отдыха о своей радости, — очень высокий, несколько сутуловатый, — русый, некрасивый, — не урод, но вовсе не красивый. Помню теперь. — Но это еще вовсе молодой человек, мой друг, — и уже так рассудительно понимает вещи, которые, по-твоему, не понимает никто из литераторов?

— Да, ему двадцать первый год только еще. Замечательная сила ума, голубочка! — Ну, пишет превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно, но это хоть и прекрасно, пустяки, разумеется, — дело не в том, а как понимаешь вещи. Понимает. Все понимает как следует. Такая холодность взгляда, такая самостоятельность мысли в двадцать один год, когда все поголовно точно пьяные! — хуже: пьяный проспится, дурак никогда. — Да, о дураках-то, кстати: вчера приезжал Рязанцев. Вот ты, я думаю, полагала, что я по своему обыкновению забыл, — оказалось, не забыл сказать ему, что интересуюсь Нивельзиным, и если он что узна́ет, сказал бы. Я и думал, что позабыл, — а видишь, нет. Нивельзина видели в Риме — здоров, разумеется; этот господин, который видел его, говорит, что немножко хандрит, — но, говорит, ничего. Из Рима думает проехать в Париж.

— Благодарю тебя, что не забыл сказать Рязанцеву. И какой милый этот Рязанцев! — верно, как услышал новое о Нивельзине, сейчас приехал сказать тебе.

— Добряк, голубочка.

— И любит тебя, мой друг, это заметно, хоть я мало видела его. И она, говорят, очень хорошая женщина — и хорошенькая, говорят, — очень молода; хоть уже лет десять замужем. — Но послушай же, мой друг: если этот Левицкий так понравился тебе, то привези его сюда.

— Хорошо, голубочка, — говоря это, Волгин начал погружаться в размышление и с тем вместе улыбаться; — погрузился, стал мотать головою и, наконец, разразился неистовым хохотом: — Ох, голубочка, ох! — Это я вспоминал, как я запрятывал Нивельзина в карету! — Ну, точно! — Было хлопот! — Молодец я, голубочка, уверяю! —

Ха, ха, ха! — Эх, голубочка! — Волгин вздохнул: — Ну, что тут было мудреного, скажи ты сама? — Другой урезонил бы его в полчаса, а я провозился с ним и не знаю сколько времени! — Это удивительно, голубочка, какой я жалкий человек! — Он мелет чепуху, а я спорю, когда следовало бы просто взять, повести да посадить, — потому что, скажи ты сама, можно ли переслушать все вздоры, когда человек сам не понимает, что говорит! — А я себе слушаю, возражаю! — Это удивительно!

— Ты очень терпелив, мой друг, и мало бывал в обществе, мало знаешь людей, не привык обращаться с ними. — Но ты и слишком преувеличиваешь, когда воображаешь, будто очень легко было бы другому заставить его уехать. Не совсем легко, мой друг. Ты напрасно смеешься над собою.

— Но ты возьми то, голубочка, с какой же стати мне было не понимать ничего? — То есть это я уже обо всем этом деле. Например. Приезжает Савелова, — в первый-то раз. «Люблю, люблю». — Я и развесил уши. Кажется, ясно: почему ж вы, милостивая государыня, не разошлись с вашим супругом? — Одно из двух: или ваш господин милый не желает этого, — то есть вы любите мерзавца, который не любит вас, — или вы не желаете этого? — Что же привязывает вас к мужу, позвольте спросить? — Есть привязанности сильнее всякой страсти, — и можно даже быть расположенной к мужу гораздо сильнее, нежели к любовнику, при самой страстной любви к любовнику и безо всякого пылкого чувства к мужу, — но вы нисколько не расположена к мужу, — что же вас привязывает к нему? — Ясно, кажется. А я сижу, слушаю, как она поет: «Люблю, люблю!» — Удивительно, голубочка! — Это было глупо с моей стороны, голубочка, уверяю тебя, непростительно глупо, непростительно! — Он с негодованием замотал головою.

— Опять тот же ответ, мой друг: ты ребенок в жизни; тебе надобно больше бывать в обществе.

— Хорошо. Опять: ты, разумеется, поняла с первого взгляда, — но она, по-твоему, красавица, да и вообще тебе жаль ее; думаешь: «Попробую; может быть, она только робка, — или, может быть, еще не так поддалась пошлости, чтобы нельзя было ей поправиться»; — потом говоришь мне: «Назначила ей отъезд через три дня, — ступай, скажи Нивельзину». — Три дня! — когда я гово-

рил тебе, что в три дня получается заграничный паспорт без хлопот, а похлопотать, можно выехать через несколько часов; — «Голубочка, зачем же три дня?» — Кажется, можно было понять, зачем. Нет. Ты говоришь: «Пусть она имеет время обдумать, — пусть испытает себя, — я сомневаюсь в ней». — А я: «Голубочка, она хорошая женщина и любит его». — Удивительно! — Удивительно! — повторил он с удвоенною силою негодования. — И потом, когда приехала к тебе в другой раз: «Голубочка, мне жалко ее: зачем ты уезжаешь и не берешь ее с собою? — Она просит, голубочка; она чувствует сама, бедненькая, что одной ей плохо оставаться, — голубочка, пожалей, возьми ее с собою». — Это удивительно! — «Если бы я не считала необходимым, чтобы она осталась одна сама с собою, то и нечего было бы ждать: я давно послала бы тебя к Нивельзину; я думаю, у него все готово к отъезду». — А я: «Голубочка, жалко. Ну, хоть позволь мне выйти к ней, — ну, хоть через час, — ну, хоть на минуту, — все же поддержал бы ее». — Удивительно! — Удивительно! — За такую глупость, голубочка, маленьких детей надобно сечь, — а когда дурак в мои лета, что с ним делать? — Да, благодарила бы тебя Савелова, если бы ты послушалась моей жалости! — Я думаю, давно проклинала бы свою судьбу, — да и Нивельзину было бы очень приятно! — Благодарили бы тебя оба! — Нет, голубочка, ты не оправдывай меня тем, что я мало бывал в обществе: просто дрянь. Вот что я тебе скажу, голубочка: сам не понимаю, как это у меня достает глупости быть такою дрянью! — Удивительно! — Волгин стиснул зубы и устремил свирепый взгляд на салфетку.— Вот видишь, голубочка, эта тряпка,— он взял салфетку,— это я и есть.

— Если бы тут был посторонний человек, он умер бы со смеху, друг мой. Даже мне смешно, друг мой, как ни привыкла я к твоим странностям. Можно ли так горячиться из-за таких пустяков?

Волгин глубоко вздохнул. — Эх, голубочка. — Он грустно покачал головою и продолжал уже обыкновенным своим вялым тоном: — Возьми ты то, голубочка, что вот я хорош, а другие-то еще глупее. Что хорошего может выйти из этого?

— Ах, ты все печалишься об обществе, — хорошо, ты увидишь у меня, каково забывать мои приказания! — Говорила я тебе или нет, чтобы ты думал о жене и сыне,

а не о всяких ваших глупостях, которые вы называете общественными вопросами? — Сам же ты говоришь мне, что это глупости, и думать о них нечего. Зачем же не слушаешься? — Знаешь ли, что я сделаю с тобою за это? — Мы с Володею и с Наташею поедем кататься на лодке, — вот я велю и тебе сесть с нами, и поедем.

— Ах, ты, голубочка, голубочка! — Это, ты думаешь, бог знает какая важность для меня? — Да я поеду с удовольствием. Уверяю, — храбро возразил Волгин.

— Хорошо, верю. Я тебя отучу огорчать меня твоими печалями о будущем. — Но, мой друг, в самом деле смешно, что ты так много думаешь о пустяках. Пусть себе живут, как им нравится. Пусть прежде поумнеют, хоть немножко, — тогда другое дело. А если общество так глупо, как ты говоришь, стоит ли горячиться?

— Само собою, не сто́ит, голубочка. — Волгин погрузился в размышление. — Разумеется, не сто́ит.

— Наташа! — Где вы с Володею? — Не слышит. — Позови ты, мой друг, — только не так громко, чтобы оглушить меня.

Волгин закричал с умеренностью, потом вздохнул. — Голубочка, ты хочешь послать их, чтобы старик шел с веслами в лодку? — Ты, в самом деле, возьми тоже и меня. Этот вечер я могу ничего не делать.

— Ах, мой друг, если бы я почаще слышала от тебя это! — Но теперь и буду слышать чаще, ты обещаешь.

— Теперь у меня будет много свободного времени, голубочка. — Но ты, пожалуйста, ласкай этого Левицкого, голубочка.

— Еще бы нет! — весело сказала Волгина. — Я убеждена: он сто́ит того, чтобы полюбить его и мне, когда он так понравился тебе.

---

Прошло с неделю или больше. У Волгина опять выбралось довольно свободное время. День опять был очень хороший. Под вечер Волгина пошла гулять по набережной и взяла с собою мужа.

Тот край Петровского острова, хоть и одна из самых близких от города дачных местностей, хоть и одна из самых сухих на островах, был тогда, — вероятно, остается и теперь, — очень глухим местом. Между сотнею скромных или даже бедных дач было там тогда разве три-че-

тыре барских, да и то не великолепного сорта, и, сколько помнится, чуть ли не все обветшалые, полуразваливающиеся. Одна такая, с обтерхавшимися претензиями на пышность, стояла на берегу Малой Невы, в сотне сажен от уютного дома, который занимали Волгины. Самый дом стоял в нескольких десятках шагов от набережной; на нее выходил садик, принадлежавший к нему.

— Наташи с Володею нет, — сказала Волгина, окинувши взглядом свой небольшой садик. — Должно быть, она унесла Володю на набережную. — А я не спросила тебя, мой друг: что ж ты не привез Левицкого?

— Да и я забыл сказать тебе, голубочка: он уехал к родным.

— По крайней мере не надолго?

— Не надолго, разумеется; месяца на полтора, много на два.

— И то неприятно.

— Разумеется, неприятно, голубочка; но удерживать было нельзя: четыре года не виделся с ними.

— Мне кажется, ты говорил, что у него нет близких родных, кроме маленьких брата и сестры или сестер, — что они все еще очень маленькие, что они воспитываются у какой-то двоюродной тетки, — так? — И мне кажется, ты не замечал в нем мысли ехать к ним в это лето? — По твоим словам, мне казалось, будто он не думал ехать: что ж это ему вдруг вздумалось? — Ты рассчитывал, что теперь же передашь ему часть своей работы, с нынешнего же месяца.

— Ну, так и быть,— сказал Волгин.— Все равно.

— Нет, не все равно, мой друг: жить побольше на даче, это было бы хорошо для тебя. — Но куда же делась моя Наташа?

Они в это время вышли на набережную. Набережная, как обыкновенно, была почти пуста. Немногие гуляющие были все видны наперечет, далеко в обе стороны.

— Где бы ни была, к чаю сама отыщется, — сказал Волгин.— А Володя ужасно любит ее, должно быть, голубочка?

— «Должно быть!» — Хорош отец! — Конечно, больше, нежели тебя. — Впрочем, нельзя и давать его тебе в руки: так ловок! — Волгин воспользовался случаем залиться руладою, и жена засмеялась. — Она ласковая, кроткая; я очень довольна ею. И неглупая девочка:

слушается, знает, что если останавливают ее, то для ее же пользы. Можно будет найти ей хорошего жениха: совершенно скромная девочка. Но — что такое? — Каково? — Волгина сдвинула брови и ускорила шаг. — Хвалю ее, что слушается, — а она... ах ты, глупая девчонка! — Я очень строго приказывала ей, чтобы она не смела ни слова говорить ни с кем на этой гадкой даче, — и вот вам умная девушка! — Уже подружилась с какою-то фавориткою мерзкого старичишки!

— Где же, голубочка, ты видишь ее? — сказал Волгин, прищуривая глаза, которые и в очках очень плохо видели вдаль.— А, точно! — Вижу, сквозь акации,— под сводиком ворот: так, ее платье, голубое.

— Ее платье! — Да знаешь ли ты хоть ее-то саму в лицо? — Я думаю, еще не успел заметить в полгода. И воображает, что помнит, в каком платье она! — У нее нет голубого платья. Вовсе нет и не было. Она та, которая в розовом. О, как же я побраню ее! — И мало того, что побраню: на целую неделю я посажу ее сидеть дома, — дальше нашего садика ни шагу!

— И это будет очень хорошо, голубочка. Ты больше брани ее, голубочка: нельзя, для ее же пользы. Уверяю тебя.

— Ни она, ни ты не можете пожаловаться, довольно браню вас обоих, — сказала Волгина, засмеявшись: — Достаточно забочусь о вашей пользе. — Но это что-то не так, друг мой, как я подумала: это не может быть какая-нибудь фаворитка.

Девушка в светло-голубом платье, говорившая с Наташею под ощипанным сводиком ворот из акаций у богатой полуобнищавшей дачи, шла навстречу Волгиным.

— Кто такая могла б она быть? — тихо заметила Волгина и шепнула мужу: — Когда подойдет, ты посмотри на нее хорошенько: привлекательное лицо, мой друг.

— Ну, вроде твоей Савеловой, — блондинка, должно быть, тоже?

— Савелова очаровательна, потому что красавица. Но это не то, мой друг: это привлекательное лицо; пожалуй, тоже красавица; но главное, выражение лица.

Девушка в светло-голубом платье, легкой, небогатой материи, без роскошной отделки, очень простого покроя, была блондинка лет семнадцати-восемнадцати, с русыми волосами нашего обыкновенного русого оттенка, не пе-

пельного, не золотистого, не эффектного, но волосами густыми, прекрасными. Локоны их падали свободно; девушка несла свою соломенную шляпу в руке, приподнятой к Володе, на руках у Наташи продолжавшему играть лентами этой простенькой шляпы. — Даже сам Волгин, отличавшийся необычайным умением наблюдать и соображать, увидел и понял, что простота наряда молоденькой блондиночки стоит быть замеченной: на четверть ниже рук Наташи, державшей малютку, колебался очень маленький кружочек, сплошь сверкавший искрами, — конечно, часы этой девушки, угадал Волгин, крошечные часы, усыпанные брильянтами: вероятно, Володя играл этими часами прежде, нежели вздумал предпочесть им ленты шляпы. Волгин, с неизменною своею основательностью, заключил, что девушка из богатого сословия, и одобрил ее за скромность. То и другое мнение совершенно подтвердилось, когда она подошла, и близорукий Волгин мог видеть все в подробности: точно, часы были крошечные и очень, очень дорогие, а на лице девушки не было ничего, подобного чванству.

Блондинка подошла к Волгиной непринужденно, даже смело, или, лучше сказать, доверчиво, но с легким румянцем маленького стыда, и попросила «не бранить Наташу»; Наташа очень испугалась, увидевши Лидию Васильевну,— Наташа сказала, что m-me Волгину зовут Лидия Васильевна; — Наташа вовсе не хотела ослушаться Лидию Васильевну, долго не подходила к изгороди из акаций; но она упросила Наташу перейти в тень, потому что надобно было снять шляпу для Володи, он непременно хотел теребить ленты, и надобно было уйти с солнца в тень, потому что от деревцов на набережной вовсе нет тени; она сама подошла к Наташе, — Наташа сидела вот у этого дерева, — Наташа не виновата... Но она видит, что Лидия Васильевна не сердится на Наташу. — Она — Илатонцева...

Мгновенно Волгин схватился пальцами за свою бороду. Впрочем, это было, по всей вероятности, необходимо для поддержания бороды, потому что Волгин споткнулся, но очень ловко поправился, кашлянув раза два, и опять пошел совершенно молодцом. — «В самом деле, что за важность? — сообразил он. — Илатонцева, то Илатонцева; какое мне дело? — Я ничего не знаю; да и она, вероятно, тоже. Он уехал с ее отцом, когда ее еще не было в

Петербурге. Положим, очень легко может быть, что она упомянет о брате, о гувернере; но, я думаю, еще и не знает фамилию гувернера. Но пусть знает; пусть скажет; — что за важность? Фамилия-то слишком обыкновенная; Лидия Васильевна и не подумает. Но пусть Лидия Васильевна и спросит; могу сказать просто: не знаю; он мне сказал, что едет в деревню, — ну, я подумал: значит, к родным. Только. Что за важность?» — При способности Волгина делать соображения с быстротою молнии, натурально было ему споткнуться и кашлянуть раза два и еще натуральнее было, что после того он почувствовал себя как ни в чем не бывало: вывод был очень успокоителен, способность Волгина быть храбрым нимало не уступала его сообразительности.

— Что ты, мой друг? — Споткнулся? — Он у меня очень ловкий, каждую минуту жду, что сломит себе руку или ногу, — заметила Волгина блондинке, в объяснение странного обстоятельства, что Волгин сумел заставить вздрогнуть их всех трех, и даже Володю, резко покачнувшись на гладкой дороге, где никакому другому человеку не было возможности споткнуться: — Не ушиб ногу, мой друг?

— Нет, голубочка; ничего, — успокоил храбрый муж.

— Так вы — Илатонцева, — я слышала вашу фамилию. А зовут вас?

— Надежда Викторовна, — подсказала Наташа.

— И я знаю вашу фамилию; не видел вашего батюшки, — конечно, я не ошибаюсь, камергер Илатонцев, который долго жил за границей, ваш батюшка? — сказал Волгин — сказал отчасти потому, что был совершенно спокоен, отчасти потому, что идти навстречу опасности — самое лучшее дело, когда человек рассудил, что большой опасности и быть не может.

— Да, я его дочь, — отвечала девушка.

— Погодили бы вы отвечать, — или, лучше, не спрашивать бы мне, а прямо начать с того, что я знаю о камергере Илатонцеве, — сказал Волгин; — теперь поздно говорить это, неловко. Хороший человек ваш батюшка. — Да, хороший человек. Нет нужды, что аристократ; нет нужды, что страшный богач, — все-таки хороший человек. — Это Волгин сказал уже не по храбрости, а просто.

Девушка опять слегка покраснела, от удовольствия. — Да, я видела, что многие любят его, — в селах у нас, все.

— Каким же образом вы здесь, на этой даче, — и, должно быть, одна? — спросила Волгина. — Здесь живет старик, у которого не бывает никто, кроме таких же, как он. И я слышала, что он совершенно одинокий, что у него нет родных.

Девушка отвечала, что он дальний родственник ее тетушки, — ее тетушка тоже Тенищева; — ка́к родственник, она не умеет сказать хорошенько. Тетушка не говорила. Тетушка хотела ехать за город, прокатиться. Она поехала с удовольствием. Но вдруг тетушке вздумалось заехать на эту дачу: тетушка вспомнила, что тут живет ее родственник, которого тетушка не видала очень давно. Он удивился, обрадовался тетушке. Тетушка представила ему ее. Он обедал. После обеда тетушка уехала: ей надобно было видеть своих знакомых на Крестовском и на Елагине. Потом уехал и Тенищев. Она осталась одна в этом большом доме, таком пустом, таком мрачном. Ей было скучно. Нет, не скучно: если бы только скучно, то, вероятно, было бы можно достать какую-нибудь книгу, — или она пошла бы гулять по саду, хоть и одна, и скука рассеялась бы. Но она чувствовала какую-то странную боязнь или тоску, — она сама не знает, как назвать это чувство. Вероятно, это чувство было оттого, что все в этом доме так странно: оборвано, в пыли, в беспорядке; и прислуга такая странная: девушки одеты нарядно, но неопрятны, и так странно пересмеиваются: и дерзкие и подобострастные, всё вместе; а мужская прислуга,— все какие-то старики, старые, старые, сморщенные, угрюмые, будто злые, и одеты бедно, с продранными локтями, с заплатами... Она ходила по саду, и все-таки ей было грустно. Она так обрадовалась, когда увидела на берегу молоденькую няньку с ребенком, ласковую к нему, веселую. В болтовне с Наташею время пролетело у нее незаметно...

— Вам неприятно, одной, в пустом доме; идемте же гулять с нами, — сказала Волгина.

— Но я не знаю... — начала было Илатонцева отговорку, которой, очевидно, не могла желать успеха.

— Если вы оправдали передо мною Наташу, я тем больше найду оправдание вам перед вашею тетушкою.

— Ваша тетушка услышит от Лидии Васильевны... — сообразил было пояснить Волгин, но рассудил, что Лидия Васильевна, если найдет уместным сообщить

Илатонцевой, какую лекцию прочтет ее тетушке, то и сама сумеет сообщить.

— Ваша тетушка молодая дама? — спросила Волгина. — Очень молодая?

Илатонцева покраснела и взглянула на Волгину, как будто просила прощения: — Вы осуждаете тетушку. Но когда вы увидите ее, вы полюбите. Она такая добрая, что я не знаю, способна ли сердиться или сказать злое слово. Я говорю это не для того, чтобы сказать, что я не жду выговора от нее, — боже мой, когда я с вами! — Но если б это были не вы, все равно, я не боялась бы выговора от нее. Я могу делать что мне угодно, я совершенно свободна. И это очень естественно, что она спешит повидаться со своими знакомыми: мы едем из-за границы, в деревню...

— Это еще не резон, чтобы она бросала вас одну, скучать, — основательно возразил Волгин.

— Ваша правда, это была бы еще не причина или, если угодно, не извинение бросать меня скучать. Но тетушка не думала, что я буду скучать. Она не могла думать этого. Она не хотела бросать меня одну; но я почти отказывалась делать визиты, ездить в гости к незнакомым людям. В Петербурге я почти никого не знаю: я еще не выезжала в свет. И я не скучала в эти дни. Она думала, что мне было бы скучно ехать с нею. Я сама не знала, что эта дача произведет во мне такое тяжелое чувство. Мы только что приехали сюда, я не успела осмотреться, когда тетушка собралась. Если бы я знала, то могла бы ехать с нею.

— Вы не знали, — натурально; но она должна была знать за вас, что эта дача произведет на вас неприятное впечатление, — сказал Волгин.

— Почему же она должна была предвидеть это? — Потому, что я привыкла к роскошным комнатам? — Правда, привыкла, но привыкла и к очень небогатым. В Провансе мы с madame Lenoir, с Луизою и Жозефиною жили в очень небогатом домике,— и как счастлива была я!

— Вы воспитывались за границею? — И так говорите по-русски?

— Madame Ленуар, это была ваша гувернантка? — спросила Волгина.

— И жили в Провансе? — прибавил Волгин.

— Почему же не воспитываться в Провансе, если воспитываться во Франции? — обратилась Волгина к мужу. — Кажется, в Провансе самый лучший климат во Франции?

— Но там другой язык, не тот, которому учатся,— отвечал Волгин.— Главная разница та, что окончания слов стерлись в северном французском, да и все слова скомканы выговором; а в южном, как в итальянском и в испанском, формы слов остались целее, длиннее. Например...

— От примеров ты пощадишь; тем больше, что я вспомнила, — сказала, смеясь, Волгина. — Видите, Надина, какой он у меня ученый. Страшно надоедает. Нельзя ни о чем спросить его: вместо того чтоб отвечать в двух словах, начнет целую диссертацию. Разумеется, я не дослушиваю. Только тем и спасаюсь; иначе меня уже назначили бы профессором в университет. — Но говорите, зачем и как вы жили в Провансе?

Она жила в Провансе, потому что m-me Ленуар хотела жить в этой части Франции. M-me Ленуар была ее гувернанткою, это правда, — но больше, нежели гувернанткою. Ее мать, умирая, просила m-me Ленуар заменить ей мать... M-me Ленуар с самого замужества ее матери была их другом. Дружба эта началась через то, что m-me Ленуар и ее отец были хороши между собою еще прежде. M-r Ленуар был друг Базара; ее отец в молодости был знаком с Базаром...

Сведения Волгина об Илатонцеве не простирались до таких подробностей. — «Гм! — С Базаром! — промычал он. — Ваш батюшка был знаком с Базаром! — Гм!»

— Madame Ленуар говорила мне,— и я сама читала, что очень многие дурно говорят о Базаре, — сказала Надина.— Но я привыкла слышать от madame Ленуар, что Базар всю свою жизнь посвятил пользе людей...

— Вы не так поняли меня, Надежда Викторовна, — сказал Волгин.

Ее отец в молодости был довольно хорош с Базаром и познакомился у него с m-r Ленуаром. Когда ее отец и мать, после свадьбы, переехали жить в Париж, m-r Ленуар также уже был женат, и ее мать получила большое уважение к m-me Ленуар. Вскоре после того m-r Ленуар был убит — 12 мая, это она знает хорошо, потому что m-me Ленуар всегда очень много плакала в этот день, — но она не умеет сказать Волгину, в каком году это было, — кажется, в 1840.

— В тысяча восемьсот тридцать девятом,— сказал Волгин.

— Как это ты все помнишь, — заметила жена.

— Этого нельзя не помнить, голубочка, — отвечал он, не понявши, в каком смысле было сделано замечание. — Это не мелочь какая-нибудь; это было важное дело, великая ошибка, страшный урок, — и остался бесполезным, натурально. — Видишь, в первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали несколько восстаний; неудачно; — рассудили: «Подождем, пока будет сила»; ну, и держались несколько лет смирно; и набирали силы; но опять недостало рассудка и терпения; подняли восстание; — ну и поплатились так, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? — Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников. Когда видят силу, то не будут вызывать на бой, — смирятся, самым любезным манером. Ох, нетерпение! — Ох, иллюзии! — Ох, экзальтация! — Волгин покачал головою.

— Madame Ленуар говорила также, что ее муж не одобрял, предсказывал погибель.

— Когда ты помнишь это с такими мыслями, это ничего, мой друг, — заметила Волгина. — Но кстати: кто же был Базар?

— Главный из сенсимонистов, голубочка; лучше сказать, самый дельный. Анфантен взял верх в их обществе и приобрел больше известности. Но у Анфантена было много чепухи в голове, и, я думаю, слишком любил рисоваться. Но Базар был не сумасшедший и безусловно честный человек,— благородный, великий человек. Дельный человек. Ты не подумай, что он или вообще сенсимонисты подняли это восстание: он умер за несколько лет до того, да и общество сенсимонистов распалось гораздо раньше. Ну, довольно, чтобы не надоесть тебе.

— Благодарю за то, что сумел сам удержаться. — Теперь и я вижу, Надина, что ваш отец должен быть очень честный и добрый человек: очень богат, а дружился с людьми, которые заботились, как бы сделать, чтоб не было ни бедных, ни очень богатых.

— Так говорит madame Ленуар,— сказала Илатонцева, опять слегка покраснев от удовольствия.

По смерти мужа m-me Ленуар осталась без денег.

Старшая сестра и зять, — они жили также в Париже, — звали ее к себе. Она говорит, что они были хорошие люди. Но сами были не богаты. Она говорит, что поэтому она была рада предложению своей богатой знакомой жить у нее.

Умирая, мать Илатонцевой просила m-me Ленуар не покидать сироту. Илатонцевой было тогда лет семь. Поэтому она очень мало помнила мать и знала ее почти только по рассказам отца и в особенности m-me Ленуар... Волгина спросила, на кого она больше похожа, на отца или мать? Больше на отца.

Илатонцевой говорили, что в первые годы своего детства она звала madame своею бабушкою и плакала, когда мать уверяла, что она почти одних лет с ее бабушкою: «Вы не старуха». M-me Ленуар казалась ей старухою, потому что была седа; она поседела после смерти мужа. Она не носит траура, но Илатонцева не помнит, чтобы на ней когда-нибудь было платье светлого цвета... Нет, было: перед отъездом Илатонцевых в Англию m-me Ленуар носила светлые платья. Но в Англию она опять приехала в темном.

Можно было малютке считать m-me Ленуар своею бабушкою не по ее седым волосам только, но и по тому, как обращались с этою седою женщиной отец и мать Илатонцевой. Отец говорил, что ее мать во всем советовалась с m-me Ленуар.

Одна, m-me Ленуар всегда серьезна, — вероятно, всегда грустна. В обществе она никогда не улыбается; и если начинается веселая болтовня, она молчит или уходит. — Но она любила, чтоб Илатонцева веселилась, — и потом, когда стала жить с племянницами, она умела делать, чтобы всем трем им было весело. Если они хотели, она играла с ними.

После февральской революции Илатонцев с дочерью и сыном, — ее брат был тогда малютка, — уехал в Англию. M-me Ленуар плакала, провожая их, но решилась остаться в Париже. Разлука была недолга: месяца через два m-me Ленуар приехала к ним в Лондон, — и говорила Илатонцеву: «Мы с вами ошиблись; не будет ничего хорошего; по-прежнему и нетерпеливы, и нерешительны, и легковерны». Отец, как ни рад был за дочь приезду m-me Ленуар, горько жалел, и девятилетняя девочка плакала, сама не понимая, о чем.

Несколько времени они жили в Англии. Потом Илатонцев был вызван в Петербург; скоро вышел в отставку, и они жили попеременно то в Петербурге, то в Илатоне,— это недалеко от Волги, между Сызранью и Хвалынском. Ей очень нравилось в Илатоне: там у них такой большой сад; подле такой прекрасный лес; и все в Илатоне так любили ее отца и полюбили m-me Ленуар, — m-me Ленуар в первое же лето выучилась говорить по-русски, — за отца и m-me Ленуар все там любили и ее.

Три года назад m-me Ленуар получила письмо, что ее старшая сестра умерла. У сестры остались две дочери, — одна ровесница Илатонцевой, другая двумя годами моложе. Они остались круглыми сиротами. Тетка должна была ехать, заботиться о них. Илатонцев упрашивал ее только съездить за ними, привезти их. Она не согласилась. Она говорила: «У них нет состояния; они должны выйти за людей небогатых: потому не должны приучаться к роскоши, не должны и видеть ее вблизи».

— Да, роскошь портит людей; вот, например, вас как испортила, — заметил Волгин и залился руладою в одобрение своему остроумию; кончив руладу, обратился к жене: — Что́, каково, голубочка? — Видишь, светский человек! — и повторил руладу.

— Спросите светского человека, Надина, — приятно ли ему ваше общество, — сказала жена. — О себе я не спрашиваю: он каждый день уверяет меня, что приятно.

— Что же, голубочка, ты должна видеть, нравится ли мне Надежда Викторовна, — отвечал Волгин: — А что же вы смеетесь, Надежда Викторовна? — Голубочка, чему же смеется Надежда Викторовна?

— Будь уверен, что не твоей светскости: может быть, просто по сочувствию твоей веселости. — Вы любите кататься на лодке, Надина?

— Да, люблю.

— В самом деле, вечер прекрасный, погода тихая, — с большим одобрением сказал Волгин. — Значит, послать старика, голубочка?

— Разумеется, сходишь за ним и принесешь два пальто, мне и Надине, — Наташа даст тебе, — наденешь и сам пальто.

— Ну-у, голубочка... — уныло затянул Волгин и очень убедительно прибавил: — А я и позаботился бы, голубочка, чтоб готов был чай к тому времени, как вы...

— Можете видеть, Надина, как ему приятно не только ваше, но и мое общество.

— Ах ты, голубочка! — Это значит, ты шепнула Надежде Викторовне, покуда я хохотал. — Эх, голубочка!

— Вы видите, Надина, что у него надобно учиться не только любезности, но и хитрости: он даже и надобность придумал, для нас же, чтобы он остался дома.— Ты позаботишься о чае! — Хорош будет чай! — Но иди же за стариком, не переслушаешь всех похвал себе.— Пошли дворника на дачу Тенищева сказать, что Надина с нами.

Волгин вздохнул, но пустился чуть не бегом к избушке подле маленькой пристани. — На пристани была привязана рыбацкая лодка. Из избушки вышел старик-рыбак с довольно большим ковром, принялся раскладывать и оправлять его по лодке. А Волгин между тем стремглав летел домой, придерживая рукой фуражку, чтобы не сорвалась от неуклюжих, но очень успешных прыжков, которыми он отмахивал чуть не по две сажени.

— Славный ковер! Мы будем сидеть, как на подушках! — сказала Илатонцева, когда подошла с Волгиною к лодке.— Рыбная ловля здесь выгодна, если рыбакам можно покупать такие ковры.

— Ничего, слава богу, живем, барышня, — отвечал старик.— Но, впрочем, ковер не мой, а Лидии Васильевнин: он так уж и лежит у меня. Где нашему брату, рыбаку, иметь такие.

— Конечно, рыбак не захотел бы купить, но если бы вздумал, то мог бы купить такой ковер, если бы не пропил на прошлой неделе тридцать рублей, — серьезно заметила Волгина.

— Эх, Лидия Васильевна, вот за это не люблю вас: больно вы строга, — отвечал старик будто шуткою, но не успевая заглушить в голосе жалобу. — Вот, барышня, будьте вы судьею между нами: все лето слуга покорный Лидии Васильевне, а не вижу от нее ни гроша, после трех рублей, что получил в задаток, — и не увижу, она говорит. «У старухи твоей лучше пойдет в пользу»,— говорит. Значит, что ж я выхожу после этого? — Батрак на свою старуху! — Что ты станешь делать? — Такой упрямый человек она, Лидия-то Васильевна...

Между тем примчался галопом Волгин. — Волгина оправила на Илатонцевой свое лучшее черное бархатное

пальто, и лодка поплыла по взморью, по тихой зыби едва заметных струек.

— Хороший вечер, — сказала Волгина. — А в Провансе, Надина, почти круглый год вечера так хороши, — и половину года бывают лучше? — Правда это?

— Да, — отвечала Илатонцева и стала вспоминать, как хорошо в Провансе и как особенно хорошо в их домике, в их долине. Маленький домик m-me Ленуар стоит в одной из долин Mont de l'Étoile [1], немножко в стороне от железной дороги из Э в Марсель...

— Mont de l'Étoile,— заметил Волгин едва ли когда слыханным до него в мире французским выговором. — Mont de l'Étoile — не помню, да и в какую сторону Э от Марсели, не знаю; но, кажется, читал, что дорога из Э в Марсель ведет через такие очаровательные долины, каких не много и в самом Провансе. А что, это высокая гора, Mont de l'Étoile и в какую сторону от нее домик?

— Домик на юг от горы; она довольно высокая.

— А, ну, это очень хорошо; значит, долина закрыта от мистраля.

— Что это, мистраль? — спросила Волгина. — Северный ветер?

— Да, голубочка; от него, в иной год, пропадает сбор оливок в местах, открытых на север. А их много, в особенности по Роне, потому что, знаешь, Рона течет там прямо с севера на юг. Ну, разумеется, это провансальцы называют мистраль морозом, а у нас... Ну, да, впрочем, ты учишь, голубочка, Надежду Викторовну смеяться надо мною.

— Да, это очаровательное место, долина, где стоит домик madame Ленуар,— продолжала Илатонцева. Ее отец ездил сам искать, где купить дом.— Когда madame Ленуар отказалась взять племянниц в Россию, он попросил ее, чтобы она взяла его дочь в свое новое семейство. Он хотел ехать сам во Францию и жить подле... M-me Ленуар сказала: «Нет, если Надина будет жить с моими племянницами, вы не должны жить подле нас. Мои племянницы не должны видеть никакой роскоши подле себя». — Ему было очень тяжело это условие; но он принужден был согласиться, что она говорит правду. Он сказал: «Пусть будет по-вашему. Но я провожу вас и найду для вас жизнь

[1] Гора Звезды *(франц.)*.

в деревне; деревенский воздух лучше парижского для тихого воспитания, а поселиться в Провансе всегда было вашею мечтою». — Она видела, что он хочет сделать ей подарок; но не могла отказаться. Прежде она не хотела брать жалованье, какое следовало бы; у нее не было ничего; тоже и у племянниц. Она только настояла, чтоб дом был маленький и земли при нем немного.— Илатонцев поехал из Парижа в Прованс, возвратился, повез их на новоселье, взглянул, как они там устроились, и уехал. — Потом он приезжал два раза, — оба раза на несколько дней. M-me Ленуар не позволяла ему оставаться дольше. «Я не хочу, чтобы вы избаловали моих племянниц».

Они жили очень скромно. Земля давала тысячи две франков. Они вчетвером должны были жить на это, потому что m-me Ленуар говорила: «Когда вы хотите, чтобы Надина жила со мною, она не должна ничем отличаться от моих племянниц, и ей нет надобности в деньгах». — Они должны были сами делать довольно много, потому что у них была только одна служанка, а при домике есть садик с виноградом, с фруктовыми деревьями. — Илатонцева забывалась от восторга, вспоминая ту жизнь в обществе двух подруг, добрых, добрых девушек... Они все три так любили друг друга и m-me Ленуар... Заботы о хозяйстве, бесконечные игры... Прогулка, иногда втроем, или вчетвером, с m-me Ленуар, иногда с соседними сельскими девушками и молодыми людьми, иногда и в обществе каких-нибудь гостей из Марсели...

Илатонцева задумалась.

— Вот, вы четыре года,— или три? — прожили в Провансе, — начал Волгин. — Положим, французский акцент не испортился у вас от этого, потому что вы жили в семействе парижанок; кроме того, я и не слышал, как вы говорите по-французски, да и не мог бы судить, если бы слышал. Ну, а вот это как же, что вы говорите по-русски, будто и не выезжали из России?

— Когда мы жили в Париже... в нашем семействе говорили по-русски... Отец и мать... у меня была русская нянька... Потом мы жили... в России. Я уехала с madame Ленуар уже пятнадцати лет...— Илатонцева довольно надолго остановилась.— Madame Ленуар говорила со мною по-русски... у нее дурной акцент, но она говорит свободно... — Илатонцева опять остановилась.

Волгин бросил на жену умоляющий взгляд. Но Волгина промолчала.

— Да-с, вы говорили, Надежда Викторовна, что madame Ленуар заботилась о русском языке.

— Да... заботилась... Она для этого даже согласилась... взять с собою Мери, мою горничную... внучку моей няньки... Маша так любила меня... что решилась прислуживать всем трем нам... — Илатонцева опять остановилась.

Волгин опять бросил умоляющий взгляд на жену. Опять это осталось безуспешно. Неужели она не замечает?

Лодка давно выехала на взморье и качалась уже довольно сильно. — Пока Илатонцева не замечала этого в увлечении воспоминаниями о m-me Ленуар и Провансе, все было хорошо. — Но когда Волгин возобновил разговор, отрывочность ее слов показалась ему заслуживающею размышления, и с обыкновенною догадливостью он постиг, что Илатонцева больше думает о волнах, нежели о разговоре. — Лидия Васильевна не хотела замечать его взглядов, он, при своей изобретательности на очень замысловатые обороты, не затруднился придумать, как ему надобно говорить.

— Голубочка, знаешь, пожалуйста: лучше поедем назад. Там, впереди, волны еще больше.

— Знаю ли, что ты трус? — Еще бы не знать! —Я думаю, видит уже и Надина. Посмотри на нее и постыдись, мой друг: в ее лице незаметно никакой перемены. Ты хуже всякой девушки, — я думаю, хуже всякой девочки.

— Мы очень часто бывали в Марсели и катались в лодке по морю. Я слишком хорошо знаю, что это волнение ничтожно, не только безопасно. — Вы просите вернуться потому, что думаете, мне страшно. Но я вижу, что нет никакой опасности. Может быть, вам показалось, что мое лицо несколько бледно: это оттого, что мы сидим: у меня, вероятно, был румянец от прогулки. Теперь он сошел. Кроме того, воздух начинает быть прохладен. Но в Провансе я привыкла любить прохладный воздух. А самой мне тепло в этом пальто. Посмотрите. — Она протянула из-под пальто руку и сняла перчатку. — Рука теплая, не правда ли?

— Рука теплая, — согласился Волгин.

— О чем мы говорили? — Да, о Маше, которую мы

теперь зовем Мери. Она очень любит меня. Ее отец управлял нашим домом в Петербурге, когда мы жили в Париже. Прежде он был камердинером у моего отца. Когда мы переехали жить в Россию, она сделалась моею горничною: она четырьмя годами старше меня. Madame Ленуар говорила, что она очень умная девушка. Сколько я могу судить, это правда. Когда madame Ленуар должна была ехать во Францию и хотела взять меня с собою, то не хотела, чтобы у меня была особенная прислуга. Но Мери сказала, что будет прислуживать и ее племянницам. Тогда madame Ленуар согласилась взять ее. Тем больше, что и сама любила ее и была рада, что мне будет с кем говорить по-русски... Она и прожила несколько времени у нас в Провансе... И все были очень довольны ею... Но потом она не жила с нами... Она жила в Париже... Вернулась к нам только уже незадолго перед моим отъездом... Она очень любит меня... Но я забываю, что это нисколько не интересно для вас...

Видно было, что она говорила только для того, чтобы говорить, и перестала говорить также потому, что ей стало трудно удерживать связь мыслей. — Лодку качало сильнее и сильнее. — Теперь уже и Волгин видел, что Илатонцева бледна.

Бледна, правда. Но держала себя превосходно. — Волгин посмотрел на жену с выражением, говорившим: «Голубочка, похвали ее».

Волгина засмеялась. — Взгляните, Надина, как сочувствует вам светский человек. — Но в самом деле, нельзя не похвалить вас, Надина. У вас есть характер.

— Мне очень стыдно за себя, — отвечала Илатонцева. — Я как нельзя лучше вижу, что нет ни малейшей опасности. — Я говорила, кажется, что Мери приехала с нами в Прованс, madame Ленуар была очень довольна ею. Она нисколько не тяготилась тем, что должна была и одеваться и жить, как наша другая служанка, старушка из соседней деревни. Но она прожила с нами не больше полгода. Потом уехала в Париж. На дороге в Прованс мы пробыли в Париже недели полторы, пока папа́ купил и устроил домик. Вероятно, в это время Мери успела приобрести в Париже знакомства, которые пригодились ей: она девушка очень умная. Она уехала от нас в Париж потому, что ее пригласили быть конторщицею в каком-то косметическом магазине... madame Ленуар не хотела отпу-

скать ее... потому что она говорила со мною по-русски... и потому что они все любили ее... и я, конечно...

Илатонцева опять остановилась. С минуту лодка продолжала плыть вперед. — Через край плеснуло несколько капель.

— Повернем назад,— сказала Волгина старику-лодочнику. — Опасности не было бы, Надина, хоть бы мы плыли до Кронштадта и за Кронштадт. Но я скупа. Пальто, которое на мне, не боится не только брызг, и проливного дождя. Но было бы жаль бархатного, которое на вас. Сколько сто́ит такое в Париже? — Я думаю, рублей пятьдесят, или меньше? — А мне оно обошлось в семьдесят, и то лишь потому, что я дружна с моею модисткою и ее дочери — миленькие немочки — вешаются мне на шею.

— Мне смешно и стыдно за себя, — сказала Илатонцева. — Я знала, что нет опасности, и нисколько не боялась. Но мне было надобно большое усилие воли, чтобы не дрожать. Мне тем стыднее за свою трусость, что можно было б отстать от нее, катаясь по морю.

— Это не трусость, Надежда Викторовна, — возразил Волгин. — Вы созданы для тихой жизни, только. — Вы рассказывали о вашей горничной.

— Но я понимаю, что это вовсе не интересно для вас.

— Нет, это интересно. Не правда ли, голубочка?

Он думал о том, что горничная должна быть девушка опасная. — Ее из Прованса вызвали в Париж быть конторщицею! В Париже мало желающих быть конторщицами. — Очевидно, она уезжала туда быть авантюристкою.

— Вы видите, Надина, он интересуется всем, что близко к вам, — сказала Волгина. — Если бы вы знали, какой он дикарь, вы удивлялись бы, что он разговорился с вами. Вы видите, я так рада этому чуду, что и не мешаюсь в ваш разговор: пусть хоть немножко привыкает говорить с людьми о чем-нибудь, кроме книг и глупостей, которые называются у них общественными делами.

— Почему ж она возвратилась быть вашею горничною? — спросил Волгин. — Ей не повезло счастье в Париже?

Кажется, напротив. Правда, она не хвалилась особенным счастьем в Париже. Но и не жаловалась на неудачи. Вообще она мало говорила о своей парижской жизни. Но

когда она вернулась оттуда, она привезла порядочный гардероб, много дорогих вещиц. Мери вернулась, безо всякого сомнения, только потому, что очень любит ее; соскучилась по ней.

Madame Lenoir приняла Мери очень сурово. Довольно долго не соглашалась, чтобы она заняла прежнее место...

— Madame Lenoir должна была полагать, что Мери вернулась к вам не по расположению, а по корыстолюбивым расчетам, — заметил Волгин, сам, при всей своей простоте, видя, что не обманулся относительно парижской карьеры Мери: очевидно, m-me Ленуар знала, что Мери была там авантюристкою.— Madame Ленуар была, по-моему, права,— продолжал он.

— Теперь я понимаю, чего опасалась madame Ленуар,— сказала Илатонцева.— Так-так! — Она опасалась, что Мери хочет обманывать меня, выманивать у меня деньги, подарки, когда мы будем жить в Петербурге! — А я решительно не могла объяснить себе, почему madame Ленуар была вооружена против Мери! — На мои просьбы за Мери она говорила только, что Мери не нравится ей,— а я думала: что ж это? — Неужели madame Ленуар может так долго сердиться, так наказывать Мери за то, что Мери два года назад не послушалась ее мнения? Я очень рада, что вы объяснили мне единственный случай, в котором я не умела понять, что madame Ленуар совершенно права.— Конечно,— о, конечно madame Ленуар должна была опасаться за мои наряды, деньги. — Это подозрение так естественно! — Возвращаться из конторщиц в горничные — в самом деле, трудно поверить с первого раза, что это делается по расположению, а не по расчету обирать меня.

Но Мери успела рассеять предубеждение m-me Ленуар. Мери вперед сказала ей: «Я снова заслужу ваше расположение, каковы бы ни были мои недостатки или ошибки», и поселилась в Марсели. — Они часто ездили в Марсель; у них было много знакомых там. — Через несколько месяцев m-me Ленуар сказала: «Мери хорошая девушка. Она сделалась даже лучше, нежели была до разлуки с нами. Тогда она была немножко слишком шаловлива; теперь она совершенно серьезна».

«Была ли madame Ленуар обманута? — раздумывал Волгин. — Очевидно, эта Мери очень хитрая девушка. Но видно и то, что у нее твердая воля. — Трудно предположить, чтобы умная женщина, хорошо знавшая Мери,

могла обмануться притворным раскаянием. Вероятнее, что Мери действительно остепенилась. Но это вздор; дело не в том, будет ли шалить Мери, или нет. Дело в том, что она хитра и умна. Если она вздумает жертвовать счастьем Илатонцевой для своих расчетов, она может погубить это нежное существо, не понимающее ничего злого. — У Илатонцевой громадное приданое. Как она явится в свете, сотни мерзавцев будут льнуть к нему. Горничная пользуется доверием Илатонцевой; опытна, ловка; важная союзница. Тот из мерзавцев, который искуснее всех, то есть бездушнее, подлее всех, — подкупит горничную, чтобы она пела про него, — и устроится свадьба... Илатонцев, положим, хороший человек. Но отец не замена матери. Тетка, очевидно, пустейшая женщина...»

— Ты задумался, мой друг, — заметила Волгина.

— Видишь ли, голубочка, я скажу тебе откровенно. Надежда Викторовна очень хорошая девушка, и я полюбил ее.

— О чем же тут горевать? — Договаривай: тебя пугает за нее то, что у нее богатое приданое?

— Разумеется, голубочка, потому что ты всегда знаешь все мои мысли.

— Чрезвычайно мудрено отгадывать их.— Но прежде, нежели будешь давать свои советы Надине, спросись у меня. — Ты всегда согласен со мною, а я с тобою не всегда.

Волгин погрузился в новое размышление: Лидия Васильевна не может не знать, что́ собирался он посоветовать Илатонцевой. Натурально, что́: «Будьте дружна с Лидиею Васильевною; не теперь, — теперь не в чем вам быть доверчивою; но всегда, всегда». — Неужели же Лидия Васильевна не хочет заменить старшую сестру для этой прекрасной девушки?

Илатонцева рассказывала между тем, как боролись в ней чувства, когда отец написал, что тетка едет взять ее домой. Ей и хотелось поскорее увидеть отца и брата, жаль было и расставаться с m-me Ленуар и ее племянницами. — Тетка выехала, они ждали ее, — ждали месяца два: они уже думали, не занемогла ли тетушка. Но отец успокоил их: он написал, что тетушка живет в Париже и здорова.

Илатонцева и сама не знала, чего хотелось ей больше: того ли, чтоб тетка скорее приехала за нею, или того,

чтобы она жила и жила в Париже.— Наконец, она приехала. Тут было слез! — M-me Ленуар говорила, что когда выдаст племянниц, приедет жить в Илатоне. Она полюбила русский народ и говорила: «У нас во Франции мало людей, которые искренне желают пользы народу, но все-таки находятся они в каждом уголке. А у вас народу решительно не с кем посоветоваться, не от кого услышать доброе. Но это было прежде,— говорила она.— В эти три года у вас очень многое переменилось. Мы видим по журналам, Надина, — они получали в Провансе русские журналы. — Мы видим по журналам, Надина, что у вас начинают заботиться о народе. Но все еще очень мало людей, и я буду не лишняя». — Она жалела и о том, что ее воспитанница не будет иметь подруг в деревне. Жаль, что не в Провансе, не у m-me Ленуар, а уже на дороге, в Италии, было получено письмо от отца, где он говорил о молодом человеке, который согласился ехать с ним в деревню, гувернером Юриньки. Она переписала ту часть письма, где...

— Ваш батюшка так доволен гувернером вашего братца? — заметил Волгин. — Я очень рад, потому что подружился с дальним родственником и однофамильцем этого молодого человека — тоже молодым человеком. Потому-то я и слышал о вашем батюшке, что родственник моего знакомого, тоже Левицкого, гувернер вашего брата.

Нельзя было иначе, надобно было поступить решительно. — Опасность, о которой давным-давно забыл Волгин, вдруг нависла над его головою. Еще два, три слова — и Илатонцева назвала бы фамилию гувернера. Но — что́ значит храбрость и быстрота! — Теперь опасность была совершенно уничтожена — Волгин гордился собою. — Пусть теперь Илатонцева говорит о гувернере брата, что угодно, сколько угодно, беды не будет. — Удивительно было ему только то, — Волгину всегда было что-нибудь удивительно, — удивительно было ему только то, как тогда, в минуту встречи, не пришло ему в голову такое легкое средство отвратить опасность: тогда не было бы ему надобности пугать жену, сына, Наташу, Илатонцеву своим спотыканием и кашлем.

Она переписала для m-me Ленуар ту часть письма, где отец ее говорил о гувернере Юриньки. Отец убежден, что она полюбит Левицкого. Он описывает его таким, что и

нельзя не полюбить. M-me Ленуар будет очень рада, что в их семействе живет новый человек, такой умный, прекрасный, благородный. Теперь m-me Ленуар будет уверена, что ей не будет скучно в деревне. — Впрочем, может быть, она найдет там и подруг; m-me Ленуар говорила: «В эти три года настроение умов у вас в России очень переменилось; вероятно, многие из ваших соседов, которые прежде отталкивали от себя дикими понятиями, теперь будут рады слушать твоего отца». — Прежде ее отец и не мог и не хотел сойтись ни с кем из соседов. Он слишком расходился с ними в образе мыслей. — Но если оправдаются надежды m-me Ленуар, вероятно, и отец найдет себе сочувствие, и она найдет себе подруг...

— А должно быть, вы с тетушкою долго ехали в Россию, если получали на дороге письма от вашего батюшки, — заметил Волгин.

— Да. Тетушка поехала из Прованса через Италию, довольно долго останавливались во Флоренции...

«Должно быть, однако, сильная охотница кутить, — рассудил Волгин. — Парижа было ей мало, хотелось навестить и Флоренцию, по слухам, что нигде нет таких удобств для кутежа, как во Флоренции».— То-то и есть,— заметил он вслух.— Мой знакомый Левицкий говорил мне про гувернера Юриньки, что больше месяца он со дня на день все уезжает из Петербурга с вашим батюшкою,— и все не может уехать.— Ваш батюшка ждал, ждал вас в Петербурге,— и наконец получает письмо, что вы проедете в деревню через Одессу,— он в деревню, думает найти вас там,— и вот я вижу теперь, только что уехал он из Петербурга, по вашему письму,— а вы в Петербург.— Ну, признаться, тетушка у вас!

Если m-r Волгин познакомится с ее тетушкою, он не будет в силах сердиться на тетушку. У тетушки такое доброе сердце. Но, правда, тетушка несколько непостоянна в своих мыслях. Тетушка велела ей написать отцу, что они выезжают из Флоренции в Вену и поедут в свою деревню через Одессу, а потом вздумала видеть Женевское озеро. Они пробыли несколько дней на берегах Женевского озера, потом проехали по Рейну,— через Берлин, Штеттин; правда, ей было очень грустно, что она уже не застала отца и брата в Петербурге. Тем больше, что отец должен был беспокоиться, не нашедши их в деревне. Но она уже послала известие отцу,— и теперь уже все равно:

отец будет спокоен. Правда, ей хотелось бы поскорее ехать к нему и брату,— но что ж делать? — Тетушке нельзя уехать из Петербурга, не повидавшись со знакомыми.

— Голубочка, не правда ли, хороша тетка у Надежды Викторовны? — заметил Волгин.

— Что, мой друг? — Тетка Надины? — Что такое?

— Да ты не слушала?

— Я задумалась о Володе. Забавно и приятно было смотреть, какая храбрая Надина, и мы заплыли далеко... Спит ли он, мой милый, или нет? — Ну, что же тетушка Надины?

Волгин стал пересказывать о том, как тетушка Надежды Викторовны перепутала все. Илатонцева защищала тетку. Волгина слушала рассеянно.— Лодка проплыла Крестовский мост.— Волгина смотрела на берег Петровского острова. Волгин спорил с Илатонцевой.

— Лидия Васильевна, вы? — закричала издали с берегу Наташа.

— Что Володя? — Спит?

— Спит, Лидия Васильевна; а я смотрю вас, подавать самовар.— Наташа побежала домой.

---

Напившись чаю, Илатонцева попросила Волгину дать ей кого-нибудь, проводить ее на дачу Тенищева.

— Вы думаете, я отпущу вас быть одной в этом доме, который наводил на вас тоску и днем? — Когда приедет ваша тетушка, может заехать сама взять вас.

— Если еще не позабыла, что завезла племянницу в чужой пустой дом и бросила одну,— добавил Волгин, который никак не соглашался простить тетушку.— А я уйду, голубочка,— ты ведь не пустишь Надежду Викторовну, не надо мне провожать ее?

— Иди себе, работай. Но в два часа должен спать,— слышишь?

Волгин ушел. Волгина продолжала болтать с Илатонцевой... Пробило одиннадцать часов. Илатонцева опять стала просить Волгину дать ей кого-нибудь, проводить ее на дачу Тенищева.

— Полноте, Надина: видно, что ваша тетушка осталась где-нибудь на вечере, на бале, когда нет ее до сих пор.

— Да, я сама думаю, что она уже не вернется раньше двух, трех часов... и мы будем ночевать на даче этого Тенищева... Но, быть может, она приедет раньше...

— И захочет вернуться ночевать домой? — Пусть будет и так. Она заставила вас дожидаться ее; может и сама подождать, пока мы с вами напьемся чаю завтра поутру.

— Нет, отпустите меня, пожалуйста...

— Вы боитесь выговора?

— Нет, она не способна делать выговоры. Но мне самой не хотелось бы...

Вместо ответа Волгина вынула булавку из ее волос.— «Боже мой!» — проговорила девушка в смущении, почти в испуге, подхватывая рукою густые локоны.— «Боже мой! — повторила Волгина, подделываясь под нежный сопрано девушки, и выдернула другую булавку.— Ах, зачем у меня не такие волоса!» — проговорила она с досадою.

— Ваши гуще моих,— сказала Илатонцева.

— Но они черные! — Зачем я не блондинка! Такая досада! — А Наташа дивится, что я умею причесать себе волоса без зеркала! — Поневоле выучишься! — Впрочем, теперь, конечно, все равно.— Идем ко мне, в спальную. Пора спать. Володя мастер будить. Голосок такой же прекрасный, как у отца.— Она почти насильно подняла Илатонцеву со стула и повела,— но сошедши с места против воли, Илатонцева с восторгом заговорила: «О, как я рада, что вы не пустили меня! — Мне было бы так тяжело, страшно одной в этом сыром, гадком доме!»

— Володя не будет мешать вам: он здоров и не плачет по ночам; но часов в восемь разбудит.— Перемени простыню на диване,— возьми из моих, Наташа; и подушку положи из моих.

— А где же спать мне, Лидия Васильевна?

— Ах, какая ты глупая девчонка! — Она готова плакать, что у нее отнимают диван!

— Нет, Лидия Васильевна,— убедительным голосом возразила Наташа.— Я ничего; только я не знаю, где же вы прикажете мне лечь: здесь ли, на полу, принести тюфяк,— или в кухне?

— Я прикажу тебе вовсе не ложиться: иди в зал, и сиди всю ночь у окна.

— Зачем же, Лидия Васильевна? — и не спать? — с отчаянием спросила Наташа.

— И не спать. Сиди и молись, чтобы я сделалась такая же добрая, как Надежда Викторовна, которая тебе нравится.

— Очень хоро...— начала было Наташа, но не договоривши, передумала: — Да вы смеетесь, Лидия Васильевна!

— Убирайся в кухню, к Авдотье,— ложись в зале, если не боишься одна,— ложись здесь,— не все ли равно? — Когда ты перестанешь быть глупою и надоедать мне всякими пустяками, все равно, как Алексей Иваныч?

— Нет, Лидия Васильевна, Алексей Иваныч не такой, как я: Алексей Иваныч самый умный человек; это говорит и Миронов и все. Да и что же вы притворяетесь перед Надеждою Викторовною, будто сами не знаете этого?

Илатонцева не выдержала, засмеялась.— Ложитесь здесь, Наташа, и доскажите мне сказку о Марье Маревне, критской королевне.

— Посмотрите, какая бойкая она стала! — Распоряжается в моем доме, будто хозяйка!

— В самом деле, с тех пор как я уехала от madame Ленуар, я не чувствовала себя такою довольною и свободною,— сказала Илатонцева с оттенком грусти.

— У вас добрый отец, Надина; при нем вы будете опять чувствовать себя довольною и свободною.

— О да, да! — радостно сказала Илатонцева.

---

Пришедши поутру пить чай, Волгин увидел в столовой только жену.— А где же Илатонцева, голубочка? — Неужели тетка уже успела прислать за ней? — Еще нет десяти часов? Неужели старая дурища, прорыскавши черт знает где до поздней ночи, уже вскочила опять рыскать?

— Илатонцева ушла, как встала; не хотела даже подождать чаю. Авдотья говорит,— Авдотья проводила ее,— что умная тетушка еще спит. Приехала часу в пятом.

— Плясала на бале или просто кутила,— основательно заметил Волгин.— А славная девушка эта Илатонцева.

— Очень хорошая. И ты вчера уже вздумал было навязывать мне заботу о ней? — Очень достаточно мне и того, что нянчусь с Володею и с тобою.

— Я вовсе не думал, голубочка,— с убедительною искренностью сказал муж.— Уверяю тебя, не думал.

— Не думал! — Если бы я не заметила и не остановила тебя, когда ты печалился ее приданым, ты сейчас бы начал внушать ей, чтобы она, когда приедет из деревни, обо всем советовалась бы со мною.

— Ну, что же, голубочка? — Разумеется, всякие там мерзавцы,— ну, может ли она понимать мерзавцев? — Что же, разумеется, это жалко: одна, некому вразумить.— Волгин был хорош тем, что нимало не стеснялся и объяснять свои мысли после того, как отперся от них.

— Совершенная правда, мой друг; но я не хочу продолжать тесного знакомства с нею. Такие знакомства не по нашим деньгам. Да я и не люблю бывать у людей, которые важнее нас с тобою. Ты должен бы помнить это.

— Ну, конечно, это хорошо, голубочка, и все так. Но для нее можно бы сделать исключение.

— Хорошо; я доставлю тебе и случай сделать исключение. Я иду гулять,— ты остаешься дома,— так?

— Голубочка! — Эта дурища, как протрет глаза, придет благодарить тебя за любезность к ее племяннице! — Тебя не будет дома, а я буду дома!

Жена засмеялась.

— Я пойду гулять по нашему садику. Я не хочу отнять у себя удовольствия прочесть ей лекцию.

— И не вызовешь меня к ней?

— Нет, не вызову, друг мой, не бойся. У меня нет только охоты, у тебя нет и времени для лишних знакомств.

Через полчаса Волгина вернулась из садика в комнату мужа.— Давай то, что у тебя приготовлено для типографии. Я еду в город, буду в той стороне. Эта глупая Наташа вздумала пристать ко мне, чтобы я купила ей золотые серьги: Илатонцева подарила ей вчера три рубля.

— А как же лекция, которую ты хотела прочесть этой старой дурище? — Наташа могла бы подождать,— поехала бы, голубочка, после обеда.

— После обеда некогда. Вчера Миронов не был,— значит, приедет обедать. Будет еще кто-нибудь из моих приятелей. Возьму коляску или шарабан, если их будет много, и поеду в Парголово: я еще не была там.

— Ну, так могла бы Наташа подождать до завтра.

— Нельзя ей, потому-то она и пристала: на даче, где живут столяры, ныне большой праздник, день рождения

жены второго брата,— того, который приходил к нам поправлять мебель. Наташа непременно хочет отличиться там в золотых сережках.

---

За обедом Волгина сказала мужу, что Илатонцева заходила с теткою к ним и оставила записку, в которой говорит, что тетушка и она заедут послезавтра.

Но перед обедом на другой день приехал слуга Илатонцевых и подал новую записку. Девушка извиняла свою тетку и себя в том, что они не будут завтра у Лидии Васильевны: ныне поутру тетушке представилась непредвиденная надобность спешить отъездом в деревню. Через четверть часа они должны быть на железной дороге. Тетушка так поздно сказала ей, она торопится и стыдится, что так дурно пишет.— Тетушка поручает сказать, что первый визит ее по возвращении в Петербург будет к Лидии Васильевне.

В приписке из десяти слов тетушка повторяла то же извинение и уверение по-французски, выражаясь о себе jait и javait [1], по грамматике русских аристократок и парижских лореток,— как заметил Волгин, с обыкновенным своим остроумием, за которое и одобрил себя необходимою руладою.

— Обещание тетушки не очень страшно: к тому времени пятьсот раз успеет забыть обо мне.— Илатонцева будет иногда заезжать, пока не будет у нее жениха.

— То есть очень недолго,— заметил Волгин с неизменною своею основательностью.— А что касается ее тетки, то уверяю тебя, голубочка, надобность этой дурище спешить в деревню та же самая, какая заставила ее тогда рыскать черт знает где, бросивши племянницу. Просто ветер ходит у нее в голове: он подует, она и несется,— уверяю.

---

Прошло еще месяца два или больше. Приближалась осень. Аристократы, вероятно, в своих каменных дачах, еще не начинали думать о возвращении в город; Волгина уже думала. Но после двух, трех ненастных дней погода

[1] Правильное написание: j'ai, j'avais — я имею, я имела *(франц.)*.

поправилась, и Волгина воспользовалась этой отсрочкою, чтобы переменить обои на своей городской квартире: денежные дела мужа быстро улучшались; на прошлой неделе он получил за месяц сотнею рублей больше прежнего. Так он будет получать и в следующие месяцы до нового года. А потом счеты будут вестись на новых основаниях, уже очень выгодных для него.

— Это прелесть, какою миленькою, веселою станет наша квартира! — говорила Волгина мужу, возвратившись из города, куда ездила выбирать обои. Она стала описывать до малейших подробностей, какие обои взяла для какой комнаты.— Словом, ты понимаешь, во всех комнатах будут светлые обои; только в твоем кабинете не светлые, синие: они лучше для глаз... Ах, мой друг, я боюсь, что ты утомляешь свои глаза!

— Напрасно, голубочка; мои глаза очень близоруки, но зато чрезвычайно здоровы. Сколько лет я, можно сказать, только тогда и отрывал их от книги, когда спал,— и ни разу не чувствовал зрения утомленным. У очень близоруких очень часто бывают ужасно крепкие глаза.

— Но какие бы ни были они крепкие, все-таки я опасаюсь за них. Готлиб Карлыч пил кофе, когда я привезла ему то, что ты приготовил; села выпить чашку,— славный кофе,— мы разговорились. Он сказал: «Ни один литератор не пишет столько. Ни я, никто из наборщиков не видывали, чтобы кто-нибудь писал так много».

— Это ничего не значит, голубочка. Я пишу сплеча, даже не перечитываю. Другие обдумывают, потом поправляют. Иные сидят за письменным столом не меньше моего, быть может.

— Все-таки ты должен писать меньше. Теперь ты стал получать больше, нежели надобно мне.

— Ну, голубочка, еще далеко до того, чтобы получать, сколько надобно. Ты вспомни: тебе надобно иметь экипаж, пару лошадей, а когда дойдет до такого дохода? — Разве года через полтора наберешь денег. Но главное, голубочка, вовсе не твои надобности. Прежде точно, главное было в них, когда искал работы, хотел зарекомендовать себя, что могу писать быстро. А теперь, голубочка, совсем другое. Совесть — эко, даже совесть приплел к таким пустякам! — Само собою, вздор; но что же ты станешь делать с этою моею глупостью, когда так думаю: если не напишу об этом, то будет написана чепуха,—

а «об этом» выходит обо всем, о чем ни бывает надобно,— ну, даже и не успеваю.

— Но что же так долго не едет твой Левицкий? — Ты говорил, он уезжал тогда месяца на два. Давно пора бы ему приехать. Ты написал бы ему, поторопил бы его.

— Твоя правда, голубочка. Напишу.

— Ты забудешь, я знаю тебя! — Но я сама буду за тебя помнить. Завтра, когда ехать в город, спрошу, готово ли письмо, и если не готово, заставлю написать при себе. Или хочешь, я напишу за тебя? — Это я сумею. Ты не говори мне, как писать. Только скажешь мне адрес.— Волгина уже сидела за письменным столом мужа и доставала почтовую бумагу.— Ты не говори мне, что писать. Я сама знаю. Ах, как хорошо я напишу! Это будет прелесть! Я даже не покажу тебе, что напишу; — ни за что не покажу.

Теперь уже неотвратимо. Можно только объяснить, почему адрес будет в деревню Илатонцева. Конечно, Левицкий сказал, что едет в глухое село, куда нет почты, и что если писать ему, то через этого родственника, который гувернером у Илатонцева.

Жена сложила письмо, взяла конверт.— Адрес, мой друг.

— Адрес, голубочка: Владимиру Алексеичу,— ну, Левицкому, это знаешь,— в Харькове, в доме Левицких, у Троицкой церкви.

Десяти минут было достаточно Волгину, чтобы найти способ отвратить неотвратимое. В особенности он был доволен домом Левицких, у Троицкой церкви. Харьков, это еще не важность: и Калуга и Орел, все годилось бы. Но «в доме Левицких» — что может быть натуральнее, когда он уехал к родным? — «У Троицкой церкви» — что может быть короче, проще, несомненнее?

— Как я рада, что хоть немножечко помогла тебе! Ах, мне хотелось бы помогать тебе! — Не умею, мой друг; ничему не училась.— А теперь поздно, когда Володя не идет из ума! — Сяду читать и вдруг замечаю: ничего не прочла, все думала о Володе... Как я рада, что вздумала написать за тебя! Хочешь, я стану писать за тебя все письма? Это я сумею...

Она так радуется, что помогла ему! — Ему стало стыдно за свое двоедушие перед нею: она не могла бы сказать «в доме Левицких, у Троицкой церкви».

— Милая моя голубочка, ты сядь подле меня и не огорчись тем, что я скажу. Ты знаешь, у меня характер мнительный, робкий. Потому не придавай важности моим словам: ты знаешь, у нас все тихо, и я думаю о будущем только потому, что я трус. Воображаю то, чего, может быть, и не будет. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не был трус, то и нечего было бы мне думать ни о тебе, ни о Володе. Ты знаешь, я не думаю ни о своих глазах, ни о своем здоровье: за мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаешься, поверь мне. Одно может повредить тебе с Володею: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Будь что-нибудь теперь, нам с тобою еще ничего. Обо мне еще никто не позаботился бы. Но моя репутация увеличивается. Два, три года,— и будут считать меня человеком со влиянием. Пока все тихо, то ничего. Но, как я говорю и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашею свадьбою я говорил тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятного тебе. Но не могу не видеть, что через несколько времени...

— Так ты вот о чем! — Она побледнела.— Молчи, не смей говорить! — Она вскочила и зажала ему рот.— Не смей! — Молчи! Я слышала раз,— довольно. Не смей! — Она убежала.

Натурально. Тогда она еще могла слушать, потому что еще и не воображала, что будет так расположена к нему. Натурально, теперь ей труднее слушать: прожили вместе три года; и теперь она понимает, что это и может случиться; тогда и не понимала. Конечно, теперь вовсе не следовало говорить. Или следовало?

Он пошел за нею.

Она прижимала сына к груди и рыдала над ним: «Володя, мы с тобою будем сиротами!»

Не время было доканчивать основательное изложение мотивов, по которым он дошел до изобретения дома Левицких у Троицкой церкви.— Он стал говорить, что преувеличивал, что ей нечего обращать внимание на его слова, потому что она знает, у него мнительный и робкий характер.— Когда она совершенно измучилась, она стала успокаиваться.

Потом она побранила его: зачем говорить об этом? — Было сказано раз. И довольно. Она помнит. Но не хочет

помнить. Зачем помнить? — Пусть он никогда не смеет не только говорить ей, и сам пусть не смеет думать. Он думает потому, что всегда фантазирует. Это вздор. Ничего этого не будет.

Она довольно спокойно стала играть с Володею и к вечеру стала опять весела.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не только люди, жившие на дачах, построенных из досок по соображению с итальянским климатом, но и аристократы перебрались в город. Начались разговоры о будущем оперном сезоне. Наконец явились и афиши о первом спектакле.

Волгина была хороша с Рязанцевою. Виделись они не часто. Сборы дам друг к другу всегда длинны. Но через Миронова они постоянно передавали друг другу свои новости. Рязанцев был профессор в университете. Миронов был одним из лучших студентов. В те времена русские прогрессисты любили русскую молодежь. И молодежь любила их. Миронов пользовался расположением Рязанцева. Потому и расположением Рязанцевой. Иначе и быть не могло, потому что она веровала в мужа. Не веровать было бы нельзя: она любила его. И не любить нельзя: он стоил того.

Рязанцев был главным местным авторитетом прогрессистов в Петербурге. Прогрессистов в Петербурге было тогда бесчисленное множество. Все, кто только мог, лезли к Рязанцеву. По вторникам квартира Рязанцевых была битком набита прогрессистами. Переполнивши все, более или менее открытые для гостей комнаты, они вламывались даже в детскую. Рязанцева только умоляла не кричать там.— Все, кто мог, считали за величайшее удовольствие себе оказать услугу madame Рязанцевой. Если б она пожелала бросить букет Бозио, ей навезли бы полсотни самых дорогих букетов. Но она желала только достать билет в 4-й ярус. Десять прогрессистов заглушали друг друга предложениями привезти билет во 2-й ярус, в 1-й ярус, в бельэтаж. Рязанцева едва могла вразумить их, что не хочет сорить деньгами. Двадцать прогрессистов заспорили о том, кому достанется удовольствие добыть для нее билет в 4-й ярус.

Поутру в день первого спектакля она прислала Миронова сказать Волгиной, что имеет билет. Волгина была очень рада. Она пошла спросить мужа, поедет ли он с нею. Ему было нельзя: он должен провести этот вечер в типографии. Она была несколько огорчена этим; думала, что он, по своему обыкновению, только отговаривается. Но он сказал: «Говорю правду, голубочка». По этой формуле, она уже всегда могла быть уверена, что он не лжет. Она сказала Миронову, что берет с собою его.

Типография была в Коломне, недалеко от оперы. Поэтому взяли четвероместную карету, чтобы кстати завезти Волгина в типографию. Волгин был завезен в типографию, и карета поехала к опере.

---

Вошедши в типографию, Волгин увидел, что приехал целым часом раньше, нежели нужно. Правда, можно начать работу хоть сию минуту; но если так, через четверть часа опять придется ждать. Куда девать ему время? — Опера в сотне шагов. Не лучше ли всего пройти туда? Это доставит удовольствие жене.

Он пришел; стал подыматься по лестнице. Но куда ж идти ему? В 4-й ярус, положим; но в какой нумер? — Только тут, поднимаясь на лестницу, он сообразил, что не знает нумера ложи. Он остановился, подумал: как быть с этим? — Убедился, что затруднение непреодолимо, пошел вниз. Спускаясь, все соображал и вдруг сообразил, что если уже так, то можно устроить другое дело, удовольствие самому себе. Он подошел к кассе:— «Позвольте два билета в боковые места, одно место с одной стороны, другое с другой». Кассир отвечал, что нет ни одного билета в боковые места. Видя, что человек опечалился, а одет не бедно и украшен золотыми очками, кассир прибавил, что самые дешевые билеты, какие остаются,— в шестой ряд кресел.— Волгин подумал. Дорого: но это бы так и быть. А главное: в креслах его увидит Лидия Васильевна. Нельзя. Он пошел от кассы, перебирая пальцами свою рыжеватую бороденку. Но сообразительность его была неистощима. Он промычал «гм!» — в одобрение своему уму, и пошел вверх. Он вспомнил средство, которым пользовался, при недостатке билетов в боковые места, в последний год своего студенчества, когда был отчасти меломаном.

Но теперь желание у него было не то, как тогда! Не слушать, а произвести осмотр,— и осмотр основательный, полный. Для полноты он и спрашивал два билета. «Есть у вас хороший бинокль?» — спросил он, для основательности, у капельдинера боковых мест.— Старик подал довольно хороший.— «А получше нет?» — «Это очень хороший».— «Мне надо лучше».— «Если вам нужно самый хороший, дочка у меня сбегает вниз, достанет».— Девочка притащила бинокль, действительно отличный. «Хорошо»,— сказал Волгин и сторговался, чтобы пустили его постоять между лавок.

Он стал систематически обозревать сначала кресла, ряд за рядом: точно ли, бинокли из кресел повертываются больше всех вверх, и на одну ложу. Так; вертятся по всем направлениям, а больше все вверх, и на одну ложу. Разумеется, он и говорил, что должно быть так. Нельзя иначе. Он говорил. Потом он внимательно стал осматривать противоположную сторону театра, с бенуара, через бельэтаж, первый ярус. И тут, все так: нельзя, он знал, что должно быть так. От усердия рассматривать основательно он страшно нахмурил брови, но очень самодовольно улыбался: он мог быть доволен собою: он рассматривал внимательно; разумеется, и смотреть напрасно; но отчего же и не посмотреть, что оно так, как знаешь,— отчего не посмотреть, когда есть свободное время? Разумеется, и смотреть нечего. Но отчего не смотреть?

Кончивши обзор противоположной стороны, он вышел в коридор, сказал капельдинеру, что идет на ту сторону, берет бинокль с собою, оставил денег для верности, что не унесет бинокль, и пошел на другую сторону боковых мест. Сообразил, которая дверь приходится прямее против девятой ложи от сцены, купил у капельдинера разрешение войти в эту дверь, стал между скамьями второго ряда, принялся доканчивать свой осмотр,— разумеется, и с этой стороны все так,— кончил осмотр, потом стал глядеть на девятую ложу 4-го яруса.— Через несколько времени он заметил, что очки его начинают тускнеть; потому опустил бинокль, стал протирать их, а в это досужее время предался размышлению. Размышление состояло в том, что в сущности, конечно, Лидия Васильевна справедливо рассудила, что не могла бы быть счастлива, если бы согласилась пойти за кого-нибудь другого, и само собою, невозможно не согласиться, что она тогда делала хорошо, что

не слушалась его. И конечно, ее жизнь все-таки лучше, нежели была бы в другом замужестве,— это она говорит правду. Потому действительно с его стороны совершенно глупо жалеть, что она согласилась выйти за него.— Размышления Волгина всегда были так основательны, что он постоянно видел себя принужденным соглашаться с собою, что рассуждает очень справедливо.— Потому и теперь у него осталось только одно сомнение: умел ли он протереть очки так ловко, что никто из соседей и соседок не обратил внимания. Потому что ему никогда не было приятно, если кто замечал, когда он поступает несколько странновато. Он надел, оправил очки и повел глазами по соседам и соседкам: кажется, никто не обращает внимания на него; ни этот молодой человек, вероятно, чиновник,—ни этот, вероятно, тоже чиновник,— ни эта, вероятно, сестра этого,— ни эта, должно быть, мать их,— ни этот, должно быть, небогатый купец,— ни эта, должно быть, его жена,— ни этот... Вот тебе раз, кто этот-то?

— Как это вы здесь, в боковых-то местах? — вполголоса сказал Волгин, пригнувшись к уху «этого-то» и дотрогиваясь до его плеча. «Этот-то» был Нивельзин.

Нивельзин оглянулся.— Волгин! Вы! — Если кому, то мне дивиться, что мы встречаемся здесь. Как это вы забрались в боковые места? — Танечка, вы извините меня, мне надобно поговорить с господином Волгиным,— обратился он к своей соседке, до которой еще не доходило пересчитыванье Волгина.— Я надеюсь, что вы не до такой степени заинтересованы увертюрою, чтоб отказать мне в нескольких минутах разговора, monsieur Волгин? — Прощайте, Танечка.

— Идите, бог с вами. Будто я не понимаю! — сказала девушка больше с шуткою, нежели с досадою.— Ступайте в ложу к вашим друзьям.

— Я не пойду в ложу к Рязанцевым. Вы увидите, что напрасно обижаетесь. Серьезно, мне надобно поговорить с monsieur Волгиным. Вы увидите, я буду сидеть в четвертом ряду кресел.

— Посмотрим. Если не пойдете в их ложу, то прекрасно. Но в таком случае незачем было прощаться. Поговорили бы с monsieur Волгиным и пришли бы назад.

— Я компрометировал бы вас, Танечка, если бы возвратился сюда: в антракте, в фойе, знакомые увидят меня.

Как я скрылся бы после того? Они стали бы смотреть, куда я пропал.

Девушка смеялась.— Oh, traître! Oh, monstre! [1] Почему же вы не сказали мне, что пробудете здесь только до первого антракта? — Oh, monstre! Voyez comme il sait mentir! Mais je vous assure que vous êtes un monstre! [2]

— Порок наказан в моей персоне,— сказал Нивельзин, вышедши с Волгиным в коридор.— Я был дружен с Танечкою,— она жила с одним из моих знакомых. Входя в театр, встретил ее, спросил о нем,— я только вчера приехал, еще почти ни с кем не виделся; — пока я путешествовал, он женился. Вы видите, она мила — и даже с нею можно говорить, она читает французские романы.

— И вы пошли с нею в боковые места?

— Чего же вы хотите? — Я не был влюблен ни в кого, я не думал о возможности жениться.

— А теперь думаете? — Волгин залился руладою, от которой вздрогнула прислуга коридора.— Когда ж это успели решиться? — Однако, я думаю, мне пора: я пришел в типографию,— здесь, подле,— было еще рано,— зашел сюда.— Он вынул часы.— Пора.— А когда вы к нам? — Жена будет очень рада видеть вас.

— На днях!

— Эко, хватили: «На днях!» — Завтра.

— Может быть, завтра.

— Ну, тоже хорошо: «Может быть!» — Завтра, да и кончено. Обедать.— Вы видите, вас зовут с искренним расположением. Чего ж тут? Много вы насчитаете семейств, где искренне расположены к вам? — Рязанцевы, да и обчелся, я думаю. Так завтра?

— Я давно уважал вас. Вероятно, вы замечали, что я всегда хотел сойтись с вами, когда мы встречались у Рязанцевых...

— А я пятился? — Натурально, у меня нет праздного времени. Но когда зову, то, значит, расположен. Чего ж тут? — Завтра?

— Завтра.— Нивельзин должен был видеть расположение в нелепых фамильярностях дикого человека.

---

[1] О, изменник! О чудовище! *(франц.)*

[2] О, чудовище! Посмотрите, как он лжет! Уверяю вас, что вы чудовище! *(франц.)*

— Ну, и прекрасно.— Пора в типографию! — А, да еще нужно будет занести бинокль! Совсем было забыл! — С этими словами Волгин поскакал вниз по лестнице через две и три ступени.

---

Пока театр наполнялся, Волгина смотрела на публику. Теперь давно забыла думать о ней.

— Нивельзин приехал,— сказала Рязанцева мужу.— Сейчас вошел. В четвертом ряду.

— А! — Очень рад! — Очень рад! Послушаем, что привез, какие новости! — Рязанцев потирал руки от удовольствия.

— Нивельзин, в четвертом ряду кресел? — сказала Волгина и взглянула.— В самом деле! — Она пожала плечами.

— Вы знакома с ним? — спросила Рязанцева.

— Знаю его в лицо. Но мы еще незнакомы.

— Я думала, вы уже познакомились перед его отъездом, потому что, кажется, он очень сошелся в то время с вашим мужем.

От Рязанцевой нельзя было ждать ни колкостей, ни темных намеков. Если она говорила так, она должна была думать, что услышат это очень равнодушно. Что ж она говорит? Неужели сделались известными отношения Нивельзина с Савеловой?

— Почему вы думаете, что мой муж очень сошелся с Нивельзиным перед его отъездом?

— Мы тоже знаем кое-что,— сказал Рязанцев так быстро, что перебил ответ у жены, и с таким удовольствием, что опять потер руками: — Мы знаем, что именно Алексей Иваныч и отправил его за границу.

Очевидно, все это говорилось с полнейшим незлобием.

— Алексей Иваныч отправил его за границу! — Меня начинает очень интересовать это.

— Перед нами нечего скрывать,— сказал Рязанцев, продолжая потирать руки, понижая голос и нагибаясь ближе к Волгиной.— Нивельзин, быть может, и поехал бы за границу,— но не так поспешно. Алексей Иваныч ускорил его отъезд, если не послал нарочно.— Рязанцев совершенно пригнулся к уху Волгиной и шепнул:— Алексей Иваныч посылал его с поручениями в Лондон.

Волгина вздохнула свободно: правды и не подозревают, говорят какой-то вздор, который, в чем бы ни со-

стоял, не может иметь никакого отношения к Савеловой.— В Лондон? С порученями? В Лондон посылают с поручениями купцы, покупать или продавать на миллионы,— о, я очень рада, если у Алексея Иваныча завелись миллионы! Отниму все у него!

— Тише, могут слышать,— шепнул Рязанцев в совершенном восхищении.— Вы отговариваетесь очень мило, но напрасно.

— Ах, теперь понимаю, если вы советуете говорить, чтоб не могли услышать! — Совсем забыла, что в Лондоне живут наши! Но с чего же вы взяли, что Алексей Иваныч посылал Нивельзина с поручениями к ним.— Алексей Иваныч не мог сказать этого. Неужели Нивельзин так сказал вам?

— Такие вещи не сказываются, они только угадываются,— с восхищением шептал Рязанцев: — Человек не думал о путешествии. Вдруг объявляет: послезавтра еду за границу; — оказывается, накануне был у него Алексей Иваныч. Человек едет,— и Алексей Иваныч один знает час его отъезда,— приходит провожать его,— провожает до кареты, обнимаются, оба, кажется, плачут, целуются, Алексей Иваныч усаживает его в карету,— мы знаем только эти факты. Давайте нам факты, до их значения мы как-нибудь доберемся своим умишком,— хе, хе, хе.— Он смеялся от глубины души.

Если бы Волгиной привелось услышать такое объяснение в тот вечер, когда была взволнована соображениями мужа о будущем, она приняла бы слова Рязанцева очень горячо. Но она не любила унывать; она не любила заранее мучить себя страхами. Муж мог расстроить ее своими предсказаниями, но лишь на несколько часов. На другое утро она встала уже с теми же мыслями, какие имела до этой тревоги: не все то сбывается, чего боятся мнительные люди, между которыми муж ее был один из самых искусных на придумывания. Она твердо знала, что кто осторожен, тот почти всегда совершенно безопасен. Поэтому слова Рязанцева хоть и были не совсем приятны ей, показались больше забавны.

— Что за вздор! — сказала она, засмеявшись.— Вы сами говорили мужу, что он проехал в Рим,— какие ж это посылки наскоро в Лондон, когда человек едет в Рим и живет там, потом в Париж и живет там? — Вы говорили

мужу, что он хотел проехать в Англию только уже на возвратном пути в Россию?

— Те, те, те! — прошептал Рязанцев, плутовски прищуривая глаза и потирая руки с ожесточением восторга.— Те, те, те! — Через две недели по выезде из России доехавши до Рима, можно было иметь время завернуть в Лондон! — Алексей Иваныч ведет дела похитрее нас грешных. От нас едут прямо в Париж, по торной дороге в Лондон, — а у него: поехал по дороге в Италию!— Кому интересно следить, который поехал в Италию?— Свернул с половины дороги, и опять попал на нее — все шито и крыто, иголочки не подпустишь! — Да, надо нам всем поучиться у Алексея Иваныча! — Жаль одного: расход слишком тяжел! — Такие большие издержки можно делать только в немногих, чрезмерно важных случаях.

— Если бы вы знали, какой вздор вы говорите!— И муж и Нивельзин расхохотались бы.

— Вы отстаиваете их очень твердо, но скоро мы произведем маленькое следствие и получим улики, — сказал Рязанцев, лукаво приморгнув.— Нивельзин наверное зайдет сюда, и мы произведем ему допрос! Небольшой допросец!

— Так вы еще незнакома с Нивельзиным? — сказала Рязанцева.— А я думала, что и вы хороша с ним. Когда вы взглянули на него, вы пожали плечами, и он вспыхнул.

— Вероятно, он понял, почему я пожала плечами. И если он придет сюда, то убедится, что я очень люблю делать выговоры.

— За что ж вы сделаете ему выговор?

— За то, что он переменил место.

— Он переменил место? Где ж он был прежде? За кем он смел волочиться?

— Как вы любопытна! — Как вы неосторожна!— Ваш муж слушает нас, вы забыли это.

— Я слушаю, это правда; но ничего не слышу. Я образцовый муж.

— Не очень шутите, мой милый муж: я в самом деле немножко влюблена в него, несмотря на мои двадцать восемь лет. Несчастная! Он ни разу не взглянул на меня, с тех пор как мы поклонились!

— Творец! — Почему влюбляются в таких жестоких? — патетически сказал Миронов.— Почему не влюбляются в меня? — Он стал утирать кулаком глаза.—

Влюбитесь в меня, я не буду жесток! У меня чувствительное сердце! — и продолжал хныкать, пока не кончился длинный дуэт между певцами, которых никому не было охоты слушать.— Он недурно подделывался своим хныканьем под их достойные оплакиванья голоса и заслужил то, что три довольно хорошенькие дамы из соседней ложи шептали ему: браво! — Он раскланивался им, прижимая руку к сердцу, и, стискивая ручку своей студенческой шпаги, бросал такие свирепые взгляды на двух мужчин, бывших в той ложе, что и они расправили свои официальные лица.

---

— Я устала сидеть,— сказала Рязанцева, когда кончился первый акт.— Пойдем ходить по коридору.

— Пожалуй,— отвечала Волгина.

Они успели сделать лишь несколько шагов, Нивельзин уже взбежал в их коридор.— Он подошел к Рязанцевой, сказал, что приехал только вчера, что множество дел не позволило ему сделать еще ни одного визита, что поэтому Рязанцева должна извинить его.

Рязанцев шел позади, с Мироновым. Он крякнул деловым образом, чтобы заставить его оглянуться, и сказал:

— А с Алексеем Иванычем Волгиным вы уже виделись?

— Да, я видел его.

— Хе, хе, хе,— вы виделись с ним! — Рязанцев лукаво приморгнул.— Мы не в претензии,— продолжал он серьезно и одобрительно.— Важные дела прежде мелких. Мы понимаем, что вы должны были увидеться с ним первым.

Добряк торжествовал: он сделал «маленький допросец» и «получил улику».— Волгина не могла оставить этого так: Нивельзин, конечно, относил слова Рязанцева к действительным причинам своего сближения с ее мужем. Надобно было показать ему, что Рязанцев ничего не знает.

— Скажите, Нивельзин, где видели вы моего мужа?

Нивельзин смотрел на нее изумленными глазами.

— Скажите Григорию Сергеичу, где видели вы моего мужа. Он воображает, будто вам было поручено видеть его тотчас же по приезде в Петербург.

— Я видел monsieur Волгина сейчас, здесь, в театре; мы встретились совершенно случайно.

Рязанцев был сражен. Но в тот же миг на лице его выразилось понимание, довольство и с тем вместе уважение, близкое даже к благоговению.

— Не спрашиваю больше,— сказал он, таинственно понижая голос.— Вы не искали друг друга. Вам не было надобности видеться. Вы встретились в опере, совершенно случайно. Какие дела могут быть в опере? О чем можно говорить в опере? — Чья бы ни была эта мысль, я выражаю свое уважение к этому человеку и молчу.

Конечно, он понял, что Волгин ведет свои дела еще гораздо искуснее, нежели предположил он, по отправлению агента в Лондон через Австрию.— Но Волгиной было важно только то, чтобы Нивельзин не считал нарушенной тайну своих отношений к Савеловой. Нивельзин мог видеть, что Рязанцев толкует о rendez-vous [1] нисколько не похожих на любовные. Этого было довольно для Волгиной. Теперь Нивельзин сам заставит Рязанцева высказать ему свое предположение и сумеет объяснить ему вздорность этой фантазии.

— Хе, хе, хе! — Я молчу. Оставим это. Не любопытствую, что̀ привезли вы Алексею Иванычу,— продолжал Рязанцев таинственным шепотом.— Но что же вы привезли мне? — Только поклоны? Или и поручения? — Как поживают? Скучают по родине?

— К вам есть письма. В них ничего особенно важного. Я не знал, что найду вас здесь, и их нет при мне. Привезу завтра поутру. Но мы поговорим с вами, когда взойдем в ложу.— Нивельзин бросил Рязанцева и подошел к Рязанцевой.— Я имею сказать вам несколько слов, Анна Александровна.

— По секрету? Что подумает мой муж? — Предупреждаю вас, Лидия Васильевна: это страшный ветреник,— по крайней мере был ветреник прежде, нежели сделался моим постоянным поклонником,— и рекомендую: Нивельзин.

— Мы немножко знакомы,—сказала Волгина, подавая ему руку: — И когда вы расскажете ваши секреты Анне Александровне, я, также по секрету, сделаю вам выговор.

Рязанцева пошла тише.

— Кто это? — тихо спросил Нивельзин, когда они отстали на несколько шагов.

---

[1] Свиданиях *(франц.)*.

— Вы могли видеть из разговора, кто она; madame Волгина; я назвала вам и ее имя: Лидия Васильевна.

— Прежде нежели я подошел к вам, я очень хорошо знал, что это не может быть madame Волгина; я прошу вас сказать: кто она?

— Вы с ума сошли, Нивельзин?

— Это очень может быть. Тем меньше надобности дурачить меня. Ради бога, кто она?

— Вас дурачат? — Решительно, вы сошли с ума.

Он промолчал, с терпеливою досадою человека, который предоставляет желающим мистифировать его убедиться, что он слишком ясно понимает мистификацию.

— Да уверяю же вас, это madame Волгина.— Вы даже не удостаиваете меня ответа? — Если бы вы знали, как очевидно, что вы сошли с ума!— Спросите у нее, если вам неугодно верить мне.— Лидия Васильевна,— сказала она громче,— угадайте, о чем мы говорим?

— О чем, не знаю; о ком, это понятно: обо мне.

— Он вообразил, что вы не можете быть Лидия Васильевна Волгина.

— Почему же не могу?

— Спросите у него сама. Меня он даже не удостаивает спора: так тверд в помешательстве. — Рязанцева, смеясь, пошла рядом с мужем и Мироновым.

— Вы думаете, Нивельзин, что мы сговорились мистифировать вас? — Правда, вы могли видеть, что мы много смеялись после того, как вы перешли в кресла. Вы могли подумать, что они также знают, почему вы перешли в кресла. Но вы ошибаетесь. Вы видите, они вовсе и не воображали, что мой муж был здесь. Значит, они не смотрели в ту сторону и не видели вас там. Они ничего не замечали, Нивельзин.

— Я вовсе не знал, смеялись ли вы и они после того, как я перешел в кресла.

— Ваша правда,— вы, поклонившись им, держали себя очень умно. Зачем давать людям смеяться над собою?— Мне было бы досадно, если бы могли смеяться над вами.— А теперь, Нивельзин, они смеются: держать себя умно,—и вдруг начать фантазировать так, что они видят, вы влюблен, как юноша! — Это совершенно лишнее, Нивельзин, чтобы они смеялись над вами.

— Могут ли они не смеяться, когда вы согласились участвовать в том, чтобы мистифировать меня?

— Вы забываете, Нивельзин, что если Рязанцева дружна с вами, то я еще не была знакома. Это было бы слишком много уступать чужому желанию, если бы я согласилась, чтобы она пользовалась мною для мистификации. Да и могла ли я полагать, что вы не знаете меня в лицо? — Правда, теперь вы заставили меня вспомнить, что вы тогда не заметили поклон моего мужа,— не видели ни его, ни меня,— правда, эта гадкая женщина затворила гостиную, где я сидела, и вы, проходя через зал, опять не могли видеть меня,— но не могли же такие мелочи оставаться у меня в свежей памяти столько времени,— я совершенно не вспоминала их, и мне думалось, что и вы видели тогда меня,— потому что я видела вас.— Теперь, надеюсь, вы убежден, что дама, пославшая вам свою перчатку, была я?

— Я вижу, что вы пользуетесь полною доверенностью madame Волгиной. Вы ее сестра, потому что вы знали, что я еще не был у них по приезде,— вы живете вместе с ними. Вы ее сестра или близкая родственница.

— О, если бы мой муж слышал это! — Он разогнал бы весь театр своим хохотом. Но я скажу вам, что я прощаю вам только потому, что вы мало знаете меня: если бы madame Волгина имела сестру, она могла бы рассказывать сестре свои тайны, но не чужие.

— Не смейтесь надо мною,— сказал он печально.

— Вы могли заметить, что я сделалась очень серьезна, потому что вы несколько рассердили меня: я могла бы рассказать кому-нибудь чужую тайну! Нет, я не похожа на вашего Рязанцева, который все знает и все говорит. Я не могу ничего говорить, потому что я ничего не знаю.— Вы поняли, что̀ он знает? — Вы были посланы моим мужем в Лондон с важными секретными поручениями! — Выбейте у него из головы эту глупость, прошу вас. Я не могла продолжать разговора с ним об этом; я не могла говорить о вашем отъезде: я не могу понимать причин вашего отъезда, не могу делать никаких предположений. Объясните ему как-нибудь ваш отъезд и, главное, докажите ему, что вы проехали прямо в Италию, отдайте ему отчет о каждом дне, каждом часе вашего времени на пути от Петербурга до Рима, откуда вы писали ему.

— Я сделаю это; но умоляю вас, скажите ваше имя; скажите, ка́к вы родственница madame Волгиной или monsieur Волгину, кто вы.

— Боже мой, да бросьте же вашу выдумку, будто вас мистифируют. Убедитесь хоть тем, что наш разговор принял такое серьезное направление, при котором шутка была бы совершенно некстати.

— Вы нарочно дали ему такое направление, чтобы я сделался легковернее. И в самом деле, вы сказали мне столько подробностей о деле, которое знали только madame Волгина и monsieur Волгин, вы так сильно говорили о том, чтӧ надобно сделать для безопасности monsieur Волгина, что я, конечно, видел бы в вас madame Волгину, если бы не знал, что вы не можете быть она.

— Почему ж это я не могу быть сама собою? — Как ни была я серьезна, вы начинаете опять заставлять меня смеяться. Почему же вы знаете, что я не я?

— Я знаю, что monsieur Волгин женат уже три года. Дама, которая три года замужем, не может иметь семнадцать лет. Раньше шестнадцати не венчают.

— А, это я слышу иногда, что дают мне меньше лет, нежели я имею. Меня могли бы повенчать семь лет тому назад, если бы я вздумала, потому что, похвалюсь вам, семь лет тому назад у меня были женихи.

— Вы хотите уверить меня, что вам двадцать три года!

— Мне так неприятны эти слова «двадцать три года», что я старалась обойти их. Но увы! Это правда, Нивельзин, мне уже двадцать три года!

— Вы мало приготовились отвечать на вопросы и стали говорить более невероятные вещи, нежели требовала необходимость. Вы могли бы сказать, что вам девятнадцать лет, тогда, хоть с трудом, еще можно было бы верить.

— Желала бы сказать, Нивельзин; к сожалению, не могу. Впрочем, если хотите, думайте, что мне девятнадцать лет,— это было бы очень приятно мне;— пожалуй, хоть семнадцать, хоть шестнадцать — тем лучше.

— Кроме того, что вы не имеете столько лет, сколько должна иметь madame Волгина,— она живет в Петербурге три года,— я знаю, monsieur Волгин живет здесь уже три года;— а вы приехали в Петербург очень недавно. В прошлый сезон вас не было в Петербурге.

— Вы разделяете мнение моего мужа, что все должны смотреть на меня! — Она засмеялась.— Мне очень нравится это мнение. Но не доводите его до такой крайности, как мой муж, чтобы не быть смешным, как он.— Вы не

заметили, чем он занимался здесь? — Рассматривал всех девушек и молодых дам, чтобы сказать мне, что вот он пересмотрел всех и что я лучше всех. О, боже мой, я не видывала такого смешного мужа! — Она опять засмеялась.— Почему Петербург не мог прежде исполнять обязанность, которую возлагает на него мой муж, объясняется очень легко. В первую зиму у нас с мужем не было денег. Я должна была продать даже те пять-шесть шелковых платьев, которые привезла с собою. Я не охотница входить в общество, когда у меня нет денег, чтобы быть одетой не хуже других. Потом я не могла бывать ни в театре, ни на балах, потому что сама кормила Володю. Только с нынешней весны...

— У вас даже есть сын? — Нивельзин пожал плечами.

— Есть.— Она засмеялась.— Но послушайте, Нивельзин,— стала она говорить опять серьезно.— С тех пор как я стала понемножку выезжать здесь в общество, я успела узнать, что молодые люди в Петербурге такие же смешные, как у нас в провинции. Они говорят все то же самое, хоть умеют говорить менее избитыми фразами.— Я согласна, что вы умеете говорить любезности очень ловко,— и вовсе не хочу скрывать, что поэтому мне было приятно слушать их. Но довольно. Потому что это приятно лишь на несколько минут, для начала знакомства. Дальше это было бы скучно.— Лучше, нежели долго слушать любезности, я люблю делать выговоры,— и умею делать их длинные,— о, длинные! — Будьте спокоен: придумывать новые обороты любезностей вам не понадобится, потому что у вас не будет недостатка в предметах для разговора.— Например, скажите, пожалуйста, кто хорошенькая,— очень хорошенькая девушка, подле которой вы сидели? Вы должен знать ее: вы так много говорили с нею. Кто ж она? — Вы краснеете? — Чего вы краснеете? Того, что вы волочились за бедною? Незнатною? — Или того, что я видела, что вы волочились? — О, и в этом случае напрасно. Если б я и не видела, я знала бы, что вы волочились за кем-нибудь,— не ныне, то вчера. Я хочу бранить вас не за то, что вы волочились. Мой муж говорит, что волочиться тяжелое преступление. С своей точки зрения, он прав: он ученый и думает о том, как надобно было бы перестроить общество, чтобы люди не вредили друг другу и не унижались в собственном своем мнении. Он должен строго судить обо всем, что дурно. Но я не ученая, я не присваиваю себе права

быть такою строгою. Впрочем, и он говорит, что нельзя много винить человека, который делает только то, что делают все другие. Я знаю, что все молодые люди, у которых есть деньги, волочатся за красивыми девушками, которые бедны и беззащитны. Я...— В это время грянул оркестр, все пошли в свои ложи. Она торопливо договорила: — Я не виню вас. Но я прошу вас вернуться к ней. До свиданья. После я доскажу вам.

Он шел за нею в ложу.

— Вы сошли с ума? Вы воображаете, что это каприз? Что я говорила это, чтоб уколоть вас? — Даже, может быть, по досаде, из ревности? — Вы могли бы слышать, что я говорю вовсе не таким тоном. Я просто говорю вам, что вы должны сделать. В следующий антракт вы придете. Но если вы смеете войти в ложу, я рассержусь. И сумею заставить вас уйти.— Я сказала вам: идите к ней.

Она затворила дверь ложи.

---

Второй акт кончился.— Пойду посмотрю, жив ли мой Нивельзин,— сказала Волгина.

— Что значит любить человека! Предполагаешь всякие беды с ним, если он не на глазах! — А вот я так уверена, что он не умер, потому что слышу, давно кто-то все ходит мимо ложи по коридору.

— Позвольте мне съездить купить новые сапоги и поднести их ему от вашего имени, Лидия Васильевна,— сказал Миронов.

— Надумались, Нивельзин,— поняли, что я вовсе не сердилась на вас, а просто говорила, как вам следует сделать? Или еще не поняли? — По крайней мере видите, что теперь я говорю нисколько не сердясь? А теперь было бы гораздо больше поводов сердиться. Как вы смели не послушаться меня? — Предупреждаю вас, я очень не люблю приказывать, и если приказываю, то, значит, считаю необходимым приказать.— Где вы пропадали? Все время сидели или бродили по коридору? — Вот было бы хорошо! — Надеюсь, вы не делали из себя такого посмешища для капельдинеров и их детей? — Надеюсь, вы уходили в фойе?

— Да, я ходил курить,— отвечал Нивельзин, все еще совершенно потерявшийся, как ребенок перед гувернанткою, читающею ему мораль.

— Кто она? — Я могла видеть, что она очень небогата и привыкла к тому, что не уважают ее. Но я и не спрашиваю о том, как барышня с приданым, за которою смотрят мать и десяток сестер, кузин, теток, за которую вступилось бы все общество, если бы кто вздумал топтать ее в грязь. Я спрашиваю: вы любовник ее или нет? — Вы приехали вчера, у вас не было, вероятно, времени сделать ее вашею любовницею,— но вы уже делали ей предложения, или она видела, что вы думаете сделать их? — Это почти все равно.— Вы поступили с нею слишком неделикатно, бросивши ее. Она должна была понимать, почему вы бросили ее,— это обидно, Нивельзин. Понимаете ли вы теперь, почему вы должны были возвратиться к ней? — Исправьте вашу неделикатность. Если вы хотите расстаться с нею, вы должны были сделать это так, чтобы у нее осталось приятное воспоминание о вас. У нее, бедной, не очень много будет приятных воспоминаний, когда придет ей пора раздумья о жизни,— если еще не пришла.

— Я пойду к ней... Если вы потребуете, я останусь знаком с нею... Я... я... дурно провел мою молодость... Я... я...— Волгина должна была взять его под руку, потому что его шаги сделались неверны.

— Вам надобно успокоиться, Нивельзин. Я передам вас Рязанцеву. Он горит нетерпением расспрашивать вас о своих лондонских друзьях. А мы с вами еще будем иметь время наговориться. Я возьму вас проводить меня домой. Вы еще юноша, хоть и много повесничали. Вы с первого взгляда понравились мне. Теперь нравитесь еще больше.

Она присоединилась к Рязанцевой и Миронову. Рязанцев овладел Нивельзиным и повел с ним таинственный разговор.

Антракт кончился. Нивельзин удержал Миронова, шедшего в ложу позади других.— Миронов вздрогнул от неожиданного прикосновения: он вовсе не рассчитывал, что Нивельзин схватился за него, чтобы добиться правды.

— Два слова, Миронов. Скажите, пожалуйста, кто эта девушка?

Миронов сделал очень серьезное лицо.— Madame Рязанцева говорила вам, кто эта дама, и рассказывала мне, что вы вздумали вообразить, будто мы сговорились мистифировать вас. Изумляюсь, как пришла вам в голову такая фантазия! — Миронов ужаснейшим образом пожал плечами.

— Продолжать мистификацию бесполезно. Вы не убедите меня в невозможном.

— Почему ж невозможно, что она madame Волгина?— спросил Миронов, еще сильнее утрируя серьезность.

— Madame Волгиной должно быть по крайней мере девятнадцать лет, а ей не может быть больше семнадцати. И она сама совершенно расстроила мистификацию слишком невероятными выдумками. Она вздумала сказать мне, что у нее есть сын.

— «Невероятно!» — Мало ли что невероятно, и однакоже правда? — «Невозможно!» — Мало ли что кажется невозможным? — сказал Миронов с величайшим пренебрежением к аргументам Нивельзина.— Но чем усерднее утрировал он свою серьезность, тем очевиднее было Нивельзину, что это притворство.

— Вот еще факт, Миронов. Волгин был в опере. Я говорил с ним.

— Но, конечно, не сказал же он вам, что это не жена его?

— Не сказал, потому что я не спрашивал. Что же спрашивать у человека, не жена ли его сидит в ложе, когда в ложе есть свободное место, а он принужден покупать у капельдинера позволение стоять между лавками?

— Если вы не хотите верить мне, то бесполезно обращаться ко мне с вопросами. До свиданья. Вы и так слишком долго задержали меня. Сейчас начинается хор, которого я не хочу пропустить.

— Я не пущу вас, пока вы не скажете мне правду.— Он схватил Миронова за руку.

Миронов сделал притворную попытку вырвать руку; почувствовал, что он удерживает ее крепко, рассчитал, что можно вырываться посильнее: стал вырываться будто всей силою и притворился побежденным, состроивши раздосадованную гримасу.

— Нивельзин, вы изломаете мне руку. Пустите же.

Нивельзин видел, что он готов покориться, и, не отвечая, продолжал крепко держать его руку. Изнутри театра раздался хор.— Миронов сделал вид, будто хочет вырваться невзначай; но и это не удалось.

— Извольте, я скажу вам все, только пустите. Она действительно madame Волгина, но она вдова. Ее муж был двоюродный дядя Волгина, которого вы знаете. Он был старик. Он был очень дружен с ее дедом. Он любил ее, как

родную внучку. Она была сирота и бедна. У него было небольшое состояние. Когда он почувствовал, что близок к смерти, он подумал: «Сделаю доброе дело».— Он был принесен в церковь на креслах. Его водили вокруг налоя, поддерживая под руки,— лучше сказать, носили.— По-видимому, его поступок эксцентричен. Но его наследники, родные племянники,— богатые люди, алчные скряги, отчаянные кляузники. Они оспаривали бы действительность завещания, если бы оно было сделано в пользу посторонней. Ему надобно было, чтобы она была называема в завещании его женою. Иначе, я сказал вам, поднялась бы бесконечная тяжба, которая поглотила бы все наследство.— Эта свадьба была ныне летом. Когда она овдовела, она приехала к старшей сестре,— то есть к жене Алексея Иваныча Волгина. Вот вам вся правда.—Пустите же меня.

— Как ее имя?

— Софья Васильевна.

— Благодарю вас, Миронов.— Нивельзин, задумавшись, пошел вверх по лестнице, в боковые места.

Миронов имел сильное влечение приставить к своему носу большой палец и растянуть другие, на проводы ему, но удовлетворился тем, что немножко высунул язык, и, вошедши в ложу, ждал не дождался, пока начнут пищать плохие певцы.

— Лидия Васильевна, знаете, кто вы? — Я сделал вас вдовою, и зовут вас Софья Васильевна. Старик, друг вашего деда, когда стал умирать, велел нести себя в церковь венчаться с вами, чтобы негодяи-племянники его не могли отнять у вас его маленького именья.

— Как вы могли выдумать такую историю? — Я очень сердита на вас.

— Как мог выдумать? — отвечал он, мало пугаясь того, что она сдвинула брови.— Разумеется, не мог бы выдумать в четверть часа целый роман; только тем и ограничились мои труды, что я немножко прикрасил анекдот, который слышал в детстве от родных: они уверяли, что был когда-то в их городе такой случай.— Напрасно сердитесь: добрые люди смеются,— видите.

В самом деле, Рязанцев хихикал, и Рязанцева смеялась.

— Он был дряхл, он уже не мог держаться на ногах и падал вот так,— Миронов опустился в глубине ложи на

колена: и голос у него дрожал,— Миронов заговорил дрожащим стариковским голосом: — «Сонечка, дружочек мой, твой дедушка был мне друг; я хочу обеспечить тебя, чтобы ты была свободна, независима»...

— Шут! Рассмешил меня; не могу сердиться.

— Сонечка, дружочек мой! — Будь моей вдовою! — Исполни последнюю просьбу умирающего старца! — Подурачь его! — Не ты, Сонечка, виновата, что ты стала моею вдовою,— он сам сочинил твою историю при помощи шута Миронова. Шут Миронов не перестанет паясничать, пока ты не согласишься на мою последнюю просьбу; и что же будет, если ты не поспешишь согласиться? — Вот ты уже смеешься, а Анна Александровна еще громче, а Григорий Сергеич уже хватается за бока; шут Миронов доведет вас до хохота, все услышат, все осудят вас, подумают: нехорошо хохотать в опере, когда чувствительные люди плачут, и сам шут Миронов расчувствовался до слез...— он хныкал и строил гримасы.— Так вы будете мистифировать его, Лидия Васильевна? — весело продолжал он своим настоящим голосом, уже уверенный в ее согласии...

— В самом деле, это будет забавно.— Но зачем же вы, Миронов, сделали меня вдовою? — Я не хочу быть вдовою.— Лучше вы оставили бы меня девушкою, как он воображал.

— Нельзя было, Лидия Васильевна: вы слишком смелая. И вдову и замужнюю женщину не скоро найдешь такую.— Невозможно! — Вы не могли б играть роль девушки.

— Вот прекрасно! Когда я была девушкою, я была еще смелее, нежели теперь, потому что совершенно не понимала, что такое влюбляться,— беспрестанно воображала, что влюблена, и чувствовала, что это вздор. Впрочем, это почти совершенно правда: самый глупый вздор. Ребячество, забавное ребячество.

— Вот за это-то и надобно наказать его, что он имел глупость влюбиться в вас, Лидия Васильевна,— сказал Миронов, полушутя, полусерьезно.— Алексей Иваныч говорит правду, что никто не должен влюбляться в вас. Я вот и моложе Нивельзина, а не влюбляюсь. Ему следовало бы быть умнее меня, а не глупее. Пожалуйста, проучите его хорошенько. Смеет влюбляться! — Я готов поколотить его, ей-богу!

— Это будет весело, Миронов. Но я очень недовольна, что вы хоть в шутку назвали меня вдовою. Я не хочу быть вдовою. Я буду девушкою.

Она замолчала и, по-видимому, стала внимательно слушать пение. Но через минуту обернулась к Миронову и повторила: — Я очень недовольна, Миронов, что вы назвали меня вдовою.

Много раз Миронов украдкою заглядывал сбоку на ее лицо, продвигаясь к барьеру ложи, будто бы для того, чтобы лучше видеть действие на сцене. Но ни разу не отважился заговорить.

---

Опера кончилась. Волгина стала надевать шляпу и взглянула на Миронова.

— Что вы такой хмурый? — Думаете, я все еще сержусь на вас? — Но вы ужасно расстроили меня, мой милый Петруша.

У Миронова всегда была охота дурачиться. Тем больше теперь: ему хотелось развлечь Волгину.— Лидия Васильевна, пожалуйста, возьмите его с собою; я уверен, он прилетит провожать вас. Вы добрая, Лидия Васильевна: возьмите его с собою.

— Я уже сказала ему, что беру.

— Вы возьмите его, а я поеду к вам, поскорее, вперед, подучить Наташу; и Алексея Иваныча, если он уже дома. Наташа будет называть вас Софьею Васильевною, скажет, что ваша сестрица, Лидия Васильевна, уже легла спать...

— Хорошо,— рассеянно сказала Волгина, рассеянно простилась с Рязанцевыми и поклонилась подходившему Нивельзину. Миронов убежал.

— Я очень любезна к новому знакомому,— сказала она, молча прошедши два или три яруса лестницы.— Но это и лучше, если вы с первого же нашего знакомства будете знать, что иногда вам будет бывать скучно со мною... Впрочем, я не всегда такая. Обыкновенно я веселая.

— Я исполнил ваше приказание.

— Видела.— Она опять замолчала.

Она молча дожидалась, пока подъедет карета; молча села в нее.

— О, какая тоска! — проговорила она, когда карета выехала из хаоса экипажей около театра.— Но я не хочу поддаваться ей, хочу быть веселою. Я не люблю тоско-

вать. Говорите что-нибудь смешное, Нивельзин, заставьте меня смеяться... Впрочем, что ж я говорю, чтоб вы шутили, рассказывали смешные глупости? — Я думаю, ваши мысли спутаны хуже моих... Конечно, так; потому что вы объясняете мою молчаливость смущением, раздумьем о себе и о вас. Вы должны так думать, потому что должны были заметить, что очень понравились мне; да если б и не заметили сам, я уже говорила вам. Но я думала не о себе или о вас, я думала о моем бедном муже... Ах, какая досада! — При вас, едва знакомом, должна утирать слезы! — Какая досада, что в карете не совершенно темно, чтобы вы не могли видеть, как я смешна! — Расплакаться от мысли, что я вдова! Это смешно! В самом деле, это смешно! — Плакать о том, что я вдова! — Она засмеялась.— Будем же говорить что-нибудь веселое, Нивельзин; я хочу забыть свои мысли... Что же вы молчите? — Да, я опять забыла, что у вас не может быть расположения смеяться и смешить... Да я и не могла бы слушать со вниманием, хоть бы вы стали рассказывать самые смешные анекдоты. Лучше будем молчать, пока у меня нет охоты ни говорить, ни слушать.

Она замолчала.

— Вы человек с тактом, Нивельзин,— начала она минут через десять.— Вы умеете молчать, когда лучше всего молчать. Вам должна была казаться очень странною моя грусть: вероятно, даже смешною. Ах, я сама желала бы смеяться над нею!.. И буду смеяться. Алексей Иваныч уверяет, что я боюсь напрасно. Я не знаю, не понимаю, что такое делается у нас в России, что выйдет из этого. Я должна верить ему. Буду верить.

Она опять замолчала, и начала спокойнее.

— Но у меня есть и свои опасения за него. От них он не может отговорить меня; потому что это я сама понимаю, это может понимать всякий. Какого здоровья может достать надолго при такой работе? — Придешь поутру звать его пить чай, он сидит и пишет; уверяет, что недавно проснулся; потом пьет чай, а у самого слипаются глаза: как же поверить ему, что он спал? — Это бывает часто, Нивельзин; каждый месяц. И всегда работает целый, целый день, как встал, так и за работу,— и до поздней ночи. Ни напиться чаю, ни пообедать как следует ему некогда. Схватит стакан и уйдет за свою проклятую работу; даже тарелку с последним кушаньем уносит в свой

проклятый, проклятый кабинет. Только и отдыха, если кто придет к нему или ему надобно идти; да и от этого иногда только больше горя мне: прошло два, три часа днем без работы, он и сидит за нею ночью. Поэтому даже редко заставляю его идти или ехать со мною: думаешь, вместо отдыха, сделаешь ему больше изнурения. Какое здоровье выдержит такую жизнь? — «Ничего, голубочка; я вовсе не так много работаю, как ты воображаешь»; — я воображаю! — Другой ответ: «Голубочка, нельзя иначе; и так я не успеваю сделать всего, что нужно». Бессовестный человек! ему ничего, что он огорчает меня!.. И для чего он убивает себя такою работою? — Для того, чтоб у меня были лишние деньги! — Ему самому ничего не нужно. Каждый раз, когда заказываешь ему новое платье, ссора с ним; заноет, заноет: «Зачем, голубочка?» — «Напрасно, голубочка!» — И ноет, спорит, пока не рассердит меня. Каждый раз это кончается тем, что я должна браниться. И это из-за всякой мелочи, из-за каждого галстука, из-за теплой фуражки на зиму! — Каждый раз получаешь огорчение. Покупаешь ему, радуешься,— нет, успеет огорчить. Это ужасный человек, с несноснейшим характером, совершенно безо всякой совести! — Он даже не любит ничего. У него достает совести отрекаться ото всего. Он не любит никакого кушанья; — как вам нравится это? — И он тверд в своем: нарочно не ест своих любимых блюд, как только заметит, что готовишь их для него.— Пока не поймет, ест, только это одно и мирит с ним, что недогадлив, ни на что не обращает внимания, совершенно слепой; — пока не заметит, ест; заметил, что кушанье готовится для него, кончено: — «Не хочу, голубочка».— «Почему не хочешь?» — «Не нравится, голубочка».— «Как же не нравится? Ты любишь это».— «Никогда не любил, голубочка; я не знаю, почему тебе так показалось».— И спорит, спорит, пока выведет из терпенья. Тогда новая песня: «Ну, что же, твоя правда, голубочка: прежде нравилось; а теперь не нравится».— Что прикажете делать? — Как ни бранишь его, не помогает: не ест.—Бросаешь, пока забудет, забудет, опять ест. Только это хорошо в нем, что беспамятен и ничего не замечает. И хоть бы не понимал, что надобно же готовить что-нибудь; почему ж не быть одному блюду и по его вкусу? Больше одного ему не нужно, и тем больше все равно, что я ем все. Толкуешь ему это. Понимает. Но уже такой характер. Иногда, заметно, он и сам не рад, что

все только огорчает меня. Но не может исправиться.— Как не может! — Просто не хочет, потому что в нем нет ни искры стыда, а жалости еще меньше. Говорит, что любит меня, а хоть бы сколько-нибудь пожалел! Огорчает меня каждый день, каждую минуту! — Я не видывала таких скупых людей! — Ему жаль, когда сделаешь какой-нибудь расход для него, хоть самый маленький: «Зачем, голубочка?» — «Не нужно, голубочка!» — Ему все кажется, что у меня мало удобств,— теперь, когда стала выезжать,— что у меня мало денег на наряды, на развлечения. Мои платья не нравятся ему! — Мои платья! — Каково? — И хоть бы кто говорил, а то он, который сам даже и не отличает порядочную материю от самой плохой! — «Голубочка, ты шила бы себе платья получше».— Можно ли иметь платья лучше моих? — Скажите, была ли, например, в опере хоть одна дама или девушка, которая была бы одета лучше меня? — Богаче — почти все и в четвертом ярусе; но лучше ни одной и в бельэтаже.— Нет, он недоволен. Чем, спросите его,— тем, что я пошла за него! — Как вам это нравится? — Заметили, он глядел, глядел на меня и начал утирать слезы: о чем? — Об этом! — Необыкновенно умен! — Как будто есть на свете женщина счастливее меня! — Мог бы сам видеть, счастлива ли я; — и видит. Но совести нет у человека. Несносный характер!.. Я нисколько не ангел; но он и ангела вывел бы из терпенья! Я не понимаю, что это за глупый человек!.. Потому я вышла за него, что видела, какой это человек. Он не думал об этом; советовал мне идти за другого. Ах, сколько надоедал он мне этими просьбами: «Идите за него, идите за него»,— надоел, надоел... «Не пойду, сказала ему и вам».— Нет, свое: «Идите».— Тот его друг, мой жених, был очень похож на вас, Нивельзин. Разумеется, понравился мне. Но я увидела, что с моим характером нельзя идти замуж: все мужчины воображают, Нивельзин, что они умнее и благоразумнее нас, что они должны управлять нами. Я решилась не идти замуж ни за кого. Мужчины не умеют только любить, Нивельзин. Они хотят господствовать. Они слишком глупы, они дикари, Нивельзин. Не будьте таким, когда женитесь...

Она замолчала.

— Вы не знаете, Нивельзин, какой это человек! — И никто еще не знает! Только я одна знаю это. Я давно узнала это; хоть я и не ученая и не видывала тогда ученых

людей. Я увидела это из первых же наших разговоров, хоть они были пустые, хоть, разумеется, он не мог говорить со мною ни о чем ученом: я не поняла бы, как и теперь не понимаю; и не слушала бы, как и теперь не слушаю. Но это было видно мне. Я узнала, какой это человек; тогда все думали, что он пролежит весь свой век на диване с книгою в руках, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой у него характер! — Потому что без его характера, даже и при его уме, ему нельзя было бы так понимать все эти ученые вещи. Я, не ученая, увидела это из первых разговоров, пустых, обо мне, о пустяках, о моем счастье,— я увидела, какая разница между ним и другими! — И ошиблась ли я? — Вы знаете, как теперь начинают думать о нем. Но его время еще не пришло, они еще не понимают его мыслей,— придет его время, тогда заговорят о нем! — И пусть будет с ним и со мною, что будет! Я хочу, чтоб о моем муже говорили когда-нибудь, что он раньше всех понимал, что́ нужно для пользы народа, и не жалел для пользы народа — не то, что «себя» — велика важность ему не жалеть себя! — Не жалел и меня! — И будут говорить это, я знаю! — И пусть мы с Володею будем сиротами, если так нужно!

Она замолчала и задумалась.

— О, боже мой, как я разговорилась,— начала она после долгой паузы: — Вам, должно быть, было смешно слышать это от женщины, от женщины не ученой, которая не понимает ничего в ученых вещах и не думает о них. Вообще я и не говорю о них. Но я была взволнована, Нивельзин; а вы так понравились мне, да и мой муж очень хвалит вас, и видно, что мы будем очень дружны,— я чувствовала, что могу говорить как будто не с чужим.— А вы, вероятно, ждали не такого разговора? — Думали, что я стану вызывать вас на любезности? — Конечно, так. Потому что вы думали волочиться за мною. Впрочем, вы сами не знали, что вы думали: вы так влюбились, что не могли думать. Но нечего жалеть вам, что я не была в настроении слушать любезности. В них нет надобности: я уже сказала вам, что вы нравитесь мне. Волочиться — совершенно лишнее, когда вы уже услышали, что вы нравитесь.

— Я не думал волочиться за вами,— сказал Нивельзин.— Я не думал, что monsieur Волгин — ваш муж.

— В самом деле, я совершенно забыла, что вы вообразили, будто вас мистифируют, а повеса Миронов вос-

пользовался этим и наговорил вам вздора, чтобы после нам всем вместе посмеяться. Ах, как жаль, что я забыла! — И все оттого, что Миронов расстроил меня этим гадким словом «вдова».— Как жаль, что я забыла! — Было бы так весело! — И сколько мы с вами смеялись бы после! — А пока я не раздумалась, не раздумалась, и не стала совсем грустная, я хотела продолжать шутку. Разумеется, я не осталась бы вдовою, была бы девушкою. Стоило только сказать, что моя свадьба с этим стариком — неверный слух; что, правда, все было готово к венчанью, но жених мой умер, когда его несли в креслах венчаться, что я не имею права носить его фамилию; но из признательности к нему за доброе намерение люблю, чтобы меня называли так; потому знакомые и называют Волгиною, хоть настоящая моя фамилия — Платонова; Миронов не слышал ее, слышал, что все зовут меня Волгиною, потому и ошибся. И вы опять верили бы всему, и это было бы очень весело! — И вы сделали бы мне предложение,— и как мы с вами смеялись бы!.. Или, может быть, я теперь мистифировала вас, называя Алексея Ивановича моим мужем? Может быть, я остаюсь вдовою? — Пожалуй, остаюсь; теперь я смеюсь над своим страхом.

— Мое положение чрезвычайно странно,— проговорил Нивельзин.

— Почему?

Нивельзин молчал.

— Почему же? — Я не понимаю, на что вы сердитесь. Вы могли бы быть разочарован, раздосадован, если бы вы думали, что не нравитесь мне. Но я сказала и говорю: нравитесь, очень нравитесь.

— Именно потому я и называю свое положение чрезвычайно странным.

— Вот это мило! — Вам неприятно, что вы нравитесь мне?

— Вы любите вашего мужа.

— О, боже мой! — проговорила Волгина, засмеявшись.— О, боже мой! — повторяла она, переводя дух от смеха.— О, боже мой! — Я люблю моего мужа! — А вам хотелось бы, чтобы я не любила его? — Посмотрю, посмотрю, как это вы сам не будете любить его, когда хорошенько познакомитесь с ним! Но позвольте спросить, с чего вы взяли, что я люблю его? — Я вовсе не говорила

этого. Напротив, жаловалась вам на него, называла его человеком несноснейшего характера, рассказывала, что беспрестанно браню его.

— Вы смеетесь надо мною. Я не привык быть предметом насмешек.

— Я вижу, с вами надобно говорить, как с наивнейшим юношею, как с маленьким ребенком,— сказала Волгина уже совершенно серьезно.— Я так и думала, что вы юноша, несмотря на все ваши волокитства и победы. Но не воображала, что вы юноша до такой степени. Вздумайте, кстати, обидеться также и этим. Над своею досадою вы сам скоро будете смеяться. Над нею я смеюсь, но только над нею. Это не значит, что я смеюсь над вами. За что же я стала бы смеяться над вами? — За то, что вы влюбились в меня? — Но что же тут смешного? — Ровно ничего. Было бы очень глупо смеяться над вами, если бы вы и не нравились мне. Но вы нравитесь. Поэтому я нахожу прекрасным, что вы влюбились в меня: вы не будете скучать быть у нас очень частым гостем,— скоро и не гостем, а своим у нас. А я хочу этого. Видите ли, как просто объясняется все? Поняли, что вам нечем было обижаться?

Нивельзин молчал.

— Неужели надобно толковать вам еще подробнее? — Очень жаль, что с нами нет Алексея Иваныча. Я попросила бы его говорить. Он охотник рассуждать обо всем, что должно быть понятно без всяких рассуждений. А я скучаю такими лекциями. Но для вас, так и быть, стану объяснять, потому что вы очень понравились мне с первого же взгляда, а теперь я думаю, что даже серьезно полюблю вас, потому что вы держали себя как умный человек: не театральничали, не декламировали, хоть вам было очень досадно.— Слушайте же.— Что общего между мною и Алексеем Ивановичем? — Только то, что он всею душою любит меня, а я не могу не чувствовать очень сильного расположения к нему за это. Но то, что занимает его, непонятно и скучно мне; то, что интересует его, заставляет меня зевать. Он ученый; я не читала почти ничего серьезного, не читаю даже того, что он пишет: пробовала несколько раз, потому что люблю его, но всегда бросала на первых страницах. Он говорит: это потому, что он пишет дурно, растянуто; может быть, и в самом деле он пишет скучно; я бросала его статьи просто потому, что предметы их незанимательны для меня. Его жизнь —

совершенно кабинетная; о чем он стал бы рассказывать мне? — Не о чем, кроме как о том, что он читает и пишет. Это скучно мне.— Я всегда имею много рассказывать ему: я не сижу взаперти, как он. Он слушает меня и не скучает; но только потому, что ему нравится слушать меня, но слушает и сам не слышит, а если и слышит, через минуту забывает; потому что какую же занимательность для него имеют мои прогулки и выезды, покупки, наряды, танцы, болтовня с молодыми людьми? — Вам будет смешно, пока вы не привыкнете: он не знает в лицо многих из молодых людей, которые бывают у меня: обедает с ними, пьет чай,— и все-таки не знает тех из них, которые не пускаются в ученые разговоры с ним. Он рассеян и невнимателен.

Карета остановилась.

— А, приехали! — Что же вы думали сделать, Нивельзин? Идти к нам или раскланяться у двери подъезда и уйти, чтоб никогда не возвращаться? — Увы, мой милый Нивельзин: решение не зависит от вашей воли. Вы должен помочь мне взойти на лестницу. И предупреждаю, это будет не очень легко для вас, потому что, когда иду на лестницу, я опираюсь на руку моего кавалера очень солидно. Бедные мои ноги все еще слабы. В прошлую зиму, я думаю, я еще не могла бы танцевать. Я была очень больна после того, как родился Володя. Хорошо ли он спит без меня, мой милый? — Ах, Нивельзин, если бы дети знали, сколько болезней, страданий переносят матери! — Ваша мать жива, Нивельзин? Вы любите ее?

— Она жива. Я очень люблю ее.

— Почему ж вы живете не вместе с нею? Она закоснелая провинциалка и не любит Петербурга?

— Да. В деревне она окружена родными.

— Вы давно были у нее?

— Два года.

— Два года! — Нехорошо, Нивельзин: вам надобно было бы проехать из-за границы к ней.— Устала рука или нет? — Я думаю! — Бедные мои ноги! Но все-таки я уже танцую почти так же легко, как прежде. Но бегать, прыгать по-прежнему я не могла бы; может быть, уже и не хотелось бы, если бы могла; не знаю. Когда-то мне можно будет опять ездить верхом? — Этого я не разлюбила. Но в нынешнее лето еще не решалась. Посмотрим на следующее лето, хорошо ли вы ездите.—

Прошу, будьте гость, пока не привыкнете считать себя не чужим у нас.— Она ввела его в дверь.

— Лидия Васильевна уже легли почивать и просили вас, Софья Васильевна...— начала Наташа.

— Уже нечего рассказывать о Лидии Васильевне; он знает, что Лидия Васильевна — я. А где Миронов? Позови его; пусть будет вместо хозяина и хозяйки, пока выйду в гостиную. Терпеть не могу корсетов, Нивельзин. Идите прямо, потом налево.

— Моя или, вернее, ваша собственная мистификация уже разрушилась? — Очень жалею,— сказал Миронов, выходя в гостиную к Нивельзину.

— Я не понимаю этой женщины, Миронов.

— Это просьба, чтоб я помог вам понять ее? — Ждите от меня помощи, когда я желаю вам провалиться сквозь землю! — За что? — За то, что вздумали отправиться ныне в оперу. За следующее нельзя винить вас. Но почему бы вам было не отправиться во французский театр, если уже не сиделось дома?

— Вы бранитесь, Миронов: вы не бранились бы, если бы знали, о чем мы говорили; — лучше сказать, она говорила, потому что я только слушал и чувствовал себя в отчаянно глупом положении.

— Очень любопытно мне знать, что она говорила вам! — Я думаю только о том, что она теперь будет говорить мне чаще прежнего! — Вы чувствовали себя в глупейшем положении! — Очень нужно мне ваше удостоверение, чтобы знать это? Я полагаю, что лучше всего нам будет заняться исключительно курением: мне, чтоб не продолжать браниться; вам, чтобы не смешить меня.— Он закурил и стал ходить, заложив руки на спину.

Наташа принесла чай. На подносе, кроме стаканов для Миронова и Нивельзина, была чашка.

— Лидия Васильевна скоро придет? — спросил Миронов.

— Я сказала ей, что несу чай; она сказала: «Иду».— Наташа ушла.

— Что же вы не пьете, Нивельзин? — сказал Миронов через минуту: — Я слышал, что влюбленные не едят; но пить чай, если не ошибаюсь, могут.— Или вам хотелось бы с ядом вместо сливок? — На ваше горе, нет при мне мышьяку, а то не отказал бы.

— Неужели вы сам не влюблен в нее, Миронов? — Вы влюблен в нее, это видно.

— Такая догадливость делает честь вашему сумасшествию.

Вошла Наташа, взяла чашку и выпитые стаканы; опять принесла чай Миронову и Нивельзину и опять чашку.

— Что же Лидия Васильевна, скоро придет? — спросил Миронов.

— Я сказала ей, что иду переменить стаканы, не переменить ли ее чашку, или подождать, чтоб и эта не остыла. Она сказала: «Нет, перемени: я сейчас иду».

— Что же не идет? Что там делает? Готовит закуску?

— Господи! — Я думаю, сама положу сыр, ветчину, сама знаю, как открывается коробочка с сардинками! — Что она? — Известно, подошла, да и стоит. «Иду», да и стоит.

— Подошла к Володе?

— Ах ты, господи! — Точно не по-русски говорю вам! — Двое у нее детей-то, что ли, что спрашиваете? — Известно, к Володе.— Он спит, она глядит.— Наташа ушла.

— Должно быть, Нивельзин, что Володя тут только предлог; а не выходит она потому, что все не может успокоить своего волнения: уж очень влюблена в вас.

— Послушайте, Миронов: она любит мужа; как же вы ревнуете ее?

— А вот как: она может иметь к своему мужу какие ей угодно чувства, а я чувствую охоту поколотить вас! — Миронов стукнул кулаком по столу.

— Что вы стучите, повеса? — Смотрите, разбудите у меня Володю! — Я вас тогда!..— Волгина вошла в блузе.— Любезная хозяйка, Нивельзин, совсем бросила вас. Но привыкайте к моему характеру. Вот поэтому не могу сближаться с дамами, даже с теми, которые сами по себе нравились бы мне, например Рязанцева. С ними слишком много церемоний: приедешь, садись на определенное место, сиди смирно, говори, как принято; она приедет, как бросишь ее? — Как уйдешь в кухню, в детскую?

— Дружба между дамами гораздо реже, нежели между мужчинами,— заметил Нивельзин.— Нас связывают дела, одинаковость образа мыслей. У женщин, у каждой

своя отдельная жизнь: личная, семейная; общественные связи не охватывают их.— Я почти не знаю примеров дружбы...

— До свидания, Лидия Васильевна; мне уже давно хотелось уйти,— перебил Миронов.— Только не смел без вас, чтобы вы не бранились, что бросил Нивельзина.

— Вижу, Миронов, что вы злитесь на него. Угадываете, что теперь гораздо чаще прежнего буду прогонять вас заниматься делом?

Миронов поцеловал ее руку, пошел, но вернулся, подошел к окну, проворчавши: «Чуть не забыл! А Даша придет завтра поутру!» — и схватил с окна небольшую плоскую картонку. Движение было порывистое, крышка приподнялась, выскользнула, и сама картонка упала. Цветы, ленты рассыпались по полу.— Миронов зацепил, как попалось, первые, какие подвернулись, чтобы пихнуть назад в коробку.

— Осторожнее, все испортите. Кладите на окно. В картонку уложу сама.— Волгина подошла к окну, стала укладывать.— Идите, спросите у Наташи веревочку, завязать получше. А то, с вашею досадою, еще разроняете по дороге.— Миронов принес веревочку, Волгина завязала картонку. Он опять поцеловал руку и ушел.

Нивельзин внимательно всматривался в цветы и ленты, которые подбирал Миронов, и лицо его прояснилось: он должен был заметить, что ленты несколько помяты; вероятно, он убедился из этого, что Даша никак не сестра Миронова: Волгина не могла бы дарить сестре своего приятеля уборы, которые бросила, и могла бы отдать своей горничной.

— Мне кажется, я начинаю несколько понимать вас,— сказал он, проводив глазами Миронова.

— Понимать меня вовсе не трудно: надобно только понимать в самом простом и прямом смысле все, что я говорю.

— Именно поэтому-то и очень трудно понять вас: вы слишком не похожа по характеру на других женщин.

— Мой муж говорит, это потому, что все они, так или иначе, невольницы. Он говорит, что я никогда не могла бы стать похожа на невольницу. Не знаю; он слишком любит меня, поэтому, как говорит со мною обо мне, фантазирует до смешного.

— И вы, я уверен, несколько преувеличиваете, когда говорите о том, как он изнуряет себя работою. Я не замечал, чтобы он когда-нибудь был похож на изнуренного. Правда, он несколько бледноват, но всмотревшись, видишь, что это уже природный цвет, не болезненный.— Вы огорчаетесь тем, что он отказывает себе во всяких развлечениях; он не отказывает себе в них: они действительно скучны ему. Когда втянешься в работу, которая по сердцу, она становится занимательнее всяких развлечений. Иногда и мне случалось испытывать это, хоть вообще у меня были слишком дурные привычки.

— Благодарю вас, Нивельзин, за то, что вы говорите так хорошо. Я и сама понимаю, что отчасти я могу преувеличивать. Но в самом деле он работает слишком много... Знаете ли, что мне вздумалось? — Он так хвалит вас. Он говорит, что вы и очень умный и что у вас благородный образ мыслей. Я знаю, вам нет надобности писать. Но вы сами сказали, что находили удовольствие в работе, даже и тогда, когда вели рассеянную жизнь. Попробовали бы вы сделаться писателем, Нивельзин: может быть, вы стали бы писать хорошо.

— Чтобы помогать Алексею Иванычу? — Нет, Лидия Васильевна: мне надобно еще слишком много учиться и думать, чтобы моя работа годилась для него. Он с пренебрежением смотрит на людей, которых я еще уважаю. Он высказывает мысли, о которых я часто и не знаю, каким образом можно дойти до них.— Я могу только писать о математике, об астрономии: это не нужно ему.— Он мог бы легко найти десятки помощников гораздо лучше меня. Но у него такой образ мыслей, которого они не разделяют; а я еще не умею и понимать хорошенько.

— Как это жаль, Нивельзин! — А я вздумала было так хорошо... Зачем я сама не училась ничему?.. Правда, мне было не у кого учиться... Но я и сама была такая резвая: все бегала, ездила, только в том и прошло все детство... И после то же самое, только прибавились танцы, наряды... А в двадцать с лишком лет,— с хозяйством, с ребенком, начинать учиться,— поздно...— Она замолчала, потом засмеялась.— Видите, как мы хорошо говорим, Нивельзин. Это так и будет. А вы еще не хотите быть дружен с нами.

— Для вас это будет так; для меня это не могло бы быть так. Теперь я очень хорошо вижу, что вы не думали смеяться надо мною. Но...

В эту минуту раздался звонок.

— А, наконец-то! Слава богу! — Я думала, он останется там до второго, до третьего часу! — Говорите, Нивельзин; он нам не помешает. Поздоровается и поплетется к себе в кабинет, если не велеть ему сидеть с нами.

— Но вы не хотите помнить, что я сошел с ума, увидевши вас,— договорил Нивельзин и замолчал.

— Я вовсе не забываю этого, Нивельзин; но я не придаю этому важности. Это довольно скоро пройдет; кто из нас не ребячился, кроме моего Алексея Ивановича,— но смотрите, что́ будет,— договорила она тихо.— Только сидите смирно, не вставайте, не кланяйтесь.

Она могла бы сказать это и громче; муж не услышал бы; он еще из зала начал свою речь:

— А вообрази, голубочка, что я тоже был в опере! — Пришел в типографию; — рано; вздумал пойти к вам в ложу; — но представь себе: вдруг вижу, не знаю нумера! — Что же? — Пошел, взял место вверху! — Молодец! — Ну, и вообрази: кого же я встретил в опере? — С этими словами он показался в дверях.— Вообрази: Нивельзина! — Позвал его завтра обедать. В сущности очень хороший человек,— он шел мимо носа Нивельзина, преспокойно продолжая: — Да; хороший, в сущности. Только вчера приехал.— Здравствуй, здравствуй, моя милая голубочка! Давно не видались! — он стал целовать руку жены.

— Если Нивельзин так нравится тебе, ты поздоровался бы с ним.

— Ну! Да в самом деле, это вы, Павел Михайлыч! — воскликнул Волгин, обернувшись.— В самом деле, это вы! — А я и не гляжу; думаю, Миронов! — Очень рад, очень рад!

— Положим, не глядел, мог бы не рассмотреть лица; но как же принять человека в статском платье за человека в мундире?

— Ну, что же тут такого, голубочка? — Не обратил внимания; и опять же, по рассеянности,— возразил Волгин.

— Я видела тебя в опере, и ты огорчил меня: зачем плакал? — Стыдись, нехорошо.

— Ну, что же, голубочка...— жалобно затянул Волгин.— Это я только так... Да впрочем, это тебе только так показалось, голубочка,— спохватился он.— Уверяю, голубочка.

— Можете судить, есть ли у него совесть,— заметила Волгина Нивельзину.— Ты устал; ступай себе, разденься,— ляжешь спать?

— Что же ложиться-то понапрасну, голубочка? — Раньше часу все равно не усну.

— Если не ляжешь, я пришлю к тебе Нивельзина.

— Хорошо, голубочка. Приходите, Павел Михайлыч.

— Я даю вам поручение, Нивельзин: просидите с ним до часу, пожалуйста. Тогда он ляжет. А то, пожалуй, уселся бы за работу и заработался бы долго.— Кто из нас не ребячился, Нивельзин? — И я влюблялась, в старину. Поэтому я знаю, что это вздор, которому не следует придавать важности.— Это хорошо для балов, для танцев: о чем было бы говорить? — Пока не о чем думать, и возвратившись с балу, можно думать,— и думаешь, бывало, Нивельзин: «Ах, я влюблена в него!» — Потом, я не спорю, это может иногда обращаться в серьезную любовь,— венчаются,— или, если женщина уже замужем, начинаются измены, ссоры, ужасы. Но это когда женщина и без того дурно жила с мужем. А когда вы расположены и к мужу и к жене,— помилуйте, долго ли продержится у вас в голове влюбленность? — Очень скоро вы будете видеть во мне добрую, простую женщину, которая ото всей души расположена к вам.— Завтра, в час, в половине второго, приходите, и отправимся гулять. А теперь пора мне спать: Володя умеет будить,— такой же голос будет, совершенно такой же, как у отца.— Я очень рада, что Алексей Иваныч вернулся не так поздно: хотела ждать его, а потом Володя не дал бы выспаться.— Пойдем, провожу вас к Алексею Иванычу, и, пожалуйста, до часу сидите, но дольше половины не засиживайтесь.

— Вы так легко смотрите на мое сумасшествие,— сказал он.— Вы ошибаетесь.

— Полноте, что за вздор.— Она взяла его за руку.— Идем.— Она повела его.

— Вы ошибаетесь, мое сумасшествие не так легко может пройти,— сказал он с таким усилием, что слышно

было, как не хотелось бы сказать это.— Я должен был бы избегать вас,— я должен избегать вас.

— Что за вздор, нет никакой надобности,— отвечала она весело.

— А если вы ошибаетесь?

— Не будем пугаться того, что невероятно! — Лучше помните, что я говорила вам: до часу сидеть; дольше половины второго не сметь. Он будет удерживать вас,— он очень деликатен, при всей своей неловкости, у него никогда недостает духа показать, что ему некогда или человек наскучил ему,— тем больше он будет внимателен и по-своему любезен с вами: но вы сам должен помнить время. — Слышишь, мой друг, что я говорю Нивельзину: чтоб он не слишком полагался на твои любезности,— да и тебе велела бы не удерживать его, если бы не знала, что ты уже не можешь без этого.— Чай уже принесли тебе? — Хорошо; — закуску я сейчас пришлю сюда.

— Ну, хорошо, голубочка,— отвечал муж.— А ты сама-то хочешь спать?

Она зевнула.— Мне пора спать. Володя поднял ныне в семь часов. Такой несносный мальчишка.

— Я не знаю, хорошо ли я делаю, оставаясь у вас,— сказал Нивельзин,— а сам между тем уже взял сигару, которую подал ему Волгин.

— Отчего же? — До часу все равно не спал бы. Очень рад посидеть с вами, потому что надобно ж иногда и отдохнуть. Работаешь, работаешь, да и надоедает.— А знаете, я даже и подумал тогда, что найду вас здесь; потому что известно, как сдерживаются подобные обещания: «Не пойду к ним в ложу»; а Лидия Васильевна еще тогда,— весною-то,— хотела познакомиться с вами. Ну, конечно, повидавшись с нею, увидела, какой оборот примет дело. Конечно, рассудила, что если так, то лучше ей и не видеться самой с вами. Та, бедная, могла бы, пожалуй, забрать себе в голову, что отбивают у нее. Не будь этого соображения, Лидия Васильевна, конечно, велела бы мне позвать вас к ней, а не стала бы поручать мне самому говорить с вами: слава богу, знает, какой мастер я говорить.

— Из того, что вы бывали у меня, вышел слух, вероятно, очень неприятный для вас. Рязанцев убежден,

что вы посылали меня в Лондон с какими-то поручениями.

— Э, вздор-то! — сказал Волгин, махнувши рукою.— Ну, пусть думает,— пусть и рассказывает: велика важность!

— Я старался разубедить его, но, кажется, не мог.

— И не стоило.

— По-моему, очень стоило; и не отстану, пока не разуверю.

— Ну, этого-то, положим, вам не удастся. Да не стоит и думать.

— Тем больше стоит, что он не сам выдумал это, ему объяснил Савелов.

— Да ну их к черту! — Ну, и Савелов пусть думает. Велика важность! — Кто не старается заискать в Лондоне? — Савелов-то сам старается вилять хвостом так, чтобы там заметили, а вы думаете, нет? — Волгин принял глубокомысленный вид.— Наверное, да. И не сомневайтесь.

— Мне нечего сомневаться. Откуда же берет Рязанцев документы, о которых потом дивятся, как они туда попали?

— В самом деле! — воскликнул Волгин.— Это удивительно! — Как же это никогда мне не пришло в голову? — То-то же и есть,— продолжал он с прежним глубокомыслием.— Потому я и говорил вам, этот слух для меня пустяки.— Не стоит говорить об этом.— А знаете ли, что я вам скажу, Павел Михайлыч: это вы неспроста повернули,— я об одном, а вы о другом,— будто не успели бы сказать после! — Это мне вот сейчас только пришло в голову.— И знаете ли, если так, то и с самого-то начала вы тоже неспроста, должно быть, сказали, что не знаете, хорошо ли делаете, оставаясь у меня! — А я, знаете, так и понял, что вы боитесь отнять у меня время! — Это удивительно! — Он покачал головою.— Это удивительно, я вас уверяю, как я не понял! — Натурально, это вы говорили не обо мне, то есть не обо мне одном, а вы говорили о нас.— Вот тоже вздор-то, Павел Михайлыч! — Он покачал головою.— И знаете ли, отчего это? Оттого, что вы не понимаете характер Лидии Васильевны. Видите ли...— Он погрузился в размышление.— Видите ли, вам надобно понять

ее характер.— Ну что, как вы нашли Париж? Поумнели тамошние республиканцы после уроков, которые получили в тысяча восемьсот сорок восьмом году и второго декабря?

Нивельзин в свою прежнюю поездку, когда прожил в Париже довольно долго, сошелся с некоторыми из немногих уцелевших там предводителей решительной демократической партии. Теперь он опять видел их; видел и некоторых французских изгнанников в Англии. У него было много рассказов на вопросы Волгина.— Так они проговорили о Франции до часу. Нивельзин встал и ушел, как ни упрашивал его Волгин посидеть еще.

Проводив Нивельзина, Волгин тотчас лег спать, зевая самым многообещающим для сна образом. Но оказалось, что не спится. Пробило два часа, все еще не дремалось. Он встал с большим неодобрением себе, покачал головою, опять надел халат и сел писать. Пробило шесть часов. Он рассудил, что пора снова попробовать, не уснется ли, и действительно, заснул довольно скоро.

---

— Я сердита,— этими словами встретила Волгина Нивельзина, когда он на другое утро явился, по уговору, провожать ее на прогулку.— Я очень сердита, отчасти и на мужа, но больше на вас. Он такой человек, что я уже и отступилась от него: не может не упрашивать: «Посидите»,— по его мнению, этого требует деликатность. А на вас я надеялась, что вы исполните мою просьбу.— До каких пор вы сидели? — Он все еще спит.

Нивельзин оправдался: он ушел в час, как она приказала ему.

— Значит, он после вас таки принялся работать! Это еще хуже. Лучше бы вы были виноват. Надобно будет бранить его. Ах, если б это помогало! Давно он был бы самым послушным человеком! — Ступайте, велите Наташе принести шляпу и перчатки. Да, вы еще не знаете, куда идти,— налево и опять налево.

Он пошел, принес перчатки и шляпу. —Она заставила его любоваться на шляпу, которая очень мила; он согласился.

В передней сидела Наташа, чтобы подать пальто и запереть дверь.

— Прислушивайся, как проснется Алексей Иваныч. И если заставишь его долго ждать чаю или напоишь холодным, я надеру тебе уши так, что будут гореть весь день.

— Да от кого еще узнаете, если дам остыть самовару? — Авдотью попрошу, чтобы не выдала меня.

— А на Алексея Ивановича ты уже надеешься, что он не скажет? — Видите, Нивельзин, какой он у меня человек: Наташа, глупая девчонка, и та понимает, что нельзя так жить на свете! — Она вздохнула.— Иногда с ним смех; больше скука, даже горе.

— Ах, господи, что вы говорите, когда сами знаете, что дай бог, чтобы все мужья были такие! — не могла не вступиться Наташа.

Погода была очень хорошая. Волгина стала говорить, что когда устанет, возьмет коляску, и они поедут кругом города; что после верховой езды самое любимое ее удовольствие — кататься. Теперь она может всегда доставлять его себе: деньги на это есть.— Потом она расспрашивала Нивельзина о его родных, особенно о матери. Потом опять говорила о верховой езде, восхищалась тем, что на следующее лето опять будет ездить верхом, рассказывала, какие лошади были у нее в старину, радовалась тому, что года через полтора опять у нее будут свои лошади. Потом опять слушала, какая деревня у Нивельзина.— Они много раз прошли по Невскому.

— Начинаю уставать,— сказала она. Но, заговорившись, ходила дольше, нежели думала.— Брать коляску на полтора часа не стоит: жаль денег. Зайдем в Гостиный двор, там отдохну.

Она зашла в одну лавку, в другую, в третью. Купцы были ее приятели. Они приносили ей складной стул, если в лавке не было дивана. Они потчевали ее чаем, если пили. Она велела пить Нивельзину. Она толковала с купцами о их семейных делах. Они показывали ей новые товары, хоть она и говорила, что пришла не покупать, а в гости к ним.

— Успеем зайти еще в гости? — сказала она, выходя из третьей или четвертой лавки.— О, уже почти четыре часа! Пора домой! Очень скучно было вам, Нивельзин, в Гостином дворе? Ах, я забыла, что влюбленные не могут скучать!

— Я несколько скучал,— сказал он.

— Уже скучали? — Это утешительно! — Видите, как скоро проходит,— даже скорее, чем я думала; и это немножко обидно мне.

Он стал серьезно говорить, что теперь его рассудок прояснился. Она прояснила его рассудок своим простым, беззаботным разговором и обращением. В самом деле, не надобно было придавать важности тому, что он был влюблен в нее.— «Был»,— будто это уже прошло! Быть может, еще не совсем. Но если еще и не совсем прошло, то он видит, что довольно скоро пройдет совершенно. Ему теперь грустно за себя, что он не понимал ее. Она должна извинить ему это, потому что он был человеком с испорченным сердцем. Но он чувствует теперь, что это не было сродно ему, потому что ему так легко было сознать нелепость, мелочность, пошлость, варварство понятий, которые он должен отбросить. Они были внушены ему обществом. Но не проникли до глубины его души: он чувствует, что в его сердце воскресли чувства, достойные порядочного человека. У него только недоставало силы самому сбросить с себя его азиатской дикости. По диким привычкам общества, молодой человек непременно должен волочиться за молодою женщиною, если сближается с нею; она, если не отталкивает его, непременно хочет, чтобы он волочился за нею. Но это — пошлый азиатизм, хоть он и пришел к нам из Европы; это — продолжение гаремных нравов под формами цивилизации. Разве единственная жизнь женщины — любовные интриги? — Так, но только в гареме. И разве мужчина — животное, не знающее других радостей, кроме тех, каких азиатец ищет в гареме? — Так, но только пока мужчина — тиран, сам подавленный рукою другого тирана.— Он воображал себя цивилизованным человеком и не понимал, что молодая женщина может говорить с молодым человеком просто как человек с человеком...

— О, боже мой! — заметила она, засмеявшись, когда они подходили к ее квартире.— От Гостиного двора до Владимирской описываете ваше исправление, и все еще не кончили! Вы обманывались и обманули меня, сказавши вчера, что не можете писать статьи для Алексея Ивановича. Вы напишите все это, и выйдет статья, длинная, как те, которые пишет Алексей Иваныч.— Не нужно вашей руки,— я еще никогда не ходила столько,— посмотрим, трудно ли будет взойти одной на лестницу.—

Нет, давайте руку, устала. Но все-таки хорошо, что могла сделать такую долгую прогулку и опять легко дойти от Гостиного двора сюда. На следующее лето можно будет ездить верхом.— Встал Алексей Иваныч? — Давно? — обратилась она к Наташе.

— В третьем часу, в половине. И чай был самый горячий, Лидия Васильевна.

— Ах, что за глупая девчонка! Она воображала, что я в самом деле не надеюсь на нее!

— Нет, я понимаю, Лидия Васильевна, что если бы вы не надеялись на меня, то не ушли бы, а сами бы дождались,— убедительным тоном возразила Наташа.

— А если понимаешь, то чем же хвалишься? — Вот, хоть бы с нее ты брал пример,— обратилась она к мужу, который шел встречать.— Ей, что я скажу, она все так и делает. А ты? Не совестно?

— Ну, что же, голубочка! — жалобно запел муж.

— Стыдись.— Давай скорее обедать, Наташа. Я проголодалась.— Помнишь ты моего приятеля, Романа Дементьича? — Да он бывал и здесь,— помнишь, немножко рябой? — Зовет меня быть крестною матерью. Обещала.

— А, помню! — Знаю твоего Романа Дементьича, — с неподдельным удовольствием сказал муж; действительно, он мог обрадоваться Роману Дементьичу: значит, выговор кончился.

---

Волгин был в отличнейшем расположении духа за обедом: жена так легко простила ему сон до третьего часа дня. Он впал в остроумнейшее настроение. Он восхищался собою, — когда он бывал остроумен, он больше всего любил восхищаться собою.

Эта тема была неистощима. Действительно, он потешался над собою от души, и многие подвиги его ловкости, сообразительности, находчивости были очень забавны. Нивельзин смеялся.

Но для Волгиной забавные рассказы мужа не были новы. Сначала она слушала, потом перестала слушать.

— Голубочка, задумалась? — О чем? — сказал Волгин, заметивши наконец, что она не смеется.

— Думаю о том, что в самом деле ты не мастер устраивать свои дела. — С каждым месяцем хуже. Бывало, когда ты поедешь просидеть вечер в типографии, я

знаю, что ты кончил писать на эту книжку и можешь отдохнуть. А теперь и в этом ошиблась. Не оправдывайся. Я знаю, ты не забываешь мою просьбу беречь свое здоровье, не сидеть по ночам; и если не всегда соблюдаешь ее, то лишь по невозможности. Но тем хуже, мой друг, что это необходимость. И сам ты виноват в этом своим неуменьем заботиться о своих делах. Зачем ты дал уехать Левицкому? Как можно было дать уехать ему?

— Да, это, точно, была большая ошибка с моей стороны, голубочка, — согласился Волгин. — Да, Павел Михайлыч,— обратился он к Нивельзину,— вот наше с Лидиею Васильевною горе; у всех у наших господ просвещателей публики чепуха в голове, пишут ахинею, сбивают с последнего толка русское общество, которое и без того уже находится в полупомешательстве. Нет между ними ни одного, которого бы можно было взять в товарищи. Поневоле принужден писать все статьи, которыми выражается мнение журнала. И не успеваю. Нет человека с светлою головою, да и кончено. Нашелся было один; Лидия Васильевна так была рада! — а он взял да и уехал,— выпустил я его — ждал и не дождался, когда приедет.

— Хоть бы отвечал по крайней мере, когда приедет! — сказала Волгина. — Давно бы пора быть ответу, — что ж он молчит. Я писала ему так, что он не мог не отвечать мне. Я думаю, мой друг: дошло ли до него мое письмо? Не затерялось ли?

— Очень возможная вещь, — согласился Волгин.

— Он мог уехать еще куда-нибудь из Харькова, — продолжала Волгина.

— Очень может быть, голубочка, — согласился муж.

— Надобно написать к нему опять,— и, кроме того, спросить у его родственника, который гувернером у Илатонцевых.

Волгин сильно раскашлялся.

— Что с тобою? Не простудился ли, мой друг?

— Нет, не простудился, голубочка; только поперхнулся, — успокоил муж.

— Нивельзин, будьте мил, съездите завтра в дом Илатонцева, на Литейной, узнайте, приехали ль Илатонцевы; — если да, спросите гувернера, Левицкого, не знает ли он, где теперь его родственник, Владимир Алексеич,— будете помнить, — Владимир Алексеич? — Но если и не запомните имя, все равно, помните только: молодой чело-

век, который нынешнею весною кончил курс в Педагогическом институте, — где он, что с ним, куда писать ему: гувернер должен знать, они хороши между собою, потому что этот Владимир Алексеич рассказывал и о нем и об Илатонцевых; — а если Илатонцевы и гувернер их не возвратились, привезите по крайней мере адрес, как написать этому гувернеру.

— С удовольствием, — сказал Нивельзин.

Волгин имел время обдумать дело со всех сторон, потому что был необычайно быстр в соображениях. Соображений было очень много, но вывод из всех один: ни одно никуда не годится. Продолжать обман невозможно. Он должен признаться Лидии Васильевне, что обманывал ее, что сам удалил Левицкого из Петербурга, что адрес в Харьков был фальшивый, что Левицкий, гувернер Илатонцевых, именно и есть Владимир Алексеевич Левицкий, его Левицкий. — Это неизбежно; иначе, все равно, правда откроется через несколько дней. — Одно оставалось не решено: как объяснить Лидии Васильевне мотивы, по которым он так поступал. Тогда она была страшно взволнована, едва он начал говорить. Не придумывалось, как сказать ей. Но время терпит. Илатонцевы еще не вернулись в Петербург. Что-нибудь придумается.

Волгин вооружился храбростью, и, похвалив Лидию Васильевну за то, как вздумала она сделать, он снова стал балагурить на прежнюю тему. Конечно, не все его рассказы о своих неловкостях и промахах были одинаково забавны. Но много было действительно забавных и во всяком случае нимало не уступавших тем, над которыми прежде смеялся Нивельзин. — Теперь Нивельзин не смеялся, лишь иногда улыбался будто принужденно, да и невпопад. Конечно, Волгин не скоро заметил это, но все-таки наконец заметил, при всем своем неуменье наблюдать.

Взглянуть бы на Лидию Васильевну, — но, разумеется, незачем и смотреть: она, конечно, заметила и поняла, если даже и он заметил и понял. Как ему было поступить? — Он был неловок до смешного, но он сделал, как достало у него уменья, и надобно сказать, что нельзя было ожидать от его обыкновенной находчивости даже и такого оборота.

— Ну-с, вот каков я молодец, — похвалил он себя, кончив анекдот, который рассказывал во время этого

раздумья.— Ловкий человек? Вы думаете, вероятно, и нельзя увидеть такого другого? Но вот приедет Левицкий, будете видеть двух таких.— Помнишь, голубочка, его наружность, или забыла?

— Помню, — сухо отвечала жена.

— Но если бы ты знала, какой он неловкий! — Даже мне смешно, уверяю. Поверь, не лучше меня.

— Бери еще пирожного, ты любишь это пирожное, — сказала жена.

— Хорошо, голубочка, — сказал Волгин, взял столько и стал есть с таким усердием, которое сделало бы честь очень хорошему обжоре.

— Я встречался с Илатонцевым, когда бывал в обществе,— сказал Нивельзин.— Это один из немногих людей аристократического круга, которых я искренне уважаю, и я очень рад случаю, который, быть может, сблизит нас.— Нивельзин был опять весел и сделался разговорчив.

Наташа принесла самовар. — Наливши мужу и Нивельзину по второму стакану, Волгина встала.

— Если будете пить еще, то наливайте сами. — До свиданья, Нивельзин.

— Голубочка, сыграй что-нибудь,— сказал муж.— Ты устала, должно быть; но для меня, сыграй что-нибудь, — пожалуйста, голубочка.

— Нет, я не чувствую усталости; но я не расположена играть. — Она пошла.

— Для меня, голубочка, — пожалуйста. Часто ли я слушаю, когда ты играешь? — Пожалуйста. — Ты сама говоришь, что у меня слишком мало развлечений, — так не откажи в развлечении, когда мне хочется развлечься.

Она пошла в зал и села за рояль. Сначала оставалась холодна, потом увлеклась. Она не могла быть виртуозкою, потому что не имела хороших учителей, да и мало училась. Притом почти три года в Петербурге она не имела рояля, — он был куплен еще не очень давно. Но она играла недурно и любила музыку.

Когда она стала играть какой-то романс, Нивельзин попросил у нее позволения петь. — «Пойте», сухо отвечала она. Но он пел хорошо, и она стала слушать его с удовольствием.

Мало-помалу она сделалась разговорчива, и Волгин рассудил, что может уйти.

— Будьте снисходительна ко мне, — сказал Нивельзин. — Мое сумасшествие проходит, но оно еще не совсем прошло. Не сердитесь на больного.

— Я еще не так сильно расположена к вам, чтоб могла сильно сердиться, — сказала она. — Но идите к Алексею Иванычу или уходите. Я села играть только для него. Мне не хотелось. — До свиданья.

Она ушла. Нивельзин пошел проститься с Волгиным. — Волгин попросил его сесть и курить, посадил, не слушая его отговорок, и начал:

— Вчера, Павел Михайлыч, я хотел предупредить вас,— вероятно, вы и заметили; но, знаете, рассуждал и то, что, может быть, нет никакой надобности в этом. Остановило меня и то, что не мастер я вести разговор как следует, чтобы не выходило неловко. Думал: пусть он получше ознакомится с нами; а то, пожалуй, мои слова покажутся ему странны; раньше времени не следует ничего делать. Нельзя и спорить, прекрасное правило: делай все вовремя. Одним оно дурно: обстоятельства не ждут, чтобы нам пришла пора делать что-нибудь, заставляют приниматься за дело прежде времени. Оттого-то всегда у всех народов и выходит чепуха. Возьмите вы наш вчерашний разговор о тысяча восемьсот сорок восьмом годе. Как я бранил французских демократов за то, что они сочинили Февральскую революцию, когда общество еще не было приготовлено поддерживать их идеи. Так-то оно так; разумеется, вышла мерзость. Но только не они сочинили Февральскую революцию, обстоятельства так вышли, что заставили их, волею-неволею, участвовать в сочинении глупости...— Волгин задумался.— Так вот оно и у нас. Толкуют: «Освободим крестьян». Где силы на такое дело? — Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что́ выйдет? — Сам судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально, что испортишь дело, выйдет мерзость...— Волгин замолчал, нахмурил брови и стал качать головою.— Эх, наши господа инициаторы, все эти ваши Рязанцевы с компаниею! — Вот хвастуны-то, вот болтуны-то, вот дурачье-то! — Он опять замотал головою.

Вероятно, Нивельзин ждал не рассуждения о февральском перевороте и отмене крепостного права; и, вероятно, был мало расположен сосредоточить свое внимание на

вопросе о силах и способностях русских эманципаторов. Но слова Волгина звучали таким ретроградством, которое было нестерпимо человеку с горячими стремлениями к добру. — Волгин выслушал его возражения, помотал головою:

— Это и прекрасно, если все так. Но, само собою, не в том дело. Натурально, я говорил о ваших господах эманципаторах только для примера, что нельзя бывает ждать, пока придет пора. А так ли оно, или нет, конечно, можно спорить. Например, умно или глупо я сделал вчера, что рассудил: лучше подожду. Поговори я с вами вчера как следует, — могло бы не выйти нынешней неприятности. Значит, можно сказать: сделал глупо, что не говорил. Но с другой стороны: вчера вы подумали бы: «Что такое? С какой стати?» — а теперь поймете, что я говорю дело, будете помнить, будете так и держать себя. Значит, если хотите, можно и оправдать меня, что не говорил, пока не представился хороший случай. — Он встряхнул головою и продолжал, разгорячаясь собственными словами от вялости до того, что под конец ему стало трудно сдерживать голос. — Вот что, — начал он вяло. — Что такое значит иметь доверие к человеку? — То, что вам нет надобности понимать его поступка, чтобы знать: он не поступает дурно. Например, почему я говорю с вами? — Не понимаете, наверное не понимаете, натурально, вам кажется очень странно. Не понимаете, согласен. Но знаете, что я не имею в мыслях никакого коварства. Так или нет? — Знаете это? — Ну, и не ошибаетесь, разумеется. Потому что я не дурной человек. Можете ли вы забыть это, при каких бы то ни было недоразумениях с вашей стороны? — Не можете. По необходимости, всегда будет вам думаться: «Я не понимаю, почему Алексей Иваныч поступает так; но тут не должно быть ничего дурного». Так или нет? — Голос Волгина поднимался. — Так или нет? — Ну-с, так помните же, что есть люди лучше меня. Помните это. Больше никогда ничего не надобно вам знать. Знайте это, и довольно. Так: знайте это, и довольно. Да. — Он остановился, заметив, что если продолжать, то будет слишком громко, вздохнул, мотнул головою, и этого было довольно, чтобы возвратиться к обычной вялости.— Да, Павел Михайлыч,— продолжал он флегматически.— Мало ли бывает случаев, что мы не можем понимать, пока не узнаем подробностей? — Тут на-

добно не пускаться в фантазии, а когда знаете человека за хорошего человека, то просто надобно думать: «Не знаю и знать не хочу, пока не случится узнать». И узнавать не надобно: нечего узнавать, когда не говорят вам,— значит, нет ничего любопытного для вас. И думать нечего: значит, дело не касается вас, и не должно касаться, — значит, и нечего думать. — Он погрузился в размышление. — Само собою, мы говорим о частной жизни, о личных отношениях. Общественные дела совершенно другая история. В них, вы гражданин, давай отчет; не мое дело, общественное, подавай отчет. Например, как частный человек, я говорю вам: «Одолжите мне десять рублей из вашего кармана» — спросите ли, на что? — Потребуете ли расписки? — Если я захочу дать, не возьмете; напишу и дам, изорвете. Но: «Дайте мне десять копеек из общественной суммы».— Другая материя.— «На что тебе?» — «Я хороший человек, можете быть уверены, употреблю с пользою для общества». — «Дудки, братец, говори, на что?» — «А без расписки можете дать? — Я не вор, не отрекусь». — «Дудки, милашка! — Вижу, что ты не вор, — проваливай! — Господа, помогите проводить мошенника в шею!» — Волгин залился руладою в поощрение своему остроумию; перевел дух и флегматически сказал: — А ну их к черту и общественные дела и наших либералов! — Все забываю из-за них о том, что́ говорю. И вас-то, я думаю, смешу: «Эко, не может видеть, — вы думаете, — не может видеть, что я жду от него, что ж это за штука такая насчет Левицкого».

— Нет, я не жду этого; я не хочу знать ничего, — с порывом отвечал Нивельзин.

— Ну, да все равно поедете спрашивать в дом Илатонцева, там открылось бы: Владимир-то Алексеич Левицкий, которого мы не знаем, где найти, — он-то именно и есть, разумеется, гувернер, у которого мы хотим спрашивать, не знает ли, куда девался наш Левицкий! — Это удивительно! — высказал Волгин свое мнение о такой штуке и покачал головою. — Это удивительно, какую историю я сочинил! — Илатонцевы-то еще не вернулись из деревни, и его нет еще в Петербурге, натурально. Но все равно, не могло бы скрыться от вас: как спросили бы у швейцара, или у кого там, так и сказали бы вам: «Владимир Алексеич еще не приехал». — Чего ж тут? Не могли бы вы не увидеть, в чем штука. Да и скрывать-то

теперь бесполезно: дальше тянуть нельзя. Скажу Лидии Васильевне. Натурально, неприятно. Ну, да нельзя теперь.

Нивельзин был совершенно согласен с мнением Волгина, что «это удивительно». Он удалил из Петербурга человека, который был незаменим для него, — обманывал жену, которая интересовалась этим человеком только по заботливости о муже, подрывающем свое здоровье чрезмерною работою, — жену, которую безгранично уважал, — отправлял письма с фальшивым адресом, чтобы продлить обман. — Что же заставило его делать так?

— Эх, Павел Михайлыч! — Волгин покачал головою.— Мало вы знаете человеческие слабости; — например, до чего может доводить человека самолюбие.— Волгин вздохнул.— Конечно, совестно признаваться,— да нечего делать.

— Вы хотите сказать, что удаляли от литературы соперника по таланту?

— Видите, вы не совсем удачно выразились. Литературного таланта у меня нет. Я пишу плохо. Длинно, часто безжизненно. Десятки людей у нас умеют писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство — но важное, важнее всякого мастерства писать — состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи.— А у него, кроме этого достоинства, есть и талант. Огромный.

— Вы увлеклись авторским самолюбием,— как верить, после того, что вы сейчас сказали? — Какое самолюбие в вас?

— Ну, не самолюбие, то зависть,— как там это назвать, все равно; вещь непонятная,— с флегматическим цинизмом отвечал Волгин.— Впрочем, само собою, это только сущность дела, а оболочка на нем, натурально, хорошая: что же я за дурак, в самом деле, чтобы не найти благовидного предлога? — Вы знаете, начинать писать рано — значит, истощать свой талант. Опять же: писать и учиться — одно с другим плохо уживается. Готовься, готовься! — Руссо готовился сорок лет, потому и мог сказать что-нибудь свое, глубоко обдуманное, дельное.— А возьмите вы Дидро, Вольтера; может быть, были и не глупее Руссо,— но принялись строчить, когда еще борода не росла,— и прекрасно строчили,— только своей мысли ровно ни одной.— Левицкому только двадцать один год.

— Я не так хорошо знаю историю литературы, чтобы спорить с вами,— сказал Нивельзин.— Но мне кажется,

ваше мнение утрировано. У кого есть охота учиться, не может не продолжать учиться и сделавшись писателем. У кого есть самобытный ум, тот не лишится оригинальности только оттого, что не будет жечь своих бумаг до седых волос.

— Видите, я и не говорю, что мое мнение справедливо; я вам говорю только, чем я могу объяснить то, что удалил Левицкого. И если сказать правду, должно быть, я сам чувствую, что это вздор, когда не говорил Лидии Васильевне. Натурально, какой ответ? — «Что ты городишь вздор?» — Ну, и промолчал, — и дошел до того, что стал обманывать. Разумеется, побранит. Скажет: «Глупо, мой друг!» Натурально, глупо.— Ну, да все это неважно, разумеется.— Волгин погрузился в размышление и выразил его результат:— Разумеется, не имеет большой важности. Глупо-то глупо, не спорю. Но только и всего.— Он помолчал.— А что, скажите, Павел Михайлыч, я думаю, для вас очень странно, что Лидия Васильевна вышла за меня? — Согласен с вами, это странно, видеть меня подле нее. И скажу вам...

— Не приписывайте мне того, чего я не думаю,— заметил Нивельзин.— Вы некрасив и неловок, конечно, вы были совершенно беден. Вы хотите сказать, что она могла бы выбрать между женихами гораздо лучшими, нежели вы? — Но в ком нашла бы она такого преданного друга? — Я не нахожу ее выбора странным.

— Это правда,— согласился Волгин.— Конечно, я осуждаю ее. Но в сущности не могу сказать, что она ошиблась.— Он помолчал и размыслил.— Действительно, нельзя осуждать ее, потому что, это правда, я не могу сказать, что у меня нет большого уважения к ней.

Нивельзин стал прощаться, говоря, что был до глубины души тронут искренностью его расположения.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Нивельзин был из хорошей фамилии, имел порядочное состояние. Но он не принадлежал к высокой аристократии, не был даже и в родстве ни с одной из вельможеских фамилий. Бывая в свете, он попал в некоторые из первых домов Петербурга, но лишь в некоторые. В других он не

бывал и довольно мало знал о них,— если не интересовался спросить; в те времена у него был один интерес — волокитство.

Ему не случилось тогда быть близким ни с кем из близких Илатонцева. Он знал этого аристократа за честного и доброго человека. Когда они встречались, они здоровались, иногда обменивались несколькими словами.

Великолепный швейцар сказал ему, что Виктор Львович не думает возвращаться в Петербург раньше нового года; но что Алина Константиновна в Петербурге и у себя. Не угодно ли ему пожаловать к Алине Константиновне,— может быть, от нее узнает он что-нибудь больше, хотя едва ли.— Кто Алина Константиновна? — Сестра покойной супруги Виктора Львовича, фрейлина Тенищева. Нивельзин вспомнил, что действительно есть на свете какая-то фрейлина Тенищева; что это за особа, он не умел вспомнить.— Вы говорите, что она едва ли знает больше вашего; да мне и не нужно знать ничего, кроме того, что Виктор Львович еще долго пробудет в деревне,— да того, где эта деревня, как адресовать письмо к нему; а это и вы скажете.— «Все равно, не угодно ли пожаловать к Алине Константиновне? — Они будут очень рады, и могут знать что-нибудь больше моего».— В самом деле, быть может.

В передней было два лакея, по-видимому, даже порядочные люди, каким казался и швейцар.— «Доложите Алине Константиновне Тенищевой; скажите, что я хочу спросить...» — «Все равно, скажите ей; пожалуйте», отвечал один из лакеев, а другой уже понес карточку Нивельзина.— «Неужели фрейлина Тенищева так любит гостей?» — подумал Нивельзин.

Дверь огромной, роскошной гостиной отворилась; из-за стола, нагруженного множеством серебряной позолоченной посуды, открыла себя, отбросивши большой веер, полная, очень полная, белая и румяная, очень белая и румяная, женская фигура, в бальном платье, очень, очень открытом.— Фигура эта, имевшая лет сорок, была очень памятна Нивельзину: на редком из аристократических балов он не видал ее. Но хоть и видел десятки раз, увидел теперь, что не имел справедливого мнения о ее наружности: не считая необходимостью исследовать близко, он издали судил, что белизна ее плеч и румянец слишком полного лица имеют происхождение, обычное на фигурах

подобных ей; в чертах лица не видел ничего, кроме того, что они расплылись от излишней полноты, в бальном платье ничего, кроме бальной формы, в его излишней открытости — обыкновенную претензию молодиться. Но она сидела одна, прельщать ей было некого,— она, как видно, только что встала и умылась,— да и умыванья, может быть, еще не сделала, по крайней мере еще не причесала волос, кое-как, едва пригладила их, может быть и не гребнем, а рукою,— и уже была в бальном платье: какие тут претензии, какие тут белила и румяна! — Добрая душа сидела полуобнаженная для своего собственного удовольствия. И ни на плечах, ни на лице действительно не было подлога: Нивельзин смотрел теперь близко, при полном полуденном свете: ослепительно белые плечи и грудь не нуждались ни в каких белилах и еще были бы привлекательны своею свежестью, если бы не были слишком жирны. И румянец на лице был бы очень хорошего оттенка, если бы доброй женщине не было жарко: кожа была чиста и нежна. И тонкие черты лица были бы еще очень милы, если бы не так трудно было рассмотреть их в затопившей их массе жира, но жира еще свежего, не брюзглого.

— Нивельзин! Это вы! — воскликнула добрая полуобнаженная для собственного удовольствия женщина, отбрасывая веер и сильно колышась ослепительною грудью от усердного крика радости.— Это вы, Нивельзин! Я в восторге! Я жду, я заждалась вас! Как вам не совестно было не ехать, когда Ченыкаев столько раз обещал мне привезти вас! — Как вам не стыдно было до сих пор не быть у меня, которая так дружна с Ченыкаевым!

Нивельзин старался вспомнить, кто бы такой мог быть Ченыкаев, но принужден был успокоиться на предположении, что это какой-нибудь ее приятель, сходный с нею тем, что его можно видеть везде, и никогда никто не любопытствует узнать, кто он.

— Садитесь же, садитесь, mon cher monsieur Nivelsine [1], я так рада вас видеть! — Она хватала гостя за руки, в совершенном восхищении.— Хотите мороженого? И скажите скорее, каково поживает Ченыкаев?

Нивельзин отвечал, что вернулся в Петербург очень недавно и не умеет ничего сказать о Ченыкаеве, что

---

[1] мой дорогой господин Нивельзин *(франц.)*.

приехал к ней не по его приглашению, а по надобности узнать, долго ли проживет в деревне m-r Илатонцев.

— Мой beau-frère![1] — Мой милый, несравненный, очаровательный beau-frère! — Скоро ли приедет он? — О, скоро, скоро! Я измучилась тоскою в разлуке с ним! Я изнываю, я умираю от тоски, ожидая его! — заговорила она с неудержимым восторгом, и прежде, нежели Нивельзин улучил секунду сделать вопрос о разноречии ее сведений со словами швейцара, он узнал, что она действительно не может не умирать тоскою в разлуке с beau-frère'ом, потому что ее beau-frère так добр и умен,— она описала его ум и доброту самыми бурными восхищениями и перешла к тому, что он и вообще очарователен, и даже очень красивый мужчина, несмотря на свои годы,— Юринька будет в отца: ах, если б m-r Нивельзин знал, какой восхитительный ребенок Юринька! — Что за доброта, что за ум! — Она описала доброту и ум Юриньки с тем же восторгом и теми же чертами, какими были изображены достоинства beau-frère'a, и начала описывать красоту Юриньки,— вероятно, теми же чертами, но принуждена была остановиться, перевести дух.— Нивельзин воспользовался этим долгожданным мгновением, чтобы сказать:

— Я хотел спросить...— Но мгновение уже умчалось, Тенищева перевела дух и барабанила:

— О Надине! — О, вы увидите Надину! — И тогда вы скажете, ослеплена ли я, восхищаясь моею Надиною,— пристрастна ли я к ней, говоря, что...— Последовало изображение Надины, совершенно теми же красками, какими были наделены портреты ее отца и брата,— при этом оказалось, что Надина очень похожа на отца и на двух княгинь, и пошла рисовка ее отца и обеих княгинь, потом родных этих княгинь, пока портретистка опять не задохнулась.

Прошел битый час, прежде нежели Нивельзин успел выспросить у нее, почему она скоро ждет своих родных, между тем как швейцар сказал противное, и убедился, что она не могла знать об этом больше, нежели швейцар: она давным-давно уехала из деревни, куда отвозила племянницу, с тех пор не получала из деревни ни одного письма и знает только то, с чем вернулись из деревни она

[1] зять *(франц.)*.

и ее свита: в то время Илатонцев не думал вернуться скоро; дочь говорила, что рада была бы прожить в деревне всю зиму; beau-frère говорил, что, когда они соберутся ехать, известят управляющего домом. А пока добился, что нечего было и спрашивать у нее, Нивельзин узнал множество друзей beau-frère'а и самой Тенищевой: все, без различия пола и возраста, были совершенно похожи на beau-frère'а, Надину и Юриньку, и самого Левицкого, который тоже раз десять попадал на язык доброй женщины, невозможно было отличить ни от beau-frère'а, ни от Надины, ни от какого-то загадочного адмирала, не уступавшего ни умом, ни добротою, ни даже красотою ни Юриньке, ни Надине.

---

Приехав с этими известиями к Волгиной, Нивельзин нашел ее очень серьезною. Он спросил, не продолжает ли она сердиться на него.— «О нет, давно забыла. Вчера была очень сердита, но на полчаса. Потом хотела даже выйти заставить вас петь, потому что·вы поете недурно, но вас уже не было. Муж рассердил меня этою своею глупостью с Левицким. Не то огорчило меня, что он лгал,— он всегда лжет, я не верю ему ни в одном слове; правда, это дело довольно важное, а он лжет только в пустяках, и я не могла предполагать, чтобы он обманывал меня, когда я спрашивала о Левицком. Но я не сержусь на то, что он лгал; он и вчера опять солгал, когда стал признаваться: не захотел сказать правду. Но я поняла ее. Я вспомнила наши прежние разговоры с ним, и это огорчило меня».

Нивельзин был еще под слишком сильным влиянием вчерашних замечаний Волгиной; — вероятно, так; и вероятно, не хотел думать о том, чего не понимает в ее словах. По крайней мере он не сделал никакого вопроса о прежних разговорах ее с мужем, воспоминание о которых огорчило ее.

Она поблагодарила его за справку об Илатонцевых, сказала, что не расположена смеяться, когда он стал рассказывать подробности своего визита; — что она провела однажды целый вечер с дочерью Илатонцева, должна была даже оставить ночевать на своей даче эту девушку, брошенную теткою, которая умчалась объезжать знакомых,— что поэтому она имела понятие о Тенищевой,

но что вообще ей не хочется теперь ни говорить, ни слушать. Завтра это, вероятно, пройдет. Завтра она будет ждать Нивельзина. Они отправятся гулять, если будет хорошая погода; если нет, она попросит его петь, потому что он поет хорошо. Опять он будет обедать у нее. А теперь пусть он едет домой или пусть идет к Алексею Иванычу: Алексей Иваныч кончил работу, Нивельзин не помешает ему. Но она не придет к ним. Она не сердита на мужа, но ей грустно. Она любит быть одна, когда ей грустно.

Нивельзин пошел к Волгину.— Волгин хохотал, слушая о портретной галерее Тенищевой. Потом, с неизменным своим глубокомыслием, стал объяснять, что хоть эта баба и добрая женщина, но страшная дурища, и доказал это чертами из ее поездки за племянницею в Прованс, как она пропадала по дороге туда и моталась из угла в угол Европы на дороге оттуда.

Пришла Волгина.— А как же, голубочка, ты сказала Павлу Михайлычу, что не придешь? — заметил муж.

— Было слишком грустно,— сказала она и ни разу не улыбнулась остроумным соображениям мужа о том, как, по всей вероятности, отплясывала эта дурища в Париже на загородных балах и как надували там ее разные милые господа, умеющие обирать подобных госпож.— Нивельзин стал прощаться.

— И умно делаете, Нивельзин, что оставляете меня одну,— сказала Волгина.— Зайдите, пожалуйста, в мою комнату, скажите там Наташе, чтобы принесла Володю ко мне.

— Значит, сюда? — заметил муж.— А как же ты сказала Павлу Михайлычу, что хочешь быть одна?

— С тобою я все равно что одна.

— Вот слышите, Павел Михайлыч: меня даже и не считает за человека,— остроумно заметил муж; но она не улыбнулась и этой остроте, по его убеждению очень хорошей.

---

Прошло недели две. Нивельзин уже и не говорил Волгиной, что его сумасшествие прошло или проходит.

Было ясное утро. Хорошая погода в это время года бывает не так часто. Невский проспект наполнялся гуляющими.

Волгина и Нивельзин были в числе их, прошедши до Полицейского моста, шли опять к Аничкову и приближались к Пассажу.

— Ужасно! — вдруг сказал Нивельзин, перерывая свой рассказ о римском Corso: — Ужасно! — Назад, Лидия Васильевна! — С драгуном, это Тенищева.— Бежим!

Волгина взглянула по примете, сказанной Нивельзиным.

Навстречу им неслась, об руку с драгунским офицером, толстая, белая и румяная приятельница непостижимого Ченыкаева и загадочного адмирала, не уступавшего красотою никому на свете, даже из женского пола,— неслась, разряженная в пух и в прах, в розовом платье с открытым лифом под расстегнутою белою атласною собольею шубкою, с целым садом алых и белых роз под светло-голубою шляпою, неслась быстро, порывисто, бурно, до того что и цветы тряслись и полы шубки болтались: так стремительны были толчки, которыми подвигал добрую женщину ее размашисто шагавший кавалер.

Кавалер был мужчина лет тридцати, казавшийся приземистым, ниже своего настоящего роста от слишком широких плеч, широколицый, изжелта-бледный, с гладкими длинными бледно-желтыми волосами, весь почти под цвет своему желтому воротнику. Какой бы ни был, мундир армейского драгуна плохо шел бы кавалеру такой пышной дамы. А на нем мундир был такой, что плохо годился и вообще для прогулки по Невскому: пальто было с новым воротником, но само совершенно ветхое, из грубейшего сукна, ставшего жидким, чуть не тонким — так оно обносилось: чуть не дырявым рубищем обтянулось оно на громадных плечах офицера, ввалившись на яминах между костями, высовываясь пригорками по буграм костей; оно было узковато для этих страшных плеч, расщелилось на впалой груди; из-под него виднелся сюртук, заштопанный около петель. Не шло это под пару собольей шубке его дамы, но шло к широкому лицу его, мускулистому, выражавшему силу, но изможденному: под серыми глазами вырылись глубокие впадины, от широких ноздрей приплюснутого носа тянулись морщины до самых углов широкого рта с темновато-бледными губами, бледные щеки глубоко втянулись между массивными челюстями и массивно выдающимися скулами. По этим разъехавшимся и высунувшимся скулам, по этому низкому широкому

носу, нижняя половина лица имела бы почти калмыцкий тип, если бы не белизна бледной, до желтого бледной кожи, если бы не густые желтые усы и если бы не навис над этим слишком плоским лицом крутой высокий лоб с целыми щетками бровей. Брови были так густы и щетинисты, что делали темную полосу, хоть были беловаты; лоб и брови так нависли над глазами, что глаза, хоть и большие, были бы едва заметны под ними, если бы были спокойны. Но хоть и были они полупохоронены под своим двойным навесом, они приковывали к себе внимание своею неугомонной подвижностью: из-под нависшего лба, из-под надвинутых бровей эти серые глаза бросали взгляды, полные дикой, пламенной энергии, взгляды быстрые, как молния, в один миг перебегавшие справа налево, вперед, опять направо, опять налево. Драгун говорил с Тенищевой и впивался в нее своими огненными взглядами, но этими мгновенными, мгновенно повторявшимися взглядами: впиваясь в глаза ей, он в то же время впивался этими бегающими, как у дикого зверя на поиске добычи, взглядами во всех проходящих, во всех, в каждого и в каждую, и направо и налево. Прицепивши к себе за жирную руку Тенищеву своею сухою, но толстою от широких костей рукою, он шел, шагая, шагая широко, порывисто, с размашистым поворотом плечами на каждом шагу, и торопливо семенившая ногами Тенищева с каждым его шагом дергалась одним плечом много вперед другого, тряхаясь и прыгая на его руке, так что мотались и белые атласные полы собольей шубки и светло-голубая шляпа со всем своим садом белых и алых роз. Но как ни раскачивались розы, как ни повертывался, подпрыгивая и подергиваясь вбок, весь ее корпус, глаза ее оставались неподвижно устремлены на впивающиеся глаза ее кавалера, и широко раскрыты, так что были чуть не совсем круглые, и рот был полуразинут: бледно-желтый кавалер ее говорил; она слушала со вниманием и изумлением.

Он говорил; и хоть они были еще далеко, сквозь шум гуляющей толпы, сквозь стук несущихся экипажей, до Волгиной и Нивельзина уже долетали отрывки его речи: «Телесное наказание... строгость военной дисциплины... военно-уголовные законы в Англии... пятьдесят ударов палками... французская дисциплина...» Подпрыгивая и подергиваясь, Тенищева жадно ловила палочные удары и поглощала военную дисциплину.

— Бежим, пока еще можем спастись! — сказал Нивельзин, останавливаясь и отступая, чтобы повернуться назад.

— Бежать? — Зачем же? — с полнейшим равнодушием отвечала Волгина, увлекая его вперед.— Идем, Нивельзин.

— Бежим, ради всего святого! — Заклинаю вас вашею любовью к малютке, вашему сыну! Бежим, или я погиб, и вы со мною!

— Фи, какой трус! — Идем смело на них! Неужели она отнимет кавалера у дамы, с которою незнакома?

— Вы смеетесь, а я предчувствую погибель! — сказал Нивельзин, поневоле идя вперед.— Эта женщина ужасна в своих стремлениях дружиться! — Отнимет ли она меня от вас! — Она способна на все! — Она и вас возьмет в плен!

— Тише, она может слышать.

— Именем моей матери, именем вашего сына заклинаю, бежим, пока еще возмож...

— Кланяйтесь; она увидела вас и кланяется.

Нивельзин почувствовал, что рука Волгиной выскользнула из-под его руки, и услышал смех Волгиной уже позади. А перед ним, уже на самом носу у него, кивали белые и красные розы.

— Monsieur Nivelsine! Enchantée... [1] — Что было дальше, несчастный не слышал: ум его затмился от шлепанья двух огромных алых роз о его подбородок; когда он опомнился, она добарабанивала «...ensemble, j'en suis sure» [2].— Так и есть! Она не только в восторге от встречи с ним, она уверена, что он пойдет с нею! — «Посмотрим, удастся ли тебе,— с ожесточением подумал он,— удастся ли тебе забастовать меня!» — И он раскрывал рот с намерением объявить, что он не гуляет, а спешит домой, дома его ждут важные, безотлагательные дела. Но пока он раскрыл рот, Тенищева уже кричала по-русски, бросивши французский:

— Рекомендую,— это Нивельзин; Нивельзин, рекомендую вам...

— Соколовский,— договорил, перебив ее, драгун, опуская свой нависший лоб и поднимая из-под него и густых

---

[1] Господин Нивельзин! Я в восхищении... *(франц.)*

[2] «...вместе, я в этом уверена» *(франц.)*.

бледно-желтых бровей взгляд, впивающийся в душу.— Очень рад вашему знакомству, Нивельзин,— и в тот же миг Нивельзин почувствовал жгучую боль в кости правой руки: кости хрустнули. Так усердно было пожатие нового знакомца.— Я слышал вашу фамилию,— продолжал он, и бледное лицо его сияло радостью.— Я также и читал ваши мемуары о теоретической формуле преломления луча в атмосфере и о периодическом изменении силы света звезды Алголь. Читал и записку в Comptes Rendus[1] парижского Института о ваших наблюдениях на римской обсерватории. Все это хорошо, прекрасно, Нивельзин. Но еще лучше то, что я слышал о вас, как о хорошем человеке.— Он опять нагнул лоб и опять впился в глаза Нивельзину взглядом, поднятым из-под нависших бровей, и опять кисть правой руки Нивельзина хрустнула со жгучей болью.

— Нивельзин, я не ошибаюсь, конечно: вы шли с вашею...— затараторила Тенищева, пользуясь мигом его молчания.

— Мы очень благодарны вам, Алина Константиновна, за то, что познакомились через вас,— немедленно перебил он ее тоном чрезвычайно кротким, симпатичным, ласкающим, но таким сильным, что поневоле приходилось ей успокаиваться, слушать и молчать: ее голос не был слышен за словами Соколовского.— И вот мы все трое — друзья,— продолжал Соколовский, и Нивельзин почувствовал себя охваченным одною рукою нового своего друга, а другою новый его друг опять прицепил к себе Тенищеву.— И вот мы все готовы идти, Алина Константиновна,— с удвоенною радостью воскликнул друг,— и точно, все они пошли,— все, потому что Нивельзин был сплетен в одно целое с Тенищевой,— крепкое, неразрывное целое.

— Я очень, очень рад случаю, который познакомил меня с вами,— продолжал новый друг, сияя любовью и радостью и ведя в охапке своих друзей.— Рад этому вообще, как знакомству с хорошим человеком: хорошие люди должны сближаться между собою, это мое правило. Есть у меня и особенная причина радоваться: вы бывший военный, вы имели репутацию одного из лучших офицеров русской армии. Ваше мнение по военным вопросам может иметь некоторый вес у военных властей; и будет

---

[1] Отчетах *(франц.)*.

иметь; будет иметь даже большой вес, когда вы будете высказывать его резко и настойчиво. Настойчивость, настойчивость! — С настойчивостью можно добиться много хорошего, а я убежден, у вас не будет недостатка в ней, потому что дело сто́ит того. Вы будете полезны ему, обещаю вам, будете полезны. О, какая святая отрада, Нивельзин, чувствовать себя преданным работником какого-нибудь гуманного дела! — Вы будете знать ее, обещаю вам! — Я расскажу вам, зачем я в Петербурге. В молодости я не знал русских и не любил их...

— Вы не русский? — Я принял вас за чистейшего русского.

— Я поляк. Но, правда, я хорошо говорю по-русски. Было время выучиться. Было время и узнать русский народ и полюбить его. Это хороший народ, добрый, справедливый. В молодости, Нивельзин, я предполагал быть ученым. Тоже математиком, как вы. Судьба решила иначе, — и вот, в тридцать лет, я сделался драгунским офицером. Но уже и прежде, уже года три у меня опять было время, была и возможность заниматься. Не тем, чем я хотел когда-то. Но все равно. Если нельзя работать над тем, над чем хотел, надо работать над тем, над чем можно. Я выбрал себе работу. Я военный; — так или иначе, по своей ли воле, или по капризу судьбы, я военный русской службы и сжился с жизнью моих сослуживцев; и полюбил их; — за то, что судьба привела меня полюбить их, я благодарю судьбу. Я обязан работать для их пользы, Нивельзин: каждый обязан работать на том поприще, на которое поставила его судьба, горька ли, или сладка ему эта обязанность. Мне она сладка, потому что я мог полюбить тех, на пользу которых обязан работать. Я должен и хочу употребить все мои силы на улучшение участи русского солдата. Я думал, усердно думал о том, с какой стороны приняться за это дело, с чего начать. Я убедился, что первою, настоятельнейшею, основною реформою должна считаться отмена телесного наказания. При шпицрутенах и розгах солдат не может сознавать свое достоинство человека и гражданина; начальство не может не быть беззаботно, безрассудно, бесчувствительно, деспотично, расточительно и развратно; солдаты не могут не быть каторжными, офицеры — палачами. Прежде всего надобно добиться отмены этого варварства; только тогда будут возможны другие серьезные улучшения...

Нивельзин был уже свободен: какая-то встречная группа давно заставила Соколовского опустить руку с тальи его пленника. Но освобожденный добровольно оставался в плену: бледный драгун глубоко заинтересовал его.

Это энтузиаст: — конечно, но есть разные энтузиасты. Есть такие, у которых в голове нет ничего, кроме энтузиазма. Этот, кажется, не таков. Есть такие, у которых энтузиазм весь тратится на горячие речи, так что ровно ничего не остается для дела. Этот, кажется, не из таких: он думал и трудился. Действительно, чем больше слушал его Нивельзин, тем сильнее чувствовал, что бледный драгун не из таких энтузиастов, над которыми можно смеяться. Нивельзин чувствовал его обаяние.

Соколовский говорил и говорил, пламенно, неудержимо, и впивался в глаза Нивельзину восторженным взглядом, горевшим святою любовью; он говорил неудержимо, но пламенно лившаяся речь его, при всей восторженности чувства, была дельна, логична, исполнена фактов, была речью человека с железною волею, всецело посвятившего себя своему делу.

Три года он занимался этим вопросом в Оренбурге. Он заставлял выписывать книги. Он толковал со своими сослуживцами, чтобы узнать, до какой степени русские офицеры, от высших до низших, способны исполнять реформу, как солдаты будут держать себя, когда она совершится... Все, что можно было приготовить в Оренбурге, он приготовил. Теперь, по приезде в Петербург, он провел пять месяцев в архивах, собирая материалы, которых нельзя было достать из книг. Его материалы еще неполны, потому что ему еще не открыты секретные архивы, самые важные. Будут открыты, он добьется, и Нивельзин поможет ему добиться...

— Вы совершенно можете располагать не только моим влиянием на других, но и мною самим, — сказал Нивельзин.

— Само собою разумеется; я и не спрашивал, могу ли: я знал, что вы хороший человек.

Его материалы теперь еще неполны. Но они так многосторонни и обширны, что с ними можно начинать дело. Он уже начал бы его, но был несколько задержан в работе личными хлопотами. Он должен был поступить в академию Генерального штаба. Без того ему не было бы ни служебной, ни денежной возможности оставаться

в Петербурге. Кроме того, для начальства очень важно ученое звание человека. Он должен был очень много хлопотать, чтобы ему позволили держать экзамен в академию: Нивельзин помнит, по правилам для этого нужно пробыть два года офицером, а он произведен в офицеры нынешнею весною. Чтобы сделали для него исключение, ему надобно было найти себе какого-нибудь влиятельного начальника, который захотел бы постараться. И вот он нашел. Переменил пехотный мундир на драгунский, чтобы поступить под начальство этого человека, был допущен к экзамену благодаря ему; — и как бы думал Нивельзин, кто этот начальник и почему старался так усердно, что выхлопотал позволение, почти невозможное? — Ученый или добряк, — по сочувствию к прогрессу или по любви к порядочным людям? — Нимало; это фронтовик, грубый, закоснелый невежда, не имеющий в голове ничего, кроме фронтовой муштровки. Он очаровал этого генерал-капрала своим мастерством в делании на караул, в маршировке. Тяжела была наука вытягивать носок и казалась глупа; а вот ей он обязан тем, что он теперь в академии Генерального штаба, — следовательно, остается в Петербурге и может приняться вести свое дело.

Он принялся за него и пишет записку; конечно, в двух видах: будет настоящая записка, подробная, дельная. Но она будет тяжеловесна. У кого из важных людей достанет терпения прочесть ее? — Потому будет и другая записка, коротенькая. Он расскажет Нивельзину содержание большой записки. — Он стал рассказывать; у Нивельзина исчезло всякое сомнение в том, заслуживал ли энтузиаст, чтобы сказать ему: «Располагайте и моим влиянием и моим временем». Содержание записки было богатым сводом бесчисленных и глубоко обдуманных фактов, объяснявших вопрос со всех сторон. Тут была история дисциплины и боевой годности всех важнейших армий. История каждой армии доказывала, что телесное наказание портит войско, ослабляет дисциплину, ведет к проигрышу битв; что с отменою телесного наказания буйные мародеры обращались в послушных, верных знаменам солдат, армия трусов обращалась в армию храбрых. Рассматривался каждый факт, который мог бы казаться противоречащим этому, выводилось, что он не противоречит, а подтверждает. Приводились мнения десятков великих полководцев, замечательных военных администраторов, и

оказывалось, что все они признавали превосходство армии без розг и шпицрутенов над армиею солдат с избитыми спинами. Подробно рассматривались все нравственные особенности русского войска.

— Больше половины этого у меня написано; когда кончу, мы прочтем, Нивельзин; вы укажете ошибки, недостатки, сообщите мне новые мысли, новые факты.

Нивельзин не видел ошибок в мыслях; думал, что и в обзоре фактов не будет пропусков; ему казалось, — все возможные доводы, все возражения предусмотрены и опровергнуты.

— Вам так показалось; я очень рад. Но вам так показалось на первый взгляд. Когда вы прочтете записку не раз и не два, вы найдете посоветовать многое. Вам надобно будет изучить эту записку, не жалея труда. Дело сто́ит того.

— Я буду делать все, что вы почтете нужным, — отвечал Нивельзин: скромность и дельность этого энтузиаста, его сильная, святая преданность делу согревала и Нивельзина. — Располагайте мною вполне.

— Я ждал от вас этого, потому что слышал о вас, как о хорошем человеке. Вашу руку, Нивельзин.

Тенищева воспользовалась мгновением, на которое умолк ее укротитель, чтобы возобновить заглушенный им вопрос. — С кем вы шли, Нивельзин? Это ваша неве...

— Да, с кем вы шли, Нивельзин? — перебил Соколовский.

— Это madame Волгина, — отвечал Нивельзин, произнося слово madame как можно вразумительнее для Тенищевой.

— Волгина! — воскликнул Соколовский. — Может быть, родственница литератору?

— Он ее муж.

— Вы знаком с Волгиным! Вы двойная находка для меня! Вы должны подружить меня с ним.

По первому его восклицанию Нивельзин уже предвидел это заключение. Оно необходимо вытекало из принципа: хорошие люди должны сближаться между собою. Притом же Волгин располагал журналом: как мог Соколовский не накинуться на такую привлекательную добычу? Но не грешно ли будет ввести в кабинет Волгина человека, заговорившего саму Тенищеву? Волгин смирен до беззащитности. Он не имеет духа никому дать заме-

тить, что ему некогда. А Соколовский не очень слушался бы, если б ему и прямо говорить: «Извините, мне теперь некогда». С ним Соколовский будет экспансивнее, нежели с кем-нибудь: Соколовский так и говорит с первого слова, что хочет: «подружиться» с ним. — Отговариваться бесполезно: Соколовский не затруднится и сам забраться к нему. Было одно средство спасти Волгина от беспощадного энтузиаста:

— Я позову к себе Волгина, если вы хотите. Когда у вас будет свободный вечер? — Для него все вечера равны: все наполнены спешною работою. Он постоянно завален спешною работою, с утра до ночи. Но так и быть, я отниму у него один вечер, если это необходимо. — Когда?

— Ныне же, о чем тут спрашивать? Нынешним вечером я хотел быть в доме, где надеялся встретить одного из членов совета военного министерства. Но для Волгина можно отложить это. Пришло, к нашему счастию, время, что журналист — сила, важнее всяких министров! — Вы позовете его ныне вечером.

— Хорошо.

— Благодарю. — Соколовский схватил в свои ужасные тиски злополучную руку Нивельзина.

— Так это madame Волгина! — жадно уловила Тенищева возможность ожить из принужденной летаргии,— madame Волгина! Я уверена, что я слышала о ней, что кто-то звал меня к ней! Кто звал? Княгиня Мосальская или баронесса Штраль? Или скорее баронесса Вейсгаупт?..

«Теперь можешь болтать, нечего бояться», — думал Нивельзин. — Вероятно, и Соколовский рассудил, что нечего опасаться, когда сказано, что madame Волгина — madame Волгина, жена человека, который так жив и здоров, что будет ныне вечером у Нивельзина.

— Так, так! — начала успокоиваться от своих сомнений Тенищева, перебрав десяток дам, каждая из которых могла звать ее к Волгиной: — Так, я убеждена, что это говорила мне графиня Тарновская! — Да, да: графиня Тарновская говорила, что очень дружна с нею и в восторге от нее! — Милая эта графиня Тарновская! О, по ее словам, я очень хорошо знала madame Волгину. Так вот она, madame Волгина! А мы с Соколовским думали, что это ваша невеста! Ах, как жаль, Нивельзин, что мы ошиблись! Мы были так рады за вас! Мы...

— Алина Константиновна, — начал Соколовский внушительным тоном.

— До свидания, — сказал Нивельзин и пошел прочь.

В своей, как теперь оказалось, ложной беспечности они оба были застигнуты так врасплох внезапным возобновлением атаки, что, прежде нежели успели принять каждый свои меры, Тенищева успела уже довольно хорошо оправдать мнение Соколовского, что настойчивость достигает успеха.

Тогда Нивельзин утаил от Волгиной этот эпизод. Но впоследствии времени мог и рассказать его и признаться, что был взбешен.

Было еще рано возвращаться к Волгиным обедать. Да он и был не в таком расположении духа, чтобы спешить к ним. Он пошел по Невскому, в направлении, противоположном тому, в каком бросил идти Соколовского с Тенищевою. Но скоро его бешенство сменилось грустью, тем более горькою, что он и сердился на себя за то, что она овладела им. Вероятно, ему попадались знакомые. Он не замечал...

— Алина Константиновна раздосадовала вас, — раздалось у его уха. — Это был голос Соколовского. Нивельзин оглянулся: так, не один Соколовский тут, по-прежнему висит на руке у него Тенищева. Пот лился с лица несчастной, лился ручьями: должно быть, скакала галопом в погоню. Сама скакала и мчала Соколовского, или он гнал ее? — Но и то хорошо с его стороны, если только дозволил ей, а не сам погнал! — «А мне еще показалось, когда он останавливал ее умный язык, что он не совершенно отрешился от понятий: уместно и неуместно», — подумал Нивельзин, безжалостный в своем ожесточении. — Но Соколовский преспокойно объяснялся, с основательностью, которая сделала бы честь самому Волгину: — Алина Константиновна раздосадовала вас. Она говорит иногда лишнее, Нивельзин, говорит некстати, неосторожно и много вредит себе своим простодушием. Но дурные люди не бывают простодушны; — вспомните это, Нивельзин.

— Помилуйте, Соколовский, с чего вы взяли ставить меня в такое неловкое отношение к Алине Константиновне? — отвечал Нивельзин, по возможности равнодушно. — Я простился с нею и с вами единственно потому, что в ту минуту мимо нас прошел один из моих друзей,

которого надобно было догнать, чтобы переговорить об очень важном деле.

— Нет, нет! — вступила в свою роль Тенищева, захлипываясь от одышки и тем торопливее работая языком в интервалы. — Нет, нет, Нивельзин, не спорьте! Он го-хх-ворил мне, что вы будете отрекаться, но я знаю теперь, вы у-хх-шли потому, что рассердились на меня. Я не за-хх-метила, чем могла огорчить вас, да и не подумала, что хх-вы рассердились. Но Соколовский говорит правду. Пусть мы оба хх-думали, что это ваша невеста. Но не следовало спрашивать; спраши-хх-вать, значит, навязываться на интимность, а это не-хх-деликатно, говорит он, и это правда, я понимаю. Он два раза и останавливал меня, но я не догадалась. Еще непрости-хх-тельнее было, что я сказала, когда уже знала, что хх-мы ошибались. Я понимаю, что это должно было огорчить хх-вас. Но не сердитесь, Нивельзин: я не нарочно раздоса-хх-довала вас. У меня нет этой привычки, говорить что-ни-хх-будь нарочно в досаду. Я не умею этого, Нивельзин. Я хх-...

Соколовский с одобрением глядел на нее: прекрасно говорит свой урок; понятливая ученица. — Нивельзину было уже забавно: — дура, — и человек очень умный; пустейшая,— и чрезвычайно серьезный; но пара, достойная друг друга: оба — люди золотого века в железном.

— Смею уверить вас, Алина Константиновна, Соколовский совершенно ошибался и понапрасну расстроил вас. Вы не сказали ничего неловкого.

— Нет, нет, когда он растолко-хх-вал, не обманете меня! Но я уверена и в том, что он при-хх-бавил: вы полюбите меня, когда больше узнаете. Вы тогда не будете прини-хх-мать в досаду, если у меня вырвется неосторожное сло-хх-во. А сказала от искренней души: как же не пожалеть...

— Бросим это, Алина Константиновна, — ласково, но незаглушимо вступился в дело гувернер, видя, что ученица выбивается из роли на свою дорогу, — Нивельзину неловко слушать ваши извинения, а вам нет надобности продолжать их, потому что он уже не сердится. — Да, когда вы побольше узнаете Алину Константиновну, Нивельзин, вы оцените ее доброе, безгранично доброе сердце, бесхитростное, благородное. Она изумила меня младенческою чистотою своей души, юношескою пылкостью в сочувствии всему честному и полезному. По приезде в

Петербург я долго пренебрегал возможностью познакомиться с нею. В числе двух, трех десятков рекомендательных писем мне дали одно к «фрейлине» Тенищевой. Согласитесь, чего хорошего искать во фрейлине, жалчайшем порождении испорченного порядка вещей? — Фрейлина, пожалуй, пригодилась бы мне, подумал я, если бы могла слышать от меня пошлые нежности и найти удовольствие в них. Но с моею ли наружностью очаровывать пустых женщин пустыми комплиментами? — К чему могла бы служить мне фрейлина? — Я бросил письмо к ней. Но вот, недели две тому назад, вытаскивая из-под матраса грязное белье, отдать прачке...

«Творец небесный! — Подкрепи меня выслушать, в какой штуке белья найдется письмо!» — подумал Нивельзин. — Но случай был менее ужасен, нежели мог бы быть.

Вытаскивая из-под матраса рубашку, — продолжал Соколовский, — он ощупал в ней жесткий листок, тряхнул ее — выпало письмо. Он подумал над ним и решил: не изменять своему правилу, что везде, везде надобно искать хороших людей. Поехал к Тенищевой и, наперекор всякому вероятию, нашел в ней хорошего человека: — и не только хорошего, чрезвычайно полезного. Она тотчас же взялась хлопотать за его проект...

«Но это, наконец, бог знает что! — думал Нивельзин. — Делать эту, положим, добрейшую, но пустейшую и глупейшую женщину двигательницею дела, такого серьезного, трудного, важного! — Рассуждение о фрейлине при фрейлине и даже историю грязного белья я выдержал. Но этого, если это будет продолжаться, не выдержу, кажется». — «Это» продолжалось: Соколовский хоть и горяч по своей натуре, но с полнейшим спокойствием за здравый смысл своих слов радовался и радовался, какую ревностную помощницу нашел он в Алине Константиновне, пылко сочувствующей всему гуманному и прогрессивному... Нивельзин почувствовал наконец, что ему не остается выбора: расхохочется, если не остановить наивного энтузиаста.

— Но, я думаю, военно-уголовные законы были довольно чужды кругу занятий Алины Константиновны, и ваши мысли остаются несколько темны для нее?

— Конечно, прежде она не думала о возможности и важности этой реформы,— отвечал Соколовский как ни в чем не бывало. — Но она отдалась делу всею душою. —

Правда и то, что, попросив ее рассказать мне, как она передает свои убеждения другим, я заметил, что она не вполне овладела фактами, необходимыми для ее новой деятельности, и не совершенно отчетливо представляет себе связь между ними. Но тут нет ничего, чтобы надобно было отчаиваться: нельзя же упомнить все с первого раза. Я повторяю ей существенные доводы, и мы с нею будем говорить снова и снова, пока все станет ясно для нее. Терпение, — обратился он с одобрением к своей ученице. — Нужно только терпение, как оно и всегда, во всем необходимо человеку, желающему быть полезным.— Я очень доволен ее терпением и внимательностью, — похвалил он ее Нивельзину, для лучшего ее поощрения.

---

Волгин заливался руладами, украшая множеством очень остроумных шуток рассказ Нивельзина о Тенищевой и ее учителе. Потом стал горячо благодарить Нивельзина, когда услышал, как избавляет его Нивельзин от нашествия Соколовского; при этом не упустил случая помотать головою и повздыхать о своей бесхарактерности, по которой не может защищаться от скучных посетителей, отнимающих у него время; не замедлил утешиться в этом замысловатою остротою, что Павел Михайлыч необыкновенно обидел его, принявши его за мокрую курицу, которая не могла бы сама отбиться от Соколовского, и после того стал опять заливаться на все возможные и невозможные для обыкновенного человеческого горла тоны, с несравненным и неистощимым остроумием поясняя Нивельзину и жене, какой смешной человек Соколовский. Нивельзин кончил рассказ, а Волгин все еще сыпал превосходнейшие шутки на эту тему и награждал себя за них самым усердным образом, пока не заболели у него бока от хохота.

— Я молчала, мой друг, потому что радуюсь, когда ты весел; хоть у тебя невыносимый голос, все равно рада, — сказала жена. — Но теперь замечу, мой друг, что вы с Нивельзиным слишком легко судите о наивности Соколовского. Он увлечен своими мыслями, поэтому делает и говорит много забавного. Но, судя по вашему же рассказу, Нивельзин, он вовсе не такой простодушный, каким вообразили его вы и Алексей Иваныч. Он искренен, благороден, предан своему делу бескорыстно, до

самоотвержения,— в этом смысле он простодушен,— в хорошем смысле слова, но только в хорошем, никак не в смешном. Он умеет вести дела, и, по всей вероятности, он умеет понимать людей.

— В вашем характере нет насмешливости, и вы любите вступаться за тех, над кем смеются, — сказал Нивельзин: — Но...

— Позвольте, Павел Михайлыч, — не замедлил перебить его Волгин. — Согласен, Лидия Васильевна не насмешлива и любит вступаться, согласен. Но дело не в этом: точно, мы с вами несколько недоглядели. Она говорит правду. Соколовский человек очень практичный.

— Помилуйте, Алексей Иваныч... — начал было Нивельзин.

— Нечего миловать, Павел Михайлыч. Лидия Васильевна говорит правду. Если судить правильно, по всему видно, что он человек очень практичный. Подумайте-ка вы сам хоть о том, что он умел устроить свое дело о поступлении в академию, а вы сам знаете лучше меня, это было дело очень трудное. Все рассудил, все обработал. Как сделать? — Надобно приискать сильного протектора. Что это, наивный или практический взгляд на вещи? — И нашел и очаровал,— чем? — Экзальтациею, благородством, умом? — Нет-с, извините: на этом, говорит, далеко не уедешь с такими олухами,— покажу я ему, говорит, как я марширую и выделываю ружьем. — Это наивность или практичность? — Да и все разбирайте, во всяком поступке, то же; и результат берите: в четыре, в пять месяцев — прапорщик, — или в драгунах они называются корнетами? — оговорился он с обычною основательностью. — Прапорщик или корнет, без гроша денег, в заштопанном сюртуке, — куда пробрался? — Сами сказали: «Буду на вечере, где увижу члена военного совета» — ого! Как вам это нравится? — И по Невскому гуляет, — с кем? — С фрейлиною в собольей шубе! — Тоже недурно для оборванного армейского прапорщика, недурно.

— Но, помилуйте же, Алексей Иваныч: эта самая Тенищева — в каком свете выставляется его практичность восторгом оттого, что он приобрел себе прекраснейшую, полезнейшую сотрудницу в Тенищевой! — Пусть еще была б она молода, имела бы поклонников, — тогда, пожалуй, можно бы ждать какой-нибудь пользы от ее усердия. — Но — пожилая женщина, никому не интересная,

всем надоевшая пустою, невыносимою болтовнею, справедливо заслужившая у самых глупых людей репутацию, что она еще гораздо глупее их. — Восхищаться ее усердием, ждать от нее пользы, — это имеет смысл?

— Для вас, Павел Михайлыч, это смешно, потому что вы не родились агитатором; и для меня это отчасти забавно, потому что я слишком вялый человек: знаете, я люблю смеяться над тем, на что не хватает энергии у меня. Агитаторы мне смешны. Но все ваши сомнения и мои насмешки ровно ничего не значат. Она пуста — так что же? — И пустые люди в искусных руках бывают полезны, лишь были бы усердны. Он умел заставить ее усердствовать, и будет польза, потому что она скачет по его команде, — по глупости оступится, кинется в сторону, он поднял, повернул на дорогу, — и скачет опять, как ему надобно. — Нельзя-с, умных людей не наберешь столько, сколько надобно орудий агитатору, он должен нянчиться и с глупыми. «Но никто не уважает ее». — Пусть, а ему какая надобность? — Все равно, когда это ей не остановка: лезет ко всякому и барабанит. — «Но никто не слушает ее». — Слушай, не слушай, поневоле кое-что услышишь, когда трещит над ухом. — Помилуйте, умными ли людьми пользуются умные люди, чтобы подымать шум? Нет, умные люди не годятся быть волынками: взял под мышку, налегай, волынка и дудит, — глупые удобнее для этой роли. Невозможно вести пропаганду без помощи дураков и дур, ими все дело красится и цветет.

— В ваших словах много правды, — согласился Нивельзин.

— Нельзя, чтобы не было, Павел Михайлыч; и читал и думал об этих нелепостях, — отвечал Волгин и задумался.

— Прибавь, мой друг, она живет у Илатонцева, — заметила жена.

— Это удивительно! — воскликнул он с ожесточением и покачал головою.— Всегда самое-то главное и оставлю без внимания! Само собою, Павел Михайлыч, все, что я говорил о пользе от языка самой Тенищевой, — мелочь, вздор. Натурально, некоторую пользу может принести, но совершенно незначительную. Конечно, у него не тот расчет. В чем же? — Очень просто: он оседлал ее, сел верхом и поехал, — куда же, позвольте спросить, въехал он на ней? — В салоны Илатонцева. Она верует в него, —

потому он свой в доме Илатонцева. Приедет Илатонцев, каким обществом наполнятся салоны? — Члены государственного совета, министры, генерал-адъютанты. А он там свой. — Как же вы полагаете: есть разница, мелкий офицер подает бюрократическим порядком докладные записки в руки мелюзге, — или светский знакомый говорит с знакомыми в таком доме, куда они лезут с усердием и где он чуть не хозяин? — Как находите, Павел Михайлыч: не практичен этот расчет? — А мы с вами: «Тенищева дура!» — Кто же простяк, он или вы? — О себе я не говорю.

— В самом деле так, — сказал Нивельзин.

— То-то же, — глубокомысленно подтвердил Волгин. Он был хорош тем, что если и не замечал иногда что-нибудь сам, — это иногда случалось, — то как только покажут ему, сейчас же замечал и усердно объяснял. В объяснениях он был так же силен, как в остроумии. — Да,— продолжал он, погружаясь в размышление: — Не знаю, сознательно ли руководится таким расчетом Соколовский, или просто повинуется инстинкту своей агитаторской натуры. Вероятнее, просто инстинкт. Прет его инстинкт, он и лезет, — как лунатик, — но только, вы знаете, лунатик пробирается так ловко и верно, что самый отличный акробат не сумеет так пройти. — Да, может быть, он так же непрактичен, как я, во всем, чего не подсказывает ему инстинкт. Но в нем есть инстинкт политического деятеля, — качество, которого не найдете вы ни в одном из наших либералов.

— Думаешь ли ты, мой друг, что он понравится тебе? — спросила жена, начиная делать чай. Волгин любил пить чай после обеда.

— Это очень может быть, голубочка. Если сказать правду, я почти уверен в этом.

— Если он понравится тебе, ты не бойся, пригласи его, пусть бывает у тебя, и сам иногда заходи к нему, чтобы он видел, что его знакомство приятно тебе. Тебе нужно развлечение, и я была бы очень рада, если бы ты нашел хоть одного человека, разговоры с которым доставляли бы тебе удовольствие и отдых, а не скуку и утомление, как с другими. Не опасайся, что он будет когда-нибудь в тягость тебе. Пусть он совершенно не способен замечать сам, есть тебе время болтать с ним или нет; но наверное, он выше всякой мелочности. Если тебе некогда,

я буду говорить ему: «Уйдите, мужу некогда», и он не будет в претензии; напротив, будет любить, что с ним обращаются искренно.

— Твоя правда, голубочка, — сказал муж, подумавши. — Ну, посмотрим. Если понравится, не буду уклоняться от него.

Пришел Миронов, с двумя или тремя товарищами. Стали сговариваться о том, чтобы устроить маленький концерт. — Миронов хорошо играл на скрипке. У Нивельзина была скрипка: он сам был отчасти и виртуоз, кроме того, что порядочно пел. Послали за нею.

Волгин, напившись чаю, пошел в кабинет. Через полчаса вышел в зал, подождал, пока кончилась пьеса, и сказал Нивельзину:

— Сейчас мне вздумалось, не к Соколовскому ли относятся рассказы, которые я слышал от одного старичка поляка, присланного на житье в город, где я служил перед женитьбою и переселением в Петербург. Наружность, лета, характер, ссылка в оренбургские батальоны солдатом — все сходится у Соколовского с Болеславом, как называл старичок того своего родственника. Мне тогда не пришло в голову спросить фамилию. Полагал, тоже Зелинский, как звали старичка. — Не случилось вам узнать, как имя Соколовского? Болеслав? — И не рассказывал он вам ничего о деле, по которому был сослан?

Нивельзин отвечал: «Нет». — Волгин стал делать другие вопросы: не случилось ли Соколовскому упомянуть, откуда он родом? — Не с Волыни ли? — Был ли он в университете? И в каком? Не в Петербургском ли?

То и другое так, — припомнил теперь Нивельзин. — Соколовский упоминал, что приехал в Петербург позже, нежели мог. Когда его выпустили из Оренбурга, он проехал на Волынь и зажился там дольше, нежели думал. Там у него мать, еще бодрая старушка, и сестра, больная, от самого детства почти не встающая с постели. — По разговору его видно было, что перед ссылкою он жил несколько лет в Петербурге, а перед самою ссылкою уезжал на родину: он выразился, что его провезли мимо дома, где жили мать и сестра, и не позволили видеться с ними.

— Все это совершенно так. Очевидно было, Соколовский — тот Болеслав, о котором говорил Зелинский.

— Не мешай нам, — сказала Волгина мужу. — Или перестань говорить с Нивельзиным, и пусть он опять поет, или уведи его к себе: мы обойдемся и без него.

— Я пойду к Алексею Иванычу, — сказал Нивельзин. — Мне любопытно все, что относится к Соколовскому.

В 1848 году студент Петербургского университета, поляк, — не Зелинский, как прежде предполагал Волгин по ошибочной, но очень естественной догадке, а Соколовский, отправился провести каникулы на родине, на Волыни. Сам он не имел ничего: поместье его отца было конфисковано после восстания 1830 года, когда был и убит отец, собравший партию из крестьян, своих и соседних. Но разные родственники его благополучно остались помещиками. Их именья лежали вообще недалеко от галицийской границы. Соколовский был в гостях у одного из этих родных, именно у того самого Зелинского, который впоследствии рассказывал все это Волгину. У Зелинского был вечер. Прямо с вечера Соколовский поехал гостить к другому родственнику; поехал, по обычаю небогатых людей того края, на телеге или фуре еврея. — Другой еврей, бывший во вражде с этим, донес на своего недруга, что он взялся провести какого-то студента-поляка за границу. Обвиненного еврея арестовали на дороге; также и Соколовского. Соколовского повезли в Петербург, и там решили: сослать в солдаты, в оренбургские батальоны, по подозрению в намерении уехать за границу. Буквально так было сказано в решении. Зелинский справлялся и хлопотал; он имел тогда и деньги и знакомых, — да и сам он пользовался уважением: его послали на житье в Россию уже годом позже, за то, что он помогал платьем и деньгами проводимым через Волынь полякам, взятым в плен в Венгерскую кампанию. В 1848 году на него смотрели еще хорошо. Ему нетрудно было узнать всю правду о своем родственнике. Буквально так: «По подозрению в намерении».

— По подозрению в намерении, — сослать в солдаты! — повторил Нивельзин. — Замечательный приговор.

— Не столько замечательный, сколько прискорбный, — флегматически возразил Волгин. — Не замечателен, потому что в нем нет ничего особенного. Но огорчительно, что наши производители дел так плохо владеют пером по недостатку просвещения. Будь люди просвещен-

ные, конечно, догадались бы написать иначе. Например: «По соображению обстоятельств, показывающих, что его поездка была исполнением замысла эмигрировать» — согласитесь, тут было бы все, как требует доброе приличие. «По соображению обстоятельств, показывающих» — не можете не понимать, что были улики. Правда, их не было. Но в приговоре и не говорилось бы, что они были. Истина не была бы нарушена. А все-таки нельзя было бы не понимать, что улики были. И дальше: «показывающих, что его поездка была исполнением замысла» — ого! — Это уже не то, что «намерение». Намерение, согласен, вздор, пустая мысль; за мысли нельзя наказывать, наказывать строго — говорят одни; — вовсе нельзя наказывать — говорят другие.— Но «исполнение замысла» это факт; преступление уже совершилось.— Да, и все было бы прекрасно: обнаружен преступный факт; наказание справедливо. А они, как люди необразованные, брякнули: по подозрению в намерении — то есть безо всякого основания. Да, огорчительно: считаемся во всей Европе варварами за то, что не умеем владеть пером. Обидно, прискорбно. Но погодите, просветимся; будем выражаться благовиднее.

Нивельзин горько улыбался. — Вы умеете быть зол.

— Я, зол? — Волгин покачал головою: — Я кажусь вам зол потому, что вы видите вокруг себя все только невинных младенцев; да и сам вы, извините, тоже невинный младенец. — Умно то общество, в котором я кажусь резким и едким! — Я, цыпленок, — зол! — Хороши птицы, среди которых цыпленок — ястреб! — Невинные, невинные! — Он опять покачал головою.— Ну и что же? — Вы действительно так невинен, Павел Михайлыч, что поверили: «по подозрению в намерении» — могли сослать в солдаты? Невинным людям воображаются везде оборотни, люди-звери. Людей-зверей нет. Нет таких жестоких людей, которые бы захотели делать вред, наносить страдание без надобности. — Сослать в солдаты «по подозрению в намерении», сделать такой ничтожный и неопасный поступок, эмигрировать, — это невозможность,— само собою, это было только предлогом, пустым предлогом. Натурально, должно было быть и резонное основание. Оно осталось не высказано в приговоре, по необразованности не нашлись, как выразить его. А оно было резонное, справедливое.

Волгин бросил шутовство и стал опять рассказывать серьезно.

— Соколовский был арестован по подозрению в замысле, не имевшем ничего ни опасного, ни важного. Велик был бы убыток, если б юноша и хотел и успел эмигрировать! — Кому страх от этого? А донос был голословный. Улик не нашлось. Поэтому люди, решавшие судьбу Соколовского, были расположены очень добродушно принимать его оправдания. Он оправдывался умно и успел убедить их, что донос был вздорною выдумкою. С ним стали говорить уже не как с подсудимым, а просто так, для препровождения времени, потому что кому же не бывает приятно потолковать о всякой всячине с умным человеком? — Он рассуждал обо всем очень основательно, по мнению своих судей; приобрел их уважение, хоть был еще юноша. — «Скажите, — стали они спрашивать его,— почему не все молодые люди имеют такой умеренный, прекрасный образ мыслей, как вы? — Скажите, какие бы меры могли быть наиболее полезны для предотвращения развития безрассудного образа мыслей в молодых людях?» — Он стал объяснять, что существенная причина увлечений неосновательными мыслями — недостаток основательных знаний. Наука стеснена, и молодые люди не имеют почти никакой возможности приобретать здравые политические убеждения. Надобно освободить мысль, и она сделается спокойною, мирною. — Он отвечал с такою же искренностью, с какою спрашивали его; спрашивавшие, хоть не были привычны к подобным взглядам, хоть не были люди образованные, но все же имели здравый смысл и житейскую опытность. Им казалось, что в его словах много справедливого. Пошли разговоры подобного рода, — и кончились тем, что друзья-слушатели Соколовского, к собственному прискорбию, увидели себя обязанными отправить его в Оренбург.

— Его обманывали, завлекали; говорили с ним только для того, чтобы запутать его! — сказал Нивельзин. — Хотели сослать, не имели улик и выманили из него какие-нибудь неосторожные слова!

— Обыкновенная манера наших прогрессистов; да и не наших одних! — И в Европе тоже умны! — Бросьте эту манеру, Павел Михайлыч. Консерваторы, даже реакционеры, вовсе не такие хитрецы и злодеи, какими воображают их либералы. — Ни у кого не было охоты ссылать

Соколовского. Думали освободить его. Но с обеих сторон поступили неосторожно: заговорились, увлеклись. Ошибка, согласен. Но ошибка очень естественная: они, вместо дикого революционера, увидели человека умеренного; он, вместо злодеев, увидел людей далеко не злых. Приятная неожиданность с обеих сторон — и поддались впечатлению, вообразили, что могут понимать друг друга. В этом и вся беда. Если бы врагами прогресса были только злые люди! Если бы в борьбе за него надобно было побеждать только интриги, коварства! — О, тогда было бы так же хорошо, как если бы противниками консерваторов были только наши господа-либералы! — Все шло бы вперед и быстро и спокойно. Консерваторы не затруднялись бы производить улучшения; чего же затрудняться, когда нет в перспективе ничего опасного ни для чьей головы, ни для чьего кармана? И жизнь народа облегчалась бы самым отрадным образом.

— По вашему мнению, могло бы, например, не быть убытка для помещиков от освобождения крестьян?

— Ну! — Когда речь пошла об освобождении крестьян, со стыдом умолкаю,— остроумно отвечал Волгин и залился руладою.— Я уже имел честь докладывать вам, Павел Михайлыч, что вся ценность всех помещичьих имений, по свободным рыночным ценам, не составляет полуторы тысячи миллионов. Государству, имеющему семьдесят миллионов жителей, затрудняться платежом каких-нибудь полуторы тысячи миллионов! Но я докладывал вам, что помещики пальчики облизали бы, заплясали бы от восторга от получения суммы, несравненно меньшей. Вы знаете...

— Ты увел Нивельзина говорить о деле, а вот уже хохочешь, — сказала Волгина, входя в кабинет. — Кончил дело и забавляешь Нивельзина сказочками, по своему обыкновению? — Подавай же нам его, нам необходим первый тенор. — Идите, Нивельзин.

— Правда твоя, голубочка: я начинал забавлять себя и Павла Михайлыча сказками, — отвечал муж и залился руладою в одобрение удачной шутке; потому что он был глубоко убежден, что сострил очень тонко и удачно.

---

Нивельзин ушел домой много раньше времени, которое назначил Соколовскому. Он полагал, что энтузиаст, при нетерпении подружиться с Волгиным, может при-

ехать, пожалуй, и целым часом прежде, нежели условился.

А Волгин, хоть и обещался Нивельзину прийти в девять часов, несколько запоздал, и запоздал бы гораздо больше, если бы жена не помнила времени за него.

Она привыкла к тому, что муж вечно забывает обо всем за работою, и в девять часов пришла сказать ему, что пора идти.— Но он не работал, а лежал на своем диване; и не читал, а думал, чем занимался очень редко, когда бывал один. Он был любитель и мастер погружаться в глубокие размышления, но только среди разговоров. Когда он был один, его глубокомыслие вообще не находило себе никакой пищи.

— Что ж это? — Ты спал, мой друг?

— Неужели девять часов? — Не спал, голубочка, а думал об этом Соколовском. Он должен быть очень замечательный человек. Натурально, я не рассказывал Нивельзину, почему так думаю. Нивельзину я рассказывал только пустяки, которые, конечно, рассказывает о себе и сам Соколовский; то, что можно и должно говорить перед всеми. Но Зелинский полагался на меня и говорил больше. Видишь ли, Соколовского судили за намерение эмигрировать, и не уличили в этом. Да и точно, он вовсе не хотел эмигрировать. Напротив. Тут было совершенно другое намерение. Видишь ли, голубочка: в тысяча восемьсот сорок восьмом году...

— Надоел ты мне, мой друг, со своим тысяча восемьсот сорок восьмым годом,— да и некогда мне слушать: играем в лото; — и тебе некогда рассказывать: пора идти. Одевайся, и приди показаться мне, не забыл ли повязать галстук.

Так и осталось нерассказанным то, что больше всего заинтересовало Волгина в пользу Соколовского.

А действительно, Волгин был совершенно прав, что почувствовал очень сильное уважение к этому человеку, когда увидел, что он — тот самый Болеслав, о котором говорил Зелинский. Этот Болеслав, — в то время еще юноша, один сохранил рассудок в целом очень большом собрании, среди пожилых людей и стариков, у которых у всех закружились головы; один, такой пылкий от природы, остался хладнокровен, когда и флегматики — предались увлечению.

Галиция волновалась. В пограничных польско-русских землях со дня на день ждали оттуда известия, что поднялось восстание, и готовились поддержать его. Собирались, организовывались, старались запастись оружием, уговаривались о плане действий. В том крае, где была родина Соколовского, местом собраний служил дом Зелинского. Однажды съехались. Собрание было очень многочисленное. И вдруг получается известие: ныне Галиция взялась за оружие. Тотчас же было решено: прямо из этого собрания каждый едет в свою околицу, поднимает ее, и начинается восстание. Все решили единогласно. Один Соколовский спрашивал: да правда ли, что Галиция поднялась? «Поднялась!» — кричали ему. Но он был так настойчив, что, наконец, перекричал гвалт, убедил не разъезжаться, не выслушав его. Верны ли известия, что Галиция поднялась? Кто привез их? — Привезли десятки, сотни людей: на всех рынках, к вечеру все знали; каждый приезжавший с границы подтверждал. — Но кто видел? — Через два или три часа бурного сопротивления Соколовский умолил, чтобы дозволили ему съездить за границу, взглянуть и привезти положительные сведения.

Он не доехал до границы. Его арестовали по доносу, действительно не совсем точному: он не хотел эмигрировать и мог доказать, что не хотел, необходимейшие вещи оставались у него дома; ясно было, что он думал возвратиться домой очень скоро. Это не помогло ему: в нем увидели человека тем более опасного, что он очень даровит, энергичен и в особенности очень рассудителен. Нашли нужным удалить его. Он много и долго должен был страдать,— не за свою поездку,— о ней ничего не узнали и, наконец, нашли, что она могла быть невинным переездом от одного родственника в гости к другому,— но за то, что по поводу его поездки узнали его характер и дарования.

Он не мог исполнить дела, которое взял на себя. Но отсрочка, которую он вымолил, вынудил, была достаточна, чтобы дело разъяснилось уже и без его присутствия. Известия о восстании в Галиции оказались вздорными. Сотни, если не тысячи людей уцелели от напрасной погибели, на которую пошли бы, если б не его рассудительность,— и весь край избавился от напрасного разорения.

Каждый, каков бы ни был по характеру и принципам,— будет чувствовать уважение,— и, если честен, влечение к человеку, который, бывши юношею, имел рассу-

док спасти пожилых людей и стариков от опрометчивости.— Волгин был мнительного, робкого характера; принципом его было: ждать и ждать, как можно дольше, как можно тише ждать. Поэтому он ценил поступок Соколовского еще гораздо выше, нежели могут ценить люди отважные.

---

Действительно, Соколовский был тот Болеслав, о котором рассказывал Зелинский. Сначала поговорили об этом старике, человеке благородном, но не выходившем из ряда обыкновенных добряков, не интересных ни для кого, кроме своих родных и друзей. Потом Соколовский говорил о своей жизни в Оренбурге. Так прошло довольно много времени. Волгину представлялось нужным, чтобы Соколовский присмотрелся к нему, несколько привык не шокироваться его слишком угловатыми манерами, его привычкою шутить, большею частию некстати хохотать, не договаривать фраз и умолкать также некстати, смотреть в угол и в пол,— вообще держать себя неловко, дико. Рассудив, что Соколовский достаточно приготовлен не смущаться нелепыми формами, в каких он обыкновенно выражает свои мысли, и обращать внимание только на сущность их, Волгин сказал, что, конечно, и Зелинский и Оренбург — предметы для разговора не хуже множества других, но что, конечно, Соколовский хотел видеться с ним вовсе не для того, чтобы толковать о таких вещах.

— Вы заинтересованы вашим проектом, Болеслав Иваныч, и разумеется, хотели, чтобы я помогал этому делу как журналист.

— Конечно, так. Но был у меня и другой мотив желать сближения с вами: сходство наших убеждений.

— Само собою. Но об этом мы поговорим после, если будет надобно. А теперь, насчет содействия вашему доброму намерению, откровенно скажу: не только сам не хочу помогать, советовал бы, чтоб и вы бросили это дело.— Соколовский вскочил и опять так же быстро сел, подавивши нетерпение вскликнуть что-то,—вероятно, что не верит своим ушам.— Видите ли,— вяло продолжал Волгин: — Из ваших стараний ничего не выйдет. А к чему ведет излишняя охота вразумлять людей, вы уже испытали. Стоит ли губить себя понапрасну?

— Вы кончили? — терпеливо спросил Соколовский. При всей своей горячности он умел быть терпеливым; при

всей экспансивности, делавшей его чрезвычайным охотником говорить, умел и слушать.— Вы кончили? — спросил он, видя, что Волгин замолчал.— Или еще недосказали?

— Пожалуй, хоть и кончил, потому что развивать перед вами мою мысль — совершенно бесполезно. Вы не ребенок и знаете наши обстоятельства. Не нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь указывал вам факты и объяснял их смысл. Но я не думаю, чтобы вы были готовы принять мой взгляд на вещи, и не воображаю, чтобы мог переубедить вас. Если я сказал, как думаю, то, разумеется, для того, чтобы устранить себя, а не с намерением учить вас.

— Вы отвергаете возможность этой реформы в частности или вообще возможность реформ? Высказывайте же и основания вашего скептицизма.

— Я нисколько не скептик. Скептик тот, кто не умеет сказать, «да» или «нет» согласнее с правдою.— Возможности реформ я не отвергаю: как отвергать возможность того, что происходит? Происходят реформы в огромном количестве; я не могу не знать этого, потому что читаю газеты. И вообще говоря, вы можете думать, если вам угодно, что я совершенно согласен с вами. От этого не будет убытка ни вам, никому, потому что ровно никому не может быть ни вреда, ни пользы от того, как я думаю.— Я только отстраняюсь от участия в ваших заботах, потому что не имею охоты хлопотать.

— Продолжайте,— заманивающим тоном сказал Соколовский.

— Мне нечего продолжать, Болеслав Иваныч. Я сказал, что не хочу спорить с вами.

— Вы не имеете охоты хлопотать о реформах! Как же понять это, если вы принуждены соглашаться, что русское общество занято реформами?

— Можете понимать различными манерами; не знаю, какую манеру понимать я могу рекомендовать вам. Например: быть может, я полагаю, что никто не послушается меня; быть может, я считаю неприличным лезть с моими советами, когда никто не просит меня об этом; быть может, я думаю: не нужно бы никаких реформ. Я могу думать и это. Какая мне надобность в реформах? Мне хорошо и без них. Если хотите знать мое собственное мнение, я полагаю, что это последнее предположение

ближе всего к правде. С какой стати я имел бы охоту горячиться? — Мои дела в хорошем положении, постоянно улучшаются. Ни от кого я не имею никаких неприятностей. По природе я человек смирный.— Я желаю, чтобы все оставалось как есть, потому что ничего лучшего для меня не сделают никакие реформы. Соблюдая благопристойность, я не прочь говорить: «Люблю реформы»,— согласитесь, неприлично выказывать себя равнодушным к общей пользе. И хотя я не бог знает какой хитрец, но не так и глуп, чтобы возбуждать презрение и ненависть к себе высказыванием моих задушевных мыслей, которые, как видите, не очень-то возвышенны и привлекательны.— Но здесь, при людях, с которыми могу быть нараспашку, не имею охоты шарлатанить.

Соколовский слушал стиснув челюсти, но не прерывал.

— Алексей Иваныч шутит,— заметил Нивельзин.— Он любит шутить.

— Люблю. И если шучу, то шучу. Может быть, надобно прибавить: шучу некстати, неуместно. И это бывает. Но я полагаю, что я нисколько не шучу. А впрочем, действительно лучше, если Болеслав Иваныч будет думать вместе с вами, Павел Михайлыч, что я шучу.

Почти каждый на месте Соколовского был бы выведен из терпения. Но Соколовский имел очень сильный характер.

— Если вы так апатичен к общей пользе, то зачем же вы пишете? — спокойно сказал он.

— Это мое ремесло. Человеку, не имеющему состояния, надобно делать что-нибудь, чтобы добывать кусок хлеба. Я пишу — и добываю. И добываю очень хороший. Потому очень доволен своим ремеслом.

— Но вы пишете не то, что говорите.

— Я не могу писать того, что говорю: какая ж охота публике была бы читать мои рассуждения о моем характере? — Он занимателен только для моих друзей или людей, желающих личного сближения со мной, как вы. Для публики нужны другие предметы, более занимательные, чем моя персона.— Но то, что я пишу, не противоречит тому, что я говорю. Я говорю вам, что равнодушен к реформам. Я не пишу, что восхищаюсь ими. Я говорю, что не хочу писать о реформах. Я и не пишу о них.

— Вы не хотите говорить со мною,— сказал Соколовский, не теряя спокойствия.

— Не совсем правильно выразились, Болеслав Иваныч. Вы слышите, я говорю. И буду говорить, сколько вам угодно. Но я сказал, что не хочу спорить с вами; и не буду. Когда будет время, скажу, почему не хочу. И надеюсь, вы согласитесь тогда, что со своей точки зрения я прав.— О чем вам угодно, чтоб я говорил? — Я готов, с удовольствием и сколько вам угодно.

— Алексей Иваныч,— кротко сказал Соколовский.— Вы согласитесь, другой, на моем месте, мог бы принять такое обращение за обиду.

— Согласен, Болеслав Иваныч. Но вы не примете.

Соколовский стиснул челюсти, помолчал и опять, овладев собою, кротко сказал:

— Вы не хотите быть знакомы со мною?

— Я еще не говорил этого, Болеслав Иваныч. Я говорил пока только о том, что в одном из ваших побуждений сблизиться со мною вы ошибались. Как журналист, я бесполезен для вас. У вас был другой мотив: одинакость наших убеждений. Не знаю, достаточно ли обнаружилось для вас, что и в этом вы ошибались. Мой образ мыслей не сходен с вашим.

Соколовский встал и несколько раз прошел по комнате. Сел и начал спокойно:

— Вы уклоняетесь от спора со мною. Я хочу спорить с вами. Вы не хотите указывать фактов, которыми, по вашему мнению, опровергаются мои надежды. Я напомню вам факты, на которых основываются мои ожидания и которыми, как мне кажется, совершенно устраняется возможность оставаться при безусловном отрицании.

— Я отрицаю! — И даже безусловно отрицаю! — Волгин покачал головою.— Что могу я отрицать? Может ли немой отрицать?

— Я понимаю вас,— терпеливо продолжал Соколовский, не давши себе воли сбиться в сторону от выходки Волгина.— Я понимаю ваше отрицание. Я одних лет с вами. Мои убеждения формировались одновременно с вашими. И от одних и тех же фактов одинаково замирали надежды в наших сердцах. Тогда и я видел, что реформы невозможны. Но теперь другое время.— Он стал перечислять недавние события, которыми русские были

пробуждены от долгого сна и потрясена система, повергавшая их в этот летаргический сон.

Вся жизнь русского была приносима в жертву духу завоеваний; все силы русского народа были истощаемы на служение этому духу, весь политический и общественный быт русского народа был подчинен потребностям этого духа, скован в организацию, не допускавшую никаких других направлений деятельности. Более полутораста лет владычествовала эта система, и успехи ее были блистательны. Русский народ привык думать, что его могущество, слава — результаты ее. Он ошибался. Причиною даже и военных успехов его была не эта система, а цивилизация, проникавшая в Россию наперекор ей. Но заблуждение было извинительно. Оно было следствием того логического миража, которым обманывается не только масса, обманываются, слишком часто обманываются даже и великие мыслители; это известный фальшивый силлогизм: «вместе с тем, следовательно, потому». Система, сдавливавшая жизнь русского народа, говорила ему: «Видишь, при мне,— следовательно, благодаря мне, из слабого, обижаемого, презираемого ты сделался могущественным, безопасным, славным». Он видел: да, сделался; и верил: да, благодаря ей...

— Нашим историкам, да и нашим либералам, далеко до такого понимания русской истории,— заметил Волгин Нивельзину.— Это я называю правильно понимать вещи. Читали ль вы до сих пор что-нибудь подобное ясному и твердому очерку дела, какой дает нам Болеслав Иваныч?

— У вас есть писатели, которые судят точно так же,— сказал Соколовский.

— Есть? — Как вы скажете, Павел Михайлыч? — Вы больше меня читали наших либералов и радикалов.

— Не говоря о либералах, и радикалы не говорят так безусловно,— сказал Нивельзин.— И признаюсь, я не приготовлен вполне согласиться с Болеславом Иванычем.— О времени Петра, о начале правления Екатерины Второй, о первой половине царствования Александра Павловича я когда-нибудь поспорю с вами, Соколовский.

Соколовский спокойно ждал, пока возвратят ему свободу продолжать, и стал говорить по-прежнему, с пылкостью в манере и с прежнею ясностью и твердостью логики.

Русские привыкли считать свое войско непобедимым, свое государство могущественнейшим в Европе. Но вот они увидели, что враги безнаказанно вторглись в их страну, одерживают победу за победою над их войсками, принуждают их государство просить мира; — что их государство принуждено с покорностью принять все условия, какие захотели продиктовать победоносные неприятели. Такого унижения не мог равнодушно перенести русский народ. С энергиею справедливого гнева он потребовал отчета в том, как могло произойти падение его могущества. Нельзя было скрывать от него истину, потому что он чувствовал ее; должны были сознаться: причиною всех бед была прежняя система; должны были согласиться: надобно отвергнуть ее, необходимы радикальные реформы; весь государственный организм был фальшивым, гнилым механизмом, не имевшим в себе ничего действительно живого, ничего свежего и прочного,— и все силы общества были подавляемы гнетом этой мертвой машины. Должны были согласиться: необходимо обновить все части государственного устройства, дать простор живым силам общества. Должны были согласиться: система механического угнетения была гибельною ошибкою, необходимо предоставить свободу развитию народа.

— В этом Павел Михайлыч согласится с вами,— заметил Волгин.— По его мнению, Крымская война точно то же для России, что война тысяча восемьсот шестого года была для Пруссии. Я полагаю, что союзники взяли Петербург и Москву, как тогда французы Берлин, и во власти русского правительства оставалась только Пермь, как тогда у прусского — Мемель.

— Сила впечатления была одинакова,— спокойно отвечал Соколовский.

— А, это по новой геометрии: маленький краюшек равен целому.

— Иногда отломить маленький краюшек значит раздробить все тело.

— Вы умеете спорить.— Этим Болеслав Иваныч лучше наших либералов: ошибается или нет, можно судить как угодно, но всегда понимает, что говорит,— обратился Волгин к Нивельзину: — Ныне всё проекты полезных учреждений; я думаю, не подать ли проект, чтобы вашего Рязанцева с компаниею переименовать в гимназистов и

велеть им ходить на уроки к Болеславу Иванычу. Авось позаимствовались бы от него хоть каплею смысла. Нет, не позаимствовались бы: некуда поместиться смыслу в их головах: все битком набито вздором. Значит, нечего и подавать проект.

— Будьте откровенен, Алексей Иваныч,— сказал Нивельзин.— Признайтесь, вы свернули на бедного Рязанцева потому, что не нашли ничего возразить Соколовскому.

— Я еще не имел времени познакомиться с Рязанцевым,— сказал Соколовский.— Но воспользуюсь для этого первым досугом, потому что надеюсь научиться у него многому и убежден: мы пойдем с ним рука в руку.

— Пойдете; только долго ли, этого не умею сказать,— заметил Волгин.— Но извините, я перервал вас.

— Принуждены были сознаться, что радикальные реформы необходимы,— продолжал Соколовский изложение своего взгляда, во многом сходившегося с понятиями тогдашних наших прогрессистов, но имевшего ту разницу от их рассуждений, что у Соколовского все было логично и однородно, а их рассуждения захватывали что-нибудь похожее на правду лишь по мелочи и наполнялись больше хвастовством о великости совершенных ими подвигов.— Принуждены были обещать полное обновление народной жизни,— продолжал Соколовский.— И не только обещали, сами прониклись убеждением, что без этого нельзя обойтись; с искренним усердием готовят реформы, вызывают всех, могущих дать совет, оказать помощь,— вызывают, просят их: советуйте, помогайте.

— Это факт,— сказал Нивельзин.— Каково бы ни было прежнее наше недоверие, мы не можем не видеть: это факт.

— Когда это факт, это недурно,— заметил Волгин.

— Алексей Иваныч,— начал опять Соколовский.— Я понимаю вас и отчасти сочувствую роли, которая досталась вам. Никто из людей, имеющих политическое образование, не может желать, чтобы не существовала оппозиция. Она и возбуждает удвоенную энергию в трудящихся и контролирует, гарантирует разумность работы. Я вполне понимаю пользу, приносимую вами. Но...

— Я приношу пользу,— это приятно слышать,— вяло вставил Волгин.— В России есть оппозиция — это прекрасно; и я один из представителей ее — это очень лестно

для меня. Благодарю вас, Болеслав Иваныч: вы раскрыли мне глаза.

— Вы можете смеяться над собою и быть недоволен тем, что ваша партия менее сильна, нежели хотелось бы вам,— продолжал Соколовский, не смущаясь и не раздражаясь насмешками Волгина, которые обидели бы человека, менее сильного, твердого и самоотверженного.— Я понимаю ваше гражданское страдание.

— Мое гражданское страдание,— недурно сказано, и следует запечатлеть в памяти. Сам я никак не мог бы заметить в себе такой удивительной вещи.

— И уважаю его,— продолжал Соколовский с теплым чувством, не обращая внимания на выходку Волгина.— Не скажу, чтоб и сам я не чувствовал иногда влечения негодовать. Дело пересоздания ведется слишком медленно; видишь ошибки, иногда довольно важные. Невольно поддаешься чувству. Но...

— Само собою, это досада нерезонная,— с неизменимой вялостью перебил Волгин, по-прежнему нагло злоупотребляя кротким терпением Соколовского.— Зритель чужой работы всегда бывает расположен слишком строго судить о трудящихся. Это психологический закон. Но тем не менее это несправедливость и нелепость.— «Они работают не довольно скоро» — но вещь известная, человеческие желания нетерпеливы; когда сам не занимаешься делом, не чувствуешь, как оно трудно, не умеешь брать в расчет, как много ему препятствий, как они сильны.— «Работа ведется не без ошибок»,— да какое же человеческое дело может быть ведено без ошибок? — Люди не боги, чтобы требовать совершенства от них или их дел. Разумный человек довольствуется тем, когда видит, что работники усердны, добросовестны, прислушиваются к замечаниям, пользуются всяким советом, в котором есть здравый смысл. Вы находите, что работа ведется согласно с этими условиями; — чего же большего можно требовать? Не могу строго осуждать вас, если вы, по человеческой слабости, иногда сердитесь на работников,— как быть! — И вы человек, надобно снисходить к вашим человеческим слабостям; — но должен сказать: вы были бы несправедливы, если бы отказывали работникам в сочувствии, одобрении, содействии. Вы и не отказываете. Вы прав.

— А вы?

— Я? О себе я скажу: вы видите, какой жалкий характер у меня,— не хотел спорить с вами, а начал. Стало быть, лучше всего для меня будет: подальше от соблазна; за шапку, да и проститься.— Волгин встал.— Вы не можете не понимать, Болеслав Иваныч, что видеться с вами было бы наслаждением для меня. Но я рассудил, что должен отказать себе в нем, и пришел сюда только за тем, чтобы сказать это лично, чтобы вы не могли ошибиться в причине моего отказа, не приняли его за обиду, когда он происходит от моего высокого мнения о вас. По рассказам Зелинского, я очень уважал вас,— больше нежели вы можете полагать, потому что Зелинский не скрывал от меня ничего. Ничего.— Волгин остановился, чтобы обратить внимание Соколовского на важность этого слова, и увидел, что Соколовский понял, о чем он говорит.— Немногие способны ценить ваше благоразумие так высоко, как я. У меня такой характер, мнительный, заставляющий меня всегда желать отсрочек, ненавидеть риск. Вы один из очень редких людей, в которых энтузиазм соединяется со способностью сохранять хладнокровие в решительные минуты, отвага с силою не только удерживаться,— удерживать и других от безрассудств. Я глубоко уважал вас, когда шел сюда. Увидевши, полюбил: вы не только силен и рассудителен, вы кроток и чужд всякой эгоистической мысли. Вы святой человек. Нельзя не любить вас. Но тем тверже мое решение: нам не надобно видеться. Не для чего, потому что я не хочу помогать вашему проекту. Я не желаю, чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом. Никакое дело не требует, чтобы мы с вами виделись. Зачем же мы стали бы видеться? — Чтобы спорить об отвлеченных вопросах или о пустяках, называемых нашими общественными вопросами? — Не скажу, что я не охотник переливать из пустого в порожнее, и мне было бы приятнее болтать с вами, нежели с нашими либералами,— если бы это было так же безопасно. С ними я приятельствую беззаботно, потому что знаю: они всегда останутся прекрасными людьми, приятельство с ними никогда не может компрометировать. Вы — не то. Вы не останетесь прекрасным человеком.— Если бы вы ограничились хлопотами о вашем проекте, я не боялся бы, что вы сделаетесь дурным. Вопрос спе-

циальный и, правду сказать, мелкий. Никто не встревожится из-за него. Но вы будете ввязываться во все,— и не с такою глупостью и трусостью, как наши либералы. Поэтому считаю вредным для себя видеться с вами. Прощайте.

Он сильно пожал руку Соколовского и торопливо пошел из комнаты.— Соколовский оставался оглушен; потом бросился за ним:

— Я уверен в вашей любви ко мне и не могу обижаться вашим решением. Но оно кажется мне напрасным, дурным и очень печалит меня; — очень, хоть я и не думаю, что мы расстаемся надолго. Нет, не надолго: события идут быстро и скоро сведут нас,— так или иначе, сведут, наперекор вашей воле. До свиданья.

---

— Понравился тебе Соколовский? Пригласил ты его? — спросила Волгина мужа на другой день, поутру за чаем.

— Вчера, голубочка, ты не стала слушать, когда пришла напомнить мне, что пора идти к Нивельзину. А я хотел сказать тебе, как вздумал сделать. Не знаю, хорошо ли. Видишь, он человек энергический, самоотверженный; я и вздумал, что осторожность лучше всего, потому гораздо безопаснее не связываться с ним. Так и сказал ему. Впрочем, и не жалею много. Потому что, хоть он и не похож на нашу дрянь, но в таком же одурении, как они. Что́ за радость?

— Ты сам виноват, что я не стала слушать: зачем не начал говорить прямо о деле? — Я подумала, что ты хотел, по обыкновению, рассказывать пустяки.— Мне кажется, ты напрасно отказался от знакомства с ним. Быть осторожным — хорошо; но ты уже слишком боязлив.

Волгин задумался.— Слишком! — Я и сам себе говорил, голубочка: слишком. Ну, да все равно.— Он опять задумался. Но нет, голубочка: в сущности я доволен собою. Пока он в одурении, он не опасен. Но оно пройдет; тогда чего хорошего ждать от него?

— Именно то и не хорошо, мой друг, что ты слишком много думаешь о том, чего еще нет. Ты говоришь, он был бы опасен для тебя; а на самом деле, ты хуже его.

Муж опять задумался.— Это у меня очень глупая привычка говорить вздор и понапрасну тревожить тебя, голубочка.

— Я не очень тревожусь, мой друг. На первый раз твои фантазии расстроили меня. Теперь я давно рассудила, что не стоит много тревожиться тем, чего, быть может, вовсе и не будет.

— Положим, голубочка; но все-таки, согласись, очень глупо с моей стороны говорить тебе вздор; тем больше глупо, что я и сам думал в сущности вовсе не об этих пустяках. Скука была бы с этим Соколовским, вот главное. Хлопотун, не может не суетиться из-за всякой мелочи и стал бы надоедать: что за радость? — Он помолчал, и вдруг вскрикнул: — Удивительно! — и покачал головою: — Скажи ты, голубочка: как же можно было забыть, не попросить его, чтоб он справлялся об Илатонцевых,— то есть о Левицком? — Удивительно, голубочка! Пусть бы говорил Нивельзину.

— Согласна, мой друг: если бы вздумалось тебе попросить его, тут не было ничего глупого. Но зачем же было и просить? — Мы знаем все, что нам нужно, и если бы случилось что-нибудь новое, то Левицкий напишет тебе.

— Это правда, голубочка,— рассудил Волгин.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Действительно, Волгины знали теперь о Левицком все, что им было нужно. Они получили ответ на свое письмо к нему. Ответ был такой, какого и следовало ждать.

Волгин писал к Левицкому, что смеется над вздором, которого наговорил ему, и ругает себя за то, что выпустил его из Петербурга. Совершенно ли хороши его отношения к Илатонцевым? — Если совершенно, то невозможно ни просить, ни даже советовать, чтоб он бросил место, которое и очень выгодно и необременительно.— От управляющего петербургским домом Илатонцева слышно, что они проживут в деревне до нового года. Так ли? — Если так, Волгину очень жаль, но сам он виноват: зачем тогда, весною, не удержал Владимира Алексеича? — Волгина сделала приписку, в которой говорила, что много бранила мужа за Левицкого и желала

бы, чтоб Левицкий поссорился с Илатонцевыми. Тогда он скорее приехал бы в Петербург снять с Алексея Иваныча часть работы. Но не надеется, чтобы он мог поссориться с человеком, каким она считает Илатонцева по рассказам его дочери.

Левицкий отвечал, что приглашение Алексея Иваныча привело его в восторг, но что действительно он не может бросить Илатонцевых.— Он написал бы, как думает о Викторе Львовиче, но не может, потому что Надежда Викторовна хочет прочесть его письмо. Он в деревне ленится. Впрочем, не совсем. У него было написано кое-что. Он посылает. Будет присылать каждый месяц,— но вероятно, не помногу. Возвратившись в Петербург, он будет работать усерднее.— Знает ли Лидия Васильевна, что он видел ее? — Быть может, Алексей Иваныч забыл сказать ей это? — Возвратившись, он расскажет ей, какое впечатление на него произвела она. Это не будет похоже на то, что слышит она ото всех.— Илатонцева сделала приписку: она больше всех виновата в том, что они остаются в деревне до нового года. Если б ее воля, они остались бы в деревне и целый год, до следующей осени. Она оправдывает себя тем, что причины, по которым ее отец расположен долго оставаться в деревне, и важны и хороши.— Она очень часто говорит с Владимиром Алексеичем о Лидии Васильевне.

К письму Левицкого было приложено две статьи, довольно большие. Волгин сказал жене, что они снимают с него часть работы на две следующие книжки.

Это было за несколько дней перед тем, как Волгина предала Нивельзина в жертву Тенищевой и ее укротителю.— Какая же была надобность просить Соколовского, чтоб он следил за новостями об Илатонцевых и Левицком? Никакой. Потому Волгин и согласился с женою, что напрасно бранит себя, зачем забыл попросить. Иначе, конечно, не уступил бы так легко: он был неумолим в порицании своих ошибок и глупостей. Правда, это не мешало ему ежеминутно делать их; и вся его строгость к самому себе оставалась совершенно бесполезна. Но он не был снисходителен и к этому своему недостатку и с негодованием удивлялся тому, что, как ни бранит себя, нисколько не исправляется.

Волгиной было бы приятно, если бы Левицкий возвратился в Петербург поскорее. Но она была уже

приготовлена к тому, как он отвечал. Когда Нивельзин, ездивши к Тенищевой, узнал от швейцара Илатонцевых, что Виктор Львович останется в деревне до нового года, Волгина увидела, что нечего ждать и Левицкого раньше. По рассказам мужа о дружбе, которая была у Левицкого с Илатонцевым еще до отъезда в деревню, и по впечатлению, какое вынесла сама из разговора с дочерью Илатонцева, Волгина не могла не видеть, что положение Левицкого в доме Илатонцева не только выгодно в денежном отношении, но и вообще очень хорошо, совершенно свободно и, по всей вероятности, приятно.

В ответе Левицкого неожиданным для нее было только то очень приятное прибавление, что он прислал две статьи и будет присылать каждый месяц. Работа Волгина облегчалась через это, и Лидия Васильевна отчасти примирилась с отсрочкою времени, когда Левицкий приедет. Она считала очень возможным, что Илатонцевы,— стало быть, и Левицкий,— не приедут и к новому году: Илатонцева писала, что «если б ее воля», они прожили бы в деревне всю зиму и лето, до следующей осени. Отсрочивши по ее желанию отъезд из деревни на несколько месяцев, отец будет делать уступку за уступкою.— Пусть, лишь бы Левицкий и из деревни помогал мужу. А муж говорил, что он будет сильно помогать и оттуда: «Ты не смотри, голубочка, что он говорит: ленюсь и буду писать мало; — ленится он так же, как я, и пишет тоже сплеча, как я,— даже быстрее. Разница только та, что у меня от этого выходит вяло и плохо, а у него все-таки так хорошо, как ни у кого из наших самых заботливых писателей.— Будет присылать много».

При всей хитрости Волгина,— такой же замечательной, как его сообразительность, ловкость и многие другие достоинства,— для коротких знакомых его было нетрудно различать, когда он отделывается от правды своими необыкновенно замысловатыми выдумками, когда говорит правду. Тем легче различала это жена. Если он успел долго обманывать ее, скрывая, что сам лишил себя помощи Левицкого, это лишь потому, что невозможно было предполагать такой проделки. И это был едва ли не единственный случай, когда Волгина не заметила, правду ли говорит муж, или выдумывает.— Теперь она видела, что муж не выдумывает: Левицкий и в деревне будет писать много, будет сильно облегчать его работу. Волгина могла

довольно терпеливо ждать возвращения Левицкого в Петербург.

Но все-таки она была очень обрадована, когда, — недели через полторы или две после первого письма, Левицкий прислал второе, в котором говорил, что Илатонцев отказался от намерения оставаться в деревне до нового года: через несколько дней они едут в Петербург. — Илатонцева опять сделала приписку. Она говорила, что сама не знает, радуется ли она, или грустит, что они покидают деревню: в деревне она была так счастлива. — Ее приписка была длинна, гораздо длиннее самого письма. — Впрочем, и мудрено было бы сделать приписку, которая не была бы длиннее этого письма: оно состояло из двух с половиною строк. А первое письмо Левицкого заняло бы, на опытный глазомер Волгина, более четырех страниц журнального формата. Для глубокомысленного Волгина очевидно было: Левицкий написал теперь так коротко потому, что опасался проговориться.— При помощи своей сообразительности, от которой не могло ускользнуть ничто, Волгин сделал множество открытий на основании двух писем Левицкого и двух приписок Илатонцевой. По прекрасному своему правилу он не утаил этих открытий, а стал излагать их жене со всею необходимою для основательности подробностью. — Очень логично начинал свои соображения с несомненного существования дружбы между Левицким и Илатонцевою; присоединял к этому замечание, что из дружбы между молодым человеком и девушкою обыкновенно развивается любовь; после того принял во внимание, что у Илатонцевой ангельский характер, а ее отец — превосходный человек, очень любит дочь и чрезвычайно уважает Левицкого, — на этом жена остановила его тем, что зевнула и сказала: «Пойти посмотреть, что-то поделывает Володя, — спит или нет», — если б не это, Волгин, конечно, не затруднился бы предсказать, что когда у приготовляемых им к венчанью родится со временем дочь или сын, то Лидия Васильевна будет приглашена быть крестною матерью малютки.

---

Это было перед обедом. Вечером пришел Нивельзин и сказал, что сейчас заезжал к нему Соколовский с известием: на днях Илатонцевы будут в Петербурге. Сам он не хотел быть у Волгина, потому что должен уважать

чужое желание, хоть и не согласен с ним: и просит Нивельзина сообщить Волгину новость, интересную для него.

Нивельзин рассудил так же, как Лидия Васильевна и вслед за нею муж: не было никакой надобности поручать Соколовскому следить за новостями об Илатонцевых и Левицком, когда сам Левицкий стал писать Волгину. Но Соколовский не дожидался поручений, чтобы помнить о делах своих друзей,— все равно, хорошо ли, или дурно поступают с ним люди, которых он считал достойными своей дружбы. Он услышал от Нивельзина, что Волгин заинтересован приездом Левицкого. Этого было довольно ему. Он попросил управляющего домом Илатонцева присылать ему всякое новое известие из деревни.

— Совестно перед таким человеком, — справедливо заметил Нивельзину Волгин. — Я держал себя с ним очень пошло и глупо. А он вот как поступает со мною. Нехорошо с моей стороны, уверяю вас, Павел Михайлыч.

— Я думаю то же, — сказал Нивельзин засмеявшись: он еще не привык спокойно выдерживать уверений Волгина. — И если вы раскаиваетесь, это делает вам честь. — Кроме шуток, заезжайте к Соколовскому,— или, пожалуй, это и не нужно: когда вы соберетесь? — Я позову его к вам.

— Натурально, это не такой человек, чтобы стал считаться визитами, — заметил Волгин. — Но только вы не так поняли меня, Павел Михайлыч. Положим, я поступил относительно его очень дурно. Согласен. Но так следовало. И пусть останется так. И если сказать правду, то даже нисколько не дурно. Напротив: очень хорошо.

— И если правду сказать, то вам нисколько не совестно? — спросил Нивельзин, смеясь оригинальному способу рассуждать: «Согласен, что так, но если правду сказать, не так».

---

Недели через полторы или меньше, поутру в половине первого Волгин услышал звонок и пошел отворить дверь: Лидия Васильевна, уходя, сказала ему, что он остается дома один: она взяла коляску и едет кататься с Володею; берет для Володи и Наташу, а Авдотья будет, по обыкновению, уходить между дела к служанкам в соседние квартиры. — Волгин вспомнил, что кухарка, точно, имеет эту привычку. То, что кухарку зовут Авдотьею, он помнил.

Вошел пожилой мужчина, хорошо одетый. Волгин попросил его в зал и пригласил сесть. Пожилой мужчина пошел в зал, но не сел, а сказал, что он камердинер Виктора Львовича Илатонцева; Виктор Львович сейчас приехал, приказал кланяться и спросить: не у господина ли Волгина остановился Владимир Алексеевич Левицкий.

— Что такое? Да разве он уже в Петербурге? Разве он ехал не вместе с Виктором Львовичем?

— Точно так, не вместе. Владимир Алексеич выехал из деревни двумя днями раньше Виктора Львовича. Виктор Львович полагал найти его у себя. Но его нет у них в доме. Виктор Львович подумал, может быть, он не захотел поселиться там до их приезда и, может быть, остановился у господина Волгина.— Но, как Владимира Алексеича нет здесь, то, должно быть, он еще не приехал в Петербург,— прибавил свою догадку камердинер.— Может быть, не остановился ли погостить в Москве или где на дороге, у каких-нибудь знакомых.— Камердинер поклонился и ушел.

Его догадка показалась очень правдоподобна Волгину, знавшему, что один из двух товарищей, с которыми остался хорош Левицкий, занял место учителя гимназии в Новгороде. Вероятно, именно с тою целью, чтобы погостить у него, Левицкий и уехал из деревни раньше Илатонцевых.

По всей вероятности, так. Но так ли? — Илатонцев думал, что он уже в Петербурге. Или он говорил, что прогостит лишь один день, и зажился у товарища дольше уговора? — Или догадка камердинера об остановке на дороге неудачна? — Волгину пришло в ум несколько других догадок; но и те не клеились с фактами. Волгин рассудил, что бесполезно упражняться в пустых предположениях; надобно будет пойти к Нивельзину — и попросить съездить к Илатонцеву, — или пусть он попросит Соколовского съездить к Илатонцеву и спросить, в чем дело. Илатонцев должен знать, или по крайней мере имеет больше данных, чтобы разгадать. — Когда Волгин был в своем кабинете и один, он вообще не был лишен здравого смысла.

Дождавшись, когда кухарка пришла взглянуть, что́ делается с кушаньем на плите, Волгин сказал, чтобы она не уходила, потому что он уходит, и пошел к Нивельзину. Нивельзин жил на прежней своей квартире, очень

близко. Его не было дома. Волгин оставил записку, что зайдет к нему часов в восемь.

Но раньше того сам получил записку от него: «Соколовский у меня; приехал рассказать о Левицком. Ждем вас».

---

Тот самый камердинер, который в первом часу был у Волгина, в четвертом приехал в карете к Соколовскому и привез приглашение от Виктора Львовича кушать. Илатонцев писал, что слышал от управляющего домом, что Соколовский очень интересуется Левицким, так же как Нивельзин и Волгин. — С ними Илатонцев еще незнаком; но Соколовскому его дом уже не чужой, и Соколовский извинит его бесцеремонность. Он устал после дороги, не хочет ныне выезжать из дому. Он сообщит Соколовскому то, что узнал о Левицком, поехавшем в Петербург раньше его, — и скрывшемся из виду по приезде.

Соколовский не был так непрактичен, как Волгин. Он усадил камердинера, стал говорить с ним. Одевшись ехать, посадил его с собою в карету и опять говорил всю дорогу. — Все догадки, приходившие на мысль Волгину, поочередно представлялись и Соколовскому. — На все он нашел ответы в рассказах камердинера.

Первое, что вздумалось Соколовскому, было: почему Левицкий уехал из деревни один и не дождавшись Илатонцевых только два дня? — Не было ли ссоры? Соколовский стал делать вопросы издалека и очень осторожно. Но камердинер был человек неглупый, скоро заметил, к чему ведется разговор. Не сделал намека, что понял, но прямо стал сам заговаривать о том, до чего еще и не касался Соколовский, — об отношениях между Илатонцевыми и Левицким, об отъезде Левицкого раньше их. — Соколовскому оставалось только направлять его словоохотливость по ходу своих предположений: камердинер не боялся говорить ни о чем, что́ любопытно было Соколовскому.

Отношения между Илатонцевыми и Левицким были дружеские, за несколько часов до отъезда Левицкого они говорили о том, как они разместятся в экипажах. Пятерым сидеть в одной карете нельзя: они считали пятерых, потому что Надежда Викторовна никак не соглашалась, чтобы ее горничная, — она зовет ее Мери, — «Эта горничная племянница моя», — заметил камердинер, — что-

бы Мери ехала в тарантасе с дядею: в тарантасе будет навалено столько вещей, что и одному Ивану Антоновичу будет неловко. Мери измучилась бы. Надежда Викторовна очень любит Мери. — Было решено: в одной карете поедут она, отец, Владимир Алексеич; в другой Мери с Юринькою, — и пусть Иван Антоныч сядет с ними. Это говорилось во время завтрака. После Владимир Алексеич ушел в свою комнату, и был там один, лежал и читал, — может быть, и писал: этого Иван Антоныч не знает, писал ли он, но что он лежал и читал, это Иван Антоныч видел — и совершенно знает, что Владимир Алексеич все время от завтрака до обеда был один, в своей комнате, и никто не входил к нему: мимо Ивана Антоныча нельзя было пройти к нему в комнату. А Иван Антоныч заглядывал в нее, потому что топилась печь, — в деревне они жили просто, Иван Антоныч сам делал все прислуги и Виктору Львовичу и Владимиру Алексеичу. Оба люди без капризов, можно было успеть, и нетрудно.— Входя в комнату Владимира Алексеича присмотреть за печью, Иван Антоныч видел, что он лежит и читает. — Иван Антоныч позвал его к обеду. За обедом все говорили как обыкновенно, — и Виктор Львович, и Надежда Викторовна, и Владимир Алексеич, — все были веселы, в особенности Надежда Викторовна; и Владимир Алексеич тоже. Но вот, во время обеда, приехал мужик, который ездил в город за почтою, — привез газеты, письма. Одно было к Владимиру Алексеичу. Он тут же распечатал, прочел, сделался как будто и недоволен и доволен, все вместе, и сказал: «Виктор Львович, я не буду ждать вас: уеду ныне же, — я попрошу вас приказать приготовить лошадей». — Как? Что? — Он говорит: «По этому письму; нельзя». — Что в письме? — Стали говорить о письме. Сколько мог понять Иван Антоныч, письмо было от какого-то ученого, — тогда он не расслушал хорошенько фамилию, но теперь, когда его посылали к Волгину, думает: тогда говорили эту самую фамилию. Да вот, не знает ли господин Соколовский: женат он? Знакома его жена с Надеждою Викторовною? — Надежда Викторовна, провожая Владимира Алексеича, говорила ему кланяться от нее его жене...

— Так,— предупредил Волгин вопрос Соколовского,— от него ли было это письмо: — Так; я имел неосторожность выразиться, что измучен работою, как собака, — ну, и многое в этом стиле. Я красноречив. — Так вот что! —

Это письмо и взбаламутило его! — Эх, дурак я, дурак! — Волгин покачал головою в порицание своему неуместному красноречию.

Никакого письма, кроме одного, Волгин не отправлял к Левицкому. А то было получено Левицким гораздо раньше,— и даже ответ Левицкого был получен Волгиным раньше того времени, когда мог быть отъезд Левицкого из деревни. — Для Волгина было слишком ясно, что Левицкий воспользовался своими отношениями к нему для замаскирования истинной причины своего отъезда. Но он видел, что Соколовский расположен верить, будто его письмо произвело отъезд; — Соколовский уже виделся с Илатонцевыми, и если верить, то, вероятно, и они говорили ему то же, что камердинер. Положение, в которое ставился этим Волгин, обрисовывалось так ясно, что при всей своей несообразительности и ненаходчивости он понял, какую роль должен играть в поддержку Левицкого. — Вот дурак-то я! — повторил он. — Эко, наделал тревоги Левицкому! — И черт меня дернул пускаться в красноречие! — Ну, продолжайте, Болеслав Иваныч...

— Виктор Львович очень жалел, что Владимир Алексеич не может подождать, чтобы ехать вместе, — возобновил Соколовский свое пересказывание рассказа камердинера Илатонцева. — Надежда Викторовна жалела еще больше. Не могла не жалеть: она была очень, очень дружна с ним. Редко даже и можно видеть такое расположение, какое было у нее к нему. Когда прощались, то даже заплакала: «Только на несколько дней расстаемся с вами, Владимир Алексеич, — а так жаль мне!» — Отец посмеивался над нею, — да и сама она смеялась над своими слезами, — а все же не могла удержать их. — И правда, замечал об этом камердинер. — Кто не видел бы их дружбы, так мог бы осудить эту жалость. Но он не может осудить, потому что девушка редко может найти себе такого друга.

Письмо от ученого из Петербурга достаточно объясняло торопливый отъезд Левицкого теперь, когда Соколовский услышал от самого этого ученого, как сильны были выражения, которыми петербургский друг убеждал Левицкого спешить. Но тогда, при разговоре с Иваном Антонычем, Соколовский полагал, что два дня не составляли такой разницы, чтобы Левицкий не захотел подо-

ждать. Не было ли письмо только предлогом, чтобы уехать? — думалось ему.

— Едва ли, — заметил Волгин, — сделал вид, что раздумывает, и решительно сказал: — Нет.

Теперь Соколовский был согласен, что оно не было только предлогом, — разговор с самими Илатонцевыми убедил его. Решимость не дожидаться их была гораздо естественнее, нежели показалось по словам камердинера, из которых выходило только два дня разницы. Илатонцев сказал, что хотел довольно надолго остановиться в Москве. Натурально, что Левицкий почел нужным избежать такой неопределенной проволочки.

— Натурально, — подтвердил Волгин.

Так; но тогда, разговаривая с Иваном Антонычем, Соколовский еще не думал так. Ему представлялось: не было ли письмо только предлогом, чтоб удалиться от каких-нибудь неприятных отношений. Эта мысль очень сходилась с тем, что Левицкий теперь пропал из виду у Илатонцевых...

— Ну, а с какой же стати не показался бы он ко мне? — вставил Волгин. — Если хотел скрыться от них, то что же скрываться от меня-то? — Дело ясное: просто, задержало что-нибудь на дороге.

Так думают Илатонцевы; так думает теперь и сам Соколовский. Но пусть же Волгин не мешает ему рассказывать. — Тогда, при разговоре с Иваном Антонычем, он еще держался другого предположения: быть может, Левицкий хотел разорвать свои связи с домом Илатонцевых? — Он стал подробнее расспрашивать, как шла жизнь Левицкого в деревне, и убедился, что Левицкий не мог ни тяготиться обязанностями гувернерства, — они были очень легки, — ни обременяться своими отношениями к самому Илатонцеву: — они были приятны и свободны; — не могло быть и того, что он влюбился в дочь Илатонцева и хотел удалиться от нее, считая свою любовь безрассудною...

— Само собою, ничего такого не было, — вставил Волгин: — Во-первых, вообще, что за поэтический взгляд на жизнь предполагать такой мотив? — А во-вторых, будь у него к ней какие-нибудь не совершенно хладнокровные чувства, разве стал бы камердинер так расписывать их дружбу? — Человек неглупый, сам вы говорите. Если сплетник, то сделал бы намеки. А он не делал. Значит,

если не боялся говорить о их дружбе, то слишком был убежден, не было никаких щекотливых отношений, и надеялся, вы сами убедитесь в этом, когда посмотрите на Илатонцеву и поговорите с нею. — Волгин не всегда умел найтись, в каком вкусе ему надобно говорить, но, попавши в роль, он не затруднялся приискивать аргументы, какие нужны для нее.

— Совершенная правда, — согласился Соколовский,— но тогда это очень тонкое и верное соображение не пришло в голову ему. Его догадка была разрушена фактом менее идеальным, нежели вера в такт и скромность камердинера. Рассказывая о жизни Левицкого в деревне, Иван Антоныч стал распространяться о том, как Левицкий любил его и он любил Левицкого, и дошел до того, что привел в доказательство своей привязанности к Левицкому дело, в котором из расположения к Левицкому принимал грех на душу, делался виноват перед самим барином, рисковал со стыдом потерять место. Иван Антоныч рассказывал это таким образом, непритворно совестясь за себя: — «Ну, известно, молодой человек, не праведник; не по моим бы летам и слушать это, и в особенности от такой, можно сказать, девушки, с которою и говорить-то мне было бы нехорошо. Но как быть? — Он к ней привязался; с ее стороны, вижу, такая любовь к нему, какой от нее и ждать нельзя бы, кажется. Ну, и потворствовал ей: в дом пускал ее. Прошу вашего извинения, что говорил об этом; да и мне самому, в мои лета, неприличен такой разговор. Но, говорю, значит, умел же привязать меня к себе Владимир Алексеич, когда я брал такой стыд себе на душу и вводил себя в опасность». — Итак, Левицкий имел любовницу, — дружба с Илатонцевою была просто дружбою. Волгин согласился, что этот факт еще лучше его собственных соображений доказывает совершенную ничтожность Илатонцевой для Левицкого.

Таким образом, еще раньше, нежели приехал к Илатонцевым, Соколовский был уже почти убежден, что у Левицкого не было никаких причин расходиться с ними; что если поспешность его отъезда и кажется странною, то все-таки не следует искать для нее других мотивов, кроме слишком горячего желания поскорее снять с Волгина часть обременительной работы; что если и остается загадочным, почему Илатонцевы не нашли его в своем доме,

то нечего много думать об этом: вероятнее всего, что-нибудь задержало его на дороге. — Приехавши к Илатонцевым, всмотревшись в Виктора Львовича и Надежду Викторовну, поговоривши с ними, он совершенно убедился, что не о чем думать. Волгин знает, какое благородное, кроткое, искреннее существо Надежда Викторовна. Невозможно, чтобы сорокапятилетний мужчина имел простодушие и чистоту молоденькой девушки. Но, сколько допускается разницею лет, Илатонцев походит характером на дочь. Это человек честный, добрый, деликатный. — Невозможно сомневаться в искренности его разговора о Левицком. А кто стал бы сомневаться в искренности его дочери, заслуживал бы презрения. Оба они говорят о Левицком с самым теплым расположением. Оба не видят ничего особенно тревожного в том, что Левицкого до сих пор нет; оба уверены, что скоро он явится к ним или напишет, где он и что его задержало. — Илатонцев просил передать это Волгину и успокоить его.

— Вы можете сказать им, как покорно приводил я себя в спокойствие,— отвечал Волгин, зевнув.— Слушал все ваши бесчисленные подробности, хоть мне и не было надобности в них, чтобы считать Илатонцевых не способными сделать и малейшую неприятность порядочному человеку. Я и без вас знал их обоих за людей очень благородных, деликатных, симпатичных. — Понимаю их желание уничтожить во мне всякое предположение, что Левицкий мог быть недоволен ими. Учтивость обязывала меня выслушать все, что вы хотите сказать в удовлетворение вашему естественному желанию разрушить во мне всякие невыгодные для них мысли. Но поверьте, что это было напрасным опасением со стороны Илатонцева, напрасным трудом с вашей, напрасною терпеливостью с моей.

— Я надеялся, что вы не будете подозревать никакой неприятности между ними и Левицким, — сказал Соколовский. — Но успел ли я успокоить и ваши опасения за Левицкого?

— Помилуйте, чего же мне было тревожиться? — И не думал, могу вас уверить. — Говоря серьезно, могла бы быть одна тревога: не арестован ли он? — Но теперь времена тихие, не слышно ни о чем подобном. А главное, Илатонцев занимает такое положение в обществе, что

не могли бы не уведомить его, если бы арестовали гувернера его сына. С Илатонцевым никто не может быть забывчив. — Надобно признаться, это опасение мелькнуло у меня в голове, — но в ту же секунду и вылетело. Слишком нелепо.

Действительно, тогда были такие времена, что подобные мысли могли представиться только чрезвычайно трусливому человеку, каков был Волгин, да и тот не мог ни на минуту продержать в голове такой вздор.

— Вы совершенно спокоен? — сказал Соколовский.

Волгин флегматически повторил, что и не думал беспокоиться; несколько живее прибавил, что ему, впрочем, очень понравилась заботливость Илатонцева рассеять все недоумения; потом совершенно одушевился, начавши благодарить Соколовского и бранить себя. Он говорил, что совестится, что просит Соколовского забыть его глупый отказ и быть знакому с ним. — Но Соколовский понимал его боязнь очень серьезно и отвечал, что не находит ее ни трусостью, ни капризом, как уверяет теперь Волгин. Когда потребует общая польза, нечего думать о себе; но пока обязанность гражданина не велит пренебрегать риском, надобно избегать всякого риска, и самого ничтожного. Волгин полагал, что может быть компрометирован дружбою с ним; не его дело судить, почему так полагал Волгин; полагал, этого довольно. Без надобности он не будет видеться с Волгиным.

— Вот это я называю: человек, — сказал Волгин, обращаясь к Нивельзину, и не продолжал настаивать.

— Вы любите смеяться над всеми; я немного заражаюсь от вас дурными привычками. Оба вы с Соколовским несколько забавны, — сказал Нивельзин.

— Против этого я не спорю, — отвечал Волгин, погрузился в размышление и, при своей способности к быстрым соображениям обдумавши вопрос со всех сторон в течение нескольких секунд, повторил решительно: — Не спорю, мы с Болеславом Иванычем забавны; почему? — Потому что оба ждем бури в болоте; болото всегда спокойно; буря может быть повсюду кругом, оно всегда спокойно. — Он опять погрузился в размышление, встал, взял фуражку, вяло поблагодарил Соколовского еще раз и ушел, извинившись тем, что не имеет времени посидеть и поболтать, хоть это было бы очень приятно ему.

— Полноте, боитесь компрометировать себя политическими разговорами с таким опасным человеком, как Соколовский, — сказал, смеясь, Нивельзин.

Но, лгавши во всем, что говорил на этом свиданье, Волгин не солгал, объясняя, почему не остается дольше. Действительно, он спешил послать депешу в Новгород.

Он мог успокоиться предположением о поездке Левицкого в Новгород, когда не знал, как уехал он от Илатонцевых. Но теперь было ясно, что Левицкий просто хотел вырваться от Илатонцевых. Волгин не сомневался и в том, что Левицкий поехал прямо в Петербург, безо всяких остановок. Предлог отъезда налагал на него эту необходимость.

Он приехал в Петербург,— был убежден Волгин.— Почему же он до сих пор не был у меня? — Он должен был, как приехал, спешить ко мне. — Волгин был теперь сильно встревожен.

Как услышал он от Соколовского о своем небывалом втором письме с настоятельным вызовом, он хотел уйти, не слушая ничего дальше. Но он успел рассудить, что это значило бы только обнаружить свое беспокойство и возбудить в Соколовском подозрения безо всякой пользы: вечер неудобное время для справок. — Одно, что возможно до утра: послать депешу в Новгород, — и то почти только для того, чтобы отнять у себя последнюю возможность сомневаться, в Петербурге ли Левицкий.

Возвратившись домой, он услышал, что жена уехала с Мироновым на вечер. Он сел работать, но не мог. Лег читать. Это помогло. Он скоро уснул.

---

— Будешь помнить и сумеешь приготовить хорошо? — говорила Волгина следующим утром кухарке, выходя в ее сопровождении из кухни в столовую, где кипел самовар.— Наташа, позови Алексея Иваныча,— разве не видишь, я еще не договорила с Авдотьею, не пойду звать сама? — Наташа, с ребяческим усердием занимавшаяся осуществлением фантазии расставить чайные принадлежности вокруг самовара правильною звездою с пятью лучами, неохотно оторвалась от своей полезной заботы и пошла самым тихим шагом: так велико было ее неудовольствие. — Волгина продолжала говорить с кухаркою об обеде.

Наташа, вышедшая из столовой с достоинством, какого требовала досада, вбежала назад разинув рот, хлопая глазами и размахивая руками от изумления: — Алексея Иваныча нет, Лидия Васильевна! И сюртука нет, и в передней теплого пальто нет, и калош алексей-ивановичевых нет!

— Неужто еще не приехал? — начала вторить ей кухарка по первому же ее слову. — С восьми-то часов уже часа полтора будет; а сказал: «Скоро вернусь!» — А ты не умела сказать как следует: «Видно, ушли куда-нибудь, потому что пальто и калош их нет», — обратилась она с назиданием к Наташе: — Так надо сказать; а ты: «Алексея Иваныча нет, и сюртука нет», точно кто украл Алексея Иваныча вместе с сюртуком! Можно ли так говорить? Ты должна слушать и понимать, как говорят, и сама стараться...

— Где ж Алексей Иваныч? После доучишь ее, как надобно уметь говорить.

— Ушли и чаю ждать не захотели; я говорила: в пять минут поставлю самовар,— не стали ждать.— «Я, говорит, скоро приеду»,— да вот тебе и скоро! — А я думала, они уж дома, Наташа впустила.

— Ты тоже умеешь говорить. Куда он уехал? — Зачем? — Верно, он говорил, чтобы ты сказала мне.

— Как же, сказали. — «Справляться», говорит. — А я думала, они уже давно дома.

— Справляться, — только сказал он? Не сказал, о чем, о ком?

— Искать кого-то, сказывали они, да я не умею выговорить фимилию-то: не русская какая-то, должно быть. Ну они говорили того, о котором вчера разговаривали с вами; — лакей-то приходил, они сказывали.

— Левицкого? — Это не русская фамилия!

— Так, так, Левицкого! — повторила кухарка в восхищении от своей памятливости.

— Что ж, он узнал о Левицком что-нибудь новое? — Где искать, почему искать?

— Не знаю, Лидия Васильевна.

— Да как же он проснулся так рано? — Приходил кто-нибудь, разбудил его?

— Приходил, почтальон, только не настоящий почтальон, а совсем особый, и принес письмо, только тоже не настоящее, а особое, и велел разбудить. Я не хотела.

А он: буди. — А я: впервой ли нам получать письмо? Никогда не будила; проснется, прочитает. — А он: наши письма не такие, по нашим письмам все велят будить себя. Буди. — Да еще что, Лидия Васильевна? — Ругать меня стал, дурою назвал, ей-богу! — А я ему...

— Алексей Иваныч не говорил, с собою взял эту депешу или оставляет мне?

— На столе на своем оставил, — скажи, говорит, Лидии Васильевне, что оставляю на столе.

— Эх, ты! — А еще меня учила говорить! — с торжеством заметила Наташа.

Волгина нашла на столе мужа телеграмму: «Левицкий не был в Новгороде. Уезжая из деревни, писал мне: спешит к вам».

---

Волгин возвратился домой уже в третьем часу и еще из передней начал: — Голубочка, где ты? Будешь бранить меня, голубочка, за то, что я уехал, не напившись чаю: но я уверяю...

— У Лидии Васильевны кто-то есть, Алексей Иваныч, — перервала Наташа. — Дама какая-то, белая, молодая,— та самая, может быть помните, которая была весною и опять приезжала, как мы воротились с дачи.

— Савелова? — спросил Волгин, укрощая свое громогласие.

— Так, она, — подтвердила Наташа. — Волгин пробрался в кабинет потише и поосторожнее, чтобы не попасться в надобность отличаться своими светскими талантами.

---

Он прислушивался, как будет уходить Савелова, и лишь только Лидия Васильевна проводила ее, он встал и пошел к жене, еще в кабинете начавши по-прежнему: — Голубочка, ты будешь бранить меня; а пожалуйста, не брани, потому что, уверяю тебя, я заезжал по дороге в кондитерскую, и напился чаю, и даже закусывал, и уверяю тебя, вовсе не голоден.— Видишь ли, голубочка: из разговора с Соколовским я увидел, что Левицкий...

— Знаю, мой друг. Если ты получил ответ из Новгорода, то, понятно, ты посылал туда депешу, — значит,

был встревожен за Левицкого. И нельзя было не понять, что ты встревожился тем, что услышал от Соколовского. Я посылала за Нивельзиным и знаю все.

— Посылала, голубочка? Значит, теперь и Нивельзин понимает, что дело было не в том, как поверили Илатонцевы, да и Соколовский, да и он тоже... Э, что ж я! — перебил он сам себя с досадою. — Натурально, важность только в том, чтобы не усомнились Илатонцевы, — а от Нивельзина чего таить? — Нечего, разумеется.

— Конечно, так, мой друг. — Что же ты узнал?

— Ничего, разумеется. Был в адресном столе, там нет ничего. И натурально, — тут же размыслил Волгин. — Не стоило и справляться в адресном столе: сведения не получаются там так скоро, в несколько дней, — разве через две, три недели дойдет туда. — Поэтому Волгин был у обер-полицмейстера, был у всех полицмейстеров, — просил всех приказать справиться поскорее; — все они при нем и отдали приказание, потому что все видели: действительно, его предположение слишком правдоподобно: Левицкий, вероятно, тяжело болен, так, что не мог и известить Волгина. Ничем другим нельзя объяснить, что он не уведомил о себе человека, на вызов которого так спешил.— Все приняли самое доброе, самое живое участие.

— И что же, мой друг: ты думаешь, это самое лучшее и скорое средство узнать, где Левицкий, что́ с ним?

Волгин с ожесточением мотнул головою: — Само собою, нет, голубочка. Кому же из полицейских будет охота слишком усердно хлопотать по обыкновенному приказанию начальства? — Известно, как исполняются официальные поручения: лишь бы отделаться, лишь бы дать какой-нибудь ответ. Натурально, следовало начать вовсе не с того, как я,— это самое последнее. Вот давай-ко поскорее обедать, да и отпусти меня: поеду к мелким чиновникам, — обещаю сто рублей за известие. Тогда справятся как следует.

— Я очень довольна, мой друг, что ты так думаешь. Значит, Нивельзин не ошибся: он уехал с тем, чтоб именно так и сделать, как ты говоришь. Кроме того, и сам будет искать. — Мы с ним также подумали, что, вероятно, Левицкий приехал больной и не мог не только ехать к тебе, даже и написать.

— Удивительно, голубочка, почему я всегда только уже после увижу, как надобно сделать, а начну непременно не так! — с ожесточением сказал Волгин. — Это удивительно, голубочка, уверяю тебя! — Почему же Нивельзин с первого раза увидел, как следует сделать?

— Мой друг, я тысячу раз говорила тебе: ты вовсе не живешь с людьми, — как же тебе уметь жить в свете, уметь приниматься за дела?

— Нет, голубочка: это уже врожденная глупость, уверяю тебя, — с негодованием возразил Волгин и ужасно мотнул головою. — В другое время он стал бы доказывать это очень подробно и основательно, по своему обыкновению. Но теперь ему было не до того, чтобы заниматься разъяснением своих удивительных врожденных умных свойств: он был слишком серьезно встревожен за Левицкого; — поэтому замолчал.

— Я не думала, чтобы ты мог любить кого-нибудь, — сказала жена.

— И я сам то же думал, голубочка. — Все дурачье, только смех и горе с ними. Все дурачье, — ты не поверишь, голубочка, что такое все эти умные люди, — о, какие слепые дураки! — Жалкое общество, какие у него руководители! Бедный народ, чего ждать ему от такого общества с такими руководителями!

Он вытащил платок и начал с ожесточением сморкаться. — Голубочка, пожалуйста, ты не говори Нивельзину, что я хуже всякой бабы, — заметил он, кончивши свое занятие платком, и непринужденно захохотал; — потом покачал головою и сказал: — Это очень глупо, голубочка, уверяю тебя: потому что, согласись, какая мне надобность? — Никакой. Но вот глупая слабость: расчувствовался, как самая старая баба, — и всегда так расчувствуюсь. Удивительно. — Да, — продолжал он, углубляясь в размышление. — В том и штука, что Левицкий незаменимый человек. Полезный человек.

— Пока у тебя еще нет никакой причины слишком тревожиться за него, мой друг, — заметила жена. — То, что он болен, и довольно серьезно, это очень вероятно. Но только. А ты уж и оплакал его: ты слишком мнителен. — Пойдем, взгляни на Володю, поиграй с ним: ты огорчаешь меня тем, что совершенно не занимаешься им.

— А, погоди, голубочка: подрастет, будешь, пожалуй, говорить, что и слишком много занимаюсь с ним, когда

стану набивать ему голову всею этою чепухою, которую называют ученостью; — пойдем, пожалуй, посмотрю, какой он милый, по твоему мнению, — но уверяю тебя, голубочка, что и теперь можно видеть, что будет тоже молодец вроде меня. Вперед восхищаюсь его ловкостью.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

После того, как ушла тайком из квартиры Волгиных, Савелова должна была стыдиться взглянуть на Лидию Васильевну: будучи глубоким знатоком человеческого сердца, Волгин не сомневался в этом и, конечно, не мог оставить жену в незнании насчет своего блистательного соображения: «Уверяю тебя, голубочка, она не покажет носу к тебе», — предрек он жене. Предсказание, делавшее такую честь его необыкновенной проницательности, оправдывалось. Ни до переезда на дачу, ни во все продолжение дачного сезона Савелова не была у Волгиной.

Тем справедливее удивился глубокомысленный прорицатель, вскоре по переселении в город услышав от жены, что ныне поутру приезжала к ней Савелова. По свойственной его уму быстроте в делании самых трудных соображений, Волгин мгновенно постиг тайну такого мудреного случая и стал уверять жену, что непременно у Савеловой была какая-нибудь особенная, большая надобность, — без того она не поехала бы. Жена сказала, что из разговора Савеловой не было видно, чтобы она хотела посоветоваться или попросить о чем-нибудь.

— Ну, а все-таки, по твоему мнению, голубочка? — спросил муж, любивший глубокие соображения.

— Какая же надобность мне иметь какое-нибудь мнение? — заметила жена. — Она хотела вести пустой разговор, я была очень рада, что нет ни обниманий, ни слез.

— Знаешь ли, голубочка? — Она приезжала поговорить о Нивельзине, — спросить, не имеешь ли каких-нибудь известий о нем, — уверяю тебя, голубочка, потому что, уверяю тебя, она и теперь сохраняет некоторое расположение к нему. Она, бедняжка, только не решилась спросить о нем. А поверь, так.

Жена сказала, что она сама подумала так и, не дожидаясь вопроса, тяжелого для Савеловой, рассказала

все, что знает о Нивельзине, — он в то время еще не возвратился из-за границы. Савелова слушала с интересом, и призналась в этом, и благодарила за рассказ, и потом продолжала прежний разговор.

Мгновенно углубившись в небольшое размышление, муж объявил, что когда так, то нет: Савелова приезжала не за этим. Если б за этим, то после и не было бы никакого другого разговора. Видно, она вспоминает о Нивельзине мило и нежно; и крестится обеими руками от радости, что не заставили ее уехать с этим человеком, о котором так приятно плакать.

---

Волгина очень желала бы не отдать визита Савеловой. И не отдала бы, если б этим нарушились только правила этикета. Но Савелова увидела бы в этом не простое пренебрежение условных обычаев, а презрение к своему характеру, — была бы слишком жестоко поражена. Волгина пожалела ее. Сделала принуждение себе и поехала отдать ей визит. Но с тем, чтоб не пришлось повторять его. Этого можно было достичь, не обижая женщину, более жалкую, нежели дурную. Волгина хотела мягко, но решительно сказать, что не может наряжаться так богато, как аристократки, с которыми она встречалась бы у Савеловой, что они стали бы смотреть свысока на нее, что из этого происходили бы неприятные столкновения.

Волгина и сказала это. Но, чтобы найти минуту сказать, должна была просидеть у Савеловой гораздо дольше, нежели хотела. Она застала Савелову не одну. Довольно пожилой мужчина в пальто, совершенно по-домашнему расположившись в больших и низеньких мягких креслах, не подходивших к остальной мебели и очевидно принесенных в гостиную нарочно для него, пил кофе, читал газету и курил, — все вместе. Савелова на диване подле него вышивала угол полотняного платка. Картина походила на семейную, и Волгина подумала, что мужчина — какой-нибудь родственник хозяйки или хозяина, приехавщий в Петербург погостить. Но Савелова отрекомендовала его как «Петра Степаныча, о котором она так много говорила»; и как села, Волгина должна была высказать свое мнение об узоре платка: оказалось, что платок вышивается для Петра Степаныча. Действительно, Савелова очень много толковала о Петре Степаныче,

бывши с визитом у Волгиной, — почти все только о нем и толковала. Кто такой Петр Степаныч, Савелова не объясняла: вероятно, по ее мнению, все в Петербурге или в целой России должны были знать, кто Петр Степаныч; Волгина не знала и не полюбопытствовала спросить; но скоро увидела из ее слов, что Петр Степаныч — какой-то чрезвычайно высокий сановник, по всей вероятности начальник Савелова. Дальше оказывалось, что он совершенно одинокий человек, старый холостяк. — Савелова не могла досыта наговориться о своей дружбе с Петром Степанычем и приплетала ее ко всему — о чем болтала. Она сваливала на Петра Степаныча даже и то, что не была у Волгиной во время дачного сезона: нельзя было вырваться от Петра Степаныча, чтоб съездить из Ораниенбаума в Петербург и заехать к Волгиной на Петровский. Поверит ли Волгина? Она во все лето ни разу не была в Петербурге. Они жили в Ораниенбауме потому, что там жил Петр Степаныч: ее муж должен каждый день работать с Петром Степанычем. Она и прежде была очень хороша с Петром Степанычем; но в Ораниенбауме они подружились так, что он решительно не мог жить без нее: все вместе, все вместе; — и теперь он беспрестанно у нее: каждый день, сидит утро или сидит вечер. Это было бы утомительно, если бы Петр Степаныч не был такой милый человек и если бы она не любила его. Но она очень любит Петра Степаныча; потому нисколько не обременяется.

Тут было страшно много хвастовства; еще больше аффектации. Но Волгиной казалось, что есть и кое-что похожее на искреннее расположение к Петру Степанычу. О том, что тут нет ничего, похожего на волокитство со стороны Петра Степаныча, нечего было и сомневаться.

Петр Степаныч бросил газету и оказался очень разговорчивым собеседником. Анекдоты его были милы; шутки не пошлы; серьезные слова не глупы. Вся манера его держать себя была совершенно без претензий. Лицо его было еще красиво; волоса еще довольно густы и без седин. Но он не забывал свои сорок с лишком — быть может, и пятьдесят лет. Зато совершенно не считал нужным помнить, что он очень высокий сановник. Очевидно, он любил Савелову как родную и верил, что она любит его совершенно бескорыстно. Эта уверенность была отчасти слишком наивна. Впрочем, ошибка его не была неиз-

винительна. Если Савелова и начала ухаживать за ним исключительно по служебным надобностям мужа, то теперь имела до некоторой степени и душевную привязанность к нему. Действительно, он был так искренен с нею, что нельзя было ей не начать хоть немножко платить ему тем же. Вообще он очень понравился Волгиной: показался человеком добрым, честным; — не орлом по уму, но далеко не дураком.

Через полчаса или больше пришел в гостиную Савелов с бумагами в руках. Как видно, он не знал, что у его жены сидит Волгина; быть может, не знал, что его жена и знакома с нею. — Волгиной было довольно забавно подметить, как ловко и быстро он согнал со своего лица удивление и устроил мину, прекрасно показавшую, что он не имеет удовольствия знать — кто гостья, но что вид неизвестной дамы произвел на него самое выгодное для нее впечатление. А когда жена представила его Волгиной, он сделался непритворно мил и, без особенных церемоний извинившись перед Петром Степанычем, что заставит его несколько подождать разговора о делах, сел к Волгиной и довольно долго говорил с нею, главным образом о своем уважении к ее супругу. Волгина засмеялась и благодарила его за любезность. Но он очень серьезно отвечал, что она ошибается: он говорит о ее супруге то, что́ чувствует. Дороги, по которым идут он и Волгин, очень различны, и хоть ведут к одной цели, но не представляют им случаев встречаться на пути к ней. Притом же Волгин затворник; даже у Рязанцева, единственного общего друга их, бывает редко, да и то лишь в назначенные дни, когда собирается толпа. А он по своим официальным отношениям избегает являться в эту толпу. Потому он не знает, скоро ли встретится с Волгиным. А нарочно искать сближения — это было бы неудобно при его официальном положении, при положении Волгина в литературе; сплетники сочинили бы, что кто-нибудь из них ищет чего-нибудь в другом. Он дорожит репутациею независимости; Волгин, конечно, не меньше. Тем больше он рад, что его жена и Волгина подружились: он надеется, что из этого естественно выйдет сближение между ним и Волгиным. А пока он просит ее передать его чувства ее супругу.

Это было еще до приезда Нивельзина из-за границы. Волгин не хотел поверить жене, что в длинных и горячих

тирадах Савелова об уважении к нему должно быть что-то серьезное: — «Э, голубочка! — на что ему заботиться расположить меня в свою пользу? — Просто он хотел быть любезен».— Но когда приехал Нивельзин и Рязанцев объявил Волгиной, что ее муж посылал Нивельзина с важными поручениями в Лондон, Волгин понял, что действительно слова Савелова не были пустою любезностью. В те времена петербургские реформаторы добивались, чтобы в Лондоне были милостивы к ним. Савелов вообразил, что Волгин пользуется там сильным влиянием.

---

Только дикарю Волгину представлялось, будто бы Савелова должна была до такой степени совеститься своего бегства, что не приехала бы к Волгиной без очень серьезной надобности в совете или помощи. Когда он сообразил все обстоятельства, раскрывшиеся для него в последствии времени, то увидел, что предположение жены было справедливо: в этот раз Савелова приезжала просто затем, чтобы показать Волгиной, — и окончательно убедить саму себя, — что не имеет причины стыдиться: ее поступок был хорош, она пожертвовала преступною страстью для священных обязанностей и достойна не порицания, как, может, представляется Волгиной, а почтения и похвалы.

Она пылко протестовала против решимости Волгиной не входить в аристократический круг; она с пафосом говорила, что не хочет подчиняться излишней гордости Волгиной, не согласна лишить себя ее дружбы. Но видно было, что в сущности для нее все равно.— Волгина думала: может быть, увижу ее у себя еще раз или два, — вероятнее, не увижу.

Но сомневалась только до приезда Нивельзина. А подружившись с ним, предполагала, что не увидит ее у себя.

Пусть отношения к мужу, к Петру Степанычу, к целому десятку важных старух и целому стаду важных стариков были для Савеловой важнее любви. Но все-таки она любила Нивельзина со всею силой, какую могло иметь благородное чувство в ее сердце, не совершенно дурном, хоть и слишком набитом пошлостью. Пусть воспоминание об этой любви успело очень и очень ослабеть в долгие месяцы, наполненные светскими заботами и полубескорыстною возней с дружбою Петра Степаныча. Но все-таки это было единственное поэтическое воспоминание,— един-

ственное, которое годилось для минут благородного настроения души. Оно не могло не быть мило ей. В ней должна была сохраняться нежность к Нивельзину. Ей не могло не быть тяжело смотреть на Волгину, когда она стала видеть Волгину вместе с Нивельзиным и на Невском и в театре.

---

И, однако же, она приехала к Волгиной — в то утро, которое Волгин употребил на тревожные разъезды с просьбами разыскать, где Левицкий, что́ с ним. Она приехала очень бойкая и развязная, но слишком бойкая и развязная, так что напомнила Волгиной совершенную непринужденность Алексея Иваныча, когда Алексей Иваныч становится в отчаянии развязным светским человеком, чрезвычайно свободно попирающим все свои затруднения. «Бедная! — Что с вами? Что грозит вам?» — едва не вскликнула Волгина при взгляде на ее натянуто-беззаботную улыбку, принужденно веселое лицо. Но она, с неудержимою говорливостью, какою блистал и Алексей Иваныч, когда бывал так же беззаботен,— очень скоро успела отличиться так ловко, что и сам Алексей Иваныч согласился бы признать ее превосходство над собою.

Она приехала звать Волгину на обед. Она уверена, Волгина сделает ей это удовольствие. Возражения Волгиной не применяются к этому случаю: обед будет совершенно запросто, маленький, скромный,— можно сказать, семейный. Будут только сослуживцы ее мужа,— старики. Не будет ни одной дамы. Для такого общества не нужны брильянты, дорогие кружева. Она сама не будет в бальном платье. Этот обед — завтра. Это именины ее мужа. Она не сомневается, Волгина приедет.

Все это говорилось таким тоном, будто в самом деле ей только стоило сказать: «Приезжайте», и Волгина с восторгом поедет,— будто Волгиной должна быть необыкновенно приятна честь сидеть за одним столом с нею, с ее мужем и его сослуживцами. Вероятно, бедняжка не воображала давать такой тон своим словам; вероятно, она только усердствовала показать, что не затрудняется и не сомневается. Но слишком усердствовала, и выходил такой тон.

— Зачем же я поеду? — холодно сказала Волгина.

Ей будет так приятно, если приедет Волгина. Сослуживцы ее мужа — все старики, все скучные. С ними такая

невыносимая тоска! Она уверена, Волгина не откажется: вдвоем им будет весело. Ей одной невыносимо скучно. С Волгиной она сейчас же после обеда уйдет в свою комнату; одна, она должна будет оставаться с этими гостями и умрет от скуки.

Необычайная легкость тона продолжалась. Решительно, сам Алексей Иваныч не мог бы говорить так умно и мило.

— Вам хочется, чтобы за обедом была какая-нибудь дама, которая дала бы вам предлог уйти от скучных стариков, желание очень естественное. Но я полагаю, что у вас есть сотня приятельниц. Можете выбрать из них любую.

Но она выбирает Лидию Васильевну. Неужели Лидия Васильевна откажет ей в этой маленькой дружеской услуге?

— Если б я не видела, что вы взволнована, я сказала бы вам: разве ваши обеды такая честь для меня? — Кажется, я довольно ясно говорила вам, что не хочу бывать у вас ни на обедах, ни до обедов, ни после обедов? — Почему это? — Между прочим, и потому, что вы слишком заняты важностью вашего мужа. Я сказала бы это и попросила бы вас идти вон.— Но вы сама не понимаете, что ваши слова были дерзки. Я не должна сердиться. Не должна, и, однако же, сержусь. Но удерживаюсь. Вместо того, чтобы попросить вас уйти, спрашиваю: зачем вы приехали? Говорите прямо, если не хотите, чтоб я потеряла терпение. Зачем вам надобно, чтоб я приехала завтра на ваш обед? Это серьезная надобность? — Если очень, очень серьезная и если никто не может заменить меня, то я подумаю — и могу согласиться.

Савелова вспыхнула и несколько времени сидела молча; по-видимому, она не знала, что ей делать; вероятно, первою ее мыслью было, что Волгина оскорбила ее и что она должна встать и уйти, сказав, что она не ожидала такой обиды,— или что-нибудь подобное.— В самом деле, слова Волгиной были очень суровы. Но Савелова не хотела обращать внимания на прежние холодные замечания Волгиной и упорно оставалась при своем легком тоне, будто не верила, что женщина, муж которой не важный человек, может не считать за честь себе ее приглашение,— будто не верила, что Волгина, бывши у нее, серьезно говорила о своем нежелании вхо-

дить в ее общество. Савеловой трудно было принять подобные слова за правду, когда сама она жертвовала всем для своей светской карьеры. Она, по своему характеру, должна была считать их только притворством, которое будет отброшено в сторону при настойчивости с ее стороны.— Может быть и то, что она, в своей отчаянной бойкости, и действительно не понимала, как нагл и раздражителен тон ее приглашения.— Теперь она опомнилась и сидела, не зная, что ей делать. Вероятно, сначала в ней преобладало то впечатление, что она обижена, должна встать и уйти. Она будто порывалась встать,— но не вставала. Она сидела молча. Грудь ее стала дышать тяжело, на глазах у нее стали навертываться слезы.

— Я остановила вас, может быть, слишком резко; но должна была остановить, потому что начинала терять терпение. Я вспыльчива,— сказала Волгина смягчившись: видеть огорчение, страдание — это обезоруживало ее.— Я очень вспыльчива, но зато моя досада и быстро проходит. Не могу не любить ваше личико. Помиримся. Не плачьте, пожалуйста. Для вас необходимо, чтобы я не оставила вас быть одну за вашим обедом?

— Боже мой, боже мой, если бы я могла обратиться к кому-нибудь, кроме вас, разве я приехала бы к вам? — простонала Савелова.— Я люблю Нивельзина, я ревную, я завидую, я люблю его,— она залилась слезами.— Я люблю его, и все-таки я обращаюсь к вам! — О, поймите же, как велико мое страдание!

Волгина стала ласкать ее, чтоб успокоить. Сказала, что приедет; говорила, что в чем бы ни состояло горе Савеловой, вероятно, она слишком робеет; что, вероятно, можно будет отвратить его.

Савелова рыдала до того, что совершенно расстроила свои нервы, и горячечная экзальтация овладела бедняжкою. Она повисла на шею Волгиной, обливала ее слезами, говорила о том, что никогда не забудет Нивельзина, что Нивельзин не может любить ее, но что она любит его, что любовь к нему поддерживает ее, что без любви к нему она сделалась бы презренною женщиною, что она благодарит Нивельзина за счастье, которое давала ей любовь к нему, что она не эгоистка, не завистница, что она любит Нивельзина как брата, что у нее теперь одно желание — то, чтобы он был счастлив, что скоро она будет иметь силу сама сказать ему это, что она просит

Волгину сказать ему, что она любит его как брата, убедить его, чтобы он не презирал ее, что она нежно желает ему счастья, что она счастлива его счастьем.

Конечно, мимолетная экзальтация гораздо больше участвовала в этих нежных излияниях, нежели прочное чувство. Но если бы тут был Волгин, все-таки он расчувствовался бы до глубины души, по основательному соображению, что сердце, способное хоть на минуту возвышаться до такого энтузиазма, не совершенно испорчено.— Так он и решил, когда в последствии времени узнал об этой сцене: сказал, что Савелова в сущности хорошая женщина, размыслил и повторил: «Да, как бы то ни было, все-таки не совсем дурная женщина».

Волгина не занималась размышлениями о том, хорошая ли женщина Савелова, а уговаривала ее выпить холодной воды,— наконец, успела заставить выпить стакан; после того повела ее к рукомойнику и велела ей умыться, дала выпить еще стакан холодной воды и после того стала говорить о деле:

— Я сказала вам, что приеду на ваш обед. Следовательно, это вещь решенная. Но я думаю, что для вас самой было бы полезно, если бы вы предупредили меня, какой помощи вы ждете от меня?

Только той, чтоб Волгина не покидала ее после обеда.— Савелова опять начинала волноваться.

— Только? — Там будет Петр Степаныч?

— Конечно, будет.

— Неужели он не мог бы оказать вам этой услуги? Вы понимаете — я не думаю отказываться: дала слово, то уже не стану отговариваться. Но вы так дружна с этим добрым, честным человеком? Неужели вы не могли попросить его, чтоб он не отходил от вас, если вам надобно было только, чтобы кто-нибудь был подле вас?

— Я не могла сказать даже и ему... Никто не должен знать, даже и он... И я не знаю, захотел ли бы он...— Савелова опять начинала трепетать.— Вы одна можете... И перед вами мне уже все равно стыдиться: вы презираете меня...

Волгиной опять пришлось успокаивать ее.— В том, что она не решилась бросить мужа, нет ничего особенного; почти все поступили бы точно так же, как она. Савелова была расположена думать, что не заслуживает порицания, да и не горевала о Нивельзине; потому уте-

шилась очень легко. Воспоминания не были особенно важны для нее, как убедилась Волгина: она мучилась только опасностью, которая теперь грозит. Опасность была и велика и дурна; это было видно из того, что Савелова стыдилась сказать о ней Петру Степановичу и не надеялась на его желание или силу пособить. Но в чем состоит эта ужасная и постыдная опасность, Волгина не видела; и не стала больше спрашивать, хоть было бы очень полезно узнать это заранее, чтобы обдумать, что и как можно сделать. Савеловой слишком тяжело было говорить, и Волгина отпустила ее со словами, что она не хочет знать ничего,— и не будет видеть ничего, кроме того, что надобно будет видеть для ее пользы.

---

Савелов не имел состояния и был не жаден на деньги; дорожил своею вполне заслуженною репутациею бескорыстного человека и презирал внешний блеск. Квартира Савеловых была немногим больше квартиры Волгиных и меблирована почти так же скромно.

Но если неподвижная мебель не очень большой гостиной была не блистательна, тем ослепительнее резал глаза эффект ходячей меблировки, которая вся собралась в гостиную; в то время, как приехала Волгина, в зале устанавливали раздвижной стол, и все съехавшиеся на обед были загнаны этим в одну комнату. Звездоносными группами они тихонько толклись вдоль окон гостиной. На пятнадцати или шестнадцати фраках и военных мундирах сияло чуть ли не десятка три звезд.

Хозяйка, выбежавшая в зал встречать гостью, провела ее мимо звездоносцев, не удостоив ни одного из них словом или знаком, что он может идти за нею и гостьею к дивану. И ни один звездоносец не осмелился сопутствовать дамам без приглашения: все потянулись в другую половину комнаты, распределились вдоль окон и солидно, тихо передвигались там, переминались, поговаривали, помалчивали, все смирно и в совершенном удовольствии.

И не только хозяйка предоставила этим смирным созвездиям заниматься между собою, как могут,— даже и хозяин был так же бесцеремонен с ними. Савелова не было в гостиной. Тридцать звезд на пятнадцати сановниках не смели, как видно, обижаться: двигались вдоль окон, скромно сияя.

Внезапно они замерцали паническими переливами света, закопошились и обратились на дверь из зала. В зале раздался голос хозяина:

— Я замучил вас; но будьте добр: заезжайте в канцелярию и останьтесь там, пока доклад будет переписан: прошу вас об этом, не в службу, а в дружбу. Мне хочется, чтобы к шести часам он был здесь. Мы все тут и подписали бы его.— Петр Степаныч также будет здесь, и в восемь часов я повез бы его Чаплину.

— Будьте уверен, в шесть часов доклад будет здесь,— отвечал другой голос,— конечно, чиновника, работавшего с Савеловым и теперь отпускаемого им.— Я надеюсь, что успею и прочесть внимательно, чтобы не было описок.

Чиновник говорил с Савеловым без подобострастного тона; так свободно, что даже не вставил «ваше превосходительство». В тоне Савелова не было чванства: он не был горд перед кем нечего было важничать.

— Этим не обременяйте себя: вы устали; дождитесь только, пока будет переписано все и станут сшивать. Вам надобно отдохнуть. Я могу поправить описки сам: когда буду читать графу, увижу и отмечу.

— Очень благодарен вам, Яков Кириллыч, за такое облегчение,— сказал чиновник: — действительно, я устал. Но и вы не меньше моего.

— Кланяйтесь Анне Ивановне, поцелуйте за меня Митю, Варенька такая большая, что не смею посылать ей поцелуя.

Конечно, это были жена и дети его сотрудника. Он был внимателен и добр, когда это было возможно.

Чиновник не боялся его, по всей вероятности. А сияние звезд было отчасти тревожно.

Хозяин показался в дверях; он был одет запросто, в сером пальто, несколько потертом по рубцам обшлагов; — в дверях он замедлил шаг, расправляясь — «выпрямляясь» нельзя сказать, потому что он не был сгорблен: вероятно, он никогда не сгорблива́лся,— он повел плечами назад, несколько выгибаясь на спину, как делает человек, не сгибавший стана, но уставший от долгой работы,— стал расправляться, перегибаясь на спину,— но увидевши Волгину, отказал себе в удовольствии кончить это фамильярное движение: перед созвездиями он не считал нужным церемониться,— но перед дамою он обратился в светского человека. Наскоро обошел звездонос-

цев, подавая обе руки, двоим враз, мимоходом, милостиво наделяя их небрежными приветствиями; поспешил бросить эти созвездия, чтобы подойти к даме, и несколько минут сидел подле Волгиной.

Она ждала, что ее присутствие произведет на него очень неприятное впечатление. Зачем именно упросила ее приехать Савелова, она еще не знала. Но было несомненно, что тут будет какая-то борьба против него: кого и чего могла бы трепетать Савелова, если бы муж не был в союзе с противною стороною? Волгина ждала, что Савелов увидит в ней врага какого-нибудь своего плана или требования.— Нет, он, очевидно, не придавал никакой особенной важности тому, что она тут. Через минуту Волгина даже увидела из его разговора: он знал, что жена пригласила ее,— жена пригласила ее с его согласия.

— Что же значит все это? — тихо спросила Волгина Савелову, когда он пошел, наконец, удостаивать созвездия своего хозяйского внимания.— Я не понимаю, чего вы можете опасаться. Ваш муж не думает, что вы призвали меня на помощь против него?

— Петр Степаныч просил, чтобы мы пригласили вас.

— Петр Степаныч? Вы сделали Петра Степаныча моим поклонником?

— Боже мой, боже мой! — Не смейтесь надо мною! — Я должна была просить Петра Степаныча. Мой муж не должен знать ничего. Он не простил бы мне.

Созвездия снова закопошились: слуга доложил о приезде его высокопревосходительства, Петра Степановича.

— Подавать обед,— громко отвечал на доклад хозяин, двигаясь встретить Петра Степаныча.

«Что ж это,— думала Волгина.— Чего она боялась от этого обеда, когда за обедом не будет никого, кроме этих стариков, которые ничтожны для нее и для ее мужа? — Петра Степаныча нечего и считать: он свой для нее».

Петр Степаныч обошелся с подчиненными ему звездоносцами очень любезно, гораздо внимательнее, нежели Савелов; потом предался своей обязанности заниматься исключительно Волгиною. Он помнил, что он просил, чтобы она была приглашена.

Вошел слуга и доложил хозяйке, что повар просит извинить и обождать несколько минут: обед еще немножко не готов.

— Обождать,— то обождем,— весело и добродушно заметил Петр Степаныч.

Конечно, он не мог понимать — не мог предполагать, что задержка не в поваре. Волгина взглянула на Савелову, Савелова вспыхнула.

Это было хуже всего, что знала о ней, чего могла ожидать от нее Волгина.— Пожертвовать любовником для нелюбимого мужа — дело такое обыкновенное,— гораздо более обыкновенное, нежели пожертвовать своим положением в свете для любви. Но тут было что-то менее обыкновенное. Какая-то проделка, при которой должен остаться в дураках Петр Степаныч,— и Савелова не предупредила человека, который так честно и сильно расположен к ней.— Первым порывом Волгиной было сказать Савеловой: «Вы ждете еще кого-нибудь?» Но она удержалась: ей подумалось, что Савелова не могла бы добровольно участвовать в интриге против своего честного друга; что, вероятно, принуждение со стороны мужа было слишком грозно; что, вероятно, Савелова и сама достаточно чувствует унизительность своей роли перед Петром Степанычем. Волгина только взглянула на Савелову — и пожалела даже о том, что взглянула: Савелова совершенно растерялась от ее взгляда; так, только ее мужа надобно винить за ее пошлую роль.— Волгина продолжала разговор с Петром Степанычем, чтобы дать ей время оправиться.

В дверях опять явился слуга и провозгласил:

— Его светлость, граф Илларион Илларионович Чаплин.

Созвездия вздрогнули и окаменели.

— Граф Чаплин! — с изумлением произнес хозяин и торопливо пошел в зал.

— Граф Чаплин! — сказал Петр Степаныч, наклонившись к Савеловой: — Вот почему обед не был готов! — Граф Чаплин,— и вы не предупредили меня! — И вы хотели, чтобы я был в дураках! — Но нет, я несправедлив к вам, добрая, милая моя Антонина Дмитриевна,— тотчас же прибавил он.— Вы не могли хотеть обманывать меня.— О, теперь я понимаю Якова Кириллыча! Он хочет сесть на мое место! — Я не ожидал, что он захочет поступить со мною так! — Интриги против меня! — Но вас я не виню. Вы только боялись сказать мне.— Яков Кириллыч интригует против меня! — Горько мне, горько, Антонина Дмитриевна!

— Петр Степаныч! — только и могла проговорить она, и слезы брызнули у бедной женщины.

— Довольно, заметят,— шепнула Волгина.

Но не было большой опасности, что заметит кто-нибудь, пока еще не возвратился наблюдать Савелов. Если бы Петр Степаныч и Савелова обнялись, может быть, и то прошло бы не замечено никем из звездоносцев: так окаменели они от изумления и благоговения.— Савелова успела отереть слезы, пока способность видеть и понимать возвратилась к звездоносцам. Да и тут им было не до хозяйки и не до Петра Степаныча: все внимание их было поглощено ожиданием неожиданного посетителя.

Посетитель подавал о себе предвестия, изумлявшие Волгину.

Вероятно, еще из передней начали доноситься в гостиную первые предвестия: посетитель ступал, производя ногами стук, подобного которому не могут делать сапоги петербургского мужика,— они слишком легки,— для такого стука необходимы деревенские, мужицкие, двухпудовые. Вероятно, не в таких же сапогах ходит граф Чаплин? Как же он умудряется делать такую стукотню? — Потом стало слышно сопенье,— громче и громче,— с храпом и сопом, раздалось: — «Вот я и у вас, Яков Кириллыч. Поздравляю». Стук, соп и храп заглушили любезность, которую отвечал хозяин: слышно было только, что Савелов говорит: но что́ такое говорит, нельзя было разобрать. Стук, соп и храп усиливались, отдавались эхом по залу,— и вот отдались еще новым эхом, уже от стен гостиной: в двери ввалила низенькая, еще вовсе не пожилая человекоподобная масса.

Ввалила,— потому что она не шла, а валила, высоко подымая колени и откидывая их вбок, хлопотливо работая и руками, оттопырившимися далеко от корпуса, будто под мышками было положено по арбузу, ворочаясь всем корпусом, с выпятившимся животом, ворочаясь и головою с отвислыми брылами до плеч, с полуоткрытым, слюнявым ртом, поочередно суживавшимся и расширявшимся при каждом взрыве сопа и храпа, с оловянными, заплывшими салом крошечными глазками.— Правда, такому тучному человеку нельзя иметь плавную, легкую походку; но другие, изредка встречающиеся, такие же толстяки, умеют ходить, хоть и неуклюжим образом, все-таки по-человечески,— умеют потому, что помнят о своем безобра-

зии, стараются, чтоб оно не производило слишком отвратительного впечатления. Чаплин был совершенно без церемоний.— Видя его милые движения, слыша его храп и соп, можно было удивляться только тому, что на нем военный сюртук, а не нанковый халат: как это нарядился военным разжиревший мясник?

Без малейшего сомнения, это был переодетый мясник: по лицу нельзя было не угадать. Не то чтобы оно имело выражение кровожадности или хоть жестокости; но оно не имело никакого человеческого выражения,— ни даже идиотского, потому что и на лице идиота есть какой-нибудь, хоть очень слабый и искаженный, отпечаток человеческого смысла; а на этом лице было полнейшее бессмыслие,— коровье бессмыслие,— нимало не жестокое — ничуть не злое, только совершенно бесчувственное. Ни лавочник, ни трактирщик, ни разбогатевший мужик — превращающиеся иногда в таких толстяков, не утрачивают смысла до такой степени: они видят людей или природу, это поддерживает следы смысла на их лице. Только мясник,— человек, не смотревший ни на людей, ни на природу, смотревший все лишь на скотов и на скотов, мог приобрести такое скотское выражение лица.

И такой кровяной цвет лица. Мясник не кровопийца. Нет, он не пьет крови. Он только дышит запахом ее,— спокойно, беззлобно,— и с пользою своему здоровью: дышать запахом крови — это очень здорово. Благодаря этому, как бы ни заплыл жиром мясник, его лицо пышет цветущей кровяною свежестью. У всякого другого толстяка, так ожиревшего, лицо имеет сальный цвет, желтовато-тусклый. У этого сало пропитано свежею кровью, которою надышался он. Нет сомнения, это переодетый мясник.

Раскачивая выпяченным животом, раскидывая коленами и болтая оттопыренными руками, помахивая брылами, хамкая слюнявыми губами, переодетый мясник валил к Савеловой. С храпом и сопом мясник проговорил:

— Я приехал на именины Якова Кириллыча. Вот сюрприз вам. Поздравляю.

— Благодарю вас, граф; прошу садиться,— сухо отвечала Савелова. С провозглашения о приезде графа Чаплина Волгина не смотрела на Савелову: и без того Саве-

ловой должно было быть слишком тяжело.— Теперь, казалось Волгиной, Савелова ждет ее взгляда в награду, в одобрение своей решимости быть холодною с этим отвратительным человеком.

— Это прекрасно,— сказала Волгина, перенося взгляд через Савелову на Петра Степаныча и будто бы продолжая прежний разговор.

Петр Степаныч посмотрел на Волгину, не поняв.— Вы сказали?

— А вы не слушали, что́ я говорила! О, как это мило! В наказание вам не хочу повторять.

— Действительно, я был рассеян в эту минуту и не вслушался.

— И нет особенной потери.

— Вот и я здесь, Петр Степаныч,— проговорил мясник.— Здравствуйте. Очень рад.— Он опустился на диван подле Савеловой и обратился опять к ней: — Мне так приятно, что я приехал к вам.

— Благодарю вас, граф,— по-прежнему отвечала Савелова и немножко отодвинулась к Волгиной, потому что он уселся было локоть к локтю.

— Однако же у вас довольно тепло, или это я так вспотел? — Но мне чрезвычайно приятно, что я приехал к вам,— проговорил мясник, доставая платок, придвинулся опять поближе к Савеловой и принялся утираться. Помолчал, утираясь.— Ужасно вспотел,— очень.— Он стал прятать платок, при этом подвинул губы к плечу Савеловой и потихоньку просопел в ухо ей: — А эта ваша знакомая кто? — От такого человека было уже чрезвычайною деликатностью, что он постарался просопеть вопрос потише.

— Лидия Васильевна, рекомендую вам: граф Чаплин.— Лидия Васильевна Волгина, граф.

— Мне очень приятно,— просопел мясник, протягивая руку. Волгина отвечала только тем, что кивнула головою, и, повернувшись к Петру Степанычу, сказала: — Пойдем ходить.

Мясник захлопал глазами, подержал руку на воздухе, хлопнул глазами еще и прибрал руку.

Отходя от дивана, Волгина расслышала, что мясник просопел Савеловой: «Она, должно быть, очень робкая?» — Если б он и не был бессмыслен, все равно он не мог бы подумать иначе: конечно, графу Чаплину еще не

представлялось случая понять, какое чувство возбуждает его вид.

Ходя по пустому залу, Петр Степаныч жаловался Волгиной на коварство и неблагодарность Савелова.— Как могли скрыть от него, что приглашен граф Чаплин? — Савелову он не винит: она не скрыла б от него, если бы не велел муж. Но стал ли бы скрывать Савелов, если бы тут не было интриги? Вот уже две недели, или больше, Савелов не был у графа без Петра Степаныча, сколько было известно Петру Степанычу. Когда же он пригласил Чаплина? Очевидно, он бывает у Чаплина тайком от Петра Степаныча. Почему же тайком, если бывает не за тем, чтоб интриговать против Петра Степаныча? Потому надобно было скрывать и то, что граф Чаплин приглашен.

— Я не хочу защищать Савелова, я не считаю его хорошим человеком. Но я почти уверена, что он не бывал у Чаплина тайком от вас,— сказала Волгина. Она полагала, что приглашение было сделано не мужем, а женою, по приказанию мужа.

— Как же нет, когда граф приглашен и Савелов скрывал от меня это? Зачем было бы скрывать и кто мог бы пригласить?

— Я не могу ничего отвечать на эти вопросы. Но Савелов не так глуп, чтоб ездить к Чаплину тайком от вас: разве мог бы он надеяться, что подобные проделки останутся секретом? — Я думаю, у него сотни врагов, которые следят за каждым его шагом.

— Это правда,— сказал Петр Степаныч задумываясь.— Но кто же мог пригласить Чаплина? И зачем было скрывать от меня, если тут нет интриги? — Добрый Петр Степаныч не мог и вообразить, что интрига ведется через Савелову: он был слишком убежден в ее дружбе. Потому-то Волгина и рассчитывала, что может возразить против его неудачной мысли о тайных визитах Савелова, не компрометируя Савелову. Волгина надеялась убедить ее, чтоб она сама открыла все Петру Степанычу, если интрига не разрушится: Петр Степаныч так любил ее, что простил бы ей все и мог бы служить ей опорою против требований мужа, если бы муж не согласился освободить ее от слишком тяжелой игры в кокетство с человеком, который создан не так, чтобы довольствоваться улыбками и тому подобными так называемыми невинными любезностями.

— Я не говорю вам, что тут не может быть интриги. Не мое дело говорить об этом. Но я почти совершенно уверена, что Савелов не бывал тайком от вас у Чаплина. Вы должны тем больше доверять моему мнению, что я вовсе не расположена к Савелову.

— Как же здесь Чаплин? Яков Кириллыч не из тех немногих, о которых Чаплин помнит сам. Кто-нибудь должен был сказать ему, что Яков Кириллыч празднует ныне свои именины. Кто-нибудь должен был прислать его сюда.

Петр Степаныч был так уверен в Савеловой, что скорее, нежели подумать о ней, готов был предполагать какое-нибудь постороннее влияние на Чаплина.— Волгина должна была молчать, слушая его догадки о том, какой бы из его врагов или соперников мог войти в заговор с Савеловым.

В зал вошел Савелов и пошел подле Петра Степаныча.— Лицо Савелова было угрюмо,— даже больше: печально и с тем вместе раздражено. Раза два прошли по залу молча.

— Дорого дал бы я, чтоб узнать, кто устроил эту интригу,— и постарался бы отблагодарить этого человека! — проговорил Савелов сквозь зубы, стискивая кулак.— Петр Степаныч, если это дело не разъяснится, я подам в отставку.

— Что вы сказали, Яков Кириллыч? — Петр Степаныч был поражен изумлением.

— Я спрашивал у Чаплина,— Нина спрашивала у него,— кто сказал ему, что я ныне праздную свои именины, что он поступит очень мило, если приедет сюрпризом.— Он говорит: «Никто, я сам».— Это невозможно.— Кто-нибудь подучил его,— бедняк не может понимать, на что́ подучили его! — Он хотел оказать мне честь своим приездом, невинное существо! — Кто из моих врагов подучил его? — У кого могло быть столько хитрости, чтобы нанести мне удар такой ловкий? — Этот человек может достичь своей цели. Он очень хорошо рассчитал мой характер. Я должен буду подать в отставку, если это дело не разъяснится. Я понимаю, в какое положение перед вами ставит меня эта интрига, и не соглашусь оставаться в таком положении. Выйти в отставку значило бы для меня с Ниною остаться без куска хлеба, не говоря обо всем остальном, почему я дорожу службою. Но этот

человек знал, что для меня есть вещи дороже и куска хлеба, и всех расчетов, всех стремлений.

Он быстро ушел, не дожидаясь ответа Петра Степаныча.

— Он честолюбец, но он не мог бы так низко интриговать против меня,— сказал Петр Степаныч.— И вы слышали,— он хочет подать в отставку, если не обнаружится, что я ошибся? — Он не любит шутить. Тем больше такими словами.

Волгина должна была молчать. Только сама Савелова имела право сказать Петру Степанычу — как все это произошло.

Да и какое было дело Волгиной до того, что Савелов хочет ссадить Петра Степаныча и сам сесть на его место? — Правда, Петр Степаныч был человек добрый,— несомненно, с искренним желанием общей пользы. Но Волгина привыкла слышать от мужа: — «Э, голубочка!— Все равно, тот ли, другой ли: никто из них не может ничего сделать, как желал бы: больше ничего, как писари, которые пишут, что велят им писать».— Она слишком хорошо видела теперь, что хоть муж ее говорит слишком резко и безусловно, но что в сущности почти так: что, например, Петр Степаныч ничто перед Чаплиным.— Она не могла также не видеть, что насколько может Петр Степаныч поступать так или иначе, он поступает во всем по мыслям Савелова. Какая же будет потеря, если Савелов и займет его место? — Волгина не могла компрометировать Савелову, чтобы сберечь должность Петру Степанычу.

Эффектное уверение Савелова, что он подаст в отставку, совершенно разбило мысли Петра Степаныча.

Чем больше думал этот не глупый, но далеко не чрезвычайно умный человек, тем больше убеждался, что Савелов не ждал приезда Чаплина. Если бы ждал, не остался бы в пальто: оставаться в пальто, когда ждешь графа Чаплина, это слишком фамильярно. Невозможно. Да и жене он велел бы принарядиться: она даже не в бальном платье.— Да и по этикеткам на бутылках видно, что не ждали Чаплина: нет слишком высоких сортов вин; да и обед будет посредственный: повар у Савеловых очень, очень немудрый; как было бы не позвать аристократичного повара, если бы ждали Чаплина? — А Петр Степаныч знал, что не приглашали другого повара. Словом, все мелочи доказывали, что Савеловы не ждали

графа Чаплина. Не могли они рисковать, чтоб он остался недоволен обедом и винами. А это может быть: останется недоволен.

И вот уже четверть часа Чаплин здесь, а обед все еще не подан. Очевидно, когда после приезда Петра Степаныча было прислано от повара сказать, что обед еще не готов, тут не было уловки дожидаться Чаплина: действительно, повар не успел управиться с обедом, слишком превосходившим обычные требования.

Наконец, явилась прислуга с чашками супу на подносах.— В гостиной тихо, скромно зашелестели десятки сапогов,— это звездоносцы устраивали из себя свиту; — паркет застонал под сапогами мясника, и граф Чаплин, с храпом и сопом, явился, ведя под руку хозяйку к столу.— Он занял место по одну сторону ее. По другую, против него, было место Волгиной; подле Волгиной место Петра Степаныча.

Предположение Петра Степаныча насчет обеда и вин оправдывалось. Граф Чаплин несколько раз изволил выразиться: — «Не очень-то; да, соус-то не очень-то»; или: — «А повар-то, видно, не очень-то»; или: — «А винцо-то не очень-то». Граф Чаплин не изволил стесняться в выражении своих мнений.

Но зато он не стеснялся и в своей манере кушать.

Он находил, что кушанье «не очень-то», но благоволил кушать.— Волгина жила в деревне, часто бывала на праздниках у поселян: она не видывала, чтобы самый неопрятный из мужиков держал себя за столом так мило, как изволил кушать граф Чаплин.— Когда она была ребенком, отец брал ее с собою в свои служебные разъезды; иногда ему приходилось останавливаться на постоялых дворах, и не раз она видела, как едят извозчики,— люди, знаменитые в народе тем, что едят очень много: она не помнила ни одного такого прожорливого, как его светлость граф Чаплин. Он накидывался на каждое кушанье, будто не ел трое суток, и жрал каждого по две, по три порции. Соусы текли с его усов, по его отвислому подбородку: обсасывая кости, он мазал себе всю нижнюю половину рыла; засаливши салфетку, утерся ею по всему лицу, вымазал соусом даже виски; слуга подал другую салфетку, он утер соус, — и через пять минут новые полосы нового соуса очутились у него на лбу. Скатерть на

пол-аршина кругом его тарелки была вся сплошь залита. Куски мяса валились у него изо рта в тарелку ему и кругом, и мимо стола, на живот ему, на пол. — Волгина отворачивалась, чтобы не видеть, как он жрет; но в ее ушах раздавалось чавканье, чмоканье, фырканье.

Савелова могла бы не очаровывать его, пока он был занят жраньем: пока он жрал, он был равнодушен ко всякому другому очарованию. В начале стола Савелова и не очаровывала его: наскоро совала ему на тарелку новый кусок,— через минуту опять: «Кушайте, граф»,— и только, даже не улыбалась. Но вдруг улыбнулась ему. Волгина взглянула на противоположный конец стола, где сидел хозяин: хозяин держал против глаз стакан с красным вином, всматривался в него и был недоволен; так он и сказал соседу: «Это вино поддельное, не пейте его» и отдал приказание слуге: «Возьми эту бутылку, дай другую».

Несколько раз Волгина взглядывала в его сторону, при внезапных усилениях любезности Савеловой к милому гостю. Но уже не могла поймать Савелова в том, как он отдает безмолвные приказания жене. Для него довольно было быть пойманным один раз. Теперь он уже понимал, что Волгина его враг. — Она не могла много мешать ему в отдаче приказаний. Ей нельзя было часто и подолгу смотреть так далеко в сторону: заметили бы. А он с женою сидели лицом против лица.

Чем дальше, тем любезнее становилась хозяйка с милым гостем. Вот она переложила кусок со своей тарелки... И этой любезности мало: она сама стала резать ему кушанье, на его тарелке, склоняясь к нему... Она ест мороженое с одной тарелки с ним... Милый гость жрал очень проворно; но столько, что каждое блюдо доедал последний. Так и при окончании обеда: все должны были ждать, пока граф накушается фруктов.— «Ну, не довольно ли будет! — просопел он в нерешительности: — Кажется, что довольно. Вот по сих мест», — он провел рукою по месту, где у других людей в военном мундире виден воротник, а у него висели брылы подбородка.— «Больше не полезет», — и сунул в пасть персик целиком, хамкнул и выплюнул косточку. — «Еще один, пополам со мною»,— сказала хозяйка и разрезала новый персик. — «Не могу; ейбогу, не полезет», — разве сама положите в рот, — ну, тогда полезет», — просопел милый гость, и половина персика была положена в пасть ему.

Стулья загремели. Милый гость, захрапевши от вставанья, присовывал локоть к Савеловой. Волгина положила руку на ее талью: — «Вы извините, граф: мне кажется, что Антонине Дмитриевне надобно отдохнуть». — Она повела Савелову. Чаплин оставался, хлопая глазами.

— Я уведу вас и беру на себя объясниться с вашим мужем.

— О, нет, нет! — Нет, нет! — в ужасе прошептала Савелова. — Нет, я нисколько не устала,— продолжала она громко. — Но я надеюсь, граф, вы извините наш обед; мы не знали...

— Нужды нет, я поел порядком, не беспокойтесь; даже тяжело. Ну, да вот протрясемся с вами-то, и отпустит. Это часто со мною.

Она уселась близко, близко к нему, и разговор их продолжался в том же духе: граф говорил, что вот, когда он протрясется с нею, то и отпустит. Она извиняла своего повара. Он повторял, что нужды нет, ему тяжело, но он протрясется с нею, и тогда отпустит.

— Хотите, я покажу вам всю нашу квартиру, мою комнату, граф? — сказала Савелова через минуту.

— Пожалуй, промнемся немного, — отвечал милый гость.

«Не оставляйте меня одну», — говорила вчера Савелова Волгиной. Но теперь она обращалась к нему, не предлагая Петру Степанычу и Волгиной идти с ними. Она даже бросила на Волгину взгляд, который нельзя было принять иначе, как за просьбу не мешать ей и оставаться в гостиной с Петром Степанычем.

Она ушла со своим милым гостем.

Через две-три минуты вошел слуга и доложил Савелову, что его светлость уезжает, его светлость уже в передней.— Савелов пошел проводить гостя.— Вернулся; за ним вернулась и Савелова. — Она боязливо поглядывала на мужа. Муж не обращал внимания на это.

— Мы уйдем от вас, Петр Степаныч, — сказала Волгина. — Быть может, мы не увидимся с вами больше. На всякий случай прощаюсь.

Савеловой, очевидно, не хотелось этого. Но Волгина встала, и Савелова должна была идти с нею.

Савелова краснела, бледнела и, введя Волгину в свою комнату, простонала и бросилась на постель, в подушки лицом.

— Я привела вас сюда не за тем, чтобы читать вам мораль. Встаньте, будем говорить о том, как вам избавиться от принуждения со стороны вашего мужа.

Но Савелова не хотела слушать, не хотела встать; лежала лицом в подушки и рыдала.

Волгина отошла от нее, пока она сделается способною думать, и от нечего делать стала осматривать спальную.

Эта довольно большая комната была убрана гораздо лучше парадных, даже не без роскоши, если для жены такого сильного человека, как Савелов, может назваться роскошью мебель, обитая атласом, и превосходное трюмо. На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. На письменном столе были фотографические портреты в дорогих резных рамках.

Подошедши к этому столу, Волгина вздрогнула от удивления; подле портретов Савелова и Петра Степаныча тут стоял портрет Нивельзина.

«Нет, не может быть, чтобы она была так неосторожна! — подумала Волгина. — Невозможно!» — Как же объяснить? Неужели Савелов способен к такому варварству? и как могло открыться, когда у нее после того не было никаких сношений с Нивельзиным, а тогда муж отступился от прежних подозрений? — Как бы то ни было, несомненно то, что она уличена. Так; только при этом и понятно ее рабское повиновение мужу. Иначе она отказалась бы, возмутилась бы, как ни слаб ее характер.

— Вы должны презирать меня!.. Но я еще не сделалась его любовницею!.. О, вы не поверите мне, но я еще не сделалась его любовницею!..

— Я не поверила бы, если бы вы сказали, что вы его любовница. Презирать вас? — Теперь, когда я увидела портрет Нивельзина у вас на столе, я сужу снисходительнее о вашем послушании мужу. Как он уличил вас? — Этим он принуждает вас?

Этим. Он давно потребовал, чтоб она кокетничала с Чаплиным. Она решительно отказывалась.— Как узнал он? — Тогда ему донесла ее горничная. Горничная сама не знала ничего хорошенько; только подозревала. Он был совершенно убежден, что горничная оклеветала ее. Но теперь, когда Нивельзин возвратился из-за границы, когда она стала видеть его вместе с Волгиной, в ней пробудилась ревность; она много плакала. Однажды она плакала над письмами Нивельзина. Мужа не было дома. Она

не слышала, как он возвратился. Она услышала только, когда уже его шаги приближались. Она успела спрятать письма. Она думала, что он не заметил ничего. Но он заметил, как она прятала что-то.

Через два дня она была на вечере. Он оставался дома. Ей показалось, что он посмотрел на нее с усмешкою, когда она возвратилась. Она притворилась, будто скоро заснула. Он уснул; она встала и вынула маленькую шкатулку, в которой берегла письма и волоса Нивельзина. Двух писем недоставало, — двух — более ясных, нежели другие. Конечно, она не могла заснуть до рассвета. Когда она проснулась, мужа не было. Он вернулся, вошел к ней и подал ей четырехугольный пакетик, обернутый в бумагу: — «Я привез подарок тебе, Нина»... Это был портрет Нивельзина. Она пошатнулась. Он поддержал ее и сказал: «Я не из тех мужей, которые любят ссориться. Не буду упрекать тебя. Тем меньше надобности ссориться, что я знаю — твои прежние отношения к нему не могут возобновиться. Он увлечен другою привязанностью. Ты сохраняешь расположение к нему, но уже только дружеское, невинное. Я не имел бы ничего даже и против того, чтоб он бывал у нас. Но я понимаю, что это не было бы приятно ни тебе, ни ему. Пусть же по крайней мере его портрет напоминает тебе о нем». Он поставил портрет Нивельзина на ее стол с просьбою не снимать. — С того утра она знала, что должна рабски повиноваться ему.

— Я думаю, довольно. Я не имею надобности знать ничего больше, — сказала Волгина и позвонила. Вошла служанка и на вопрос Волгиной, разъезжаются ли гости, отвечала, что нет: сидят и курят и, по-видимому, не собираются уезжать. Волгина попросила вызвать Савелова в его кабинет, который был рядом со спальною жены, и перешла туда. — Савелов пришел с лицом очень серьезным, но совершенно любезным.

— Постарайтесь, пожалуйста, чтоб ваши гости разъехались поскорее, — сказала Волгина. — Или лучше мне попросить об этом Петра Степаныча?

— Нет, я сам желаю разговора с вами, — отвечал он. — Я очень хорошо знаю, какую силу имеете вы над мыслями Нины. Для меня важно объяснить вам истинное положение дела. — Они остаются только затем, чтобы подписать доклад, который будет привезен очень скоро, я надеюсь. Если б не эта сцена, сделанная Ниною, он был

бы подписан здесь и Чаплиным. — Теперь Петр Степаныч повезет его к Чаплину. Я сам не могу ехать: мой вид только еще больше раздражил бы этого человека. Мне страшно за судьбу этого доклада; о, если бы вы знали, какою великою опасностью грозит, — не нам с Петром Степанычем только, а делу свободы, — эта досада Чаплина! О, как желал бы я, чтобы вместе с вами был здесь и ваш супруг, судить между мною и Ниною!

— Вы хотите пробудить жалость или стыд в моем муже? — сказала Савелова, горько улыбнувшись, когда Волгина вернулась к ней: — напрасная надежда. — Слушайте, что было между ним и мною, что заставило меня приехать вчера к вам...

— Я понимаю, что вы приехали ко мне, только потерявши всякую надежду; зачем мне знать подробности? — останавливала ее Волгина. Но жалкая женщина хотела жаловаться и плакать. Волгина принуждена была слушать.

---

Давно Савелов хотел, чтобы жена его завлекала Чаплина. Она знала всю важность дружбы этого человека и, подавляя отвращение, стала кокетничать с ним. Но это не человек, а животное. Смотреть на женщину, говорить с нею, пожимать ее руку, — в этом нет никакого удовольствия ему. Вероятно, и целовать женщину не очень занимательно для него. Он не человек, он только животное. Женщина имеет для него только одну интересность — быть его наложницею. После трех, четырех разговоров он сказал ей: — «Видно, вы считаете меня за дурака», и не хотел больше слушать ее любезностей. Она сказала мужу, что делала все, что могла, и не может сделать ничего. Муж не стал спорить.

Но, когда завладел уликами против нее, он снова сказал ей: «Дружба Чаплина чрезвычайно важна для нас, Нина; прошу тебя, приобрети ее». Она должна была приобретать. — При втором разговоре Чаплин сказал: «Да что, будто я не понимаю? Вы опять хотите кормить меня пустыми словами». Она принуждена была подавать ему надежду. Но еще два-три разговора, и он уже говорил: «Да что же, какие там у вас помехи да задержки? Я вижу, вы просто отлыниваете». Он злился. На ее беду, он почувствовал влечение к ней, — и очень сильное. Он стал бы мстить ей, вредя мужу. Он может обратить ее

мужа в ничто. Как она сказала бы мужу: «Я сделала его врагом тебе!» Прощение было бы невозможно. Она мучилась и не могла решиться говорить с мужем. И вот, третьего дня вечером, муж объявил ей, что в нынешнем году хочет праздновать свои именины парадным обедом и что граф Чаплин должен быть на обеде: — «Ныне бал, на котором ты увидишь его; пожалуйста, сделай, чтобы он приехал». — Она поехала исполнить поручение. — «Ну, что? Опять наплетете какую-нибудь небывальщину? Опять станете отлынивать?» — был привет графа Чаплина. — «Нет, — сказала она: — я нашла, наконец, возможность говорить с вами наедине. Послезавтра именины моего мужа. Приезжайте, и мы будем говорить наедине». — «Как же это будет, по-вашему? С вами надобно ухо держать востро: больно мастерица отлынивать. Ну, как будет свидание?» — «После обеда я поведу вас посмотреть наши комнаты,— и мы останемся в моей комнате одни».— «Так-то вы не отлыниваете? — сказал он. — Нашли дурака! Хорошо будет свидание! — В соседней комнате усадите гостей; да еще станет поминутно соваться горничная. Понимаем-с! — Выйдет: по усам текло, в рот не попало». Он храпел в бешенстве. Она испугалась. — «Чего же вы требуете?» — сказала она. — «Вот мое условие, государыня моя: после обеда поедем с вами в театр, в карете. Хотите, то прекрасно; не хотите, узнаете, каково играть со мною, точно с дураком». — Она согласилась.

Муж дожидался ее возвращения: сидел в халате у постели и читал.— «Исполнила мою просьбу, Нина?» — «Да,— отвечала она и отпустила горничную: — исполнила, Жак; но если бы ты знал, чего мне стоило это!» — «Чем труднее было исполнить, тем больше я благодарен тебе, Нина»,— отвечал он, сбрасывая халат, и лег.— «Выслушай меня, Жак!» — простонала она.— «У меня слипаются глаза, Нина. Оставим это».— «Нет, ты должен выслушать меня! — Я принуждена была обещать ему, что после обеда мы с ним поедем в театр, в карете!» — «Только-то, Нина? Что за пансионские страхи? Не завезет же он тебя в разбойничью пещеру. Поедете в нашей карете, не так ли? — Если б у него на уме и была какая-нибудь подлость, то рассуди, что кучер и лакей твои, будут слушать не его, а тебя. Поедете в театр и приедете прямо в театр. В его ложу, конечно; там его мать, разные кузины.— Что тут ужасного?» — Он зевнул и закрыл

глаза: — «Я очень благодарен тебе, Нина».— «Жак! Ты неумолим?» — Он молчал. Он притворился уснувшим.— «Жак, я должна предупредить тебя,— сказала она, дотронувшись до его руки.— Я предвидела, что не разжалоблю тебя, и приняла хоть ту предосторожность, что велела ему говорить, будто он приедет сюрпризом. Я сказала, что мы не можем сделать такого обеда, какой был бы необходим, если бы мы говорили, что ждем его».— «Это для меня все равно. Пожалуй, я не буду говорить, что жду его. Но что тебе так вздумалось, Нина?» — «Что сказали бы, если бы узнали, что он приехал по моему приглашению? Кто же не знает, что он может выслушивать желания женщины только тогда, когда она соглашается быть его любовницею?» — «В этом есть своя доля правды, и предосторожность твоя очень умна. Мне не пришло в голову. Хорошо: мы не ждем его.— Но вот что: наша скрытность может возбудить неудовольствие в Петре Степаныче. Другим, никому; но ему надобно сказать, Нина».— «Ему меньше, нежели кому-нибудь, Жак: я дорожу его уважением».— «Изволь, Нина; не будем говорить ему. Это каприз твой, не больше; но я так благодарен тебе, что соглашаюсь.— Петр Степаныч непременно рассердится и придумает бог знает какие подозрения. Но так или иначе, можно будет успокоить этого добряка. Да и не очень важно его неудовольствие, если заберем Чаплина в свои руки. Я чрезвычайно благодарен тебе, Нина»,— повторил он и в самом деле стал дремать.

Она видела себя обреченною, отданною в жертву Чаплину. Она не могла спать. К рассвету у нее стала возрождаться надежда: он согласился, что ее предосторожность не напрасна. Ему было бы неприятно, если бы все заговорили, что его жена — любовница Чаплина. Она заснула с решимостью возобновить свои мольбы.

Поутру она пошла в кабинет мужа и сказала: «Жак, терзай меня за мое прошлое преступление перед тобою, но терзай сам, не отдавай меня на поругание другому, не отдавай меня на поругание животному бездушному, бесстыдному, отвратительному».— «Ты фантазируешь, Нина,— отвечал он.— Терзать тебя? — Я не сделал тебе ни одного упрека за прошлое; я умею забывать ошибки, Нина, когда вижу искреннее желание загладить их в моей памяти; — когда вижу, Нина; до сих пор и видел; и все, что ты слышала от меня, было только: благодарю, ценю твои

услуги.— Ты несправедлива ко мне. Еще страннее твои слова о каком-то поругании. Я согласен, что услуга, о которой я прошу тебя, неприятна. Но ты сама знаешь, как велика наша общая с тобою выгода, если мы возьмем Чаплина под нашу власть. Я понимаю, просидеть четверть часа в карете с таким неопрятным и гадким человеком — довольно мучительно. Но что тут особенно ужасного? — Я не ребенок, Нина; я очень хорошо знаю, что женщина в подобном tête-à-tête[1] не подвергается никакой опасности, если не увлечется сама. Опасность может состоять только в том, если у женщины взволнуется кровь и она забудет осторожность. С ним ты не можешь испытать этого: он гадок. Чего ж тебе бояться.— Ты расфантазировалась и создала себе пустые страхи. Но повторяю: с тем, что это tête-à-tête очень неприятно, я совершенно согласен. Жалею об этой необходимости, Нина, искренне жалею. Но ты сама понимаешь, как важно для нас приобрести поддержку этого человека. Пококетничай с ним полгода,— быть может, меньше, и потом ты свободна третировать его, как он того заслуживает. Я требую от тебя немногого. Но требую твердо. Подобные разговоры неприятны; и для того, чтобы они не могли повторяться, я должен поставить вопрос ясно: если ты помогаешь моим планам, ты жена мне; если нет, то нет. Не принимай этого за угрозу. Я не хотел бы развода. Ты очень полезная помощница мне. Но я был принужден совершенно прямо высказать тебе, в чем состоит связь между нами. Если ты порвешь ее, мне будет очень жаль; но она будет порвана. О, нет, не бледней, не трепещи, Нина. Я сказал лишнее. Я уверен, между нами не будет ссоры. Ты не изменишь мне на последних шагах трудного пути, который ведет ко власти! Ты поможешь мне подняться,— ты взойдешь вместе со мною на высоту, где ни тебе, ни мне уже не будет надобности интриговать! И я горд, Нина, как ты,— быть может, гораздо более горд, нежели ты; и мне мучительно хитрить, льстить. Но что же делать? Потерпим, потерпим эту тяжелую необходимость еще немножко и скоро не будем иметь нужды ни в ком, не будем унижаться ни перед кем! — Я надеюсь на тебя, Нина; ты не изменишь мне».— Он поцеловал ее в лоб и ушел.

[1] Свидании наедине *(франц.)*.

Она не могла удержать его, потому что у нее темнело в глазах, она была близка к обмороку.— Да и какая польза была бы, если б она удержала его и продолжала свои мольбы?

С нею сделалась истерика. Его уже не было дома, он не слышал. Да если б и слышал и видел, какая была бы разница? — Он не поверил бы, подумал бы: «Играет комедию».— И если бы поверил, все равно: разве сжалился бы он?

Когда она собралась с мыслями, она поехала к Волгиной. Она думала сказать Чаплину, что Волгина приглашена Петром Степанычем и ее мужем против ее воли; что они нуждаются в Волгине, завязывают сношения с Волгиным через его жену; что она должна соблюдать величайшие церемонии с Волгиною, не может уехать от нее, не может намекнуть ей о надобности уехать от нее.— Она стала говорить ему это, лаская его; пока он не понимал, к чему ведет она, он слушал и верил, и был нежен; но как заикнулась она, что не может уехать от своей гостьи, он захрапел: — «А! Так вот к чему вы плели! Отлынивать! — Я вам сказал по-русски, что эти ваши нежности — не очень-то сытны для меня. Поедем в театр или нет?» — Она стала больше ласкаться к нему. Он храпел: «Да это мне что! Поедем ли мы в театр, или нет? — Нет, видно? — Ну, так хорошо же: я вам покажу, каково шутить со мною».— В бешенстве он оттолкнул ее руку и ушел.

Что будет теперь с нею? Муж заставит ее умилостивить это отвратительное животное... Она не хотела и начинать говорить об этом с Волгиною: она знала, что помощь невозможна. Волгина привела ее сюда. Волгина знает теперь ее позор, Волгина презирает ее...

— Посмотрим, что можно сделать,— сказала Волгина.

— О, не говорите с ним! Я знаю, как вы будете говорить! — Я знаю, потому и не хотела идти сюда с вами, не хотела рассказывать вам! Вы раздражите его против меня! Вы погубите меня! О, умоляю вас! — Она бросилась лицом в подушки и оттуда простонала: — О, умоляю вас, не губите меня!

Она должна была спрятать лицо в подушки, чтобы высказать эту позорную просьбу. О чем умоляла она? — Чтоб не мешали ей сделаться любовницею человека, на которого не могла смотреть без отвращения.

Сострадание боролось в Волгиной с негодованием. Волгина начинала чувствовать стеснение в груди, будто недоставало воздуху дышать. У нее было теперь одно желание: поскорее вырваться из этого жилища гнусностей, поскорее.

Савелова лежала, спрятавши лицо в подушки, и рыдала, твердя: — Пощадите меня! — Не губите меня! — Нельзя было, чтобы горничная увидела ее в таком унизительном отчаянии. Нельзя было позвонить. Волгина пошла сама найти кого-нибудь из прислуги, чтоб узнать, разъехались ли гости.

По залу ходил Савелов, сложивши руки на груди, склонивши голову. Но стан его был прям, походка ровная, твердая, как будто спокойного человека.

— Они разъехались, и я ждал вас. Терпеливо ждал, пока Нина выскажет вам все, в чем винит меня. Я не входил и в кабинет, чтобы не мешать ей. Надеюсь, и она не будет мешать мне,— твердо, будто хладнокровно сказал он, идя в гостиную и придвигая кресло к дивану, где садилась Волгина.— Мне хотелось бы говорить спокойно. Не знаю, буду ли я в состоянии. Меня сильно волнует судьба доклада, который повез Петр Степаныч к Чаплину.

— Вы совершенно рассеяли подозрения Петра Степаныча?

— Совершенно. И должен благодарить вас за то, что вы не отняли у меня возможности разуверить его. Вы приехали сюда моим врагом и все-таки не захотели выдать меня ему. Если бы вы сказали ему хоть одно слово, он потерял бы всякое доверие ко мне.

— Мне очень жаль, что я не могла сказать ему этого слова, не компрометируя вашу жену.— Жалею и о том, что ее волнение не дало мне теперь возможности посоветовать ей, чтоб она рассказала ему, в чем дело. Не думайте, что я ждала бы от него какой-нибудь помощи ей: нет, я очень вижу, что он не способен бороться с вами. Но ей самой тяжело притворяться перед человеком, который совершенно верит в ее дружбу. Да и мне неприятно было видеть, что обманывают добряка.— Я полагаю, и для вас эта надобность была очень неприятна? — Я думаю, вы не притворялись раздраженным, когда говорили ему, что подадите в отставку, если не раскроется интрига, устроенная вашим врагом,— я думаю, вы действительно

были раздражен необходимостью прибегать к обману? Вероятно, досада, в которой уехал Чаплин, также помогла вам окончательно рассеять сомнения Петра Степаныча? — Конечно, вы должны были предупредить Петра Степаныча, что Чаплин может заупрямиться подписать доклад,— и, вероятно, вы объяснили досаду Чаплина тем разговором, который имела с ним ваша жена в своей комнате? — Вероятно, вы сказали, что она увела его с целью намекнуть, что его приезд сюрпризом хоть и делает вам очень много чести, но подвергал вас неприятностям с Петром Степанычем,— и что Чаплин рассердился на этот намек? — Или я ошибаюсь — вы не догадались растолковать ему так? — Monsieur Савелов, я верю словам, которые вы сказали вашей жене: вам тяжело унижаться до интриги, до обмана. У вас гордый, повелительный характер. Вы сказали вашей жене, что жалеете об унижении, которому необходимо ей подвергаться. Я скажу вам: если бы у меня было более снисходительности — я жалела бы о вас.

— Я не жду от вас снисходительности. Сначала я был обманут словами Петра Степаныча, что он просит пригласить вас. Но с той минуты, как он приехал и было сказано, что обед не готов, я понял: жена уговорила его обмануть меня, вы приехали быть моим врагом. Я прочел на вашем лице: вы не поверили, что обед не готов.

— Читать на моем лице нетрудно: я могу молчать, но выражение моего лица не повинуется моей воле.— Да, в эту минуту я узнала, что вы ждете еще кого-то.

— Не в первый раз вы расстраиваете мои планы. Тогда вы надолго отняли у меня оружие. И теперь, если бы ваше присутствие не импонировало моей жене, она не решилась бы изменить своему условию с Чаплиным.— Но я надеюсь, хоть вы и враг мой, ваше влияние на мою жену будет в результате полезно для меня и теперь, как тогда. Это потому, что, если вы и не расположена ко мне, вы расположена к ней; а ее и мои выгоды — одни и те же. Ваши советы ей и теперь будут в мою пользу, как тогда.

— Как тогда? — Вы полагаете, что я советовала ей бросить Нивельзина? — Напрасно. Я почти принуждала ее бросить вас и уехать с ним за границу. Если она осталась жить с вами, это ее собственная, вероятно, заслуга в ваших глазах,— слабость в моих. Вы видите из этого,

моя сила над ней не так велика, как вы думали.— Может быть, это уменьшает вашу охоту продолжать наш разговор? — Я не имела бы ничего против вашего желания прекратить его.— Впрочем, вам очень может показаться, что я только пугаю вас этими словами. Вы можете понимать их даже в смысле, что я совершенно уверена в повиновении вашей жены моим советам.— Нет, не думайте так. Мои слова надобно всегда понимать в прямом их смысле. Я почти уверена, что ваша жена и теперь не послушается моих советов, как тогда.— Я еще не давала их ей, потому что она не спрашивала их. Она была так расстроена, что не могла спрашивать. Но если вы не будете держать ее под замком, то, вероятно, спросит, потому что ее состояние чрезвычайно мучительно. Тогда я дам их. В чем они будут состоять, я не обязана говорить вам. И если бы хотела, то еще не могла бы сказать: надобно будет видеть, каково будет настроение ее мыслей, когда она хорошенько обдумает свое положение. Кроме того, надобно мне знать и ваши мысли. Действительно ли вы хотите продать Чаплину вашу жену? — Она уверена в этом; но что скажете вы сам?

Савелов вскочил. Он не мог говорить. Губы его дрожали, он весь дрожал.

— Если точно, хотите продать, я посоветовала бы вам прежде получить от Чаплина все, чем он должен вознаградить вас. Если сначала отдадите жену, потом станете просить платы, он прогонит вас, посмеявшись вашей глупости.

— Вы злоупотребляете правом женщины оскорблять безнаказанно,— проговорил он, падая в кресло.— Я не могу потребовать у вас отчета за ваши слова!

— Не можете потребовать у меня, отправьтесь к моему мужу и потребуйте у него: он вам даст отчет! — Расскажите ему, как я оскорбила вас,— и получите отчет! — Да, мои слова не довольно сильны и грубы, я женщина; мужчина должен объяснить вам, какого имени заслуживаете вы.— Отправьтесь к моему мужу, он удовлетворительнее, нежели я, поговорит с вами.— Глупец, вы смеете оскорбляться, когда должны умолять меня, чтобы я молчала даже перед моим мужем о том, что́ узнала от вашей жены! — Я оскорбила вас! Прощайте.— Мой муж пришлет вам отчет,— мой муж будет обязан позаботиться, чтоб общество узнало, как я виновата перед вами. Я жен-

щина, я не могу говорить о ваших делах, как надобно для вас. Он может. Вы будете довольны.

— Останьтесь, прошу вас! — Он схватил ее за руку.— Вы не слышали моего оправдания. Я не имел той гнусной мысли, которую приписывает мне жена.

— Разве стала бы я и говорить с вами, если бы не была уверена, что вы не хотели продать ее? — Я только потому и стала говорить, что вы сам не понимаете, что вы делаете. Жалкий человек, вы только ослеплены вашим честолюбием,— это ясно, вы злодей только потому, что вы слеп. Вы говорили мне, что вы и мой муж идете по разным дорогам. К чему приведет моего мужа его дорога, все равно: он видит и не пожалеет, что шел ею. К чему приведет вас ваша дорога, вы не видите, я скажу вам: вы погибнете, проклинаемый честными людьми, осмеянный бесчестными. Это потому, что вы хотите быть бесчестен только наполовину; люди, вполне бесчестные, пользуются услугами таких глупцов и потом прогоняют их с заслуженным позором. Так предсказывает о вас мой муж, и я вижу теперь: он не ошибается: вы уже начинаете запутываться в интригах, которые строите. Но я здесь не для того, чтобы убеждать вас — стать честным. Я здесь не для вас. Я увидела несчастную женщину, и я здесь только по ее просьбе, только для нее. Смотрите, как вы запутались в обмане, участвовать в котором принуждаете ее. Она говорит вам, что надобно скрывать ото всех то, что Чаплин согласился приехать по ее просьбе. Вы думаете: это каприз; она только хочет запугать; он может ездить, и ее репутация не пострадает. Так вы думаете? — В этом ваше оправдание? Она говорит, что ваши требования принуждают ее сделаться любовницею Чаплина. Вы думаете: вздор, она притворяется, запугивает; ей только неприятно кокетничать с таким непривлекательным человеком.— Так вы думаете? В этом ваше оправдание? О, вы прав: вы только жалкий, слепой интригант. И чего же добиваетесь вы? Вы можете рассудить, если захотите. Вот вы уже добились того, что Чаплин озлобился. Чем больше она будет завлекать его, тем сильнее будет его мщение за обман. Или вы добьетесь до того, что обмана не будет, что она отдастся ему. Не говорю, что все честные люди будут тогда плевать в глаза вам,— пусть, это не важность для вас. Но подумайте о том, что вы заставляете ее ненавидеть вас.

И если она отдастся Чаплину, какое будет первое приказание от нее ему? — Она потребует, чтоб он стер вас с лица земли.— Может быть, вам угодно получить отчет в моих словах? Отправьтесь к моему мужу. Он даст вам отчет в них. Я женщина; я не хочу больше говорить о ваших гадких делах. Одно я говорю вам: продолжайте, продолжайте, и она очень скоро увидит, что от нее зависит: оставаться ли вашею женою, или сделаться графинею Чаплиною. Какой выбор сделает она, не знаю; я не посоветовала бы ей ни того, ни другого. Но я уже сказала вам, что она не очень слушается моих советов. Одно я посоветую ей,— и этим советом она воспользуется, ручаюсь вам: я скажу ей, что она может хохотать над вашими угрозами. Правда ли, может? Вы согласен, ваши угрозы нелепы? Вам ли теперь пугать ее? — Вы могли бы, укравши письма Нивельзина,— если бы не говорили ей о Чаплине. А теперь,— теперь вы должны бояться ее. Почему? — Я женщина и не даю отчета в моих словах;— если он нужен вам, мой муж даст его.— О, жалкий глупец! Смотрите, до чего вы уже довели себя! — Каким тоном я говорю с вами, и вы не смеете слова сказать против меня! — Вы прекрасно начали вашу мастерскую интригу,— продолжайте, продолжайте, полубесчестный человек! — Я не хотела ничего говорить вашей жене, не высказавши вам этих любезностей: не хотела сказать ей даже и того, что буду ждать ее к себе завтра поутру. Потрудитесь передать ей это. Если она не приедет, я буду знать, что мои любезности не были достаточно сильны и что вам нужен отчет в них. Прощайте.

Она встала. Он пошел за нею.

— Ваши слова...

— Я не просила вас отвечать. Если не ошибаюсь, я не подала вам повода думать, что мне приятно слушать вас. Молчать! — Прощайте.

---

Волгина ушла, не услышав ответа Савелова, потому что слишком негодовала. Но и возвратившись домой и сделавшись хладнокровною, она не имела причины жалеть, что не позволила ему отвечать. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что он совершенно отказался от желания, чтобы его жена продолжала завлекать

Чаплина. И если Волгина хотела видеть Савелову еще раз, то вовсе не для того, чтобы удостовериться в покорности Савелова, а только для того, чтобы внушить ей смелость на будущее время, на случай других столкновений.

---

Следующий день был днем, в который петербургские либералы собирались у своего предводителя. Нивельзин, все еще продолжавший благоговеть перед Рязанцевым, не пропускал ни одного из этих еженедельных собраний. Поехал и в тот раз.

Комнаты были набиты гостями, по обыкновению. Но хозяина не было. Рязанцева объясняла новоприбывающим, куда и зачем уехал ее муж.

Вчера были именины Савелова. Рязанцев заехал поутру поздравить его. Савелов сказал, что крестьянское дело двигается наконец решительным образом, и дал прочесть черновую доклада об основаниях, на которых будут освобождены крестьяне. За обедом доклад будет подписан Петром Степанычем, вечером будет подписан Чаплиным, и на следующий день к вечеру доклад будет прочтен в собрании, которое решит, принять или нет принципы, предлагаемые Чаплиным и Петром Степанычем,— на следующий день, то есть ныне, Рязанцев поехал к Савелову узнать, чем решен вопрос.

Гости нетерпеливо ждали, какое известие привезет Рязанцев.

Чаплин очень силен, это правда; но в целом собрании он единственный решительный партизан либеральных принципов освобождения, выработанных Савеловым и принятых Петром Степанычем. Голос Петра Степаныча не имеет большой силы. Вся надежда на Чаплина. Он сильнее каждого из остальных членов поодиночке. Но их много, он один. Поодиночке каждый из них побоялся бы вступить в борьбу с ним. Все вместе они могут не побояться. Могут. И если отважатся, дело погибло.

— Пусть отважатся,— сказал Соколовский; он теперь был уже дружен с Рязанцевыми: — Пусть отважатся. Большинство будет против доклада. Но дело будет решено не по мнению большинства, а по мнению Чаплина.

Нивельзин и некоторые другие согласились. Но таких было мало. Почти все говорили: — «Нет; вы слишком уве-

рены в успехе. Правда, Чаплин очень силен, но все-таки, победа сомнительна».

Наконец возвратился Рязанцев. По одному взгляду на его печальное лицо все увидели, что он привез очень дурные новости.

Чаплин изменил делу свободы. Дело свободы погибло.

Прошло несколько времени, прежде нежели Рязанцев мог продолжать: так сильно было волнение, произведенное этими словами. Все кричали, все спрашивали: «Как? Изменил?» — «Не может быть! Неужели изменил?» — «Все погибло, говорите вы? — Нет надежды?» И все сами же себе отвечали, восклицая: — «Этот Чаплин притворялся! Он не мог сочувствовать свободе!» — «Все погибло». Один Соколовский, сложивши руки на груди, сдвинувши брови, сверкая глазами, молчал. Давши пройти первому взрыву изумления и отчаяния, он сказал громовым голосом: — «Выслушаем подробности; тогда будем судить. Господа, хладнокровие и молчание!»

Все погибло. Рязанцев видел у Савелова самого Петра Степаныча.

Вчера Чаплин приехал на обед к Савелову. Ни Савелов, ни тем больше Петр Степаныч не могли объяснить себе, как это случилось: как узнал Чаплин, что Савелов именинник, что у Ставелова обед; как вздумал оказать ему такое лестное внимание, такую милость. Но они уже догадывались, что тут есть какая-нибудь интрига. Теперь Петр Степаныч прочел объяснение загадки на лице одного из мелких членов собрания, в котором решалась судьба доклада; этот человек смертельный враг Петра Степаныча и заклятый реакционер. Но делец и хитрец. Он подучил Чаплина приехать к Савелову. Петр Степаныч убежден в этом. И Савелов согласился, что, вероятно, так. Чаплин приезжал, чтобы предложить Савелову должность Петра Степаныча, если Савелов согласится действовать в духе реакции. Петр Степаныч понял это из намеков Чаплина, что Савелов мог бы составить себе счастие, если бы не был злодей и бунтовщик.— Чаплин формально говорил в собрании, что доклад, представленный Петром Степанычем,— дело бунтовщика, революционера, что он, Чаплин, убедился вчера, какой злодей тот человек, внушениям которого следует Петр Степаныч; — невозможно было не понять, что вчера Савелов

отверг предложения, с которыми приезжал Чаплин.— Савелов сначала молчал на эти слова Петра Степаныча, потом признался, что, действительно, отказался вчера от предложений Чаплина. Пока Петр Степаныч сам не узнал, в чем дело, он не мог говорить; но теперь должен сказать: все так.

Конечно, Савелов не ставит в заслугу себе того, что отверг предложения Чаплина. Какая тут заслуга? — Он не мог покрыть позором свое имя. И Рязанцев не ставит ему этого в заслугу. Можно ли считать заслугою то, когда честный человек отказывается стать негодяем? — Это его обязанность, не больше.

Еще не зная, какой разговор был между Савеловым и Чаплиным,— не подозревая, что Чаплин уехал с обеда раздраженный Савеловым, Петр Степаныч повез к нему доклад.— Чаплин выслал сказать, что не может выйти к нему и не может подписать доклада. Тут Петр Степаныч понял, что Чаплин, вероятно, раздражен чем-нибудь.— Возвратившись домой от Чаплина, который так и не принял его, Петр Степаныч послал за Савеловым. Они просидели вместе до поздней ночи, обдумывая, как вести борьбу, когда явился новый враг, сильнее всех прежних,— враг, бывший союзником их. У них было теперь мало надежды на успех, но они хотели бороться до последних сил.

Так и теперь. Они будут бороться, хоть уже вовсе потеряли надежду. Петр Степаныч теперь один против всех,— обвиняемый всеми в том, что хочет сделать освобождение крестьян средством к низвержению всего существующего порядка, всех учреждений,— произвести революцию,— что он или орудие республиканцев, или сам республиканец.

Чаплин провозгласил это обвинение. За ним стали кричать то же все.

Дело свободы погибло.

Все видели, оно погибло.

Один Соколовский говорил, что оно не может погибнуть. Благородная, но нелепая надежда.

Так рассказывал Нивельзин Волгину, приехавши прямо от Рязанцева, в час ночи, затем, чтобы рассказать.

— Очень благодарен вам, Павел Михайлыч,— сказал Волгин,— разумеется, любопытная штука; и тем курьезнее, что совершенно неожиданная.— Волгина не сказала

мужу ни слова о том, что́ слышала и говорила она у Савеловых, ни о том, что говорила с Савеловою поутру; измена Чаплина была такою же новостью для Волгина, как для Нивельзина и Рязанцева.— Да, любопытная штука,— повторил он, по своему обыкновению, помолчавши.— И если хотите, согласен, что в ней нет ничего особенно хорошего; можно даже сказать, что есть в вашей новости одна черта, очень мерзкая,— или, если угодно, печальная: все у Рязанцева повесили носы, вы говорите. То-то же и есть, видите, какой народ эти ваши господа либералы: как щелкнули их по носу, они и повесили его. Приятная компания. Но опять и то сказать: это было давно известно, какой они народ. Стало быть, нет ничего особенного.— Я вам говорил, что один Соколовский — как следует — человек; имеет свои странности, может ошибаться, но человек, а не черт знает что. Так оно и выходит. Горячится по-пустому, положим, но человек. Поцелуйте его от меня, когда увидите.

— И привезти? — сказал Нивельзин, уже привыкший к рассуждениям Волгина о русском либерализме и потому оставлявший их без возражений, когда было не время подымать спор, как и теперь действительно было пора думать о сне, а не о спорах.

— Привезти? — То есть Соколовского? — размыслил Волгин.— Оно, пожалуй; — отчего же нет? — А впрочем, незачем. Стало быть, лучше я попрошу вас: не привозите. Гораздо лучше. Незачем.

---

Никогда не теряя свойства быть основательным, Волгин недоумевал, как объяснить странный поступок громадного мужика, по всей вероятности дворника, мимо которого шел по улице. Мужик стучал железным заступом по тротуару,— в этом не было ничего непонятного: он очищал тротуар от гололедицы. Волгин шел себе мимо, не обращая внимания на такое обыкновенное дело. Но когда поравнялся с мужиком — этот геркулес положил ему руку на плечо. Что за чудо? — Геркулес был совершенно незнакомый, был трезвый, смотрел безобидно; с какой стати ему вздумалось выкидывать такую штуку с прохожим, да еще и одетым по-благородному? — размышлял остановленный наложением его ручищи Волгин; — ручища налегала на плечо все тяжеле и тяжеле,

так что Волгину стало трудно выдерживать непонятную любезность или шутку,— он повернул плечо, раскрыл глаза и увидел, что перед ним стоит Соколовский. Стуканье заступа оказалось бряканьем сабли Соколовского по полу; Волгин спал крепко, и Соколовский трогал его плечо, чтобы добудиться.

— Вы не слышали, что произошло вчера? Чаплин перешел на сторону крепостников, доклад об условиях освобождения крестьян, составленный на демократических основаниях...

— Отвергнут? Знаю, Болеслав Иваныч; Нивельзин заезжал ко мне от Рязанцева.

— Что вы думаете делать?

— Думаю, что когда уже вы разбудили меня, то сон делю пропащее; думаю, надо встать.— Очень рад, Болеслав Иваныч, очень рад, сделайте одолжение, садитесь.— Ну, что́, видно, по-вашему, надобно делать что-нибудь?

— Вам надобно написать адрес; садитесь, пишите.

— Адрес? — Волгин хотел залиться руладою, но посовестился смеяться над честностью энергического человека; а главное, подумал, что Лидия Васильевна, вероятно, еще спит: — Адрес? — повторил он, удержав свою остроумную веселость.— Да почему же писать адрес должен я? — Ближе бы Рязанцеву.

— Пишите, пожалуйста; вы понимаете, в подобных делах время дорого.

— Дорого, согласен; вы и предложили бы Рязанцеву, вчера же.

— Предложил бы, разумеется. Но видел, что бесполезно.

Видно было, что Рязанцев не решится? — Кто же смелее его? — Там были десятки людей, все записные прогрессисты. Почему никто не заговорил, что надобно поддержать Петра Степаныча и Савелова? — Видно, все они умеют только вешать носы и хныкать. Почему сам Соколовский не высказал там свою мысль? — Видно, чувствовал, что не найдет сочувствия. Кто же станет подписывать адрес? — Делать эту пробу — значит только обнаружить реакционерам, что в либеральной партии почти вовсе нет смелых людей.

Соколовский принужден был замолчать: беспомощное уныние либералов у Рязанцева было фактом слишком убедительным. Соколовский еще мало сжился с петер-

бургским обществом, имел надежду, что есть круги более решительных людей, чем какой собирается у Рязанцева. Услышав, что нет, сознался в невозможности адреса.

Тогда Волгин пошел дальше. Мало того, что адрес остался бы без подписей. Вопрос не стоит того, чтобы хлопотать. Пусть Петр Степаныч и Савелов будут прогнаны; пусть дело об освобождении крестьян будет передано в руки людям помещичьей партии. Разница не велика.

С этим Соколовский не мог согласиться.— Из-за чего идет борьба между прогрессистами и помещичьею партиею? — Из-за того, с землею или без земли освободить крестьян. Это колоссальная разница.

— Нет, не колоссальная, а ничтожная,— находил Волгин.— Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее — это все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек,— вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее: это будет только разорять их. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли.

— Я не ждал услышать от вас это,— сказал Соколовский.— Вы говорите, как человек помещичьей партии.

— Вопрос поставлен так,— вяло отвечал Волгин.— Потому я и не интересуюсь им.

— Чего же вы хотели бы? Освобождения с землею без выкупа? — Это невозможно.

— Я и говорю: вопрос поставлен так, что я не нахожу причины горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их — либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше.

Он ожидал, что Соколовский осыплет его упреками за непрактичность, за апатию. Но Соколовский молчал, задумавшись.

— Это ваше последнее, решительное слово? — сказал он после долгого раздумья.— Значит, вы не захотели бы давать советов Савелову?

— Натурально; для меня все равно, прогонят ли его, или нет; даже лучше бы, если бы прогнали.

— Спорить с вами некогда: время дорого. Не могу послать вас к нему, поеду сам.— Вчера я остался у Рязанцева, когда другие разъехались, и спросил, как думает вести борьбу Савелов. Он думает только о рутинных, канцелярских средствах: писать новые доклады канцелярским жаргоном, вялым, непонятным; действовать, по канцелярскому порядку, через Петра Степаныча. Нужно живое слово, и должен говорить он сам. Какой же оратор Петр Степаныч? — Сам Савелов должен просить аудиенции и пусть говорит на ней честно, всю правду, без утайки.— Без рекомендации он мог бы не принять меня. Дайте мне записку к нему.

Волгин не нашел причины отговариваться незнакомством. Савелов говорил Лидии Васильевне, что уважает его. Вероятно, не захочет пренебречь его рекомендацией.— Он написал, отдал записку, в которой говорил, между прочим, что Савелов не должен обращать внимания на резкость манер и пылкость тона Соколовского; этот человек только на первый взгляд кажется экзальтированным; в сущности он очень холодно и здраво смотрит на вещи.

— Вы понимаете, почему я не мог просить рекомендации у Рязанцева,— сказал Соколовский.— Это прекрасный человек, но слишком наивный; он разболтал бы; а никто не должен знать, что Савелов действовал по чужому совету, только на этом условии он может принять его.

— Инструкция мне, чтобы я не разболтал? — О, дипломат! — сказал Волгин и сделал небольшую руладу в поощрение своему остроумию, потому что нашел свое замечание остроумным.

---

Дня три либеральные люди в Петербурге ходили повесив носы. На четвертый прочли в газетах, что генерал-адъютант граф Чаплин увольняется в отпуск за границу. Не было даже прибавлено смягчения «по болезни» или «для поправления здоровья». Опала была открытая, полная.— Либеральные люди протирали глаза и перечитывали: так ли прочли. Так. Они задрали носы и пошли по Петербургу победителями, завоевателями.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По поручению Волгиной Нивельзин принял все возможные меры для того, чтоб официальные розыски о Левицком шли деятельно. Но и сам искал его неутомимо. Конечно, главным мотивом тут было усердие исполнить желание Волгиной. Но и сам по себе Нивельзин глубоко заинтересовался молодым человеком, о котором с безусловным уважением говорил Волгин, презрительно отзывавшийся обо всех знаменитостях домашнего русского либерализма.

К вечеру первого дня поисков Нивельзина уже не оставалось никакого сомнения в том, что Левицкий приехал в Петербург и лежит больной. Нивельзин отыскал людей, которые сидели в одном вагоне с ним. Он был бледен, жаловался на жар и дрожь во всем теле, на боль в голове. Его сосед заботился о нем. Сосед был старик-купец, говоривший, что пробудет в Петербурге дня два, много три. Он взял Левицкого с собою. Это было назад тому пять дней. Вероятно, купец уже уехал. Вероятно, Левицкий лежит, предоставленный на волю судьбы. Тем больше надобно было заботиться поскорее отыскать его. Нивельзин разослал несколько человек объезжать всяческие больницы, гостиницы и постоялые дворы; ездил и сам.

В этих поисках, остававшихся все еще напрасными, прошло два дня. Поутру на третий один из агентов Нивельзина нашел Левицкого в маленькой, душной и сырой комнате дрянного постоялого двора. Левицкий лежал без памяти. Никому на постоялом дворе не было охоты особенно заботиться о нем. Впрочем — хозяин не сбыл его в больницу, потому что у больного было портмоне с несколькими стами рублей, переданное хозяину купцом. Хозяин даже призывал раза два какого-то фельдшера. Фельдшер дал какую-то микстуру. Микстура стояла на столе, полный пузырек, как был принесен: больной лежал без памяти, как давать ему лекарство?

Понятно было, почему полиция не получала сведений о Левицком: хозяин опасался, что она отнимет выгодного постояльца в больницу. Он даже побранил служанку, не догадавшуюся или посовестившуюся скрыть больного. Хозяин был человек опытный и бойкий, он не остался бы в убытке, хоть бы полиция и привязывалась к нему в случае смерти Левицкого.

Нивельзин съездил за знакомым хорошим медиком и привез его к Левицкому. Погода была ужасная, состояние больного очень тяжелое. Медик нашел, что нельзя перевозить его. Но, разумеется, не оказалось затруднений устроить тут же хорошее помещение; хозяин уступил свой зал.

---

Услышав от Соколовского эту новость, Илатонцев хотел тотчас же ехать сам заботиться о Левицком. Соколовский справедливо сказал, что это лишнее: Нивельзин уже распорядился всем как только можно лучше; и пока Левицкий остается без памяти, то нуждается в визитах только медика.

Но Волгин каждый день приезжал сидеть в комнате больного и ждать медика. Он считал себя виноватым в болезни Левицкого: так или иначе, эта болезнь связана с отношениями Левицкого к Илатонцевым, связана если не чем другим, то уже и тем самым, что Левицкий или занемог в деревне у них, или на дороге оттуда.— Вообще Волгин был человек мнительный и часто выдумывал сам по себе фантастические упреки. Но в этом случае его раскаяние имело больше здравого смысла, нежели казалось Нивельзину, который говорил: «Да разве вы посылали его на какую-нибудь опасность, уговаривая отправиться прожить в деревне, отдохнуть? — Если он встретил там неприятности или беды, подготовившие эту болезнь, это дело случая, которого вы не могли предвидеть. Все, по-видимому, обещало, что жизнь у Илатонцевых будет хороша для него и спокойна».— «Оно, конечно, так,— отвечал Волгин.— Само собою, я виню себя понапрасну».— Но он отвечал это лишь потому, что не любил говорить о своих чувствах.— По его мнению, ошибка его состояла в том, что он уговорил Левицкого жить без дела. Ему казалось тогда, что у Левицкого такой же флегматический характер, как у него самого; он вспоминал, как мирно лежал он, почитывая книги, пока не пришла надобность работать. Ему казалось, что и Левицкий будет так же спокойно лежать и зевать, или ходить и зевать — или слегка дурачиться и зевать в деревне. Теперь ему воображалось, будто он был обманут холодною наружностью Левицкого; что это человек с сильными страстями, с жаждою жизни и деятельности;

что не давать занятия такому человеку было подвергать его опасностям увлечений.— Сам по себе Волгин, вероятно, не заметил бы своей ошибки относительно характера Левицкого. Но услышал от жены, что это должен быть человек с очень сильною волею и с привычкою скрывать свои волнения, сохранять спокойный, холодный вид, что́ бы ни делалось у него на душе.— Как услышал это, Волгин тотчас постиг, что оно и действительно должно быть так: он уехал от Илатонцевых по какому-то сильному огорчению или раздражению, это было несомненно; а между тем Илатонцевы не заметили ничего; ясно, что флегматический вид его обманчив. Постигнув это, Волгин, по своей необычайной способности к основательным соображениям, без труда размыслил, что оставаться без дела — великая опасность для молодого человека с сильными страстями; и что в чем бы ни состояло огорчение, результатом которого, так или иначе, вышла эта болезнь, первою причиною беды было то, что Левицкий был оставлен без дела.

---

Несколько дней медик говорил Волгину, что не отвечает за жизнь больного. Причиною болезни, по словам медика, была простуда. Волгину немудрено было понимать, как подвергся ей Левицкий в дороге. Вырвавшись от Илатонцевых один в экипаже или на почтовой телеге, Левицкий, вероятно, дал, наконец, волю долго сдерживаемому чувству — отчаяния ли, раздражения ли — и забыл о холоде и ненастье поздней осени.— Потом, все в том же забытьи, пренебрег первыми симптомами болезни и дал развиться ей, безостановочно продолжая путь.— А потом столько дней пролежал безо всякой помощи.

— Но,— говорил медик,— быть может, то было еще к лучшему, что корыстолюбивый хозяин не известил полицию о своем выгодном постояльце: попади Левицкий в больницу, наверное бы он умер. Теперь надежда еще не потеряна.— Только надежда еще не потеряна,— говорил медик несколько дней. Наконец, сказал: — Опасность миновала.

---

Это было сказано поутру, вечером приехал Соколовский, привез с собою мужчину лет сорока двух-трех, одетого хорошо, но скромно, и рекомендовал его Волгину как Виктора Львовича Илатонцева.

— Знает ли Алексей Иваныч великую новость? — начал Илатонцев, спросив о Левицком и с очень теплым, совершенно родственным чувством порадовавшись хорошему обороту его болезни.— Знает ли Алексей Иваныч великую новость, которая будет обнародована завтра?

Волгин еще ничего не слышал; — вероятно, освобождение крестьян?

— Да,— отвечал Илатонцев.— Соколовский вынул печатный лист и подал Волгину.— Завтра эта бумага будет обнародована.— Илатонцев попросил Волгина прочесть ее.— Волгин пробежал глазами и увидел, что принципы освобождения более либеральны, нежели он ждал. Савелов воспользовался своею решительною победою над помещичьею партиею — воспользовался мастерски.

— Все зависит от того, в каком духе будут применены эти принципы,— сказал Илатонцев.— А характер применения очень много будет зависеть от того, как будет держать себя дворянство.

— Правда,— согласился Волгин.

— Болеслав Иваныч привез мне эту бумагу, даже я еще не знал, что она уже печатается,— и справедливо сказал, что надобно ковать железо, пока оно горячо,— надобно воспользоваться первым сильным потрясением, какое произведет она,— воспользоваться первым испугом моей братьи, помещиков, увлечь и приковать их к либеральной программе, пока они еще не опомнились, не одумались, не успели даже поговорить между собою.— Послезавтра у меня обед, на котором я прошу быть и вас.

Соколовский молчал, давая ему говорить. Он говорил связно, дельно. Конечно, план принадлежал Соколовскому,— Илатонцев и не скрывал этого,— но было надобно отдать справедливость и ему, как человеку неглупому, способному понять гениальную мысль,— действительно, гениальную: план, составленный Соколовским, заслуживал такого названия, по мнению Волгина, не слишком щедрого на слово «гениальный».

Взять штурмом слово и подпись самых первых вельмож было бы невозможно. Они слишком близко знают все закулисные тайны; да и привыкли держать себя дипломатически, выжидать, лавировать; пожалуй, заупрямились бы и по обиженному тщеславию, если бы посадить их за один стол со второстепенными аристократами.

Этих слишком высоких магнатов надобно оставить в стороне. И не будет большой потери от этого. Дело будет решаться по губерниям, провинциальным дворянством. Они держали себя далеко от него,— жили почти исключительно в Петербурге или за границею; когда и случалось иным живать иногда в деревнях, почти все они только обижали местное дворянство своим высокомерием. Они не имеют влияния на него. Влияние принадлежит второстепенной, провинциальной, а не столичной аристократии, владельцам только тысяч, а не десятков тысяч душ. Эти люди будут ворочать делом в губернских собраниях. На них и надобно налечь. Кроме них, внимания заслуживают только образованные, умные и честные помещики,— но о них нечего заботиться; они и сами на стороне крестьян; чем благороднее будет программа, тем радостнее они примут ее, тем усерднее будут защищать. Надобно только штурмом покорить провинциальных магнатов.

Как всегда во время зимнего сезона, их много теперь в Петербурге. В нынешнюю зиму даже больше обыкновенного, потому что многие нарочно приехали следить за ходом крестьянского дела.— Надобно созвать их на обед. Они приедут, не предугадывая ничего, только все ошеломленные новостью, которая разразится над ними завтра. В одни сутки они еще не успеют ничего сообразить, будут все еще только дрожать.

За обедом хозяин скажет о том, что дворянству надобно согласиться, как держать себя в деле, которое провозглашено, и попросит Рязанцева изложить свой взгляд. За речью Рязанцева начинается роль Волгина. Рязанцев не враг дворянства, только друг крестьян. Волгин идет гораздо дальше его, не правда ли?

Волгин сказал, что правда.

После того что будет говорить Волгин, взгляд Рязанцева будет представляться очень умеренным, не правда ли?

Волгин сказал, что это совершенная правда, и остроумно прибавил, что позволительно сомневаться в других его достоинствах, но если хотят его показать как пугало, ошибки не будет: пугало он очень хорошее: все побегут от него и упадут в распростертые объятия Рязанцева.

После обеда Рязанцев станет читать программу. Конечно, Волгин будет находить почти каждый параграф слишком выгодным для помещиков. Благодаря его

возражениям программа будет нравиться, одобряться, будет подписана всеми. С подписями влиятельнейших помещиков почти изо всех губерний она будет немедленно разослана повсюду. Повсюду дворянство будет нахлопнуто ею врасплох: нигде еще ничего не обдумали, не успели даже переговорить между собою,— и вдруг им дается в руки программа, принятая, рекомендуемая предводителями, представителями помещиков целого государства: какое возможно сопротивление? Не будет и колебания, повсюду все примкнут к программе, единственной, и предлагаемой помещикам каждого уезда от имени всего русского дворянства. Не правда ли, успех и верен и громаден.

Волгин сказал, что штука придумана ловко. Правда, он от чистой души будет доказывать, что программа слишком выгодна для помещиков,— положим, он не читал проекта, из которого она будет извлечена, потому что ему некогда читать всякий вздор без надобности; но по разговорам с автором имеет достаточное понятие об основаниях этой будущей всероссийской программы. Она будет очень плоха с его точки зрения. Но что нечего и толковать: когда нужно согласие помещиков, то провести ее было бы величайшим успехом, о каком только возможно мечтать. Штука ловкая, повторил он и с неистощимым своим остроумием заметил, что дело походит на то, как поступают калмыки и киргизы, когда хотят загнать к себе чужой табун: садятся на здоровенных жеребцов, хлещут их нагайками, мчатся на табун, гикнут, гаркнут, промчатся сквозь ошалевших животных и скачут своею дорогою,— весь табун несется вслед куда угодно,— точно, он слыхивал, что эта штука всегда удается,— согласился он и наградил себя за остроумное сравнение обычною одобрительною руладою.

---

В тот вечер Волгин был так добр от радости верной надежды на выздоровление Левицкого, что не мог бы, кажется, огорчить никого никаким противоречием; если б его позвали играть на скрипке, он и то, кажется, сказал бы: «Извольте, буду, хоть никогда не пробовал».

Он не умеет сказать наверное, принял ли бы приглашение Илатонцева, если бы находился в обыкновенном расположении духа. Но, вероятно, все-таки принял бы.

Ежеминутно делая глупости, он справедливо не считал важною разницею сделать одною больше или меньше: — «Э, все равно!» — основательно решал он, когда кто навязывал ему участие в такой нелепости, какой не вздумал бы он сочинить сам по себе.— «Э, все равно!» — думал он и сознательно шел остаться в дураках вместе с другими. Разумеется, это представляло и некоторую приятность, для разнообразия, чтоб не всегда же быть глупцом без собственной охоты и в одиночку.

Такими размышлениями он оправдывал себя, украшаясь в давно, давно не надеванный фрак, чтобы ехать на обед к Илатонцеву.

---

Следовало ли бы ему придумывать эти размышления? Была ли ему надобность оправдывать себя? Должно ли считать глупостью дело, затеянное Соколовским? — Углубляясь в основательные соображения в безмятежной и твердой позиции у одного из дальних окон салона, поглощавшего десятки гостей и все-таки остававшегося малолюдным, Волгин справедливо находил, что излишняя мнительность тоже своего рода глупость; полагал также, что умный человек на его месте едва ли сомневался бы в успехе благородного замысла Соколовского.

Волгин мог безмятежно соображать, удобно и твердо прислонившись к вырезке стены у дальнего окна: Соколовский помогал хозяину принимать и пристраивать гостей; Рязанцев очаровывал их, находя сказать каждому что-нибудь милое: Рязанцев создан был очаровывать невинных; грациозный и важный, живой и солидный, он всегда сиял добродушием и умом, любезностью и чувством своего значения в двигании русского прогресса. Он толковал, что он сам помещик, открывал общих друзей у себя с каждым, вклеивал науку и дух века, осыпал длинными, мудреными словами, звучавшими как-то невинно и приятно, и оставлял каждого в восхищении от того, что такой ученый человек предположил его понимающим все эти прекрасные слова.— Нивельзин,— потому что и Нивельзин был тут же — тоже занимался уловлением сердец, по инструкции Соколовского, и, по-видимому, имел в этом еще больше успеха, нежели сам Рязанцев.— Кроме Нивельзина, Рязанцева и Соколовского с хозяином, у Волгина не было тут никого хоть раз

виданного хоть издали. Никто не мог подойти к нему; а сам он был избавлен от обязанности очаровывать, отчасти из уважения к его непригодности на уловление сердец, отчасти потому, что и будущая роль его была не привлекать их, а поражать трепетом.

Он совершенно удовлетворял требованиям своей будущей роли, нелюдимо и неподвижно занимая неприступную позицию в дальнем углу, и, вероятно, даже превзошел надежды Соколовского своею угрюмостью: не один из гостей, разговаривая с Соколовским, искоса посматривал на неуклюжую статую у дальнего окна: вероятно, Соколовский объяснял, что эта статуя — представитель ужасных мнений, к которым очень легко может склониться правительство,— мнений ужасных, но врожденных русскому народу, народу мужиков, не понимающих ничего, кроме полного мужицкого равенства, и приготовленных сделаться коммунистами, потому что живут в общинном устройстве. Правительству народа мужиков очень естественно принять мужицкие идеи.

Вероятно, так рекомендовал Соколовский угрюмую статую, объясняя угрюмость ее как черезвычайную свирепость. А Волгин был угрюм потому, что им овладела грусть.

Он не был мастер наблюдать и был близорук. Но разве слепой не видел бы, что такое на душе у этих людей: не за два десятка шагов, за полверсты можно было бы разгадать это, хоть бы и не разбирая их лиц, по самым фигурам их.

Бессмыслие, бессилие, беспомощность.

Так должны глядеть, стоять, двигаться приговоренные к смерти.

Некоторые старались показывать, что они бодры, в хорошем настроении. Говорили, шутили, были очень развязны. Волгин знал эту развязность: она овладевала им самим, когда он, попирая все препятствия, блистал своими светскими талантами, желая себе провалиться сквозь землю.

Но огромное большинство было не в силах и заботиться скрывать свое уныние: — «Мы агнцы, обреченные на заклание.— Что мы можем сделать против такого жестокосердного решения? — Только идти на заклание смирно, чтобы хоть не колотили нас прежде, нежели возложат нас на алтарь отечества,— и не упираться, когда

станут возлагать, чтобы хоть возложили без лишних пинков».

Волгин никогда не имел сношений с этими людьми. Он никогда не принадлежал и к мелкому светскому обществу, не только к их, высокому, важному. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Волгин с детства знал, что эти люди буйные, наглые.

Волгин не интересовался толками о крестьянском деле. Но если б он жил и не в Петербурге среди ярых эманципаторов, кипевших негодованием на упрямство помещиков,— если б он провел эти последние полтора, два года на самом далеком от помещичьей России, на самом пустом из Алеутских островов,— и туда, вероятно, доносились бы до его ушей храбрые крики: «Нами держится все! — Не позволим, не допустим! — Не хотим, и не посмеют! — Пусть посмеют, и увидят, что такое значит прогневать русское дворянство!»

Теперь они присмирели, будто разбиты параличом. Смешно и отрадно демократам видеть такое превращение.

Волгину было смешно: он привык обращать все в шутку,— умную или глупую, как приведется, веселую или горькую, все равно, лишь бы в шутку. Но ему не было отрадно.

Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой, бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве,— потому что и в детстве он уже был глубокомыслен.

Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: «Город в опасности,— вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке». Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом: — «Скоты, чего разорались? Вот я вас!» — Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится,— еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что как они «веслом махнут», то и «Москвой тряхнут»,— разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут,

крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцов: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек, бедные, искалечатся,— будочник, понюхав табаку, говорит: «Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня, старика, не вводите в сердце». И затворяется в будке,— и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек.

В детстве Волгин приходил в недоумение от этих сцен; зато теперь находил, что незачем было ему и видеть живую картину, представляемую гостями Илатонцева: незачем; вперед было известно, какая это будет картина.

Но хоть вперед было известно, какая она будет, все-таки она произвела на него глубокое впечатление. Будучи основательным мыслителем, он не винил себя за то, что взволновался от впечатления, к которому был готов от самого начала храбрых воплей: «Не позволим! Не допустим!» — Он знал, что представляющееся глазам действует сильнее воображаемого; потому и находил естественным, что расчувствовался.

Расчувствовался невесело: хоть и не любил ни вообще дворянства, ни магнатов в частности.

«Жалкая нация, жалкая нация! — Нация рабов,— снизу доверху, все сплошь рабы...» — думал он и хмурил брови.

Он не любил дворянства. Но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов? — И теперь на него нашло такое настроение.

И потому ему мечталось теперь, что эти жалкие люди не виноваты в нищете и страданиях народа и что не было бы надобности уменьшать их доходы ни на одну копейку,— пусть бы себе благоденствовали по-прежнему, ни на одну минуту не прерывая своих возвышенных наслаждений псами и новыми каретами, попойками и цыганками,— зачем тревожить, зачем обижать? Они не виноваты ни в чем и ничему не мешают.

Они ли могут мешать? — Они хотят только пить, мотать и бездельничать. Они ли виноваты? — Кому же не приятно брать то, что ему дают,— кому же нравится терять доходы?

Как легко было бы не огорчать их! — Стоило бы только гарантировать им их доходы. Подобная гарантия тяжела, быть может неудобоисполнима у наций, где поземельный доход уже высок и не может подыматься быстро. А у нас? — В пять лет удвоились бы, в десять — учетверились бы средства нации, лишь бы освобождение было полное и мгновенное, по мыслям народа, который говорит: — «Господа пусть уезжают из деревень в города и получают там жалованье», несколько лет, небольшие займы, с каждым годом меньше — и через десять лет что́ значило бы государству выкупить эти нынешние нищенские ренты?

Когда Волгин бывал чувствителен, он фантазировал в этом вкусе.— Правда, он не всегда бывал чувствителен.

Но теперь был. Потому фантазировал.

Правда и то, что когда фантазировал, он помнил, что только фантазирует по чувствительности своего сердца. Потому он берег для собственного удовольствия свои буколические соображения, а в разговорах рассуждал несколько в ином вкусе: он не забывал, что история — борьба, что в борьбе нежность неуместна. Правда, он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром? Так или нет вообще, но о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них.

Потому-то он и улыбался с угрюмою иронией, размышляя о том, какую буколику строит он в пользу помещиков и как несходно с нею то, что они не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа.

Должно; и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука.

Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение — злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих

заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; — противно, обидно за справедливость,— и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен...

— Monsieur Волгин...— сказал незнакомый, звучный и приятный голос. Волгин поднял глаза: перед ним стоял Савелов. Савелов стал говорить, что очень рад встрече с ним.

Волгин отвечал, что тоже очень рад. — Будучи необыкновенно светским человеком, он всегда приходил в экстаз любезности, когда ему говорили, что очень рады встрече с ним.

Сказав еще несколько обыкновенных слов, Савелов пошел в следующую комнату представляться дамам. Волгин стал искать глазами, где Соколовский; нашел и двинулся к нему.

— О Савелове не было речи,— сказал он, отошедши с Соколовским в сторону.

Соколовский с досадою пожал плечеми.— Что̀ вы будете делать с этими невинными, как вы их зовете. Чуть остались без присмотра, тотчас впадают в наивность. Ошибка не очень важна, а все-таки непростительная ошибка.

Как только переговорили Соколовский и Илатонцев с Рязанцевым, Рязанцев в восторге души поехал сообщить своему другу Савелову, какой обед устраивается у Илатонцева. Савелов похвалил и сказал, что ему самому было бы очень приятно быть на этом обеде. Рязанцев примчался к Илатонцеву в новом восторге и заразил им Илатонцева. И вот, приехав сюда, Соколовский был встречен приятною новостью: приглашен также и Савелов, его присутствие и поддержка будут придавать уже совершенно неодолимую силу речам и программе Рязанцева. Добрые люди упустили из виду, что приглашением Савелова они много попортили характер собрания. Оно должно было быть совершенно свободным собранием помещиков, семейным образом устраивающих помещичье дело, при помощи двух советников и не важных и не зависимых от правительства. Как люди просвещенные, помещики вздумали прислушаться к мнениям ученых. Мысли знаменитого юриста Рязанцева, который сам помещик, понравились им. Они сделали его своим секрета-

рем,— только. Совещание было семейное дворянское; и программа, которая вышла из него, чистая дворянская. Так должно было быть.— А теперь? — Присутствие Савелова дает делу вид принуждения. Будут говорить, что программа принята под влиянием правительственного лица, и притом известного враждою к дворянству. Это сильно повредит ей во мнении дворян. Рязанцев сделал большую ошибку.

— Да... большую,— вяло повторил Волгин, помолчал и поплелся назад в свою позицию, оставив Соколовского продолжать прерванный разговор с высоким, прямым, худым, крепким усатым стариком, по усам и осанке отставным кавалеристом.

Конечно, не стоило говорить Соколовскому, что дело гораздо более плохо, нежели он думает: не то что авторитет программы будет ослаблен, сама программа будет испорчена. Конечно, не стоило говорить. Нельзя поправить; зачем же было бы огорчать Соколовского прежде времени? Не стоило говорить. Да и жалеть не стоит. С самого начала затея была пустая; стоит ли жалеть о пустяках? — Не стоит.

Так размышлял Волгин, опять утвердившись в своем уютном углу, и не мог не согласиться сам с собою, что рассуждает очень основательно: дело было пустое, не стоило толковать; не стоит и жалеть, что оно испорчено... Так, не стоит жалеть,— размышлял Волгин и злился, злился хуже прежнего, с наслаждением злился, пока встрепенулся от слов Нивельзина:

— Идут обедать, Алексей Иваныч; а вы так углубились в ваше занятие, что и не слышите.

Волгин очнулся и увидел — чем занимался и с каким прекрасным успехом: на целую четверть была ощипана бахрома с занавеса окна, дававшего ему твердую опору для основательных размышлений. Мыслитель махнул рукою, в справедливое осуждение себе, и поспешил от места преступления, догонять последних уходивших.

— Погодите, так нельзя,— остановил его Нивельзин: — Взгляните на себя.

Волгин взглянул на себя и с чувством воскликнул: — Это удивительно!

По-настоящему, было нисколько не удивительно, а, напротив, очень естественно; но было действительно очень

недурно: фрак, жилет, брюки — все было приятно испещрено малиновым, синим и белым шелковым пухом.— Нет, уверяю вас, Павел Михайлыч, это удивительно, какие штуки я делаю! — подтвердил мыслитель с глубоким убеждением и замотал головою в сильнейшем негодовании.

Подошел слуга со щеткою, и следы преступления были благополучно очищены с основательного мыслителя.— Нивельзин повел его в обеденный зал.

---

Там уже все сидели за столом.

На ближайшем ко входу конце хозяин, подле него Рязанцев со своим другом Савеловым. По назначению Соколовского тут следовало сесть и Волгину, против Рязанцева, для удобства будущего спора. Волгин и сунулся туда, не разобрав, что не оставлено тут свободного стула. Нивельзин оттянул его за рукав и повел дальше, мимо всего стола, на другой конец.

— Это куда же? — спросил мыслитель.

— Боже мой, да я говорил вам, пока шла очистка лохмотьев с вас,— вы пропустили мимо ушей?

— А, точно! — был рассеян, не вслушался,— согласился мыслитель.

Илатонцева, узнав, что на обеде будет Волгин, выразила желание, чтоб он сидел подле нее. Соколовский, подумав, уступил и даже нашел, что так будет еще лучше: пусть спорят через всю длину стола; могут: у Рязанцева звучный голос, о способности Волгина кричать нечего и говорить; пусть же спорят через весь стол: будет слышнее целому обществу.

Волгин был от души рад этому перемещению: ему было бы тошно сидеть рядом с Рязанцевым, разозлившим его своею глупою наивностью. А к Илатонцевой он чувствовал такое расположение, что для разговора с нею не имел нужды в своей удивительной светскости.

Добрая девушка встретила его, будто родного. По возвращении из деревни она каждый день хотела поехать к Лидии Васильевне; но все еще не могла: по утрам парадные визиты; с обеда до ночи гости. Она представила его своей тетушке, председательствовавшей на этом конце стола в качестве хозяйки. Волгин боялся, что тетушка завоюет его, по его беспомощности в подобных

случаях. Но у тетушки уже был завоеванный, какой-то провинциал, очень смирный. Восхитившись в нескольких словах удовольствием познакомиться с Волгиным, она оставила его в покое, предпочитая свою прежнюю жертву, внимавшую ей с увлечением.

Пристроив основательного мыслителя, Нивельзин пошел на свое место около середины стола, по соседству Соколовского. Там, с выгодных пунктов для действия на обе стороны, Соколовский и он дадут решительный поворот обществу, когда придет время. Время было назначено, когда начнут пить шампанское.— Обед, хоть и очень многолюдный, должен был иметь вид совершенно семейного. Потому положено было, что не будет ни тостов, ни спичей. Но Соколовский с Нивельзиным устроят, что гости пожелают услышать, как думает об освобождении крестьян Рязанцев; хозяин должен будет попросить его об этом. Принципы Рязанцева возбудят свирепость Волгина, и гости увидят, что они хороши для дворянства.

Так предполагалось для подготовки общества к принятию программы Рязанцева в совещании после обеда. Но Волгин скоро стал видеть, что лишь бы не оправдалось его подозрение, а то не будет особенной нужды в его свирепости: программа Рязанцева и без этой приправы будет вкусным блюдом.

Стульев через пять наискось от Волгина сидел высокий, прямой, худой, крепкий усатый старик, с которым говорил Соколовский около времени приезда Савелова. Усатый старик быстро захватил диктатуру на том конце стола. Кроме тупоумного помещика, оставшегося в плену у Тенищевой, все слушали усатого старика, и все только поддакивали. Вначале двое или трое помещиков, повидимому, имели охоту показать, что они тоже умные и могут иметь свои мысли; но усатый старик предупреждал возражения, давил оппозицию в самом зародыше, и подавил ее так, что все человек двадцать помещиков, слушавшие его, в один голос твердили: «Так, правда».

— Надобно понимать положение дел и не болтать попусту,— говорил усатый старик.— Крепостное право держалось только штыками.— Позвольте, господа, нечего вспоминать прежнее вранье о патриархальных отношениях: надобно признать правду, когда пропадешь, если не захочешь признать ее.— Он не либерал какой-нибудь.

Он старый гусар. Он вырос на том и умрет с тем, что не могло быть ничего лучше крепостного права не только для помещиков, но и для крестьян. Кроме немногих подлецов, помещики держали себя с крестьянами превосходно, и крестьяне благоденствовали. Но крестьяне — грубые болваны, звери, и потому никогда не могли понять, что крепостное право полезно для них. Оно, по их невежеству, лености, своеволию, всегда было ненавистно им и держалось только штыками. Теперь эта поддержка отнята у него, и помещикам надобно понять положение дела. Речь не о том, хорошо или дурно решение правительства: толковать об этом пустая болтовня, очень опасная. Сказано: «Освобождайте» — баста! — Торопитесь слушаться, и только. Почему? — Отняты штыки, в этом весь резон.

Речь только уже о том, что надобно торопиться, и надобно сделать так, чтобы мужики остались довольны. Почему? — Резон простой: бунт.— Будет промедление? — Мужик скажет: «Помещики не хотят давать нам воли,— бей помещиков, братцы!» — Дать мужикам не такие условия, какие нужны для их довольства,— то же самое: «Братцы, помещики изобидели нас; добром не получишь добра от них,— бей их, ребята!» — В этом весь резон. Коротко и ясно, господа.— Усмирят бунт? — Кто это сказал: «Усмирят бунт»? Подумали ль вы, милостивый государь, о том, что сказали? — В серьезных делах не годится говорить, не понимая, что такое говоришь.— «Усмирят бунт»,— сказали вы. Станут ли усмирять? Ой — бабушка надвое гадала! Но об этом после. Положим, станут усмирять. Но скоро ли усмиришь, когда они повсеместно подымаются бунтовать? Усмирят, положим; но помещики-то будут уже перерезаны, перевешаны, прежде чем успеют выручить их. Помнят ли господа про пугачевщину? — Он может напоминать о ней: он не либерал. Мало того, он и не из трусов. Кто не знает, может спросить, из трусов ли он. Он не побежит от бунтовщиков. Ему висеть или быть заживо изжарену, а не бежать. Кто мастер бегать, могут легче его рассуждать о бунте. Но и таким людям он скажет: невелика радость будет им пережить бунт; пусть приготовятся положить зубы на полку. Он не ученый, но может понимать, что Соколовский — вон тот драгун — говорит правду: смуты в государстве ни для кого не разорительны в такой степени, как

для землевладельцев. Купец припрятал свои деньги или даже перевел за границу — и знать ничего не хочет. А поместья не перенесешь за границу, не спрячешь в карман. Что вы найдете, когда восстановлены будут ваши права на поместье по усмирении бунта? — У вас был хлеб? — Он разграблен; у вас был скот? —Он уведен или перерезан; у вас был лес? Он вырублен; о доме и не спрашивайте: сожжен; — все чисто, хоть шаром покати, голая земля. И останется голая: нечем засеять; да и некому пахать: мужики перебиты, сосланы; кто уцелел, разбежались; нет работников. Дорого стоит ваше поместье! Не восстановят ли ваши права на эту землю? С того и начиналась речь: возвратят ли вам ее? — Станут ли хлопотать из-за вас? Захотят ли усмирять бунт? Дураки ли сидят в правительстве? — Не скажет ли правительство: «Господа, вы сами виноваты вашею неуступчивостью; бунт против вас, а не против правительства; ведайтесь, как знаете, наше дело — сторона»,— думают ли господа, что правительство не может сказать этого? — Усмирять повсеместный бунт — каких расходов это будет стоить! Что за радость правительству входить в убытки? Не легче ли, не дешевле ли сказать: «Претензии мужиков справедливы; пусть все останется за ними; это и гораздо прибыльнее для казны: доход казне от мужиков, а не от помещиков»,— думают ли господа, что невозможно ждать такого решения от разбойников,— усатый старик несколько понизил голос и указал глазами на дальний конец стола,— от разбойников, подобных Савелову? — Помещикам надобно удовлетворить мужиков, чтобы не дать вмешаться в дело разбойникам, ненавидящим дворянство. Теперь мужики еще удовольствуются условиями, не разорительными для помещиков. Но сделайте промедление, и будет совсем другое. Тот драгун, Соколовский, говорит правду: «Спешите развязаться с ними, пока они еще не наслушались демократических речей; если не поспешите, пойдут на вас с криком: вся земля мужицкая, выкупу никакого! — Убирайся, помещики, пока живы!» — и правительство будет за них.— Милостивый государь,— вдруг обратился усатый старик к Волгину:— Вы дружен с Савеловым?

— Не знаком с ним,— успокоил Волгин усатого старика, подумав, что он сообразил неловкость своего отзыва о Савелове при друге этого «разбойника».

— А он подходил к вам.

— Просто хотел показать любезность.

— Видите, господа, каково положение дел? — продолжал усатый старик.— Господин Савелов заигрывает с господином Волгиным, ищет его приятельства! — А знаете ли вы, кто господин Волгин? — Извините, милостивый государь, что говорю о вас при вас: разговор идет о деле, лишние церемонии не у места,— заметил он, обращаясь к Волгину, и продолжал:— Господин Волгин, по словам Соколовского...

Вероятно, Волгин услышал бы о себе характеристику, совершенно сходную с тою, какую сочинял себе, посмеиваясь в своем углу перед приездом Савелова, но слова усатого старика были перерваны говором: «Тише, тише! Виктор Львович хочет сказать что-то».

Илатонцев начал,— все по плану,— как нельзя лучше,— что некоторые из его гостей, говорившие перед обедом с Григорием Сергеичем Рязанцевым, были очень заинтересованы мыслями Григория Сергеича о деле, которое занимает всех здесь; что другие гости, услышав от этих за обедом о их разговорах с Григорием Сергеичем, тоже заинтересовались...

А Савелов между тем нагнулся к уху своего приятеля и шепнул что-то. Друг пришел в такое удовольствие, что стал потирать свои пухленькие ручки, кивая головою другу.

— По общему желанию прошу вас, Григорий Сергеич,— заключил хозяин, обращаясь к Рязанцеву.— Будьте так добр, полнее развейте нам мысли, которыми возбуждено наше любопытство.

Сияя радостью, Рязанцев очень красноречиво поблагодарил общество за честь, которую оно оказывает ему своим вниманием, мило и с достоинством выразился о слабости своих сил, ободряя себя тем, что общество будет снисходительно к недостаткам, которые он сознает в себе как оратор, и обещая, что если он не умеет ослеплять великолепными словами, то постарается изложить с ясностью принципы, справедливость и практичность которых открыта им посредством добросовестного и долгого изучения и размышления;— все это было, положим, совершенно лишнею риторикою, но меньшего красноречия и нельзя было ждать от наивного добряка. Волгин знал его и был приготовлен услышать множество пышно-

скромных фраз, но при всем своем знакомстве с простодушием красноречивого прогрессиста захлопал глазами от окончания прекрасного вступления.— Будучи уверен в сочувствии общества,— продолжал Рязанцев,— он просит сначала почтить вниманием те немногие слова, которые желает сказать его друг, Яков Кириллыч Савелов.

Волгин хлопал глазами. Быть дураком,— Волгин понимал, что очень можно быть дураком, и очень глупым дураком,— он прекрасно знал это по себе,— но быть дураком до такой степени — это было уже непозволительно, даже по мнению Волгина: как не понимал Рязанцев, что связывает себя по рукам и по ногам, прося благосклонное общество слушать Савелова? — Как он не понимал, что теперь его речь должна будет быть только отголоском слов Савелова? Как отнимать у себя всякую свободу? Как выставлять самого себя только прихвостником своего друга? — Конечно, понятно, слишком понятно после той глупости, какую он сделал, устроив приглашение Савелову быть на этом обеде,— после такой глупости никакое тупоумие не должно удивлять — рассудил Волгин и перестал хлопать глазами.

А Рязанцев между тем, в восторге души, объяснил благосклонному обществу, что слова Якова Кириллыча будут наилучшим вступлением к его собственной речи, просил общество обратить на слова Якова Кириллыча все то внимание, какого заслуживают произносимые публично, глубоко обдуманные, строго возвышенные слова государственного деятеля, изучившего великий вопрос во всей широте и полноте,— и, смеет прибавить он, Рязанцев,— государственного деятеля, коротко знающего все сокровеннейшие предначертания правительства,— и, отваживается сказать он, Рязанцев,— государственного деятеля — талантам которого вверено важное участие в развитии этих предначертаний,— он прибавляет это, не опасаясь быть обвинен в пристрастии к Якову Кириллычу, дружбою которого гордится.

Он замолк наконец, потирая руки в восторге.

Савелов отвечал на восторги своего друга комплиментом его учености и гению — и, принесши этим необходимую дань пустословию, продолжал просто, коротко, дельно.

Он говорит собранию помещиков. Он слывет врагом, злодеем дворянства. Он не будет оправдываться. Он

предоставляет времени оправдать его. Он хочет говорить не о себе. Он хочет только объяснить мысли правительства, которые, по справедливым словам его уважаемого и ученого друга, известны ему. Правительство решило уничтожить крепостное право. Это признано необходимостью по двум причинам. Крепостное право противоречит духу века, оно было пятном для России во мнении Европы. Другая причина состоит в том, что оно несовместно с правильною администрациею, мешало государственному порядку. Естественно, что реформа, столь важная, возбуждает много разных толков. Некоторые из них совершенно ложны. Крепостное право будет уничтожено. Но право собственности останется священно. Правительство не может хотеть вреда никакому сословию. Невозможно выгнать десятки миллионов людей из домов, занимаемых ими; но за все неизбежные уступки помещики должны быть вполне вознаграждены крестьянами. Могут ли помещики опасаться, что вознаграждение не будет достаточно, когда им самим поручается сделать оценку? — Точно так же напрасны и все другие опасения их,— напрасны по той же причине: им самим поручается заняться осуществлением реформы. Все подробности нового устройства будут определены их собственными трудами. Поручение, возлагаемое на них, очень обширно и многосложно. Излишняя медленность была бы несогласна с видами правительства. Но оно совершенно понимает, что и торопливость в таком трудном и запутанном деле была бы вредна. Великая реформа, конечно, потребует много времени для своего совершения. Полагаясь на патриотизм дворянства, правительство будет терпеливо. Пусть дворяне добросовестно изучают, обдумывают великий вопрос. Приготовившись к основательному разрешению его, они будут собираться по губерниям; в каждой губернии они выработают устав, соответствующий местным интересам. При таком порядке дела можно быть уверенным, что великая реформа не нарушит выгод помещиков.— Есть еще опасение, которое также должно быть рассеяно. Думают, что общественный порядок может подвергаться опасностям. Нет. Администрация не потерпит никаких беспорядков, и уже приняты меры, чтобы она повсюду имела под рукою достаточные силы для подавления беспокой-

ных движений в самом начале; для этого по всем частям государства расположены войска.

Ожидания Волгина были далеко превзойдены. Он понимал, что Савелов приехал расстроить дело Соколовского, что программа Рязанцева погибнет. Но Савелов сделал гораздо больше. Он сказал помещикам, что они могут совершенно безопасно оттягивать освобождение крестьян, могут тянуть его так, что и конца не будет проволочкам.

Лица помещиков делались веселее по мере того как Савелов раскрывал им истину. Усатый старик, вытягиваясь к Волгину, шептал: — Мы ошибались, милостивый государь, вы сам видите, перед нами виляют хвостом. Нас боятся, милостивый государь,— понимаете, нас боятся? — Что вы скажете? Ваши друзья, все эти Рязанцевы и Соколовские, больше ничего как пустомели — не правда ли?

— Они честные люди; желая добра народу, они искренне желают добра и дворянству. Я в этом случае хороший свидетель, потому что не выставляю себя вашим другом. Я не говорю, что мне было приятно думать, что вы избегнете бед, приняв их советы, и не скажу, что огорчен тем, что вы теперь отвергнете их советы. Отвергайте, мне все равно. Идите тою дорогою, которую открывают вам слова Савелова. Идите ею. Я не буду плакать о вас. Забывайте, что Савелов интригант, который заботится и о ваших головах столько же, сколько о благосостоянии народа.

— Хорошо, грозите, милостивый государь: ваши угрозы не слишком-то страшны; войско разгонит ваших милых мужичков.

— Я знаю это, милостивый государь. Будет разгонять, пока будет разгонять. И до той поры, пока будет разгонять, вам нечего бояться.

— Милостивый государь, о чем вы говорите, позвольте спросить?

— О том, милостивый государь, что мужицкий бунт не важная опасность для вас. Войско легко подавляет мужицкие бунты.

— Вы грозите революциею, милостивый государь?

— Понимайте как вам угодно, милостивый государь. И запретить, если вам угодно донести на меня, не могу.

— Хорошо, милостивый государь. Теперь мы будем понимать ваши желания,— сказал усатый старик и отвернулся слушать Савелова.

Объяснив помещикам истинное положение дел, Савелов перешел к пустословию, требуемому дружбою:

Правительство исполнит свою обязанность охранять порядок. Конечно, и дворянство исполнит свою обязанность добросовестно заняться освобождением крестьян. Для этого дворянству будет очень полезно познакомиться с трудами специалистов, изучавших великий вопрос. Не дружба только, но и строгая истина заставляет его, Савелова, сказать, что самый ученый труд по великому вопросу принадлежит его другу, знаменитому нашему юристу, Григорию Сергеичу Рязанцеву,— полились великолепные фразы в честь друга и горячие убеждения, чтоб дворянство приняло к сердцу благородные мысли знаменитого юриста...

Волгин обдумывал между тем, как ему поступить.— Знаменитый юрист сиял, радуясь тому, как прекрасно внушает его друг, чтобы помещики полюбили его мысли. Он станет ораторствовать как ни в чем не бывало.

И пусть бы себе ораторствовал. Но Соколовский поднимет скандал, если не отнять возможности поднять скандал. Челюсти Соколовского были стиснуты, глаза горели; по легкому подергиванию костлявых плеч его было видно, что его бросает в лихорадку от негодования.

— Надежда Викторовна, я уйду из-за стола. Будьте добра, скажите, что со мною дурно, но что беспокоиться обо мне нечего,— скажите, что пройдет.— Волгин встал и пошел из обеденного зала.

А Рязанцев продолжал сиять, в близком ожидании минуты, когда начнет красноречиво излагать свои принципы, так сильно рекомендуемые его другом.

Выходя из обеденного зала, Волгин услышал стук порывисто отодвинутого стула и тяжелые, торопливые шаги. Соколовский догонял его.— Прошедши до зала, в котором совершал свое преступление над бахромою, Волгин остановился и обернулся.

Соколовский был бледен как смерть; на дрожащих углах губ у него выступала пена.

— Куда вы? Вы изменяете?

— Изменяю, Болеслав Иваныч. Вы сам видите, мы с вами не могли бы сделать ничего.— Вы стали бы

принуждать меня говорить, что́ мог бы я сказать? — Грозить революциею, как и погрозил вашему усатому старику? — Не говоря о самом себе,— не говоря даже и о том, что это значило бы компрометировать хозяина, спрошу вас: не было ли бы это смешно? Кто же поверил бы? Кто не расхохотался бы? — Да и не совсем честно грозить тем, во что сам же первый веришь меньше всех.

Соколовский опустился на диван, закрыв лицо дрожащими руками.

— Идите, будем бороться с ними! — воскликнул он через минуту, вскакивая.

— Полноте, Болеслав Иваныч; какая тут борьба?

— Нет, я пойду!

— Незачем, Болеслав Иваныч. Слушать Рязанцева они станут и без вашей протекции: люди благовоспитанные; сами просили его говорить, надобно выслушать, хоть уже и не для чего. И после обеда прослушают его программу и похвалят,— зачем быть невежливыми, нелюбезными? — Не хлопочите, обойдется без вас. Лучше поедем со мною. Хочу взглянуть, что́ с Левицким. Может быть, уже пришел в сознание. Поедем,— а то еще компрометируете себя.

— Нет, я пойду к ним! Буду бороться!

Волгин покачал головою.— Скука с такими несговорчивыми людьми, как вы, Болеслав Иваныч,— скука, уверяю вас,— очень основательно рассудил он.

— И можно ли было ждать от Савелова такой измены?

— Измены никакой нет,— совершенно справедливо объяснил Волгин.— Вы хотели выставить помещикам положение дел в ложном свете. Савелов исполнил прямую свою обязанность, опровергнув клеветы, которые взводили вы на правительство.

— И неужели все погибло?

— Не могло не погибнуть, если бы Савелов и не услышал вовремя о вашей затее. Она держалась только на недоразумении, на одурении от первого впечатления. Все равно,— истина разъяснилась бы,— с обыкновенною своею основательностью отвечал Волгин и объяснил, что жалеть не о чем. Пусть бы и удалось ныне заставить помещиков подписать программу Рязанцева,— через несколько дней они отреклись бы от нее. И были бы правы:

подписи их получены обманом,— стали бы говорить они. И точно, обманом. Все дело было совершенно пустое и, правду сказать, недобросовестное. Нечего и жалеть, что оно расстроилось.— Объяснивши это, Волгин вздохнул, подумал, подтвердил: — Да, пустое дело, не стоит жалеть,— и прибавил:— Ну, так что же, поедем, Болеслав Иваныч?

— Нет, я пойду к ним, буду бороться до последней минуты!

Волгин покачал головою и был совершенно прав.

— Изменить,— струсить перед дворянством, кто бы мог ждать этого после победы над Чаплиным!

— Эх, Болеслав Иваныч! — Отдельную личность можно победить,— а целое дворянство,— помилуйте! — Что такое Савелов, чтоб сметь ему и подумать о борьбе с дворянством?

— Такая слабость, такая трусость! — Между ними нет ни одного государственного человека!

— Эх, Болеслав Иваныч! — возразил Волгин, покачавши головою.— Я удивляюсь вам, как это приходит вам в голову такое странное требование,— уверяю вас, это удивительно,— подтвердил он, подумавши, еще покачал головою и пошел в переднюю, остановился, сказал: — Ну, что же, Болеслав Иваныч, поедем со мною,— гораздо лучше,— уверяю,— но, не получивши никакого ответа от Соколовского, протянул руки вставить их в подаваемую слугою шубу, вздохнул, еще раз покачал головою и надел фуражку, после чего совершенно успокоился ото всех своих волнений.

---

Но более сильное волнение, и волнение радостное, ждало его.

Он надеялся, что найдет Левицкого уже пришедшим в сознание; почти с полною уверенностью в этом он подходил к той комнате, в которой провел столько мучительных часов у постели больного, и все-таки он едва удержал крик восторга, услышав из этой комнаты голос жены: она говорит с Левицким, Левицкий пришел в сознание, Левицкий вне опасности!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч,— хорош я? — проговорил Левицкий. Он был еще чрезвычайно слаб и едва мог протянуть худую, худую руку входившему.— Что там,

у Илатонцевых? Лидия Васильевна рассказала мне, что вы были у них.

— Хорошие люди, и отец и она,— в особенности она. С какою милою привязанностью она говорила о вас, Владимир Алексеич! — Она и на меня смотрела будто на родного, из-за того, что мы с вами любим друг друга.

— Да, она очень добрая и милая девушка,— отвечал Левицкий.— И я знаю, что она очень любит меня.

Эти слова совершенно сбили Волгина с его мыслей. При своей сообразительности он был совершенно уверен, что Левицкий спешил уехать из деревни именно для того только, чтобы удалиться от Илатонцевой,— что Левицкий влюблен в нее, что любовь его была несчастна. Теперь, при помощи той же сообразительности, он увидел, что ровно ничего такого не должно было быть. Очевидно, чувства Левицкого к Илатонцевой были совершенно спокойные, дружеские,— такие же точно, как и ее к нему.

— Они оба будут чрезвычайно обрадованы, узнав, что вы стали говорить.

— Да, будут, я уверен.

— Знаете ли что? — Я пошлю кого-нибудь к ним, сказать.

— Пошлите. Это хорошая мысль.

Волгин пошел искать хозяина, распорядился.

— Но скажите же, Владимир Алексеич, почему вы уехали от них так торопливо и сочинили предлог, письмо от меня, чтобы замаскировать причину отъезда?

— Друг мой, он еще слаб, ему вредно было бы много говорить,— заметила Волгина,— расскажет когда-нибудь после.

— Твоя правда, голубочка,— согласился муж, не замедлив сообразить, что действительно правда.

— Расскажите вы, что там было у вас? Удалось или, как вы ждали, не удалось? — сказал Левицкий.

Волгин не утаил ничего; хоть ему очень хотелось бы утаить от жены историю о том, как он украсил себя разноцветными шелками: при своей сообразительности он рассудил, что утаивать было бы напрасным трудом: все равно рассказал бы Нивельзин.

При всем желании побранить его жена не могла не смеяться. И Левицкий улыбнулся. Потом скоро стал дремать. Волгина увела остроумного рассказчика.

— Чудак ты, мой друг,— заметила она ему, когда они сходили с лестницы,— человек только что начинает оправляться, а ты вздумал расспрашивать его.

— Это твоя правда, голубочка,— согласился основательный мыслитель.— Но только отчего же он уехал из их деревни? — Я вижу, вовсе не от Илатонцевой,— уверяю тебя, голубочка, не от нее.

— Ты ужасный простяк, мой друг.

— Это твоя правда, голубочка,— не замедлил согласиться основательный мыслитель.

— Но как я рада, мой друг,— о, как я рада за него; и еще больше за саму себя: теперь я не буду беспокоиться, что ты убиваешь себя,— теперь ты не будешь сметь слишком много работать.

# Часть вторая



# ИЗ ДНЕВНИКА ЛЕВИЦКОГО ЗА 1857 ГОД



## МАЙ

*27.* Нанял квартиру. Не хочу ни одного лишнего дня оставаться в институтских стенах.— Когда вернулся в институт, услышал, что конференция кончилась. Ликаонский, Черкасов и все наши — старшие учители. И я тоже, против ожидания. Степка ораторствовал обо мне часа два и доходил в своем неистовстве до откровеннейшего бесстыдства:— «Наконец, я должен сказать вам, господа, что имею несомненные доказательства тому, что Левицкий — автор той гнусной записки к министру, по которой решено закрыть наш институт».— Для многих профессоров это было новостью. Впечатление было поразительное. Одни изумлялись моей хитрости и злобе, другие бесстыдству Степки.— «Пусть он автор этой записки, я не могу осуждать его за правду»,— сказал Рязанцев.— «Но, Григорий Сергеич, мы лишаемся мест,— продолжал Степка, нисколько не стесняясь.— Вам хорошо говорить, у вас есть кафедра в университете, у вас есть поместье. А я и многие другие, мы останемся без куска хлеба».— «О вас, Степан Иваныч, я не могу судить, останетесь ли без куска хлеба, а другие в течение двух лет успеют приискать себе должности».— Нашлось еще два, три человека, в которых честность взяла верх над расчетом. Большинство, разумеется, разделяло чувства Степки или не смело противоречить ему: еще два года он остается их начальником. Рязанцев сказал, что если не выпустят меня старшим учителем, он поедет к министру и объяснит причину вражды ко мне. Степка струсил.— Черкасов не помнит себя от радости, что Степка не успел сдержать своего обещания

выпустить меня с дурным аттестатом. Я говорил ему в двадцатый раз, что для меня было бы все равно: Илатонцев сделает, что я останусь в Петербурге, и хоть бы написали в аттестате, что я не умею читать, мне было бы мало убытку.— «Но ты сам говорил, что Степка погубит тебя, не давши старшего учителя».— «Когда я говорил это, Черкасов? — Зимою, до знакомства с Илатонцевым».— «Но все-таки».— «Что же «все-таки»? Тогда, если бы я не кончил старшим учителем, я не мог получить места в Петербурге. Не двадцать ли раз я доказывал тебе в эти три недели, что аттестат потерял для меня всякую важность, когда Илатонцев предложил мне оставаться учителем у него и обещал выхлопотать согласие министра?» — «Конечно, так. Но все-таки».— Пройдет еще полгода, он совершенно убедится и будет толковать об Илатонцеве,— когда, быть может, отношения к Илатонцеву уже перестанут иметь важность для меня. Но сколько любви ко мне в нем! Он совершенно забывал думать о себе от радости за меня. Удастся ли ему получить место на родине?

Вечером мы с Ликаонским долго ходили по Биржевому скверу. Ликаонский, против обыкновения, расчувствовался.— «Что́ были бы мы без тебя, Левицкий?» — «То же самое. Ты имел бы на товарищей то влияние, которое приписываешь мне».— «Нет, Левицкий».— «Полно говорить вздор», я доказал ему, что он мог бы заменить меня, и просил заменять, пока они остаются жить вместе. Я сказал ему, что не буду приходить в эти залы, ненавистные мне. Он понимает это чувство.

*28*. Прощай, институт, убивавший умственную жизнь в сотнях молодых людей, рассылавший их по всей России омрачать умы, развращать сердца юношей,— прощай, институт, голодом и деспотизмом отнимавший навек здоровье у всех тех, которые не могли примиряться с твоими принципами раболепства и обскурантизма,— прощай, институт, из которого выносили на кладбище всех, отваживавшихся протестовать против твоей гнусности,— прощай! Объявлено, что мы кончили курс, и через полчаса затворятся за мною навсегда твои двери, в которые уже не будут входить новые жертвы.— Половина двенадцатого.

Черкасов плакал, как ребенок. Стал говорить прощальный спич и зарыдал,— принимался продолжать спич, и не мог докончить. Поехал со мною, помогать мне расстано-

вить книги.— Оставив его кончать это, съездил на урок к Илатонцеву.— «Почему не остаетесь обедать?» — Просил познакомить его с Ликаонским и Черкасовым.— Когда? — «Чего же лучше? Вы говорите, что они хотели обедать у вас, привозите их сюда».— Ликаонский уже пришел, когда я возвратился. Повез обоих к Илатонцеву. Понравились друг другу.— Проводив оттуда Ликаонского и Черкасова до института, в который не ступит нога моя, сделал покупки на завтра.

Пришедши домой, раздумывал несколько времени, о чем написать для пробы Волгину. Решил: воспользоваться хламом, который набирал в период своей охоты изучать развитие русской мысли,— предмет, достойный изучения, нечего сказать. Но пусть Волгин увидит, что я тоже был и ученым, в самом пошлом смысле слова. Напишу о меценатстве Екатерины II. Хорошо по крайней мере тем, что забавно будет видеть, как станут беситься все наши прогрессисты. Я думаю, и добряк Рязанцев осудит за непочтительность. О, прогрессисты! Неужели в Лондоне серьезно принимают их за прогрессистов? Не верится.

*29.* Писал, пока пришли товарищи. Хозяйка заметила, что тесно в моей комнате и зале, очень любезно уступила и свою комнату, запрятавшись в кухню. Добрая старушка. Я пригласил ее к закуске. Не могла досыта надивиться тому, какие прекрасные и деликатные стали ныне молодые люди: собрались пировать, и не поют кабацких песен, не сквернословят, не буйствуют, ни один не напился допьяна. Правда, это еще новость. В институте, например, наш курс был первый такой.— Петров стал было щеголять бессмыслицею, которую воображает красным республиканством и даже коммунизмом. Надеялся на то, что некому оборвать его, когда я, по обязанности хозяина, должен быть деликатен. Ликаонский сказал: «Не удивляй нас; мы знаем, что во всех партиях есть пустозвоны. А лучше скажи нам, от кого Степка мог узнать, что записка об институте была писана Левицким?» — «От князя Вяземского,— отвечал Петров.— Ему была отдана Левицким, он и сказал Степке».— «Ой, от него ли узнал Степка? Не проболтался ли кто другой?» — «Из наших, сколько мне известно, никто не бывал тайком у Степки»,— отвечал Петров.— «Можно было передать ему через Антошку,— с

Антошкою кто-то чуть ли не перенюхивался».— Петров обиделся. Но я до сих пор не верю подозрению Ликаонского.

*30.* Писал.— Обедал у Илатонцева. Он продал около половины своих акций, почти без убытка.— Возвратившись, нашел у себя Черкасова. Потом приехал Ликаонский и с ним еще трое, из нашего тесного круга.— Проводив их, продолжал статью.

*31.* Поутру пришла в голову мальчишеская, но недурная мысль доставить еще раз удовольствие Степке. Поехал. Вхожу в зал, где имел столько схваток с подлецом. Доложили.— Выбегает из кабинета Антошка. Сладким голосом: «Что вам угодно, господин Левицкий? Не могу ли я передать Степану Иванычу?» — «Нет, не можете. Да что, он боится выйти?» — «Но какие же ваши намерения, господин Левицкий?» — «Да пусть выйдет, чего ему бояться? Не драться же с ним я пришел».— Антошка юркнул опять в кабинет. Шептались, шептались, наконец выходит мой Степка, в сопровождении Антошки и письмоводителя. Я совершенно серьезно: «Я слышал, как вы, Степан Иваныч, защищали меня на конференции против злобы некоторых профессоров, и пришел поблагодарить вас».— Степка зеленеет и, прячась за Антошку: — «Господин Левицкий, между нами были неприятности, но я всегда желал вам добра».— «А я всегда понимал пользу, приносимую вами русскому просвещению, надеюсь, что по закрытии института вам дадут более высокое место, и почти уверен, что вас назначат попечителем округа, чего вы давно добивались»,— говорю я, почтительно раскланиваясь, и оставляю Степку падающего в конвульсиях и подхватываемого на лету Антошкою. Но что за живучесть в губителе молодежи! — Лицо передергивалось так, что следовало бы быть апоплексии,— а не будет! — Нет, к вечеру старый вор будет опять здоров как ни в чем не бывало.

Возвращаясь домой, натолкнулся на приключение, которое, кажется, будет иметь серьезные последствия.— Но какая рыбья кровь во мне! — Ужасна эта апатичность в мои лета.

Я всходил на свою лестницу и только что ступил на площадку у квартир этажом ниже моей, одна из дверей с треском расхлестнулась и по площадке промелькнула вверх женщина с открытыми плечами, придерживающая на груди куски разорванного платья; — за нею выско-

чила массивная фигура мужчины с поднятыми кулаками;— эту фигуру я схватил за шиворот, дернул, свалил и потащил назад в растворенную квартиру; закричал, чтобы подали мне веревку или что-нибудь такое связать буяна. Никто не отозвался. Я принужден был тащить дальше по полу эту массу,— негодяй упрямился, потому надобно было давать ему довольно сильные пинки. Протащив через две комнаты, в которых нечем было связать его, достиг я с ним до кухни, там нашлись веревки. Придавив негодяя коленом, я скрутил его по рукам и по ногам, привязал к ножке кухонного стола и пошел искать женщину, убегавшую от мерзавца.

Она стояла на пороге, не смея войти, но закрываясь дверью со стороны лестницы, по стыдливости: ее костюм был в беспорядке. Лиф платья висел кусками, и рубашка была разорвана, упала полосами на юбку. Увидев меня, бедная застыдилась, бросила держаться за дверь, торопливо подхватывала куски рубашки, платья, они ускользали из-под ее дрожащих рук. В передней, при затворившейся двери, было темно. Я, со света, не мог хорошо видеть ее черты. Успокаивая, я повел ее в зал. Свет упал на ее лицо. Оно было очаровательно.

Да каждый другой молодой человек вспыхнул бы огнем. Дивная, ослепительно белая грудь, то полуприкрываясь, то вся открываясь моему восхищенному взгляду, трепетала, прижималась ко мне, полная, нежная, упругая; — при каждом рычании животного, ворочавшего стол там, в кухне, вся она, милая, бедная, вздрагивала, все выскользало из ее дрожавших рук, она вся трепетала и прижималась ко мне. Я, бывало, не мог наглядеться на плечи Эммы, на грудь Мальвины,— нет, нет, то были увядшие цветы, видел я теперь. О, как невообразимо прелестен может быть стан женщины! — А я не потерял рассудка, я думал о том, что не имею права расцеловать эту милую грудь, я заботился только о том, чтоб успокоить бедняжку.

Он ее муж, говорила она перерывающимся голосом. Она повенчана с ним насильно. Уже около года. Но он не смел близко подойти к ней. Только недавно,— всего с месяц, она осталась беззащитною в его власти... За что он бросился на нее? — Так. Он сидел и пил. Она одевалась. Она молчала, и он молчал. Вдруг он вскочил и кинулся на нее, бить. Она вырвалась, бежала; он ловил ее;

она вырывалась от него,— могла вырываться, потому что он был очень пьян,— он догонял, ловил,— все с нее летело кусками,— она вырывалась,— бежала...

Какая холодность! — Я слышал и понимал,— я мог слышать, когда перед моим восхищенным взглядом сиял ее дивный стан, трепетал, прижимался ко мне... Я сохранял столько рассудительности, что успокоивал ее!

Она поняла наконец, что муж ее не вырвется, не может броситься на нее. Она пошла в другую комнату, оделась.

Квартира была маленькая, только в три комнаты, как я видел, тащивши мерзавца. Но порядочно меблирована. В спальной была даже роскошь. Великолепная кровать, ореховая, с резьбою; подушки, розовые атласные, с кружевами.

Она возвратилась, одевшись. Я стал говорить, что лучше всего было б ей бросить негодяя. Может ли она? — Может.

Пришла кухарка, тоже убегавшая в страхе от ярости мерзавца. Я послал ее позвать дворника. Дворник боялся идти за полициею: связанное животное — сам полиция, помощник квартального надзирателя. Мерзавец рычал, что запорет дворника. Нельзя было без жалости видеть колебание мужика, размышлявшего, кто имеет больше власти исполосовать его спину: это всемогущее животное или я, по спокойному тону приказаний кажущийся едва ли не еще более всемогущим.

Чуть не со слезами дворник пошел за квартальным. Против моего ожидания, не понадобилось ни дать денег, ни объяснять, что я могу через Илатонцева действовать прямо на генерал-губернатора. Как вошел, квартальный надзиратель стал говорить, что был бы рад спихнуть со своей шеи бездельника,— только не может, потому что частный пристав чувствует преданность к Лапшеву, который посадил мерзавца в помощники ему,— частный пристав хороший человек и соблюдет желание своего благодетеля не прогонять бездельника.— Я сказал квартальному, что если жена разойдется с бездельником, то ни частному приставу, ни г. Лапшеву не будет никакой причины поддерживать пьяницу. Он согласился, что правда, и очень обрадовался.

Успех верен. А когда она даст рублей сто в канцелярии генерал-губернатора, то все бумаги будут напи-

саны в два, три дня. Тогда я могу высказать ей свои мысли.

Только тогда. Прежде всего она должна получить свободу. Говорить ей раньше, значило бы пользоваться тем, что ей нужна помощь. Потому, когда квартальный отправил мерзавца под арест, обещавшись не выпускать, пока не получит распоряжений от начальства, я рассудил, что и мне не следует оставаться. Квартальный стал прощаться, и я вышел вместе с ним.

Конечно, следовало уйти. Но мог ли бы так поступить человек моих лет, если б имел живое сердце? — Страшная апатия.

Хозяйка знает Анюту. Два раза давала убежать ей, как и теперь, она хотела скрыться в нашу квартиру.— На всей нашей лестнице моя хозяйка одна отваживалась не выдавать бедняжку мерзавцу,— потому что коллежская советница и имеет какого-то родственника вице-директора.— Рассвирепевший пьяный разбойник отрезвляется и укрощается перед высшим чином. Небывалое, неземное совершенство общественной благоустроенности, наполняющее самых буйных сынов России такою почтительностью! Счастливая нация!

Я сказал Анюте, что напишу ей просьбу к генерал-губернатору и часов в семь приду растолковать, как и что она должна говорить при подаче просьбы,— как и где просить потом, чтобы решение генерал-губернатора было поскорее исполнено.— Возьму с собою хозяйку. Не хочу говорить Анюте о моем чувстве, пока дело не решится. Потому и не хочу видеть ее наедине.— Благоразумно; можно даже сказать: хорошо. Но бездушно.

Просьба готова.— Любопытно, достанет ли у меня холодности продолжать после обеда статью, в ожидании времени идти к Анюте? — Нисколько не удивлюсь, если буду очень дельно писать об авторе комедии «О, время!»

Семь часов. Думал, думал и отчасти даже мечтал. Не беру с собою хозяйку. Незачем: не увлекусь и наедине с Анютою. И гораздо лучше просидеть вечер с нею одному, без посторонних. Надобно давать ей узнать меня, потому что скоро понадобится ей решаться. Да и неловко было бы при хозяйке предлагать ей деньги на хлопоты по делу. У нее самой, вероятно, нет денег.

Десять часов. За звонким смехом Анюты, за моими

шутками, за храпеньем кухарки мы с Анютою довольно долго не слышали, что кто-то стучится.

Стоит ли жить? — Работать напрасно,— зачем же и жить?

Я говорил веселый вздор, Анюта хохотала, кухарка храпела; довольно долго мы с Анютою не замечали, что кто-то стучится в дверь кухни. Стук стал сильнее. Я пошел отворить. Это была служанка моей хозяйки. У меня гость, Черкасов; говорит, что имеет очень важное дело ко мне. Я пошел домой. Вхожу,— Черкасов стоит, скрестив руки,— лицо унылое...

Апатичные люди доходят до самоубийства только от сплина, а не от потрясений,— от скуки, а не от горя. Я уверен, что во мне только шалили мысли, когда стало вспоминаться, что у меня есть бутылочка с морфием.

Вхожу. Черкасов стоит с лицом приговоренного к смерти, почерневшим, осунувшимся; но во взгляде...

Будто в самом деле не стоило умирать? — Впрочем, нетрудно и без морфия,— четвертый этаж. Пошлость. Но в чем будет больше пошлости, если переживу или если не переживу?

Черкасов стоял с лицом невыразимо печальным. Но во взгляде горел какой-то будто лихорадочный огонь.

— Остановись, Левицкий. Прежде, нежели подойдешь ко мне, отвечай на один вопрос...

Что за нелепая мелодрама? Не сделал ли он чего-нибудь ужасного? Не думает ли, что я могу отнять у него свою руку, узнавши? Как это странно! — Будто я не знаю его, будто не знаю, что он не может сделать ничего низкого?

— Неужели правда, Левицкий, то, что́ говорят? — Меня прислали спросить, правда ли?..

Что за история? Допрос! От людей, с которыми я жил четыре года! — Я не был бы в силах не быть холоден, как лед, если б и хотел не быть холоден. Но я и не мог хотеть не быть холоден. Есть глупости, убивающие всякое чувство.

— О чем тебе угодно знать?

— Я не хотел верить Петрову, что ты был у Степки. Но Антошка и письмоводитель Степки сказали нам то же. Зачем ты был у Степки?

— Вероятно, ты уже знаешь,— нечего и спрашивать, когда знаешь.

— Я не хотел верить, что был у Степки, и все еще не хочу верить тому, что они говорят! — Неужели ты искал его милости, благодарил его?

— Благодарил.

Он закрыл лицо руками.— Кафедра тебе дороже нашего уважения, дороже твоей чести.— Сквозь пальцев капали слезы.

Он выпрямился и скрестил руки на груди.— Левицкий, я любил тебя. Отца и мать не любил, жену и детей не буду любить с такою преданностью. Но с этой минуты все кончено между нами.

— Пусть будет кончено.

— Прощай, Левицкий!

— Прощай, Черкасов.

Просумасбродствовавши часа два, три, я стал замечать, что кризис, кажется, прошел, и был очень доволен тем, что останусь жив. И точно, сумасбродные порывы уже не возобновлялись; и волнение стало утихать. А теперь я совершенно спокоен; хладнокровно требую у себя отчета: зачем я пережил этот дар? — и равнодушно вижу справедливость своего мнения о себе, как об эгоисте. Если бы действительно привязывала меня к жизни только надежда принести пользу своею деятельностью, я не выбросил бы за окно морфий, соблазнявший меня, или после того кинулся бы сам разбиться о мостовую, нужды нет, что это было бы смешно. Пусть бы они воображали, что я убился именно из-за потери их уважения. Не все ли равно для меня, что они думают или подумали бы? — Нет, если б я не был бездушным эгоистом, у меня не достало бы силы решиться жить. Незачем жить. Невыносимо глупо жить. Нет надежды быть полезным. Невозможно принести пользу людям. Они не способны улучшить свою жалкую судьбу.

Я презирал злобу и подлость. И не ошибался, презирая. Их сила невелика. Ее нетрудно бы одолеть. Масса людей — люди честные и добрые. Интерес ее прямо противоположен всему дурному, совершенно совпадает с требованиями справедливости. Она может понять их, потому что они очень просты, а она не глупа. Она не может не желать их осуществления, понявши их, потому что без их осуществления она несчастна. Она может смело ринуться в борьбу за них и биться геройски, потому что она благородна. В этих мыслях я не ошибался. Но я слишком надеялся на рассудительность добрых и честных лю-

дей, составляющих ее. Я слишком мало думал о том, как велико легковерие и легкомыслие громадного большинства их. С этой силою невозможна успешная борьба. Урок, данный мне товарищами, раскрыл мне глаза. Сам по себе случай этот очень мелок, даже забавен. Но истина, которою он озарил меня, ужасна. Такого знания не пережил бы человек с живою любовью к людям. Я эгоист; но и мне тяжело оно... Тяжело...

Их было двадцать восемь. Из них только Петров был низок, только двое пошлы. Остальные глубоко прониклись теми же стремлениями, которые одушевляли и меня. Из этих двадцати пяти многие были гораздо выше обыкновенного уровня по уму и сердцу; все неизмеримо выше по развитию.

Мы жили вместе четыре года. Они должны были знать меня. Они знали меня.

Они знали и то, каково стало мое положение, благодаря случаю, сделавшему Илатонцева моим должником,— по крайней мере, по его мнению, должником. Сам Черкасов видел, считает ли он себя моим должником. Прежде они могли не знать этого; теперь знали.

Какую голову надобно иметь, чтобы сочетать с фактами, которые они знали обо мне, мысль о том, что я хочу получить кафедру,— в институте или университете, не знаю,— или, если бы хотел получить ее, имел бы надобность унижаться для ее получения,— или, если бы имел надобность, то захотел бы,— или, если бы захотел, то избрал бы предметом своих ухаживаний гадину, потерявшую всякое значение, гадину, которую втоптал я в грязь и предоставил на оплевание всем в министерстве,— от министра до последнего писца?

Оказалось, что для принятия такой нелепости в свою голову не нужно быть ни глупым, ни пошлым человеком. Можно быть умным,— почти все они таковы,— благородным, все они таковы,— надобно только иметь обыкновенную дозу человеческого легковерия и легкомыслия,—даже менее обыкновенной дозы, потому что они выше массы по привычке думать,— и эта нескладица поместится в голове.

Что ж не может влезть в такие головы после этого? — В такие, то есть даже гораздо более развитые, нежели головы, из каких состоит масса общества?

Сам по себе случай не важен. Правда, я был расположен к этим людям. Но школьное приятельство не та-

кая дружба, от разрыва которой разрывается сердце. Да и не все ли равно, почти все они стали бы очень скоро чужды мне, я — им? — Почти все скоро уедут из Петербурга. Переписываться мы не стали бы.

Правда, к двум из них эти слова не относятся. С двумя я был не школьный приятель, а друг. Жаль Черкасова. Но именно так жаль его,— жаль, что он огорчен так сильно. Он любил меня. За это я любил его. Вздумалось ему, что не должен любить меня,— ему огорчение, не мне. Нет, напрасно: мне грустно отчасти и за себя. Никогда не перестану любить этого благородного человека. Он был готов каждую минуту умереть за меня. О таких друзьях нельзя вспоминать без нежности. Но все-таки: более грустно за него, нежели за себя самого. Жаль его, жаль. Одно отрадно: он поедет на родину. В кругу родных его грусть смягчится. Да, он будет счастлив любовью к ним. Скоро, вероятно, и влюбится,— милый, невинный юноша! — Он будет счастлив. Нечего много грустить о нем.

А в Ликаонском я уверен. Он не мог поддаться их сумасшествию. Вероятно, обругал их и ушел, махнув рукою. Напрасно ушел, не следовало уходить. Надобно было говорить, пока образумились бы, постыдились бы так бесчестить себя. Но и то сказать: у живого человека недостанет терпения. Для этого надобно было б ему быть апатичным, как я.

Конечно, окажется, что осталось еще двое или трое, которые не уронили себя в моем мнении. Лагунов или Благовещенский, Борисов или Свинцов. Но двое, трое, много четверо. А остальные двадцать?

Несколько дней остались без ежеминутных предостережений,— и в несколько дней уже начали верить мерзавцам, которых сами знают за мерзавцев.

Общество людей, которые несравненно выше массы. Стремились ко всему доброму,— и остались стремящимися ко всему доброму, остались прекрасны, чисты, безукоризненны, какими были: — одна перемена: стали игрушками негодяев, сами оставаясь благородны.

Вечная история. Случай ничтожен; но он обнаружил истину, которой я не хотел понимать... Я рад: узнал одною истиною больше; пригодится на будущее. Но тяжело. Подавляет. Нет силы на работу... Будто дряхлость...

И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя...

Вечная история: выходит работник, набирает помощников. Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса, готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриговать,— разинули рты, слушают — и пошла толпа за ним. Он ведет их в болото,— они тонут в грязи, восклицая: «Сердца наши чисты!» — Сердца их чисты; жаль только, что они со своими чистыми сердцами потонут в болоте.

А у работника осталось мало товарищей,— труд не под силу немногим, они надрываются, стараясь заменить недостаток рук чрезмерными усилиями,— надорвутся и пропадут...

И не того жаль, что пропадут они,— а того, что дело останется не сделано...

И хоть бы только осталось не сделано. Нет, хуже того: стало компрометировано. Выходят мерзавцы и кричат: «Вот, они хотели, но не могли; значит, нельзя».— «Нельзя,— повторяет нация.— Правда; очевидно: нельзя. Только пропадешь. Лучше же будем смирны, останемся жить по-прежнему, слушаясь людей, которые дают нам такой благоразумный совет».— И забирают власть люди хуже прежних.

От Гракхов до Бабефа одна и та же история... И после все она же... Этот жалкий 1848 год...

Потому не лучше ли было б умереть? — Лучше,— для человека, проникнутого живою любовью к людям. Такому человеку жизнь была бы невыносима. Видеть страдание, без надежды помочь — это слишком мучительно для человека с живым чувством. Для меня — очень сносно. Потому я остался жить и не буду раскаиваться.— Четыре часа ночи.

## ИЮНЬ

*1.* Проснулся в два часа, надобно было торопиться на урок. Одеваясь и потом на дороге думал о том, какую новую и великую истину открыл вчера по поводу глупости товарищей и как живо принял к сердцу это диковинное открытие. Не мог не улыбаться, пожимая плечами. Так взволноваться от мелкой неприятности! — Выводить такие грандиозные заключения из пошловатой досады! Бесспорно, глупость их велика, и я рассердился справед-

ливо; бесспорно и то, что был расположен к ним и мог быть огорчен их пошлостью, не делаясь смешным. В особенности было не смешно огорчиться за Черкасова. Но взволноваться до сумасбродства,— хвататься за бутылочку с морфием, потом подбегать к окну — это глупо.

И какие великолепные оправдания для пошлого малодушия! — «Незачем жить, потому что не для чего работать: люди глупы и легкомысленны».— Конечно, не очень рассудительны. Но потому-то необходимо работать над улучшением их судьбы. Если бы они были не глупы и не легкомысленны, то и не о чем было бы хлопотать: давным-давно жизнь их была бы устроена превосходно.

Однако странно, что до сих пор нет Ликаонского. Проснувшись, я думал, что он был и ушел, не захотел будить. Нет, не был, сказала служанка. И до сих пор нет,— уже восемь часов. Не может же он не интересоваться узнать, как я думаю о глупости товарищей; не мог он и не желать сообщить мне поскорее, как и что происходило у них.

Час ночи. Все было приблизительно в том роде, как я предполагал. Вчера после обеда Петров уходил в кондитерскую, как говорил, уходя. Возвратился с новостью о примирении между мною и Степкою. Некоторые поверили — бо́льшая часть,— разумеется, и Черкасов,— не хотели слушать.— «Как же ты узнал это? Ты ходил в кондитерскую?» — заметил Ликаонский, уже довольно давно подозревавший, что он стал перенюхиваться с Антошкою.— Петров отвечал, что встретился в кондитерской с письмоводителем Степки.— «Все ты врешь; наверное был у Антошки и вместе с ним сочинил эту сплетню».— «Что тут, сплетня! — Двое свидетелей — Антошка и письмоводитель. Спросите их порознь. Если сплетня, то обнаружится».— Товарищи решили: отправить троих спросить письмоводителя; в то же время пригласить в собрание Антошку и допросить. Сделали. Возвратившиеся от письмоводителя принесли то самое, что собрание слышало от Антошки. То самое, что говорил Петров. Я благодарил Степку за согласие с конференциею выпустить меня старшим учителем. Степка отвечал, что всегда желал мне добра. Мы обнялись, поцеловались. Степка обещал сделать представление, чтобы мне дали стипендию для приготовления на магистра,— а это для получения кафедры.

Достоверно! — решило большинство. Но многие еще говорили, что все это очевидный вздор. Черкасов колебался. Нашлись умные люди, предложившие ему и Ликаонскому съездить, спросить меня. Ликаонский отказался. Бедняжка Черкасов имел ум поехать.

— Зачем ты пустил его, Ликаонский?

— Что ты станешь делать? Сговоришь ли с дураками, когда начнут рассуждать?

— Так по крайней мере не отпускал бы его одного. Поехал бы с ним сам.

— В этом, братец мой, точно, сделал ошибку. Не предположил, что он заговорит с тобою так умно. Когда он приехал и передал свой умный разговор с тобою, я увидел, что действительно того и следовало ждать; человек благородный, рыцарь, непорочная девица; опять же, был взволнован; должен был отличиться умом. Но отпуская, не воображал, что разыграет такого дурака.

Добряк возвратился с искренним убеждением, что я признался.— Тут, разумеется, все уверовали. Один Борисов сохранил здравый смысл, плюнул и ушел. Ликаонский долго спорил. Наконец тоже плюнул и ушел.

Поутру взял Черкасова в Биржевый сад, начал образумливать наедине.— «Не сам ли ты видел отношения Левицкого к Илатонцеву? Нужна ли протекция Степки? Не вызывал ли Илатонцев даже нас с тобою, которых видел в первый раз, сказать ему, не может ли он быть полезен нам? — Почему вызывал? Не потому ли только, что мы приятели Левицкого? Не дал ли тебе слово устроить, что тебя назначат учителем на родину? Затруднился ли тем, что в той гимназии нет вакансий? — Что отвечал на это затруднение? — Переведут какого-нибудь учителя инспектором куда-нибудь, и будет вакансия для вас, будьте спокоен,— так или нет? В ком же другом нуждался бы Левицкий? — Да нуждался ли б он и в Илатонцеве? Разве Рязанцев не авторитет в университетском совете? Разве Рязанцев не сходит с ума от Левицкого? Разве не толковал ему постоянно, что ему следует быть профессором?»

— Так; но он сам признался.

— Но ты сам знаешь, он никогда не думал о кафедре; что он хочет быть журналистом и что занять кафедру было б и стеснительно и невыгодно ему?

— Так он говорил; но, видно, не так думал или передумал. Да и я всегда возражал ему, что напрасно он так говорит, что хорошо бы ему быть профессором. Должно быть, увидел, что так. Что́ спорить, Ликаонский? — Он сам признался.

— Пойми, чудак, ему было обидно твое подозрение. Пойми, что человек, уважающий себя, не оправдывается в подобных случаях.

— Перед другими, пожалуй, не захотел бы оправдываться, но передо мною, который так любил его!

— Слышать глупость от тебя было ему оскорбительнее, нежели от кого-нибудь.

— Нет, Ликаонский, напрасно ты воображаешь, будто можешь убедить меня, в чем захочешь.— Он сам признался.

Ликаонский понимал, что сделал ошибку, отпустив ко мне Черкасова одного, и не хотел видеть меня, пока не поправит дела. Целый день ждал случая поймать Антошку и допросить как следует перед товарищами. Поймал только уже под вечер. Конечно, сбил, когда допрашивал один, попросив других слушать, молчать и не вмешиваться. Антошка признался, что не было речи о кафедре, это лишь его предположение, что Степан Иванович готов хлопотать за меня. Больше нельзя было добиться от Антошки.— Ликаонский взял с собою свидетелей, зазвал письмоводителя Степки в трактир, напоил,— они услышали всю правду. Степка принимал успокоительные капли после того, как я ушел.— Но не мог заниматься делами и отослал письмоводителя. Часа через два Антошка призвал письмоводителя к себе и научил его, как следует рассказывать о моем свидании со Степкою.

Когда свидетели возвратились к товарищам, конечно почти все сознались в том, что были одурачены подлецами. Но добряк Черкасов и тут нашелся: — «Ты, Ликаонский, подкупил письмоводителя. Это нехорошо, Ликаонский, унижаться до обмана, хоть бы даже из дружбы. Правда выше всякой дружбы. Левицкий сам признался мне».

— Товарищи раскаялись. Помирись с ними, Левицкий.

— Нет, мой друг. Это бесполезно.

— Ты сердишься на них?

— Перестал сердиться. Но бесполезно возобновлять приятельство с людьми, которые могли хоть на минуту

подумать обо мне так дурно. Сердиться на них — слишком много чести для них. И притом, ты знаешь, я флегматик. Но что глупо, то глупо. Пока я не знал, что они не способны думать своим умом, а не чужим, я дорожил их расположением. Теперь не вижу пользы возобновлять разорвавшиеся отношения.

Для чего хорошо иметь много приятелей? Для того, чтобы иметь наготове людей, когда начнутся серьезные дела. Но могут ли эти легковерные и легкомысленные быть агентами в серьезных делах? — Потому надобно даже радоваться, что мы вовремя узнали, каковы они. Это предохранит нас от ошибок, когда придется заниматься делом. Чем дальше от них, тем лучше.

Ликаонский согласился, что это правда.— Одного только Черкасова было мне жаль. Правда, он не может играть самостоятельной роли. Но его безграничная преданность убеждениям выкупает неуменье быстро понимать вещи. Он святой человек.— Против этого Ликаонский не спорил. Он убедил меня бросить намерение писать ему. Каждое дружеское мое слово показалось бы ему раскаянием, признанием моей виновности. Он еще тверже убедился бы, что я в самом деле хотел дружиться со Степкою и только всеобщее негодование заставило меня отказаться от подлого замысла. Мне нельзя делать первый шаг. Пусть он сам образумится. Тогда пусть я нежничаю с ним как мне угодно.

Где я был, когда Черкасов пришел ко мне? Наша служанка сказала ему, что я у молодой соседки, которая расходится с мужем. Что́, я уже влюбился? — Выслушав мой план, он сказал, что, разумеется, со стороны Анюты не будет затруднений; но, по обыкновению, стал рассуждать о моей влюбчивости, о моих сильных чувствах, о том, что мой спокойный разговор и вид могут обманывать других, но не его,— и все тому подобное. Относительно влюбчивости не спорю: вспыхиваю легко; но силою моих чувств он всегда смешит.— «Даю тебе честное слово, Ликаонский, что пока ты не стал спрашивать об Анюте, я во весь день ни разу не подумал о ней пяти минут сряду».

Действительно, весь день почти вовсе не думал о ней, потому что хандрил.

*2.* Пошел к ней поутру.— «Я вчера, от генерал-губернатора, приходила к вам, вы еще спали».— «Хозяйка

говорила мне, что ваша просьба принята хорошо; я очень рад, что вы теперь можете располагать собою свободно. Что вы думаете делать? Как думаете жить?» — «Буду жить как-нибудь».— Я стал говорить ей о своем чувстве. Она, милая, даже заплакала: «Господи, как вы говорите обо мне, Владимир Алексеич! Я ни от кого не слышала таких слов!» — Мы поцеловались, и я поехал искать дачу.

Домик в Екатерингофе понравился ей по моему описанию. Понравится ли, когда увидит сама? — «Успею ли переехать завтра поутру? Много хлопот с мебелью».— Я сказал ей, что мебель надобно бросить здесь, пусть возьмет ее муж. Она согласилась: «Но о кровати и постели он уже не может сказать, что это не мое. Мне подарено».— Я сказал, что кровать и постель также надобно бросить. Она поняла, что это ревность: — «Ну, хорошо, не возьму с собою. Значит, надобно продать».— «И не продавай, брось».— «Почему же, Володя?» — Но и это поняла.— Поцеловал ее и ушел. Не мог оставаться, потому что недостало бы характера держать себя как надобно. Она слишком очаровательна, тем очаровательнее, что застенчива. Предложить хорошенькой женщине, не согласится ли она жить со мною,— это показывает, что я молодой человек. В этом нет ничего нового для моей хозяйки и ее служанки: они видели, что у меня растет борода. Но знать, что я страстно люблю женщину, с которой хочу жить,— знать и толковать об этом совершенно лишнее для них.

Милая Анюта! Я сужу о ней беспристрастно. Я вижу в ней недостатки. Но должно быть справедливым: не она виновата в них. Они скоро исчезнут. Она умна, и сердце у нее доброе. Деликатность чувства разовьется.

Одиннадцать часов вечера. Тянет к ней. Чтобы не поддаться влечению, буду писать. Пусть мои мысли будут заняты ее грустным прошедшим. Фантазия успокоится.

Мать Анюты была мещанка. Отец — человек не бедный; служил; наживался. Матери она не помнит. Отец поступил лучше многих: не прогнал побочную дочь. Хотел дать ей порядочное воспитание, поместил в пансион. Она еще помнит несколько французских фраз. Когда ей было лет двенадцать, отец умер. Наследницею была сестра его, жена довольно важного чиновника. Дурная женщина. Конечно, не захотела платить в пансион.—«По крайней мере возьмите ее к себе,— сказала содержательница

пансиона.— Как бы то ни было, она отчасти родня вам. Нельзя же выгнать ребенка на улицу».— Тетушка перевезла девочку к себе, отдала на попечение своей горничной: пусть горничная учит ее прислуживать. Горничная учила, Анюта росла. Года через два сама стала годиться в самые прекрасные горничные. Барыня отпустила старую горничную,— действительно старую девушку и рябую. Анюта была прекрасною горничною. Верю этому: она кроткая и терпеливая.— Тетушка — барыня вообще была злая, но редко оставалась недовольна горничною.— Анюте пошел шестнадцатый год. Муж тетушки — безответнейшее существо перед женою, стал заигрывать с Анютою. Она не знала, что ей делать. Сказать барыне? — Барыня ревнива. Прогонит ее. Куда она пойдет? — Пока Анюта думала, барин подкрался к ней ночью. Анюта проснулась,— не разобравши в темноте, кто хватает ее, вообразила спросонков, что вор, хочет удушить,— вскрикнула. Барин стал успокаивать. Она упрашивала его отстать. Барин отстал, убрался назад в спальную, к жене.— Анюта поняла, что невозможно молчать, надобно сказать барыне.— Но барыня поутру была очень злая. Сказать ей в злую минуту, вспылит, изобьет, не дослушав. Анюта стала ждать, пока барыня будет помягче. Да и то мешало, что беспрестанно вертелся тут барин. Пусть он уедет в должность, не при нем же. Но барыня уехала куда-то раньше мужа. Он стал просить Анюту молчать, обещался не приставать к ней. Она не могла поверить ему и не сказала, что будет молчать. Он уехал в ужаснейшем страхе. Через несколько времени возвратилась барыня. С нею вошли полицейские. Старший из полицейских сказал Анюте: «Иди с нами». Барыня повела их к сундучку Анюты. Старший полицейский сказал Анюте: «Отопри». Анюта отперла. Полицейский стал перебирать вещи в сундучке и вынул оттуда брильянтовую брошку барыни: — «Это что такое, милая?» — Анюта окаменела.— «Берите ее»,— сказал полицейский своим помощникам. Анюту взяли, повезли; привезли.— За столом сидел пожилой человек с лицом зверя: — «Признаешься, что украла брошку?» — «Нет; или сама барыня подкинула ее,— да барыня не могла, сундучок мой был заперт,— или вот он вынул брошку из рукава. Он вынул из рукава, иначе быть не могло».— «Ах ты, мерзавка, позволю я тебе говорить, что твоя барыня дала ему брошку всунуть в твои вещи! — Что он сделал

такой подлог! Признаешься ли, мерзавка, что украла?» — «Нет».— «Не признаешься? — Сечь ее!» — Анюту высекли.— «Признаешься?» — «Нет».— «Мало секли тебя.— Берите ее, дайте ей еще».— «Слаба, ваше высокоблагородие»,— заметил один из тех, которым он приказывал: — «А, когда слаба, то пусть отдохнет. До завтра, подумай, милая; лучше признайся; отпираться не будет пользы».— Ее увели и заперли. На другой день пришли, взяли, повели, привели; — высекли; тоже без пользы. Увели, заперли. После того прошел день без сечения,— и другой,— и третий.— На четвертый опять пришли, взяли, привели.— «Надумалась ли, милая? Сознаешься?» — «Нет, не крала».— «Берите ее,— да хорошенько сечь!» — Положили на скамью, стали сечь. Вдруг перестали, без приказания. Анюта встала. В комнату входил новый полицейский,— должно быть, старше всех: тот, прежний, самый старший, со зверским лицом, вытянулся в струнку перед новым.— «Делаете допрос ей?» — «Точно так, ваше высокородие».— «Какое дело?» — «Горничная украла брошку у барыни,— при обыске нашли в ее сундуке».— «Что ж, неужели отпирается?» — «Отпирается, ваше высокородие».— «Э, да какая еще молоденькая, а такая мошенница! — Послушай, милая».— Новый полицейский подошел к Анюте: «Советую тебе, милая, признайся: ничего не выиграешь, отпираясь, улика ясная».— Он говорил суровым тоном, но лицо у него было человеческое, а не звериное: — «Собственное признание, милая, облегчит твою вину, а если будешь запираться, только будут тебя сечь и потом накажут строже. Советую тебе, милая».— Анюта упала на колени и обняла его ноги: «Пожалейте меня! Я вам все скажу!» — «Говори, милая, это хорошо».— «Позвольте мне сказать вам одному, потому что мне стыдно!» — «Изволь, милая. Пойдем».— Он пошел с нею через несколько комнат,— сначала грязных, потом чистых, потом и хорошо меблированных,— пришел с нею в кабинет, большой, прекрасный; сел: — «Говори, слушаю».

«Знаешь ли, моя милая,— как зовут-то тебя? Анна, что ли? — Знаешь ли, моя милая, очень может быть,— очень и очень может быть, что ты не крала. Но не знаю я, как мне с тобою быть. Дело твое плохое. А главное, твоя барыня — не кто-нибудь, и повернуть твое дело против нее — трудно. Даже невозможно. Понимаешь ли ты,

Анюта, что если она не отстанет говорить свое, то нельзя оправдать тебя иначе, как обвинив ее. А этого никак не сделаешь.— Не могу и не берусь. Право, не знаю, что мне с тобою делать».— Он стал думать.— «Право, не знаю».— «Будьте моим ангелом-спасителем!» — Анюта целовала его ноги.— «Встань, милая,— он поднял ее.— Право, мне жаль тебя, милая, только не знаю, что тут можно сделать... Разве вот что: поеду к твоей барыне, не согласится ли она бросить это дело. Тогда бумаги изорвем, и кончено».— Анюта опять бросилась к его ногам, уже со слезами радости, бедная.— «Погоди быть уверена, милая: кто ж ее знает, согласится ли? — Сама ты говоришь, баба злая; да и я так слышал. Но может быть, и очень может быть. Скажу, что ты остаешься у меня,— натурально, тогда ей не будет опасенья, что ее муж останется в связи с тобою. Молись только богу, чтобы согласилась».

Он позвонил.— «Скажи там, что эта подсудимая, Анна,— по краже у барыни,— остается пока у меня.— Да ты что умеешь делать? Голландское белье хорошо моешь?» — «И блонду и кружева мою хорошо, не только полотно».— «И блонду моешь? Но в этом-то нет надобности. А хорошая прачка — не лишнее.— Так оставайся покуда, милая.— Эй, отведите эту девушку к Степаниде».— Слуга повел Анюту к Степаниде. Старуха Степанида тоже выслушала ее историю с участием; другая служанка, молодая и красивая, прислушивалась тоже не без участия и потом заметила: «Ну, что же, если бы ты и надолго осталась, то бог с тобою: девка ты, кажется, смирная, авось не будем грызться.— Прибыль-то мне не велика, слишком-то любить его не за что, Ивана-то Ильича».

Перед обедом позвали Анюту к Ивану Ильичу.— «Благодари бога, милая. Барыня твоя бросает дело».— Анюта не помнила себя от радости.— «А что спина-то у тебя еще болит, Анюта?» — Степанида и другая служанка уже заботилась о ее спине. «Теперь гораздо легче».— «И прекрасно, милая, желаю тебе скорого выздоровления. Иди себе, до свиданья».

Спина Анюты очень скоро вылечилась.— «Ну, теперь ступай ты к нему на перемену мне,— сказала другая молодая служанка.— Он спрашивал, я ему сказала, пришлю ныне тебя».— «Да ты иди со мною, я одна-то не смею».

«Ах ты, дура, дура!— Ну, пожалуй, провожу».— Проводила и сдала Ивану Ильичу с рук на руки.

«Ах ты, милая моя Анюточка, да ты в самом деле была невинная?» — сказал Иван Ильич в удивлении и восторге и принялся целовать Анюту с нежностью больше той, с какою принял ее на свою постель.

«Смотри-ко ты, Степанида,— сказала на другое утро прежняя фаворитка Ивана Ильича.— Вот тебе девушка-то, Анюта-то! — Слышь Иван-то Ильич говорит мне: а ведь не врала, была невинная. А мы с тобою не верили. Ах ты, Анюточка, моя милая! — То-то тебе и страшно-то было идти! А я смеялась! — Ну, теперь останешься вовсе жить с нами! — Он полюбил тебя за это. И счастье мое, что ты доброго сердца,— хоть и войдешь ты в милость к нему, все мне от тебя не будет притеснения».

Так и сбылось все. Скоро Анюта вошла в очень большую милость у Ивана Ильича. В такую, что осмелилась даже исполнить желание прежней фаворитки: говорить Ивану Ильичу, чтоб он выдал прежнюю фаворитку замуж. Дело было щекотливое. Но Анюта не глупа и устроила счастье своей приятельницы.

Мимолетные совместницы из подсудимых мелькали нередко. Но постоянною любовницею оставалась одна Анюта. И не только сохраняла бесспорное обладание его сердцем, становилась все милее ему.— Года через полтора он уже прекрасно одевал ее. Давно она не мыла белье, не была служанкою, была исключительно любовницею. Но Иван Ильич был человек тугой на расходы. Только года через полтора Анюта стала и по будням ходить в шелковых платьях. Потом она получила и право разъезжать в карете Ивана Ильича. Это было счастливое время.

Степанида дивилась уму и уменью Анюты. Как это она так завладела Иваном Ильичом? Степанида жила у него давно, много любовниц,— то есть постоянных любовниц,— перебывало при ней. Все жили с нею, в комнате для женской прислуги,— все так и оставались при своих занятиях: кто прачкою, кто швеею, кто помощницей повара. Одной Анюте удалось так выйти в настоящие любовницы, какие бывают у добрых людей в хороших домах,— в барыни, можно сказать!

Это понятно: у Анюты не совсем те манеры, как у девушек, выросших безо всякого воспитания. В детстве она

была барышнею. Года четыре жила в пансионе для благородных девиц. Заметные следы хорошего тона остались и в ее разговоре и в ее манерах. Много забылось, как забылся французский язык. Но не совсем потерялась грациозная деликатность в движениях, как осталось в памяти довольно много французских фраз.

Милая Анюта,— ты будешь восстановлена. Все будут уважать тебя, я буду гордиться тобою.— Половина первого. Ты уже спишь, моя милая. Моя чувственность должна покориться нежному чувству, которое запретит мне нарушить твой сон. До завтра, Анюта.

В тот вечер шалостей перед приездом Черкасова я сказал ей, что подкуплю ее кухарку и приду посмотреть на нее, спящую,— зачем она строга, зачем не позволяет мне заглянуть еще раз на ее грудь? — Я видел, почему же нельзя мне взглянуть еще? — Нельзя? — То я увижу, как она спит.— «Ах, боже мой, какой стыд!» — «Почему же стыд? Я видел многих девушек, которые спят очень мило, и не стыдились, чтобы я видел, как они спят».— «Ах, значит, они спят не так...» — она остановилась, покраснела и засмеялась: «Я не хочу говорить с вами!» — «Они спят не так, как вы, хотели вы сказать — они спят не разметавшись. А вы разметавшись?» — «Ах, какой вы, право!» — Она потупила глазки. «Я угадал?» — «Нет»,— сказала она сквозь слезы. Милая!

О, как бело должно быть все ее прекрасное тело!

Я вижу ее,— я вижу ее. Она разметалась, руки закинуты на подушку, одна ножка протянута, другая несколько согнута,— она вся перед моими глазами, сияющая белизною.

Она вздохнула и повернулась; правое плечико приподнялось, левое опустилось,— ручки легли вдоль корпуса,— она опять вздохнула и повернулась,— опять грудью вверх, прямо,— обе ножки протягиваются, левая тихо закидывается на правую,— опять опускается, обе ножки лежат протянутые,— левая остается протянута, правая сгибается под ее колено,— еще, еще, правая ручка ложится на согнутое колено, левая закинулась на подушку — правая поднимается выше по ножкам, скользит по корпусу и закрывает грудь,— милая моя, я не жалуюсь на эту ручку, пусть она закрывает от меня грудь, ты вся прелестна, и я не могу решить, которая из твоих ножек лежит милее,— правая ли с дивным своим сгибом, левая ли, выпрямлен-

ная,— милая, дивная! О, останься так! Ты вся мила, как нежная грудь твоя!

О моя светлая,— вся ослепительная белая,— твой мирный сон распаляет меня! И ты будешь гореть, и ты затрепещешь страстью.

Я чувствую как будто юноша, еще не получавший ласки от женщины. Да и не в самом ли деле это будет первая женщина, которую обниму с полным упоением страсти.

Да, она первая будет наслаждаться так же страстно, как я,— те не наслаждались,— их утомленная вялость охлаждала и меня. Они не были женщинами в моих объятиях.

Ты, милая, первая будешь наслаждаться вместе со мною,— и с тобою первою я испытаю всю упоительность самозабвения страсти,— моей в твоей, твоей в моей. Я чувствовал, что еще не знал, как упоительны могут быть восторги наслаждения; — переживу ли я жгучую негу твоих объятий...

Всходит солнце, моя милая,— всходит солнце дня, который соединит нас. Милая, милая...

*3*. Да. Она милая, она моя милая.

Час ночи. Да, она вся такая, как я видел ее в моих грезах наяву вчера.

Ослепительно бела. Дивная чистота форм.

Она так мило, тихо спит. Безжалостно, бессовестно было бы снова будить ее. Хочу приковать себя к месту, пока сон станет одолевать и меня.

«Я женюсь, Анюта. Нельзя тебе оставаться здесь. Тебе надобно будет жить на особой квартире. Надобно выдать тебя замуж. Не печалься, Анюта. Я буду жить с тобою по-прежнему. Жена у меня будет гораздо похуже тебя; да хотя бы и не хуже, все-таки ты не лишняя».

При всей верности этого утешения Анюта опечалилась. Не то, чтобы она слишком любила этого человека,— пожалуй, она была бы не больше,— даже меньше огорчена, если б он не прибавлял утешения, что будет жить с нею по-прежнему. И опять не то, чтобы ей не нравился он: нравился, потому что ей было хорошо, очень хорошо быть его любовницею. Но хорошо было потому, что она жила при нем, в его хозяйстве. А жить на особой квартире,— она знала, будет совсем не то, совсем не то, так что довольно мало будет радости оставаться его любовницею.

Не могло много утешать ее это его обещание: она понимала, что ее счастливое время кончилось.

Из трех с лишком лет, которые она прожила при нем, последние два года были для нее счастливым временем. Чего ей недоставало? — Всего было у нее вдоволь, чего только желала ее душа,— и желать больше было нечего; надобно было только благодарить бога.

Правда, Иван Ильич был не такой человек, чтобы бросать деньги попусту; а еще меньше того, чтобы какая угодно любовница могла иметь хоть маленькую власть над его портмоне. Но он был вовсе не скряга; он был только расчетлив, очень расчетлив, и тугого характера. Бросать деньги на чужие прихоти, это было не в его характере. Но сам он любил жить хорошо и перед этим временем занял такую должность, что вовсе перестал скупиться на себя; — зачем было скупиться? — Все-таки богател. Чудесная была должность! Ах, какая должность! Что́ было скупиться? Да и не хорошо было бы: приличие по должности требовало. Он не мог допустить этого, чтобы стали говорить: должность занимает, а жить не умеет. Оттого-то всего больше и не поскупился он сделать Анюту формально своею любовницею: стал занимать такую должность, а сам человек не женатый,— как это не видно было бы, какая у него любовница — где она? — Неужели он, на такой должности, живет с какою-нибудь прачкою или кухаркою? — Неприлично! — Потому ему и нельзя было: необходимость того требовала; для общества было надобно.

Он жил с комфортом, отчасти даже пышностью. А когда он возвел Анюту в сан формальной любовницы, то и ей пришлось пользоваться всеми благами его жизни.

Его квартира была великолепная. На свои деньги он не захотел бы нанять такой, так отделать и убрать: и величина и меблировка, все было дороже, чем требовалось для комфорта и приличия. Но все было казенное и зависело от него же самого. Потому было великолепно.— Когда Анюта сделалась формальною его любовницею, она получила верховный надзор за его квартирою,— и стала пользоваться всем этим пространством, блеском,— как ей угодно расхаживать по всем этим прекрасным комнатам; — а ее комната была самая лучшая изо всех.

Само собою, ее комната была лучше всех, потому что он был человек умеющий жить. Формальной любовнице,

конечно, следовало быть переселенной в спальную. А где же, как не в спальной, и нужно все самое хорошее человеку, который понимает, что настоящая жизнь должна быть не для парада, а для собственного удовольствия? — Ах, как удивительно хорошо было все в спальной! — Нельзя описать, невозможно вообразить, как прелестно и богато была убрана спальная! Например, что́ за кровать! — Просто загляденье! — А постель! — Это просто чудо! — Это он не пожалел сделать на свой счет: неловко же поставить такие цены таким вещам в казенный расход; — а что́ ж и должно быть хорошее, как не это? — Так он судил; и справедливо. Ах, что это была за постель! — Лучше всякого описания. Смотришь на нее,— и ложиться жаль: изомнешь; — ляжешь,— и вставать не хочется, так пышно, мягко, нежно и тепло, и не жарко! — Прелесть, прелесть!

Но как же можно было, чтобы на такую постель ложились любовницы — служанки, от корыта с бельем или от очага, вспотевшие, в грубом белье? — Ах, тогда у него еще не было такой постели, он завел ее уже после. Но и прежде у него была хорошая постель,— та самая, которую он подарил Анюте, отдавая замуж,— хорошая, прекрасная! — Разумеется, и на такую нельзя положить служанку в таком виде, как ходит служанка,— хоть, впрочем, эти служанки не были вспотевшие,— потому что они больше только для порядка были кто прачкою, кто на кухне, чтобы не зазнавались, не имели лишних претензий; — работы не требовалось, он не притеснял; — но все же нельзя было положить их в таком виде и на прежнюю постель; а тем больше нельзя было допустить подсудимых в таком виде, как они приходили,— грязные, ужас! — Но на это у Степаниды было и туалетное мыло и весь туалет. Перед тем как идти к барину,—из подсудимых ли, служанка ли, все равно, каждый раз надобно было позаботиться о себе,— Степанида наблюдала за этим. Из ванны, вспрыснутая лоделавандом,— Иван Ильич любит лоделаванд больше всяких духов,— припомаженная, в рубашечке голландского полотна, в батистовом пеньюарчике,— не то что служанка, и всякая подсудимая шла на постель, достойная такой постели,— иная из подсудимых такая, что и Анюте не жаль было даже и новой постели для такой воздушной душеньки; — потому что при новой постели своих домашних из прислуги уже не было, а только по

временам, на короткое время, какая-нибудь подсудимая.— Даже и после они-таки бывали? — И не возбуждали ревности? — Чего же тут ревновать, когда в этом и не было ничего такого опасного? — Дня два, три,— неделю поживет,— и только. Этого нельзя было бояться, что потеряешь место,— нет; он правду говорил: «Это у меня такой характер, для разнообразия; а ты не беспокойся об этом, Анюта: я люблю тебя за то, что ты смирна; свяжись с другою, надобно будет еще ругать ее, чтобы не надоедала просьбами, да еще, пожалуй, воровка попадется. А тобою я доволен: что́ делаю тебе, тем ты и довольна,— умна и смирна».

Это правда, что она не приставала к нему с просьбами потому, что была умна: понимала его характер; не выпросишь, а только услышишь: «Молчать, ступай вон»,— а почаще надоедай, то и будешь прогнана. Надобно было понимать его характер и переносить. Но правду сказать, и нельзя было пожаловаться на него,— нет! — Одевал, одевал! — Ах, наряжал, одевал! — Конечно, и нельзя было ему скупиться на это: приличие требует! — Когда держишь любовницу, то уж и держи ее как следует, любовницу! — Он понимал это. Да и невозможно: кому же был бы стыд, как не ему же? — Съедутся сослуживцы,— иной раз и начальники,— пообедать, или, чаще, на завтрак, или вечером поиграть в карты,— она тут хозяйкою,— или кататься, иной раз, берет ее с собою,— как же иначе? — Не за тем ли он назвал ее: «Будь ты как следует, настоящею любовницею»,— не за тем ли, чтобы она была на виду?

Потому человек умный, он и наряжал ее как следует. Нельзя было жаловаться. Ах, какое счастливое было это время! — Когда оденется вся в кружевах, она была самая прекрасная барышня! Прелесть, как наряжена! — Да и домашнего платья у нее не было ни одного, которое стоило бы меньше 25 рублей,— только само платье, без лент и кружев. У нее была соболья шубочка, у нее были и брильянты.

Он ей давал и свою коляску с рысаками,— не всегда же коляска и рысаки были нужны ему самому; напротив, редко ему самому; больше были свободны для нее. Когда она неслась на этих рысаках по Невскому, никто не подумал бы, что она только любовница Ивана Ильича,

который еще и не генерал,— все думали, что она любовница какого-нибудь откупщика. Так и говорили ей многие.

Ах, это было счастливое время! — Я думаю, усну.

*4.* Не ездил на урок: не хочу ни на минуту отрываться от моей милой. Пусть вся эта неделя будет одним непрерывным праздником.— Был Ликаонский. Не мог насмотреться на Анюту.— «Что, Ликаонский, будешь называть меня влюбчивым?» — «На этот раз не могу смеяться». И он также очень понравился Анюте. Действительно, когда он бросает свою вечную серьезность и сердитость, он становится мастером болтать вздор.— «Останься в Петербурге, Ликаонский,— не для меня, то для нее. Видишь, она будет любить тебя больше, нежели я».— «Если бы остаться, то остался бы не для какой-нибудь женщины, хоть бы даже и твоей любовницы или жены, а разве для тебя. И остался бы. Но с сестрами-то что́ я буду делать?» — «Устроим так, что будет можно тебе привезти их сюда».— «Положим, при твоей помощи устроился бы так, что и здесь мог бы кормить их. Но кто здесь женится на девушках без приданого? — Нельзя, Левицкий».

Вот это человек,— это не я. Человек простого, прямого, близкого долга. И с тем вместе всегда готовый хладнокровно погибнуть за убеждения. Завидую ему.

«Напиши, что я нужен тебе,— и приеду, брошу сестер. Но теперь должен думать о них».

А я — презренный эгоист, живу для себя. Правда, у меня нет обязанностей по родству. Мои маленькие сестры еще не нуждаются в моих заботах. На это у меня, может быть, и достанет совести, не быть дурным братом. Но пока я свободен, я должен был бы тем безграничнее предаться делу, делу. А я забываю все для Анюты.

Забываю и хочу забывать. Пусть я эгоист. Но хочу и буду наслаждаться жизнью.

Опять надобно приковать себя к месту, пока станет овладевать сон и мною.

Анюта без конца описывала мне свои тогдашние наряды в тот вечер, перед приходом Черкасова: похохочет моим шуткам, сама пошутит,— и через несколько минут,— ни я, ни сама она, мы не знаем, как,— опять наряды. Она была счастлива ими.

Теперь, мне кажется, я в самом деле начинаю любить ее. Но тогда я только был раздражен привлекательностью ее милого тела, прекрасным ее лицом, белизною и очаро-

вательною упругостью груди, справедливыми мечтами, что и все формы ее так же восхитительны. О ее нравственных достоинствах или недостатках я судил совершенно равнодушно. Я не приходил в умиление от ее страстных воспоминаний о нарядах. И теперь, хоть стал любить ее, не могу сказать, что люблю в ней эту страсть. Но и тогда я находил ее слабость извинительной. А теперь понимаю, что глупо было и думать «извинительная слабость», потому что эта слабость вовсе не нуждается в извинении. Она может казаться мне признаком недостаточного развития — только. Мне может не нравиться, если человек не знает арифметики, географии, не умеет читать. Но можно ли говорить: «Надобно извинить ему это, потому что никто не хотел учить его» — что тут извинять? — Он кругом прав.— Так и та недостаточность развития, при которой наряды занимательнее всего на свете. Может ли человек не желать быть счастлив? Может ли не дорожить тем, что делает его счастливым? — Ей не было не только доступно,— не было хоть бы понаслышке известно никакое другое счастье, кроме доставляемого нарядами.

Вообще во мне всегда возбуждало хохот, когда я читал упреки молодым женщинам за пристрастие к нарядам. Я видел пожилых мужчин, мрачных деловых людей, которые были в восторге от того, что могли украсить себя игрушкою, гораздо менее красивою, нежели хорошенький фермуар,— могли нарядиться в костюм, несравненно менее красивый, нежели бальное платье с кружевами. Я не видел пожилых деловых людей, которые не гордились бы и не восхищались бы своими игрушками и нарядами больше, нежели какая бы то ни было молодая женщина своими брильянтами и платьями. Пока я не увижу, что пожилые, деловые люди стали менее смешными детьми, нежели молоденькие женщины, я не могу думать, что страсть молоденьких женщин к нарядам нуждается в извинении. Молоденькие женщины могли бы отвечать своим порицателям:

Наши деды и отцы
Нам примером служат.

Младшие, менее опытные, они должны брать пример со старших, более опытных. Это нравственная необходимость. Это закон природы.

Я могу думать, что отцы и деды подают дурной пример, стараясь блистать, добиваясь всяческих удовлетворений глупому своему властолюбию и тщеславию; усиливаясь всячески производить эффект, одерживать победы, затмевать соперников. Я могу желать, чтобы они перестали подавать пример служения пустоте. Но пока он подается, невозможно, чтобы не подражали ему, не старались ослеплять и молоденькие женщины.

Мне мерзки фарисеи, нападающие на пристрастие женщин к нарядам,— из этого ли пристрастия угнетаются народы и льется кровь? — Из-за женского ли тщеславия? — Лекарь, прежде вылечись сам,— вынь бревно из твоего глаза, и тогда говори о щепке в глазу твоей дочери или внука.

«Я женюсь. Я не перестану жить с тобою. Но надобно выдать тебя замуж».— Анюта была опечалена этими словами. Но могла огорчаться и помимо пристрастия к нарядам и роскоши. Она понимала, что у нее будет отнято больше, нежели то, без чего можно было б и обойтись. Она должна была стать бедна. Такой большой крутой упадок ломает человека и помимо всякой суетности.

За кого он может отдать ее? Кто женится на ней?

Ее предместница была выдана за очень мелкого полицейского и жила бедно. Но муж был обыкновенный маленький чиновник, не хуже других маленьких чиновников; жена его жила не хуже других маленьких чиновниц.

Анюта не могла надеяться, что найдется ей хоть такой муж. Ее предместница была отдана в жены своему мужу. Анюте было сказано: «Не печалься, я буду жить с тобою по-прежнему»,— какой найдется жених, чтобы жениться только для принятия чужой любовницы в свою квартиру?

Разумеется, нашелся бы хороший и очень хороший человек, если бы за это было даваемо большое повышение по службе или если бы давались порядочные деньги.— Но подчиненные Ивана Ильича превосходно знали, что нет и не может быть хорошего расчета повенчаться с его любовницею. Они видели пример, как он награждает за женитьбу на его фаворитке. Да хоть бы и не видели бы, знали бы, что нечего ждать от него; известно было, какой тугой человек. Пусть эта фаворитка идет не в отставку, как та, а сохраняет его в своих объятиях,— все-таки мало толку для мужа.

Какая надобность Ивану Ильичу, чтобы его любовница имела лишнее? — Никакой. Ему нужно только очень немногое: нужно, чтоб у любовницы была чистая комната, в чистой комнате должна быть хорошая постель; сама любовница должна быть в хорошем белье,— только, больше ничего не нужно для Ивана Ильича.— И Анюта поняла, и подчиненные поймут, что не следует надеяться, чтоб у нее было больше.

Но он захотел быть щедр. Он сказал, что, кроме кровати, постели, белья, дает ей полдюжины из платьев, которые носила она в его квартире, дарит ей три перстенька и браслет из вещей, которыми она пользовалась. Это лишнее, даваемое без надобности, стоило рублей до пятисот.— Она была отчасти удивлена таким великодушием. Она увидела, что он любит ее гораздо больше, нежели она могла думать.

Точно, он любил ее. Он сказал, что жена у него будет хоть не такая красивая, как Анюта, но зато окажется горячее Анюты,— так он думает: чуть тронет ее, у нее глаза масленые,— и притом недурна,— вот какая будет у него жена, а все-таки он будет приезжать к Анюте каждый день: так он привязался к Анюте.— И не это одно доказательство его привязанности. Он объявит, что, кто женится на ней, будет сделан помощником квартального надзирателя. Это много; можно бы обещать должность поменьше, и было бы довольно. Но для Анюты так и быть: пусть будет ей в приданое должность помощника квартального, и притом в хорошем квартале.

Муж будет отлично содержаться при жене. А у Анюты будет гораздо больше, нежели необходимое. Пусть не беспокоится: муж будет все отдавать ей;— если что́ и утаит, то самую малость: доходы известны; а доходы очень хорошие.

Так он был заботлив и щедр. Он не пожалел бы назначить мужу должность и еще гораздо лучше; но думает, нехорошо было бы для него самого. Могла бы пойти молва: «Смотрите, на какие места он сажает мужей своих любовниц», пожалуй, оно и не велика беда, но все-таки нехорошо. Пусть же Анюта будет довольна.

Итак, было объявлено: кто женится на Анюте, будет помощником квартального надзирателя.

Награда более, нежели достаточная. Но и не такая, чтобы сбежались толпы охотников из подчиненных. Вся-

кий, кто был не пьяница, не картежник, рассуждал: набью себе как-нибудь деньжонок, или увидят мое усердие,— куплю или дадут мне должность помощника,— хоть не сейчас, хоть со временем, но лучше подожду: по крайней мере, когда женюсь, то, если буду сам жить со своею женою, не надо будет содержать любовницу. А тут женись,— и опять держи постороннюю девку,— нет расчета — жениться так. Двойной расход.

Нельзя было не ждать, что жених будет не горький пьяница. Анюта плакала в его ожидании. Даже стала худеть.— Но не успела много похудеть: не терпело время, Ивану Ильичу недолго оставалось до свадьбы.

Если бы время терпело, может быть и приискался бы,— положим, хоть и пьяница или какой-нибудь бездельник, но все же получше. Время не ждало: всего неделя была крайний срок. Пришел срок, другого жениха не было, кроме одного. Тут-то было слез, как пришлось венчаться с ним! — И Степанида плакала: «Легче бы вам, Анюта, утопиться, чем повенчаться: смотрите-ка, у него, подлеца, и ко дню-то свадьбы рожа-то не зажила — вся разбитая. А мужчина здоровый, кулачище-то в пуд».

Чего смотреть! — Анюта видела и сама, что лучше бы ей утопиться, чем повенчаться. С тем и повезли ее в церковь,— но с мыслями такими, а не со словами — в церкви так не говорят.

Впрочем, она думала и о том, что Иван Ильич говорит отчасти правду: «А что тебе за надобность, какой он человек? Он имеет дело со мною, а не с тобою».— Так думала Анюта:— имеет дело с Иваном Ильичом; будет смирен. Надеясь на это, и повенчалась.

И точно: пока он имел дело с Иваном Ильичом, был хорош. Трезвый, сидит в своем углу, и не слышно его. Когда пьет, не смеет оставаться дома. Пропив деньги, какие попадали ему в карман, придет, попросит рубля три; она пожалеет бедного, которому нечем опохмелиться, даст; и опять ушел. Она мало и видела его.

Можно было жить. Его жалованье отдавали ей; доходы, какие шли на его долю по разделу от общих, тоже ей. И жила и одевалась прилично. Конечно, уж не прежнее! — Но не стыдно было показаться нигде. Иван Ильич не запрещал ей бывать нигде: был уверен в ее характере, что она не позволит себе лишнего, и если едет в общество, то не повесничать, а только невинным образом

провести время. Можно было жить. Конечно, случалось иногда и поплакать, вспоминая прежнее счастье; особенно вначале. Но как быть-то? — Пристроиться получше? — Конечно, она думала и об этом. Но ее положение было не такое. Свободной женщине, конечно, это было бы самое первое, искать хорошего человека с деньгами. Свободной женщине нечего терять: ищет, покуда найдет. Но скоро ли находят, даже самые лучшие и самые мастерицы видеть, хвалится ли человек или не обманывает. Сто раз, может быть, обманется, прежде нежели найдет хорошего человека,— даже самая мастерица. Потому, если имеешь хоть и не бог знает какое, но все же хорошее пристройство, то ум и удерживает. Погонись,— пока найдешь, давно все стало известно содержателю. Когда он слабый человек, положим, еще можно. Но с характером Ивана Ильича плохие шутки. Чуть бы услышал что-нибудь,— осталась без куска хлеба, таскайся по улицам в протоптанных башмаках. Страшно. Потому она и жила, как бог дал, и за малое благодарила бога. Конечно, не прежнее счастье; но все-таки могла назвать себя довольно счастливою, пока тут был Иван Ильич. Уехал он,— тогда пришлось так, что хоть живая в гроб ложись.

Он уехал всего только с месяц тому назад. И не говорил, что уезжает; конечно, знал, что, предупреди он ее, она должна бы искать себе другого человека; а он хотел пользоваться до конца. Потому сказал вдруг, не предупредив нисколько. Она ужаснулась: «Возьмите меня с собой, Иван Ильич».— «Нельзя, Анюта. Там ты была бы на виду у целого города, и от жены нельзя было бы скрыть».— Конечно, жену он выставил только для предлога. Главное, его расчетливость, потому что это он сказал правду: губернаторская любовница на виду у целого города; и приличие требует, чтоб она жила, как следует губернаторской любовнице. А от живого мужа за другого не отдашь; этого бездельника взять с собою? — Неловко дать ему такую должность, какая нужна для приличной жизни губернаторской любовнице,— потому что он бездельник, шум был бы велик, нехорошо. Стало быть, приводилось бы Ивану Ильичу самому содержать ее; а во сколько это обходилось бы? — Потому что он человек с амбициею, должен был бы содержать ее так, чтобы не стыдно было перед людьми.— Все эти расчеты она понимала, знавши его характер. Потому и сама видела, что

невозможно упросить его; только плакала, без всякой надежды: так, сами слезы лились, хоть и напрасные.

Забыл расспросить Ликаонского. Анюта молчит о своих надобностях, а я забываю. Хорош любовник!

*5.* У Ликаонского действительно есть деньги. Показал мне. Около 200 рублей. Стало быть, все мои деньги свободны.

Наши домашние расходы до августа, положим, 150 рублей. Будет довольно с теми 45 или 50 рублями, которые придется получить от Илатонцева.— Черкасову 100 рублей; тоже довольно. Остается 145 рублей, которыми можно располагать. К августу, наверное, начнутся доходы от журнальной работы.

Не было надежды упросить его; только не могла удержать слез:— «Как я останусь без вас? Вы говорили, все равно, какой будет муж. При вас, и точно, было все равно. А теперь какая будет моя жизнь во власти этого злодея? — Да и прогонят его с должности, когда вы уедете: кто захочет терпеть такого бездельника? Чем же я буду жить?» — «Не прогонят; мне дали слово и сдержат, потому что я остаюсь в самых важных сношениях с ними, по делам. Не тронут его, пока ты живешь с ним. А если он станет обижать тебя, то зачем же тебе терпеть? — Твои лета еще не ушли; можно сказать, только входишь в настоящие лета. Бог не без милости, на свете не без добрых людей. Бог даст, будешь, может быть, жить еще лучше прежнего».

Все правда. Но и муж Анюты понимал эту правду. Только что стала Анюта собирать свои вещи, думая переехать на особую квартиру, скрыться от мужа, чтоб искать своего счастья,— муж в двери. Избив ее, отнял у нее все; пригрозил и кухарке и дворнику, что запорет их до полусмерти, если упустят его жену, запер ее в спальной, отдал ключ кухарке и ушел пьянствовать. Ему нельзя было не дорожить женою: он знал, что только вместе с нею держится на должности. И всегда, когда уходил, он запирал ее.

Как уйти? Чем ей было подкупить кухарку и дворника, дрожавших за ее сохранность,— в особенности, дворника? — Нечем, все у нее отнято. А еще важнее: куда уйдешь, как будешь жить? — Ничего у нее не было подготовлено.— Что можно сделать в таких обстоятельствах? А если можно, то скоро ли? — С кухаркою она уже стала сходиться. Но затруднял дворник. Так присматривал, что

ужас. Конечно, если б найден был хороший человек, то можно бы; но скоро ли найдешь хорошего человека, когда стеснена до такой степени?.. Не унывала; имела некоторые надежды. Бог помог бы как-нибудь. Но верного еще не было...

*6.* «Ах, Володя, какой ты добрый. Ничего не жалеешь для меня!» — Но довольно легко поняла, что сама должна рассчитывать, какими деньгами может располагать.— Завезла меня к Илатонцеву, сама отправилась покупать.

Когда я приехал домой, ее еще не было. Поэтому вынул начатую работу. Пора приняться за нее. Надобно поскорее успокоить себя тем, что наша жизнь обеспечена. Писал, пока она приехала. Она была смущена и робела:— «Володя, простишь ли ты меня? Я издержала больше; осталась должна 29 рублей».— Обрадовалась, бедняжка, что я не сделал ей выговора! — После повторил с нею мои расчеты и сказал, что если она полагает, что на домашние расходы до августа будет надобно меньше 170 рублей, то пусть берет из этих денег еще, на свои наряды.— «Нет, Володя, я сама расчетливая, и нехорошо, если взять, а потом недостанет. Буду брать на свои наряды только то, что будет оставаться лишнее».

Были Благовещенский, Борисов, Свинцов. Очарованы Анютою; и сами понравились ей. Мы просили их бывать у нас хоть каждый день.

Илатонцев видел министра. Черкасов будет назначен на родину. Может ехать, не сомневаясь.— Ликаонский взял деньги для него. Боюсь, не догадается ли добряк, что они от меня.

Дочь написала Илатонцеву, что через три, четыре дня будет в Петербурге.— «А у меня остается еще на 40 тысяч акций. Продам поскорее, хоть бы пожертвовать полторы, две тысячи, лишь бы развязаться к приезду Наденьки».— Возобновлял свои убеждения, чтоб я ехал в деревню. Новое в них — дочь: «Я зову вас не столько для себя самого, сколько для Наденьки; и ручаюсь вам, вы полюбите ее».— «С Юринькою вовсе не нужно заниматься, пусть пользуется летом и садом, пусть больше бегает» и т. д., прежнее.

Работал; но очень мало.

*7.* «Володя, ты поступил бы служить в полицию: там очень выгодно служить» — и начала рассказывать, сколько получал Иван Ильич, сколько получают даже на та-

ких должностях, которые даются с первого раза, лишь бы только понравиться начальству: — «Поступи в полицию, Володя; ей-богу, поступи».— Но когда я растолковал ей, поняла: — «Разумеется, Володя, это нехорошо. Я посоветовала тебе потому, что не думала, хорошо ли это».

Добряк Черкасов очень далек от мысли, что деньги были мои. Он воображает, что я столько же злобствую на него, как он презирает меня.

Работа идет плохо. Потому вздумал было просить Ликаонского переселиться к нам.— «Это зачем?» — «Я переселился бы на эти дни в город. Приезжал бы к вам только обедать. Бросить Анюту одну — жалко. Читать не привыкла; знакомых здесь еще нет, и кажется, что кругом нас все дрянь, с которою не надобно знакомиться». — «Вздумано умно, Левицкий».— «Почему же не умно?» — «Будь у нее не такие привычки, моя добродетель, как ты называешь, не подвергалась бы опасности; но она имеет привычки легкомысленного общества; без намерения она взволнует и сама увлечется».— «Вздор, Ликаонский».— Но он остался при своем.

*8.* Черкасов уехал.— У Илатонцева остается только на 5 тысяч акций. Завтра надеется продать и эти.

*9.* Еще дня три работать, как ныне, и статья будет кончена.

*10.* То же, порядочно работал.

*11.* Ликаонский начинает убеждаться, что Анюта рассудительна.

*12.* Переехал к нам на два дня, которые остаются до его отъезда.

*13.* Работал очень мало, так же как и вчера. Почти все время было занято разговорами с Ликаонским. Этот человек не изменит делу.

*14.* Мой добрый, мой милый друг! Когда я обниму тебя вновь? Ни он, ни я, мы не ожидали от себя, что так расчувствуемся.

*15.* Илатонцев продал свои последние акции. Подвел итог. На 350 тысячах потерял около восьми с половиною. Рад, что отделался так дешево.— «Без вас до сих пор оставался бы в этом ослеплении и, может быть, заложил бы другое поместье, чтобы приобрести еще побольше этих сокровищ» и т. д. В самом деле, я тогда только дивился, что человек неглупый мог быть обольщен подобными шарлатанствами.— «Но по крайней мере ваши наме-

рения были благородные».—«И с благородными своими намерениями я запутался бы так, что не только мне с детьми, даже и крестьянам пришлось бы очень плохо».— «Полноте, так или иначе, вы успели бы вовремя понять, что эти бумаги должны потерять всякую цену».— «Бог знает, понял ли бы вовремя».— Не только благородный, но и скромный человек. Не скрывает от самого себя, как упорно было его заблуждение. Это редкое достоинство.— Начинает беспокоиться о том, что дочь долго не едет.

— «Скучаешь теперь, Анюта? Все мои приятели уехали,— ты совершенно одна, когда я работаю».— «Что же делать, Володя, когда тебе надобно работать? — Поскучаю, так и быть. А потом найду прежних своих знакомых; будут и новые».— Надобно желать, чтобы новые были лучше прежних. Когда я растолковал, она согласилась: — «Когда так, Володя, то я и не хочу искать прежних своих знакомых. Я не думала, какие они люди».— С каждым днем она больше радует меня: легко понимает все.

*16.* Три часа ночи. Кончил. Теперь опять весь принадлежу тебе, моя милая.

*17.* Волгин был в городе и дома. Узнал меня. Поэтому тут же принялся просматривать статью. Прочел несколько страниц, перевернул, пробежал последние страницы: — «Мне было сказано одним человеком, который редко ошибается в людях, что вы должно быть человек замечательного ума» и т. д.— Потом я спросил, кто же это рекомендовал меня ему? — «Ах, это после, когда побольше познакомимся».— Просил посидеть, поговорить. Сам говорил мало; все заставлял говорить меня. Оставил обедать. Продержал до восьмого часа.— «Ну, теперь простимся, Владимир Алексеич. Будут приходить за корректурами, надобно читать. С другими я не говорю так. Но вы видите, что внушаете мне расположение, стало быть, нечего церемониться. Завтра поутру приходите опять. Надобно получше узнать вас. Писать можете, это видно было по первой же странице статьи. Но надобно узнать вас получше».

Я был уверен, что мы сойдемся. Но это превосходит мои ожидания,

Милая Анюта! — Ты обеспечена от нужды! Никогда не обнимал я ее с такою страстью, как в этом избытке счастья.

*18.* С десяти часов до четырех сидел у Волгина.— «Ну, теперь надобно мне ехать на дачу. Поедемте».—

Я сказал, что должен был отправиться на урок.— «Ну, так оттуда приезжайте к нам».— Я сказал, что не могу.— «Ну, почему?» Он смотрит на жизнь так строго, что я не решился сказать ему об Анюте; я сказал, что один из моих друзей, Ликаонский, уезжает, и я хочу побольше быть вместе с ним.— «Ну, так до послезавтра, Владимир Алексеич. Послезавтра опять буду в городе. Поговорим еще. Поговорим еще. А впрочем, могу сказать вам и теперь: пишите о чем хотите, сколько хотите, как сам знаете. Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что вы правильно понимаете вещи». — После вчерашнего я не мог сомневаться, что кажусь ему хорошим сотрудником. Но эти слова удивили меня: — «Вы предоставляете мне полную волю в журнале?» — «А разве были бы вы очень нужны мне, если б не так? — Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню; да что в них пользы? Пересматривай, поправляй,— такая скука, что легче писать самому».— «Вы не будете просматривать моих статей?» — «А что будет в них любопытного? Признаться вам сказать, не буду читать и напечатанных, не только до напечатания. И без того приходится читать слишком много пустяков,— ха, ха, ха! — Благодарите за комплимент». — «Но я могу делать ошибки».— «А, ну вас и с вашими ошибками! Только время теряю с вами — ха, ха, ха! — Ну, прощайте. Приходите послезавтра. Поговорим еще, хоть не о чем».

Илатонцев был от души рад, узнав, что я буду иметь постоянную работу: — «Жаль только, что теперь уже не утащишь вас в деревню».— Сильно беспокоится, что дочь не едет так долго.— Но вероятнее всего, что ее тетушка зажилась где-нибудь дольше, нежели рассчитывала.— Судя по вашим рассказам,— извините за откровенность,— я думаю, что она женщина, которая не всегда знает, что вздумается ей завтра.— «Да, да»,— и стал говорить, что не следовало бы отпускать эту Алину Константиновну за Надеждою Викторовною: — не следовало; зачем же отпускали? — «Ошибка, согласен».

*19.* Этот весь день принадлежал Анюте. Понимаю, что до сих пор еще слишком мало любил ее. Любовь моя к ней вероятно будет сильна.

*20.* Неожиданный и странный поворот мыслей Волгина очень взволновал меня.— С самого начала вечера он был задумчив. Но я не предвидел ничего особенного: что мог

сказать он больше после тех слов, полных доверия и любви? — «С тех пор как я распоряжаюсь журналом, я искал человека, с которым мог бы разделить работу» — и проч.,— что мог прибавить он к этому? Я полагал, что он развлечен чем-нибудь посторонним вопросу обо мне.— По-прежнему сам он говорил мало, больше заставлял говорить меня. Мне казалось, что после тех слов: «Вижу, что вы единственный человек, который правильно судит о положении нашего общества» и проч.,— казалось, что после этих слов продолжать экзамен уже не совсем нужно или по крайней мере не совсем ловко. Но если хочет, то пусть продолжается экзамен,— думал я: — он расположен ко мне, я уважаю его — пусть экзаменует.

Так прошло часа четыре. Было уже за полночь.— «А знаете ли, становится уже довольно поздно,— начал он. — А я вот все еще раздумываю, как бы это начать, потому что вам покажется несколько странно,— а мне самому кажется как будто даже и очень глупо,— но все это пустяки, глупо ли, странно ли,— это пустяки. Так следует — значит, и надобно так».

Он вечно делает оговорки о глупости, о вздоре, так что беспрестанно сам смеется над своею манерою говорить. Так и тут он расхохотался, пошутил над собою, потом замолчал, опять задумался. Я видел, что он хочет сказать что-то не совсем обыкновенное. Что такое? Помолчав, он стал говорить; сначала, по своей манере, с некоторою вялостью, но скоро проникся большим одушевлением. Из того, что он говорил, многое казалось мне слишком мрачно,— слишком безнадежно; но я не должен забывать разницу наших лет и опытности,— и не забывал; и теперь готов признавать, что его взгляд быть может справедливее моего, и кажется мне слишком мрачным только потому, что я еще слишком молод. А в то время странность его слов увлекла и меня к чувству, очень сходному с его глубоким презрением к настоящему и ко всякой деятельности в настоящем.

Он начал с того, что вчера и в особенности ныне он очень много думал обо мне; что ему очень невыгодно говорить со мною откровенно,— вот, я, вероятно, и сам заметил, что он колебался. Но у него такой нелепый характер: всегда он говорит черт знает что, впрочем, это не черт знает что, а правда, и потому я должен не спорить,

а послушаться. Он лучше меня может судить о том, как надобно мне держать себя.

Все это было длинною цепью вялых и нерешительных оговорок; круто он перешел в горячий и резкий тон.— Да, как бы там ни было,— как бы я ни думал о себе, как бы он ни думал обо мне, а все-таки я еще очень молодой человек,— если не по уму и не по знаниям, то по чувствам, по надеждам, я еще очень молодой человек, он сравнительно со мною старик,— старики, положим, глупее молодых людей, но не в уме дело, а в том, что все вздор, мелочь, глупость, мерзость.

Все мелочь и вздор. Это не так живо чувствует юноша, еще страстный к жизни, как человек, для которого — если брать только его личные надобности — уже совершенно все равно, жить или не жить; у которого могут быть обязанности, но уже нет привязанности к жизни. Потому-то он и должен думать, что его мысли довольно беспристрастны. С этой стороны он, вероятно, имеет преимущество надо мною, и его слова будут заслуживать моего внимания. Эти слова: не стоит горячиться, потому что все мелочь и вздор.— Конечно, он говорит про нашу общественную жизнь. Свои личные дела важны и должны быть важны для каждого. Но общественные — мелочь.

Да. Наше общество не занимается ничем, кроме пустяков. Теперь, например, горячится исключительно из-за отмены крепостного права. Что такое крепостное право? — Мелочь. В Америке невольничество не мелочь. Разница между правами и благосостоянием черного работника в южных штатах и белого работника в северных — неизмеримо велика. Сравнять невольника с северным работником — великая польза. У нас не то. Многим ли лучше крепостных живут вольные мужики? Многим ли выше их общественное значение? — Так мало лучше, что не стоит и говорить о такой микроскопической разнице. Потому не велик был бы выигрыш для помещичьих мужиков, если б и сравняли их с вольными. Но этого не будет, потому что это невозможно; это невозможно, потому что общество не думает об этом; оно и не воображает думать, что можно понимать вопрос в таком смысле и что только в этом смысле он, хоть и не важен сравнительно с важными, забываемыми, но хоть сам по себе, без сравнения с ними, не совершенно пуст. Исключительно занимаясь мелким вопросом, оно понимает его

исключительно в пустом смысле. Сущность дела в том, что за право существовать и работать мужик обязан платить частному лицу,— землевладельцу,— подать — натурою или деньгами — барщину или оброк. За право работать,— потому что земля сама по себе не имеет никакой ценности; сами по себе ценность имеют пшеница, лошадь, овца, золото, алмаз: эти предметы сами по себе годятся на что-нибудь. Земля сама по себе не имеет ценности: кто платит за землю, платит только за право работать. Эта подать за право работать в помещичьих именьях велика; почти у всех помещиков велика до большой обременительности. Вот серьезная сторона дела. Перемены в ней не будет, потому что общество не думает об этом. Обременительная подать в пользу частного лица останется. Но вместе с правом брать эту подать помещик имеет административную власть. Исключительно этим обстоятельством и занялось общество. Помещики дурные судьи, помещики деспоты, помещики злодеи. Есть и такие помещики. Есть дурные люди во всяком сословии. Но во всяком сословии их очень мало. Из двадцати миллионов людей под управлением помещиков двести тысяч, может быть, имеют помещиками дурных капризников или злодеев. Эти двести тысяч выиграют от уничтожения административной власти помещиков. Остальная масса крепостных не выиграет; скорее, можно полагать, что проиграет. Известно из политической экономии, что наилучший администратор тот, кто имеет прямую личную выгоду от благосостояния управляемых. Помещик имеет. Никакой бюрократический начальник не имеет. Одна сотая доля крестьян выиграет; остальной может быть только проигрыш.

— Страшно, если так,— сказал я.

— Ничего особенно страшного,— мелочь. Характер администрации зависит главным образом от общего характера национального устройства. Другие влияния ничтожны перед этим. Кому выгодно быть хорошим, тот немного,— очень немного получше; кому нет выгоды быть хорошим, немного похуже,— очень немного. Дурные администраторы очень немногим хуже хороших своих товарищей по времени и месту. В сущности, все это мелочь и вздор. Все вздор перед общим характером национального устройства. Выгоды будет очень мало, и убыток не велик, так поставлен вопрос.

Пустое дело. Пустое. И сколько времени наше общество будет забывать обо всем другом из-за хлопот об этом мелком деле, понимаемом только в пустейшем его смысле! — Но вот, положим, дохлопотались, устроили и навосхищались досыта, что бывшие крепостные освобождены и возблагоденствуют. Можно обществу приняться за что-нибудь другое. Что дальше на очереди? — Суд присяжных. Тоже важная вещь, когда находится не под влиянием такого общего национального устройства, при котором никакие судебные формы не могут действовать много хуже суда присяжных! — Великая важность он сам по себе.— Был ли он в Англии при Тюдорах и Стюартах? Чему он мешал? — Был ли он во Франции при Наполеоне I? — Чему мешал? — Существует ли во Франции теперь? — Чему мешает? Какие судебные формы могут иметь какую-нибудь серьезную важность, пока общий характер национального устройства не охраняет правду и защитников ее? — Все вздор.

Две мелочи — вот вся программа хлопот и восторгов русского общества на довольно долгое время,— если не случится ничего особенного; а ничего особенного пока еще не предвидится. Пустота,— бессмыслие пустоты, бессилие бессмыслия.

Общество не хочет думать ни о чем, кроме пустяков. Общество не может допустить литературы, которая была бы противна его расположению... Оно не может допустить, чтобы литература занималась не пустяками, когда оно хочет заниматься только пустяками. Пока настроение общества не изменится, литература обречена оставаться пустою, мелочною, презренною, как теперь. Он сам пишет только вздор, и я стал бы писать только о пустяках. А между тем мой голос звучал бы диссонансом в усладительном концерте русских либералов. Общее мнение нашло бы, что я мешаю концерту. Оно было бы совершенно право. Я мешал бы. Прочь того, кто мешает. Я буду чужой, ненавистный; — прочь негодяя.— Эта перспектива, думает он, не страшна мне; молодые люди безрассудны и воображают свое безрассудство гражданскою доблестью. Оно глупость, больше ничего.

— Какую пользу принесу я, начав писать? Что́ выскажу, что́ разъясню? — Невозможно ясно писать о том, что ненавистно обществу. Всякая серьезная мысль ненавистна ему. Как я ни бейся, как ни изворачивайся, я буду

писать только темные мелочи о мелочах. Умно ли мне губить себя из-за такого вздора? Позволяет ли ему совесть допустить, чтобы я губил себя из-за такого вздора?

Нет. Если б я был не такой человек, пусть бы я губил себя, как мне угодно: пьянством ли, картежничеством ли, воровством ли, все равно, чем мне было б угодно. Он сказал бы: «А черт с тобою, кому ты нужен,— пропадай, когда нравится». Так он сказал бы, все равно, и про мое желание бить лбом в стену: «Черт с тобою, пиши, когда тебе угодно предпочесть пьянству этот путь к погибели». Но он не может сказать «черт с тобою, пропадай»,— потому что я не такой человек, погибель которого не была бы особенною потерею для общества, или,— если мне угодно думать: «А черт с ним, с обществом», то он может выразиться правильнее: я пригожусь народу. О народе я не скажу, вероятно: «Черт с ним и с его надобностями»?

Придет серьезное время. Когда? — Я молод, потому для вопроса обо мне все равно, когда оно придет: во всяком случае, оно застанет меня еще в полном цвете сил, если я сберегу себя. Как придет? — Как пришла маленькая передряга Крымской войны;— без наших забот, пусть не хлопочу: никакими хлопотами ни оттянешь, ни ускоришь вскрытие Невы. Как придет? — Мы говорим о времени силы,— сильна только сила природы:

По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда и как он летит?

Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? — Не все ли равно? — Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? — Разочарование общества и от разочарования новое либеральничанье в новом вкусе,— по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мыслей,— для умного радикала такое же отвратительное, как для умного консерватора,— пустое, сплетническое, трусливое, подлое и глупое,— и будет развиваться, развиваться,— все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе,— вероятнее всего во Франции, не подымется буря и не пойдет по остальной Европе, как было в 1848 году.

В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по

этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву.

Верно ли это? — Верного тут ничего нет; только вероятно. Отрадна ли такая вероятность? По его мнению, хорошего тут нет ровно ничего. Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше. Это общий закон природы: данное количество силы производит наибольшее количество движения, когда действует ровно и постоянно; действие толчками и скачками менее экономно. Политическая экономия раскрыла, что эта истина точно так же непреложна и в общественной жизни. Следует желать, чтобы все обошлось у нас тихо, мирно. Чем спокойнее, тем лучше.

Но так или иначе, придет серьезное время. Почему это несомненно? Потому, что связи наши с Европою становятся все теснее, а мы слишком отстали от нее. Так или иначе, она подтянет нас вперед к себе.

Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа. Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа. Я должен буду приберечь себя к тому времени.

Как я ушел от Волгина, как я доехал сюда, как прошло у меня время тут на даче, я мало помню. Я был как пьяный. Слышать от него, что я могу понадобиться народу — можно было опьянеть... Пока я оставался на глазах у него, я имел смысл скрывать, что я опьянел. Но теперь замечаю, что не могу отдать отчета себе в том, что было после того, как он обнял меня и сказал: «Подумайте еще, мой упрямый, мой милый,— подумайте. Я не отстану, пока не уговорю вас. До завтра».— Как я сходил с лестницы,— долго ли шел, где сел на извозчика, — тихо ли ехал, или скоро? — Не помню.— Как вошел сюда, помню; потом опять не знаю: сидел ли я все время неподвижно или вставал и ходил? — Но должно быть, как вошел, бросился на стул и сидел все в том положении, в каком стал образумливаться. Как слаба моя голова, как сильно во мне тщеславие!

И долго ли я оставался помешанным? — Теперь половина восьмого. Часа два пишу. Перед тем как сел писать, вероятно с полчаса просидел уже не сумасшедшим. Когда ушел от Волгина, всходило солнце, он сказал: «Э, да уж солнышко всходит! — Ну, так пора спать». Оно всходит ныне часа в три, кажется. Справлюсь.

Так, в три четверти третьего. Стал образумливаться в конце пятого, вероятно. Пароксизм продолжался около

двух часов.— Порядочно измучился этим волнением тщеславия.

Девять часов утра. Так и не спится. Что за мелкая душонка! И умная голова.

Но должно отдать справедливость и Волгину.

Впрочем, как ни смешна его странная фантазия обо мне, я завидую ему. Его заблуждение показывает, как нежно полюбил меня. Ему уже двадцать девять лет, а мне нет и двадцати одного года,— и я уже не способен к такому увлечению. Например, хоть мое чувство к нему. Я тоже полюбил его. Но я вижу его недостатки. Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество. Понятно, почему он так думает: ему не хотелось бы террора; он и старается убедить себя, что террор невозможен. Он слишком холодно советует терпеть. Это явная логическая ошибка: «Нам с вами очень можно терпеть, потому что нам недурно» — совершенно согласен; но: «Потому пусть и народ потерпит». Народу не так легко терпеть, как нам.— Люблю Волгина, но вовсе не слеп на его недостатки. Это делает честь мне как наблюдателю; но плохо рекомендует меня как человека.

Не знаю, как мы с ним взглянем друг на друга без хохота. Трудно решить, кто из нас был смешнее: он ли, говоривший, что я обязан беречь себя для блага народа, потому что я такой человек и т. д.,— или я, хоть и державший себя хладнокровно, но слушавший такие слова и возражавший: «Вы ошибаетесь, я не такая редкость и драгоценность». Позволительно ли человеку в здравом уме слушать подобные вещи? Я должен был сделать вид, что принимаю его слова за шутку, рассмеяться и уйти,— даже дать заметить, что несколько обиделся, что шутка слишком насмешлива. Конечно, так; это было единственное средство не остаться смешным в его глазах, когда он станет судить похладнокровнее.

Нет, я еще более нелеп, нежели он! Подвергнуться такому головокружению!

В двенадцать часов я должен быть у него. Как-то мы поговорим еще? — Это любопытно.

Половина пятого. Половина пятого. Половина пятого. Солнце сияет, и вся природа дышит счастьем. Я был счастливее тебя, ты, голубь, воркующий на моем окне своей милой о любви своей.

Милая моя! Где ты? Услышь меня!.. Нет в моем стоне

жалобы на тебя! Мне больно, друг мой,— но благодарю, благодарю тебя за счастье, которое ты давала мне!

Половина одиннадцатого. Больно, это правда. Гораздо больнее, нежели то мучение от разрыва с товарищами. Но тогда чрезвычайно соблазняла мысль о самоубийстве. А теперь не было ни малейшего желания отказаться от жизни. Чем объяснить такое равнодушие к собственному страданию, казалось бы, мучительному до невыносимости? Неужели совершенно притупилась и та маленькая чувствительность, какая была во мне прежде?

Половина двенадцатого. Запишу как-нибудь,— я думаю, что могу написать со смыслом и в порядке, без лишней поэзии.

Поутру, совершенно образумившись от самолюбивого волнения, произведенного слишком добрыми ко мне словами Волгина, я сел у кровати Анюты ждать, когда она проснется. Мне казалось, что с каждым днем больше люблю ее. Вероятно, это и была правда. По крайней мере правда то, что в эти последние дни я сделался способнее обыкновенного чувствовать живо. Мои нервы были сильно раздражены счастием, что наша жизнь обеспечена; потом все больше раздражались от доброго расположения, которое с каждым новым разговором сильнее высказывал мне Волгин. Это человек преданный народу, и я не мог оставаться равнодушен, видя, что приобретаю его горячую привязанность. А эту последнюю ночь я провел буквально в горячке, и от нее должна была оставаться очень сильная экзальтация. Да и Анюта, проснувшись, милая, приняла меня в свои объятия с чрезвычайною нежностью. Еще никогда не ласкала она меня с таким увлечением, как будто мое сладострастие разожгло и в ней жгучую, ненасытимую жажду наслаждения. У нее захватывало дух, она стонала,— чего никогда не бывало; и это было также в первый раз, что не она утомилась моими ласками, а я вырвался из ее объятий.— Я принимал за порывы и слезы распылавшегося сладострастия то, что было судорожным плачем обо мне; — принимал за жажду продлить наслаждение, желание отсрочить разлуку.

Милая, я не могу роптать: ты жалела меня. Нет, нет, моя милая! Ни на один миг не овладевало моим сердцем горькое чувство против тебя. Разлука с тобою — страдание, но я не переставал благословлять минуту нашей встречи, о милая моя, давшая столько блаженства мне.

Резь в глазах. Надобно погасить свечу и постараться заснуть.

*22.* Дела покончены. Будущий незаменимый защитник и руководитель народа спасен, прибережен для блага родины.

Смешно и стыдно. Добрый, честный человек воображает, что я повинуюсь чувству долга. Требование Волгина можно понимать в таком смысле, что оно нисколько не смешно. Отбросим преувеличение, которое неизбежно при нежном личном расположении к человеку, его совет может заслуживать внимания. Так он и повернул дело вчера, когда я стал говорить, что нам обоим должно быть совестно.— «Ну, пусть будет совестно», отвечал он с обыкновенною своею вялостью:— «А все-таки, если вы хотите писать, значит, думаете, что можете быть полезен. Потому все равно, остается вопрос, в каком случае принесете вы пользу,— большую ли или маленькую,— какую способны принести: рискуя погибнуть раньше, нежели будут нужны серьезные писатели, или повременив до той поры, когда они понадобятся».— Таким образом, личные мои качества оставались в стороне, спор переходил к тому, с чего начал Волгин накануне и что́ было тогда пропущено мною без возражений: действительно ли в русском обществе нет серьезных стремлений и даже нельзя внушать их ему. Волгин равнодушнее меня смотрит на вещи; я не мог не проигрывать в этой борьбе. Кто совершенно перестал ждать от людей чего-нибудь хорошего, легко осмеивает противника, сколько-нибудь рассчитывающего на их рассудок и твердость. Но в одном я был правее Волгина: никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно. Об это разбивались все его насмешки над его собственною деятельностью, которая кажется ему пустою, и над моими стремлениями хоть к такой же работе, положим и действительно мелкой, жалкой. «Ну, подумайте еще; я не отстану».— «Не отставайте, пока надоест; я останусь при своем: хочу работать».

А ныне пошел сказать ему, что принимаю его совет. Он стал говорить, что совесть наградит меня за самоотвержение, с которым я подавляю в себе и честолюбие и юношеское нетерпение. Я принужден был смирно слушать похвалы моей гражданской доблести. Как я сказал бы

ему, что дело вовсе не в том? Каждый честный человек стал бы презирать меня, узнав истинную причину перемены. Совершенно упасть духом от удара, который поразил только личное мое счастье!

Каков гражданин? Пошлое существо, потерявшее всякую силу от огорчения за самого себя! Бессмысленный и бесчувственный автомат, я без сопротивления падаю, куда Волгин толкает меня. К чему я годился бы теперь? И не все ли равно для меня?

Илатонцев, разумеется, очень обрадовался. Я сказал, что Волгин поручил мне большую работу, которою могу я заниматься и в деревне, взяв туда сотню, другую книг.— Что это такое? Неужели для меня стало все равно даже и то, лгать или не лгать? — Не думаю. Вероятнее, что в самом деле противно мне говорить о себе. Какими словами можно скорее отделаться от вопросов, те и лучше. Надобно прибавить и то: как было бы сказать, почему Волгин, обещав работу, вздумал отклонять от нее? Слишком глупо и смешно.

Нет, можно было сказать: «Волгин находит, что мне рано становиться писателем». Естественно и ясно: пусть я и неглупый человек, но еще слишком молод. Не пришло в голову.

И охота думать о таком вздоре, хорошо ли сказал Илатонцеву и нельзя ли было сказать лучше!

*23.* Разговор с хозяйкою.— «Она поступила с вами нехорошо».— «Почему вы знаете, как она поступила со мною, и почему думаете, что это нехорошо?» — «Она сама говорит. Я сейчас от нее, она просила меня к себе».— «Хорошо устроилась?» — «Очень хорошо. Он купец. Она знавала его прежде. И прежде был человек постоянный, а теперь хочет вовсе остепениться. Даже со стороны видно, что это место прочное. Можно думать, что если будут дети, то он и женится на ней. Она поступила в дом к нему полною хозяйкою. Какая квартира! Какие рысаки! Кроме других подарков, вещами, он дал ей 2000 рублей на первое обзаведение гардеробом.— Боюсь, не обиделись бы вы; она дала мне поручение: она считает себя в долгу у вас. Она считает так: 100 рублей получила на хлопоты по своему делу; 145 рублей взяла на свои покупки; в тот же день еще 30; потом 25, и еще 25. Всего 325. Так ли?» — «Она могла бы и не считать себя в долгу у меня, потому что я уговорил ее бросить мужу мебель, которая

принадлежала ей, а не ему, и, вероятно, стоила этих денег. Но когда она не захотела принять это в расчет, не стану спорить».— Было бы слишком глупо вломиться в амбицию. А главное, если б не взять деньги, Анюта подумала бы, что я сержусь на нее.

Пошел на Невский, купил брошку. Пошлю с письмом в день отъезда, чтобы не было длинной истории.— За брошку заплатил 335 рублей. Жаль, что недостало денег на ту, другую, которая действительно красива.— У меня остается 83 рубля. Вероятно, достанет до получения жалованья. В дороге расходы только до Москвы; дальше, в экипаже Илатонцева; и нельзя же будет удивлять благородством, считаться прогонами. А в деревне какие расходы? Надобно не забыть условиться с ним о жалованье, чтобы после не вышло тоже борьбы благородства.

*24.* Ничего особенного.— Написал Ликаонскому, куда должен адресовать мне.

*25.* То же, ровно ничего.

*26.* Илатонцев получил письмо от дочери: они с тетушкою едут в деревню из Вены, Дунаем, Черным морем. По его расчету, должны были вчера быть уже в Одессе. Мы едем завтра. Быть может, найдем их уже в деревне.

*27.* Письмо к Анюте вышло хорошо: не холодное и, однако же, спокойное. И то хорошо, что не очень длинно: остается время проститься с Волгиным, он в городе.

*28.* Москва. Стоит на прежнем месте. Если бы встал Котошихин и взглянул, сказал бы: «Не стало в тебе лучше, родимая!»— Впрочем, и о Петербурге надобно сказать: все в городе так же просвещенно и гуманно, как при Петре.

*29.* Едем. Едим и пьем. Говорим и спим. Впрочем, «говорим» относится только к нам с Илатонцевыми и Юринькою, Федор Данилыч только глядит. Глядит и глядит. Что любопытного в Илатонцеве? Что любопытного во мне? — Но глядит и глядит. Клянусь моею гражданскою доблестью, о которой и при прощанье не забыл Волгин отозваться с похвалою, возьму вилку и выткну глаза этому скромному и почтенному молодому человеку. Давно я удивлялся охоте Илатонцева держать идиота секретарем. Но это даже и не идиот, это восковая кукла, модель идиота.

*30.* Потерял всякое терпение и сказал: «Вы очень красивый мужчина, Федор Данилыч».— Он поправил гал-

стук, приятно улыбнулся и опять глядит и глядит. Снова лопнуло терпение.— «Я не видел Штрауса, который играет в Павловском вокзале; говорят, красавец; похож на вас, Федор Данилыч?» — Поправил галстук, улыбнулся:— «Покорно вас благодарю, Владимир Алексеич, за такое мнение. Но точно, есть некоторое сходство».

## ИЮЛЬ

*1.* Федор Данилыч проникся безграничною дружбою ко мне. Почти вовсе не глядит ни на Илатонцева, ни на Юриньку; все на меня.

*2.* Федор Данилыч сообщил мне: «Я смотрел в зеркало, Владимир Алексеич: немножко я загорел».— «Не огорчайтесь, Федор Данилыч: есть какое-то умыванье от загара; вы пошлете в Симбирск, привезут».— «У меня оно взято с собою, Владимир Алексеич».— «Очень рад, Федор Данилыч».

*3.* Приехали. Дом в полуверсте от села, у подошвы холма. Деревянный, одноэтажный. С трех сторон сад. Верхним концом переходит в парк. Выше парка по хребту простой лес. Он идет горами до самой Волги. Прямо тропинкою, это верст пять. По дороге верст пятнадцать.— «Почему же село построилось не на самом берегу Волги?» — «Видите, какие луга по речке; да и самые лучшие поля тут же, повыше. А через горы до них и не доехал бы». У впадения речки в Волгу другое село.

Нашли дом еще пустым. Тетушка, вероятно, загостилась где-нибудь на дороге.

*4.* Иду по саду,— смотрю, Федор Данилыч сидит на дерновой скамье у ручья и плачет, приложивши платок к лицу. «Соскучился по Алине Константиновне, Владимир Алексеич; вы знаете наши отношения».— Так вот что! Не могу теперь осудить Илатонцева. Будь я богатый помещик, будь у меня родственница фрейлина солидных лет, и мне пришлось бы держать именно такого секретаря.— «Вы очень любите ее, это делает вам честь, Федор Данилыч. Но зачем же плакать? Понимаю ваше разочарование; но теперь она уже скоро приедет».— «Может быть, она и разлюбила меня».— «Полноте, как можно это думать!» — «Нет, Владимир Алексеич, это может быть. Разве я не понимаю, зачем она ездила?» — «Стыдно и

думать это, Федор Данилыч,— помилуйте, что вы!» — «Нет, Владимир Алексеич, я уже давно стал догадываться, что она делает в Париже!» — «Если б она и искала там развлечений, Федор Данилыч, то неужели вы будете так бесчеловечен, чтобы не забыть этого? Будьте великодушен и любите ее без напрасных упреков».— «Я и не ревную, Владимир Алексеич: но только может быть, что она сама охладела ко мне. Там она могла узнать сколько мужчин, может быть иных и лучше».— «Вы слишком скромно думаете о себе, Федор Данилыч. Я, напротив, уверен, она убедилась, что все те господа — самые пустые люди. Ручаюсь вам, она возвратится с удвоенною привязанностью к вам».— Успокоил и утешил человека. Сделал доброе дело.

Илатонцев: «А мы с вами еще не собрались поговорить, какие условия будут между нами».— «Прекрасно, давайте говорить».— Он: «Столько обязан,— запутался бы в этих акционерных шарлатанствах;— погубил бы, может быть, сотни тысяч» и т. д. Поэтому «довольно щекотливое положение» и т. д.— «В начале нашего знакомства вы говорили о 1000 рублях жалованья, если я по окончании курса буду гувернером Юриньки. Надеюсь, не отступитесь от вашего слова».— «Тогда я еще не получал от вас такой важной услуги».—«Да, она ничего не стоила мне; кроме того, вы поквитались, выхлопотав место моему приятелю Черкасову».— «Помилуйте! — Притом же я тогда еще мало знал вас» и т. д.— Словом, борьба взаимного благородства, чего и опасался я. Стало тошно; потому: «Поговорим лучше о другом. Вы ждете вашу дочь. Судя по вашим рассказам о ее воспитательнице, я думаю, что девушка достойная уважения. А ныне поутру я утешал Федора Данилыча; как же это будет на ее глазах?»

Начал объясняться. История длинная. Скучно писать. Но по совету madame Ленуар, которая тогда еще жила у него, всем в доме сказано, что обе невинности повенчаны; что брак надобно скрывать, потому что Алина Константиновна фрейлина. Так знает и его дочь еще с той поры.

*5*. Ничего особенного. Заходил в библиотеку. Действительно, хорошая. По французской литературе времен энциклопедистов, даже очень полная. Дед Илатонцева был, как тогда следовало, вольтерианец.

*6*. Можно ли любить женщину, которая пассивно позволяет любовнику ласкаться, а сама думает в это время, какое платье сшить себе: гласе или барежевое? Можно.

Но долго ли можно? — Смотря по тому, каков сам тот, кто любит: иному можно и долго, и всю жизнь. — Понятно стало, почему не было у меня мысли о самоубийстве: инстинктивно чувствовалось, что боль пройдет.

*7.* Письмо к отцу от Надежды Викторовны — из Петербурга!! — Мы выехали в субботу, а в понедельник тетушка привезла ее туда. Тетушка передумала: вместо Вены поехала в Женеву, оттуда по Рейну, — из Кельна в Берлин, — и вместо Одессы очутилась на дороге в Петербург. — Как ни добродушен Илатонцев, но вспылил: заставив его больше двух месяцев дожидаться дочери в Петербурге, Алина Константиновна умудрилась выпроводить его оттуда, чтобы через два дня проехать с Надеждою Викторовною туда!

*8.* Мысли о «женщине, которая пассивно» и проч., совершенно верны, очень умны. Но не совсем новы. Смотри басню «Лисица и виноград».

Новость то, что обращаюсь в любителя природы. Лежу на пригорке над домом, в траве, в тени одинокой густой липы и смотрю: направо село, прямо внизу дом; налево поле. Мимо всего этого на втором плане течет широкая речка, — извивами, по обыкновению речек, нравящихся чувствительным сердцам. Через нее мостик. Тот берег порос густым кустарником. Дальше опять луга и поля, которым не видно конца. Чем не живописный пейзаж? — дело кончится тем, что куплю палитру. И тогда буду жалеть, что не учился рисовать: деньги на палитру пропали.

*9.* Была ли Анюта способна к развитию? — Сомнительно. Не глупа, но только на житейские дела. — «Ее жизнь была пошлая и пустая», — нет, я хотел забывать, что розги могли бы оставить впечатление. А она: «Поступи, Володя, служить в полицию». Но добрая женщина. Терпеливо позволяла мне нежничать, хоть это и очень надоедало ей, как понимаю теперь.

*10.* Илатонцев, за шахматами: «Начали фланировать, Владимир Алексеич? Давно бы пора давать отдых себе; а то совсем заработались». — По этому поводу я подумал: не пора ли приняться писать что-нибудь? Довольно времени бездельничал. Прекрасная мысль осталась без исполнения. Такова судьба прекрасных мыслей.

*11.* В первый раз после четырех лет увидел Волгу. Мое сердце ожило. Опять я был радостен и добр, любуясь на нее. Не оторвался б от нее.

В тихом раздумье о ней и о прежней свежести чувства, чистоте мыслей, шел я домой и не заметил, как дошел до последнего холма, под которым дом. Взглянул на часы: к обеду было еще рано. Я лег на свое любимое место, под тенью одинокой липы, и лежал в нежном и вместе идеальном настроении, в юношески чистом настроении.

Из рощи налево и довольно далеко от меня вышли две молодые, — по легкости походки видно было, что молодые девушки, в соломенных шляпах с широкими полями, одна в голубом платье, другая в розовом. Итак, Илатонцева приехала! — Потому что, нет сомнения, одна из них — она. Которая же? — Я знаю ее лицо, отец показывал портреты,— если б рассмотреть профили, узнал бы, которая. Но как ни прищуривался и ни поправлял очки, не мог рассмотреть: далеко. Нужды нет, все равно: угадаю. Отец говорил, она среднего роста. Она не та, которая в розовом: в розовом надобно назвать высокою. Она та, которая в голубом; непременно; — потому что она должна быть кроткая и нежная. Так и рисуется характер той, которая в голубом: светлый, но скромный цвет платья; тихая поступь; это она. В розовом не может быть она: в розовом тоже грациозна, но должна быть горда и отважна; так она держит голову и, очевидно, сдерживает шаг только для подруги. Кто ж эта, в розовом? — Тетушка не может быть, тетушка толстая и пожилая женщина. Я знал, что Илатонцева едет без гувернантки, без компаньонки. Я решил, что уже успела явиться гостья, из соседних барышень. Время на это было: Илатонцева ходила гулять, — значит, наговорилась, нацеловалась с отцом и Юринькою; это должно было занять не один час.

Они шли тропинкою наискось через поле, к воротам сада, все очень далеко от меня.

Из деревни плелась наперерез им старушка и тащила в охапке два небольшие хлеба, — там, дальше за девушками налево от меня, было несколько работавших. — Девушка в голубом, дошедши до перекрестка тропинок, повернула навстречу старушке. — Та, высокая и гордая в розовом, пошла одна по прежнему направлению. Итак, в розовой я немножко ошибся: характер я угадал, одна она пошла менее тихо, но ошибся в том, кто она. Она не гостья: с гостьею хозяйка не рассталась бы. Она тут своя. Кто же? — Чтоб она была тетушка, не могу и не могу допустить. Лучше пусть она будет горничная,— Марья

Дмитриевна, как выражается Иван Антоныч, опасаясь за то, какова будет с ним племянница, и вперед хвалясь, что она будет еще умнее прежнего. Маша, о которой как-то упоминал Илатонцев, что его дочь очень любит эту девушку и эта девушка искренне привязана к Наденьке. Я был глубоко убежден, что в исправленном виде догадка о розовой непременно окажется верною. Но не мог слишком сильно гордиться этим своим будущим торжеством: не совсем угадал сразу, пришлось поправлять себя. Но Илатонцеву выбрал сразу, без малейшей ошибки. Это было очень, очень приятно. — Хорошо становиться ребенком, и пишу это с доброй улыбкой.

Илатонцева пошла со старушкою; взяла у нее один из хлебов: хоть и небольшие, два были, вероятно, тяжелы для старушки, довольно дряхлой.

Та, в розовом, — по-моему, непременно и несомненно Марья Дмитриевна, или Маша, — дошедши до ворот сада, села на скамью, опустила руку к поясу, подняла и стала держать в уровень с глазами, — следовательно, взяла лорнет и стала осматривать все кругом. Тут она увидела и меня в траве и долго всматривалась. Я похвалил ее глаза, что они, хоть и с лорнетом, могут разбирать приятность моего прекрасного лица на таком расстоянии; нашел бесчеловечным отнять у нее это удовольствие, показав, что замечаю; да и бесполезно было бы искать такого же удовольствия в смотрении на нее без лорнета за полверсты. По всему этому я предпочел провожать глазами Илатонцеву со старушкою.

Они дошли до одной из групп работников, с версту от меня. Илатонцева постояла там несколько минут, потом пошла домой. — Я смотрел на нее с самым нежным расположением: был вперед убежден, что она понравится мне не меньше, нежели обещал отец.

Когда она стала приближаться к саду, Марьи Дмитриевны, или Маши, уже не было на скамье у ворот. Я немножко осудил Машу, или Марью Дмитриевну: что ж бы ей не любоваться на меня подольше?

Повернувшись после того на другой бок, продолжал думать, отчасти ни о чем, — отчасти о будущей дружбе с Илатонцевою, хорошею, как я был твердо убежден, очень хорошею девушкою. Славно так думать ни о чем, и почти ни о чем, в прохладе под тенью липы, на густой свежей траве. Слишком юношески, но хорошо летело мое

время, — пока, почти нехотя, надобно было встать: пора идти обедать...

Черты Надежды Викторовны были знакомы мне прежде, нежели я вошел и был представлен ей. Я знал, что увижу не дивную красавицу, а только милое лицо русой русской хорошенькой девушки. Но она гораздо милее, нежели можно было думать по портретам, хоть и очень верным: кротость, безыскусственность, чистота выражения истинно привлекательные. Прибавить, впрочем, и то, что на осьмнадцатом или девятнадцатом году девушка с чистою душою и русыми волосами все еще хорошеет.— Отцу было заметным удовольствием видеть, что она произвела на меня прекрасное впечатление.

Когда сошлись потом за чаем, я опять довольно долго оставался с ним и с нею; — а ушедши, продолжал привлекшие меня после обеда идиллии Жоржа Занда и чуть не плакал от умиления тихою жизнью без желаний. Прежде я не мог отдавать справедливость этим прелестным пасторалям. Чтоб они не казались приторными, надобно быть спокойным и добрым.

Почему бы не быть мне таким всегда? — Пусть бы моя жизнь шла без мысли, но светла, как ныне.

*12*. Если здесь есть девушка хорошего тона, это не Надежда Викторовна, это ее горничная. Надежда Викторовна просто хорошая девушка. Ее манеры благородны потому, что она не знает притворства, — потому, что мысли ее чисты, — потому, что вся она — доброта, нежность, скромность. Ее грация — отражение того, что ее душа прекрасна. Но у Мери — прекрасные манеры.

Я был предубежден против Мери. В этом виноват Иван Антоныч. Он восхищался, что его племянница приедет из-за границы «настоящею барышнею». Это возбудило во мне мысль, что я увижу горничную с неудачными претензиями на великосветскость. Предубеждение не рассеялось и после того, как я смотрел на нее издали, с пригорка. Правда, я принужден был сознаться, что она шла грациозно. Но это еще ничего не значило: она думала, что некому смотреть на нее. Правильно сложенная девушка не может, не умеет не быть грациозна, пока не думает, что смотрят на нее. Ломаются и становятся отвратительны только при свидетелях. Я оставался убежден, что Мери превратится в кривляку, лишь только увидит подле себя мужчину, — даже и такого непривле-

кательного, как я. Потому и не интересовался искать случая взглянуть на нее поближе.

О, как жестоко я ошибался! Она — воплощение хорошего тона. Я еще не знаю, усвоила ли она себе изящество и в разговоре. Но по манерам — она истинная аристократка. Окружите ее толпою самых блестящих молодых людей, она останется проста, непринужденна, спокойна в своей справедливой уверенности, что ей не нужно заискивать их внимание: оно принадлежит ей по праву.

Мы встретились ныне поутру, в галерее. Я шел в библиотеку, Мери несла платье Надежде Викторовне. Я поклонился и прошел молча. Заметно было, что я приобрел этим ее благосклонность; она поняла смысл моего молчания: «Я вижу светскую девушку и должен помнить, что было бы дерзостью заговорить с нею, пока не представили меня ей».

Она блондинка с золотистыми волосами. У нее продолговатое лицо. Оно несколько худощаво. Но на щеках довольно густой румянец; а бюст ее безукоризненно хорош.— Красавица она или только очаровательна изяществом манер, выразительностью физиономии, уменьем глядеть смело и вместе скромно? — Но что за прелесть превосходно развитый лоб! Сколько ума в светло-карих глазах!

Она очень умна, в этом не может быть сомнения. Но чрезвычайно добра она или необыкновенно хитра? — Утром ныне, — перед нашею встречею с ней, — Иван Антоныч почел уже возможным сказать, что боялся, не будет ли она держать себя с ним высокомерно. В самом деле, какой же он дядя ей, когда она выучилась говорить по-французски, как настоящая барышня? — Он не знал, как встретить ее: можно ли будет сунуться к ней обниматься? — А она поцеловала у него руку: «Дядя, могла ли я забыть, что вы заменили мне отца и мать?» — Старик без ума от нее: «Прежде Машенька была гордая; а теперь стала такая образованная и такая умная, что вовсе не гордится». Он уже забыл называть ее «Мария Дмитриевна» и говорит о ней «Машенька». — Однако я замечаю, что сильно расположен одурачивать себя в ее пользу. «Доброта или хитрость?» — нашел сомнение! Но пусть в очаровательности ее с Иваном Антонычем есть хоть искорка и родственного чувства. Мери обворожительна не с дядею только, — до непобедимости приветлива и мила ко всем. Это уже чистая хитрость, без всякой

примеси. По словам Ивана Антоныча, обе горничные, захваченные из Петербурга Алиною Константиновною, в восторге от ласковости Мери; и во всей здешней прислуге, взамен расположения завидовать и порицать, с которым ждали Мери, распространяется восхищение ее простотою и добротою. — А Юринька ворвался ко мне с уверением, что «сестрица очень хороша, а Мери еще лучше сестрицы». Это и подтверждалось его губами, носом, щеками, руками, измазанными в синее. Мери вышла смотреть, как он играет с приятелями, и учила их играть, и посылала собирать ягоды в кустах у реки, и заплатила, кто сколько набрал: кому три копейки, кому целых пять, и ему четыре, — и дала им есть эти ягоды; — только не все, потому что до обеда не годится есть много ягод, и это ее правда, — и остальное спрятала на другой раз. И все говорят; — и Вася, и Степа, и все, — что нет никого на свете лучше ее. Одно не понравилось им: велит утирать носы. Но в этом он больше согласен с нею, чем с ними: почему же не утирать носов? Разве это трудно или долго утереть нос? — Но ему некогда: он забежал на перепутье, он бежит умыться. Она послала его: пусть умоется сам, она посмотрит, как он любит ее; если любит, сам умоется. Хорошо. И он умоется прекрасно. А умыться надобно потому, что ей нельзя играть с чумазым; потому что, когда тут были Вася и все, она только учила их играть, а сама сидела, не играла; а теперь они ушли обедать, и с ним одним она станет играть сама. Она ждет его, ему некогда...

Напрасно мое пристрастие к ней подговаривает видеть во всем этом доброе сердце. Ясно как день: она притворщица. Но пусть и притворщица; все-таки я очень рад ей. Образованная ли девушка она, я еще не знаю. Но она очень умна и способна понимать все. Найду ли в ней искреннего друга, это слишком сомнительно. Но хорошо и то, когда есть человек, с которым можно говорить, а когда он — хорошенькая и грациозная девушка, говорить с нею, как с умным человеком, еще милее от маленького влечения к ней, как женщине.

Тем больше чести делает мне терпеливость, с которою я ждал ныне, чтобы сам собою пришел случай и устроил наше знакомство. Судьба, при помощи Алины Константиновны, очень дурно злоупотребила моим терпением. Прямо от завтрака Алина Константиновна вскочила, схватила Надежду Викторовну и поехала по соседям и при-

везла Надежду Викторовну домой только уже поздним вечером, когда я ушел в свою комнату, бесполезно проиграв часа три в шахматы с Виктором Львовичем в ожидании, не приедет ли Надежда Викторовна, не сядет ли подле нас, не подойдет ли к ней Мери, не отрекомендует ли нас друг другу Надежда Викторовна. Нет, завтра не пройдет так. На судьбу нечего полагаться: она и сама по себе не очень догадлива, а в союзе с Алиною Константиновною глупа до невыносимости. Сам позабочусь найти случай познакомиться с милою и умною девушкою.

О несравненная Алина Константиновна! — Вчера так и не показывалась: устала с дороги. Не показывался и Федор Данилыч; даже к обеду не выходил. Конечно, тоже устал. Милая простота Алины Константиновны! — Надежда Викторовна твердо знает, что тетушка и Федор Данилыч повенчаны. Пусть были б и повенчаны. Все-таки торопливость и продолжительность заключения его в свои объятия — слишком отаитская наивность в доброй Алине Константиновне. Хорошо, что Надежда Викторовна не замечает наивностей тетушки, потому что не думает ни о чем отаитском. Милая девушка Надежда Викторовна! Девушка не названием только или не телом только, но и сердцем и мыслями.

*13.* Лучше бы поменьше хвалился Иван Антоныч своею племянницею. Разрушил, невинный злодей, мою идиллию. «И как же, Владимир Алексеич, не быть у Машеньки самым благородным манерам? Два года жила в Париже». — «В Париже? А я думал, Иван Антоныч, она все время жила с Надеждою Викторовною в Провансе, у m-me Ленуар». — «Нет-с. Она скоро уехала от Шарлотты Осиповны, магазинщицею в Париж. Польстилась большим жалованьем. Сама еще не понимала, как любит Надежду Викторовну. Но вот видите, кончилось-таки тем, что бросила все: и жалованье и такой город, как Париж. Жить не могла без Надежды Викторовны, так любит ее». — «Очень сильная любовь и прекрасная, Иван Антоныч». — «Помилуйте, Владимир Алексеич: как же не любить ей так Надежду Викторовну? Надежда Викторовна сто́ит того. И опять же, все наше семейство, еще с дедов наших, было всегда облагодетельствовано их семейством и не могло не чувствовать. И Машенька воспитана в таких чувствах».

Она не могла не иметь успеха в Париже. Блондинки

в моде там. А она, к тому же, умна, хитра, — не говоря о том, что красива. Зачем же она бросила свою карьеру и сделалась опять горничною? — Но это все равно для меня. Важно, и немножко неприятно — только то, что моя идиллия погибла. Будь Мери скромная девушка, мы могли бы стать близки, и у меня все-таки не явилось низких желаний. Но вести невинную дружбу с девушкою, которая два года повесничала, это было бы невозможно. А уважение к Надежде Викторовне запрещает заводить интригу в ее доме. Жаль, что пришлось решиться не сближаться с Мери.

С утра начали съезжаться гости. За обедом было человек тридцать. Увидел, что не напрасно не хотел взглянуть на них раньше этой необходимой поры. Приятное общество! — Папеньки и маменьки — сволочь. Дочки — такие противные кривляки, что приходится отворачиваться даже от тех, которые родились хорошенькими. Для полноты моего удовольствия недоставало братцев этим сестрицам. Братцы, к несчастию, далеко: служат гусарами, уланами. Некоторые — чиновниками в Петербурге; эти, я думаю, лучше даже гусаров и, наверное, еще полезнее отечеству. — Как пообедал, обратился в бегство. Два, три семейства так и заночевали. Ай да Алина Константиновна! Молодец! Очевидно, что кагал пойдет без перерыва и конца.

Для меня это хорошо: меньше развлечений. Когда придет охота работать, можно будет вволю.

*14.* Я думаю, что давно не бывал таким пошлым глупцом, как в начале разговора с Мери. Умная девушка живет в деревне, без подруг, с которыми могло бы ей быть приятно, безо всякого общества, которое могло бы сколько-нибудь занимать ее, — должна искать единственного развлечения себе в игре с маленьким ребенком, — а между тем все время у нее с утра до ночи свободно, — потому что заботы о туалете Надежды Викторовны берут едва ли полчаса времени; — девушка принимается за книги. По-видимому, следовало бы найти это очень естественным. — Она чувствует недостаточность своего образования, она находит в доме большую библиотеку, хочет воспользоваться этим, чтобы немножко поучиться. Но с чего начать? Какие книги выбрать? — Она не знает. Подле живет ученый человек. Она обращается к нему с просьбою: «Посоветуйте». — Казалось бы, нет и в этом

ничего непонятного. Но я отличился таким умом, что долго думал: «Что ж это значит? О, это неспроста. Буду держать ухо востро. Не проведет она меня своею любознательностью!» — Это пошлость, которой можно бы постыдиться и круглому дураку. А я — так умен, что теперь опять впадаю в сомнения: «Нет, это неспроста».

Когда Иван Антоныч спросил: «Не найдется ли у меня свободной минуты? — Машеньке хотелось бы посоветоваться со мною насчет книг», — моим первым желанием было отказать старику; так быстро засело мне в голову подозрение, что книги только предлог. Но отказать было слишком неловко. Я отвечал добряку с величайшею любезностью и пошел с ним в гости к нему, — потому что она, к новому восторгу дяди, устроила вчера так, что Надежда Викторовна перевела ее из своего соседства жить вместе с Иваном Антонычем. У них вдвоем теперь три комнаты. Одну Мери уже пересоздала в нечто подобное крошечной гостиной с самою простенькою мебелью, — «Нам нехорошо было бы брать стол или диван из господской мебели; слишком богато, и другая прислуга стала бы завидовать»,— пояснял мне вчера добряк, не думая утаивать и того, что эти мысли принадлежат Машеньке. Я нашел ее в этой скромной гостиной, за шитьем кисейного платья. Она и сама так же чужда лишних претензий, как скромна ее комната, — подумалось мне. Я был тверд в своем умном скептицизме.

Дядя, познакомив нас, ушел в свою каморку. Что ж ему, некнижному человеку, мешать нам?

Мне следовало бы не знать уже никакой границы своим умным подозрениям. Хорошо бы предположить, что моя добродетель подвергается страшному искушению и что истинным намерением коварной девушки было не иное что, как именно злоумышление на мою привлекательную персону. Этого я не придумал — но только этого и недоставало, чтобы мне быть совершенным идиотом. Человек с искрою здравого смысла в голове бросил бы всякое сомнение в искренности Мери по одному взгляду на эту милую девушку, так живо обрадовавшуюся тому, что я пришел, так безыскусственно и серьезно заговорившую, что теперь она видит: дядя не напрасно называл меня человеком добрым и обязательным, — что теперь она убеждена, ее свободное время здесь не пропадет задаром, что ей очень хочется учиться, что теперь она знает: в эти

полтора, два месяца она приобретет больше, нежели во весь год, потому что она уже около года стала учиться. Долго ей было вовсе не с кем советоваться. Потом, когда она стала жить опять у m-me Ленуар, m-me Ленуар была так добра, что помогала ей. Но — она боялась обременять m-me Ленуар, а сама еще вовсе не могла читать серьезных книг: все слова не в том смысле, какой она знала, все непонятно, будто писано на новом для нее языке... Но дорогою она продолжала читать и немножко привыкла. Она не будет много обременять меня: теперь она сама несколько может понимать исторические и географические книги, и по-русски и по-французски, сама как-нибудь приучится понимать и другие,— пусть я только указываю ей, что надобно читать.

Она понимает, что можно прочитать тысячу книг и получить меньше правильных понятий, нежели из десяти хороших. Не правда ли, это так? Не правда ли, можно довольно скоро и легко узнать, как думают о вещах просвещенные люди?..

Все это говорилось так мило, живо, с такою искренней радостью, что умный человек по первым же звукам ее неподдельно-одушевленного тона отступился бы ото всех сомнений. А я довольно долго оставался недоверчив. Она заметила это, и мне казалось, что она готова была заплакать: так огорчило ее, что ее искренность принимается за аффектацию, что ее серьезность считается комедиантством. Но она девушка с тактом и с большою силою воли, она сохранила веру в себя, в то, что сумеет наконец раскрыть мне глаза. И они уже раскрывались: я видел неподдельность ее огорчения. Я стал говорить довольно охотно и скоро убедился в ее любознательности.

Тогда наш разговор пошел хорошо. Увидев меня доверчивым, она дала волю своему нетерпению услышать правду обо всем, что волнует умы, что занимало и ее, по-видимому, довольно давно.— Верить ли в провиденье? В будущую жизнь? Возможно ли равенство? И каким же образом произошел мир? И отчего же в нем порядок? И что такое христианство? — И почему же везде бедность и угнетение?.. Я не заметил, как пролетело время до самого обеда,— часа три,— и был бы не прочь продолжать после обеда эту беспорядочную лекцию обо всем на свете. Но или ей действительно некогда, или, вернее, она посовестилась отнимать у меня слишком много времени,— она

отложила продолжение до вечера завтра, сказавши, смеясь, что заслужит мою похвалу тем, сколько прочтет из рекомендованных мною книг, и сколько непонятного найдет в них, и сколько объяснений будет просить у меня.

Она хитра, и у нее могут быть свои замыслы. Но это нисколько не относится до связи, которая устанавливается между нами. Эта связь есть и останется совершенно благородна, бескорыстна, чиста с ее стороны. С моей — не знаю, но хотел бы надеяться, что и я буду видеть в Мери только умного и любознательного человека, как сам я для нее только ученый человек.

Хочу надеяться на себя — и вижу, что хочу обманывать себя. Я человек чувственный, если и не могу сказать, что я человек без стыда и совести. Я вспыхнул при виде плеч и груди какой-нибудь Анюты. Я настолько опытен, что вижу и сквозь скромно закрывающее платье: формы Мери гораздо очаровательнее. Но пусть бы я и не думал о них. Ее лицо привлекательно.

Я думаю, что мне предстоит борьба с собою.— Зачем я знаю, что Мери не была бы обольщаема мною, если бы я стал ухаживать за нею? — Быть соблазнителем — это так омерзительно, что я не опасался бы дружбы с нею, будь она хоть в тысячу раз привлекательнее, если бы думал, что она скромная девушка. Но теперь — я предвижу, это сближение наделает много мучений мне.

Пусть. По крайней мере испытаю и то, награждает ли совесть за отказ от наслаждения, запрещаемого обязанностью не делать скандала в доме невинной девушки. По уверениям моралистов, должна наградить. Забавно было б, если б это оказалось не враньем.

Но скандала не будет, это верно. Мери не прельстится мною. Это очень успокоительно. И, к несчастью, так несомненно, что я не выскажу своей будущей страсти ни одним словом, не выкажу ее ни одним взглядом. Быть глупцом в глубине души — на это я всегда готов. Но выставлять себя на посмешище другим — до этого я не охотник.

Будем же дружны, Мери,— и пусть я буду влюблен в вас, это не беда; вы не будете и догадываться.

*15.* «Где же будет наша лекция, Владимир Алексеич? Если для вас все равно, то лучше перенесем аудиторию в вашу комнату. Я немножко боюсь: вы потеряете любовь моего дяди, когда он начнет вслушиваться: он у меня консерватор». Итак, ныне я жду Мери в гости к себе.—

Раздумывая о своем характере, нахожу в нем странную черту. Я флегматик. Что такое значит быть впечатлительным, этого я даже и не понимаю. А между тем, новое положение, новое отношение заставляет мою фантазию разыгрываться до нелепости. Это как будто некоторая живость. Можно бы думать: у апатического человека не должно быть подобных увлечений. Но, разбирая дело внимательнее, вижу, что в сущности их и нет во мне. Я только отдаюсь комбинациям мыслей,— и сам смеюсь над их пустотою. Это очень ясно высказывается, например, последними строками вчерашних моих заметок: из них очевидно, что я тогда же чувствовал нелепость мечты о влюбленности в Мери.

Теперь вижу, что не только не буду вздыхать безнадежною страстью к этой милой девушке, но и мысль, из которой возникло мое напрасное опасение, была очень пошлым софизмом и даже низким предрассудком.

«Будь она скромная девушка, я не стал бы соблазнять ее». Так. Но какое же было мне дело до того, как она жила в Париже или где бы то ни было,— год назад или когда бы то ни было,— хоть бы вчера, хоть бы на моих глазах она повесничала, не все ли равно, мне нет дела до этого, когда я ныне вижу, что она держит себя как скромная девушка? — Я обязан уважать ее, я не смею не уважать ее. Так должна была бы говорить совесть. А я, чрезвычайно умно и благородно, рассудил: «Когда-то она увлекалась или дурачилась; следовательно, я не сделал бы ничего бесчестного, компрометируя ее, расстраивая ее жизнь».

Отвратительно видеть, что, гнушаясь подлыми предрассудками, поддаешься их влиянию. Вот что значит быть бесхарактерным.

И что значит быть самолюбивым: вместо того, чтоб совеститься, радуешься, когда замечаешь, что другие думают о тебе лучше, нежели каким ты знаешь себя. «Я приду сидеть к вам».— А моя комната — одна в этом углу дома.— Итак, Мери полагает, что я честный человек, с которым привлекательная девушка — потому что она очень хорошо знает, что она привлекательна,— может держать себя запросто, без всяких опасений. И не ей одной кажется так: кроме действительной безопасности, она должна была подумать и о том, не скажут ли другие чего-нибудь дурного; значит, не скажут; зна-

чит, все в доме убеждены, что я человек честный. Приятно для самолюбия. А заслужено ли? — Не было случая сделать подлость; вероятно, только.

Но заслужено или не заслужено это доброе мнение, оно глубоко тронуло меня. Все мои страстные фантазии разлетелись. Волею или неволею, а нельзя же не оправдывать доверия, когда оказывают полное доверие. Оправдывать его поступками, словами — этого мало. Надобно также уметь управлять своими мыслями. Только тогда можешь считать себя достойным доверия. Я хочу иметь право с чистою совестью глядеть в глаза Мери.

Зачем она хочет видеться со мною наедине, вдали от всякого подслушиванья? Говорить об отвлеченных вопросах было бы все равно и в соседстве дяди, как вчера. Станет ли он вслушиваться в подобный разговор? — Если бы и вздумал, через пять минут, ничего не понявши, рассудил бы, что гораздо лучше вздремнуть.— Кокетничать со мною она не думает, это видно.— Я уверен, она хочет вызвать меня на объяснение, почему я чуждался ее. Она должна была заметить, что я предубежден против нее. Вероятно, воображает, что ей вредит в моем мнении ее парижская жизнь. Конечно, понимает, что я не мог быть обманут выдумкою, которая годилась для простодушного дяди. Вероятно, она приготовила для меня сказку в другом роде, поэтическую и трагическую: чистая, благородная страсть и т. д. все прекрасно, достойно горячей симпатии, до самого конца.— Напрасно, Мери; вам не понадобится ваша сказка. Когда вы убедитесь, что, по моему мнению, и для женщины не бесчестно ничто, не бесчестное для мужчины, вы, если вам будет угодно, расскажете мне правду о ваших парижских приключениях, в которых нет ничего дурного. Теперь, когда вы думаете, что я мог бы осуждать ваши невинные шалости, я не хочу допрашивать вас о них. Я предложил бы вам совершенно иной вопрос: по какому побуждению сделались вы снова горничною Надежды Викторовны? — Ах, Мери! — Оно не было так благородно, как потребность любить,— так невинно, как влечение молодой и энергической натуры пошалить, поповесничать,— хоть бы немножко и слишком поповесничать, что за бесчестье? — Ах, Мери! Дурно не то; дурно — слишком рассудительно рассчитывать выгоды... Зачем вы бросили вашу веселую,— вероятно, очень нескромную, но все-таки невин-

ную парижскую жизнь? — Она не так выгодна, Мери, как служба у Надежды Викторовны. Надежда Викторовна богата; любит вас; сколько денег можно получать от нее! — Сколько подарков, каких богатых!.. Нет, Мери: между нами не будет объяснения. Вы увидите, что вам не нужно оправдывать передо мною вашу парижскую жизнь. А в том, за что я не доверяю вам, вы не могли бы оправдаться; к чему ж бы стал я спрашивать? — Исправить вас я не надеюсь; а приводить в стыд без надежды исправить — напрасная жестокость.

Я не ошибся в том, что Мери хотела объяснения. Ошибся в том, что думал: уклонюсь от него. Как несправедлив я был к Мери! Энергическая, благородная девушка, она может иметь свои недостатки, но она достойна полного уважения. Будь я старик или будь она дурна собою, я поцеловал бы ее.

Мы долго говорили о тех же вопросах, как вчера. Она слушала с интересом, и замечания, которые она делала, обнаруживали неутомимую внимательность к моим словам. Но с первых минут стало заметно, что она ищет случая повернуть разговор на наши личные отношения. Увидев справедливость своей догадки о ее желании объясниться, я стал осторожно пользоваться своими отвлеченными темами, чтобы дать ей понять, как ошибочны ее опасения, что увлечения или дурачества могут ронять женщину в моем мнении. Она превосходно понимала, с какою целью я высказываю мимоходом свое убеждение о том, что перед порядочным человеком женщина не имеет надобности оправдываться ни в чем таком, что не бесчестно для мужчины.

— Я не предполагала, что вы так думаете,— заметила она.

— Почему вы предполагали, что я не думаю так? Впрочем, все равно, почему бы ни предполагали вы это, вы видите, что ошиблись.

Она промолчала и предоставила мне продолжать обо всем на свете, от равноправности женщины с мужчинами до бессмертия души, которое очень приятно было б ей сберечь, как она замечала, полусерьезно, полушутя.

Пришло время кончать мою бесконечную лекцию, потому что она предупредила, что в одиннадцать она должна уйти спать: она должна вставать рано, потому что Надежда Викторовна встает тоже довольно рано.—

«Одиннадцать часов, Марья Дмитриевна. Должен уволить вас. До завтра. Тоже вечером?»

Она сидела задумавшись.

— Благодарю вас, что вы обещаетесь и завтра дать урок мне. Вы так добр, что я могла бы подумать: вы хорошо расположен ко мне.

— Я думаю, вы не имеете причины сомневаться в этом.

— Но должна была б иметь.— Она замолчала и опять думала.— Действительно, я не могу теперь найти, почему бы вам быть не расположену ко мне. А между тем это так: вы не расположен ко мне, Владимир Алексеич. За что? — Скажите, прошу вас.

Я не мог солгать, сказать, что она ошибается. Я повторил свое прежнее: — За что же я был бы не расположен к вам, когда вы сама находите, что не должны были бы думать этого?

— Вы отговариваетесь,— сказала она с решительностью.— Я колебалась, должна ли я настаивать. Должна. Это необходимо для моего спокойствия. Я не могу убедить себя, что я ошибалась; нет, я видела, вы дурно думаете обо мне.

Она видела это, пусть я не спорю. Заметил ли я вчера, как она обрадовалась мне? Почему так обрадовалась? Она боялась, что я не захочу исполнить ее просьбу, не приду. Вот доказательство того, что она очень видела: я сильно предубежден против нее. Пусть же я не спорю, не отговариваюсь. При первой нашей встрече этого еще не было: я смотрел на нее хорошо. Но потом у меня явилось какое-то сомнение, недоверие. Она видела это. И сказать ли? — Это и было главным ее побуждением поскорее познакомиться со мною. Вероятно, я убедился теперь, что она серьезно хочет быть образованною женщиной, что желание советоваться со мною о выборе книг не было пустым предлогом. Но если б одно это, она могла бы подождать, пока я сам предложил бы ей свою помощь. Неделя или две тут ничего не значат. Я услышал бы, что она усердно старается образовать себя, и сам вызвался бы помогать ей своими советами, хоть бы и был не расположен к ней. У нее достало бы терпения,— или, может быть, гордости, подождать этого. Но она не могла терпеливо переносить того, что я дурно думаю о ней. На чем основано мое предубеждение? — Теперь она совершенно не понимает,— и тем сильнее беспо-

коится. О, пусть я выскажу все, чтоб она могла вполне оправдать себя! — Она умоляет меня об этом, потому очень дорожит моим уважением.

Она говорила с неподдельным жаром, с глубокою тревогою. Было бы недобросовестно не отвечать ей искренне.

Прежде всего я попрошу нисколько не думать о том, о чем я не спрошу ее. О чем я не буду спрашивать, то не имеет никакого влияния на мои мысли. Если мы будем дружны и она в минуты экспансивности захочет поделиться со мною какими-нибудь воспоминаниями, я буду слушать,— и, вероятно, с симпатиею. Но это надобно отложить до той поры, когда мы будем дружны. Теперь я прошу ее отвечать только на один вопрос, который выскажу совершенно прямо. Я слышал, что она была конторщицею или магазинщицею; получала хорошее жалованье. Не знаю, так это или нет; но это решительно все равно для меня,— для вопроса о моем уважении к ней. Я упоминаю об этом только для того, чтобы показать, на чем основаны мои сомнения, относящиеся не к этому времени ее жизни,— совершенно безукоризненному в моих глазах, не нуждающемуся ни в каких оправданиях. Я думаю и желаю спросить ее только о настоящем ее положении. Она вела независимую жизнь в довольстве,— вероятно, в изобилии. Зачем же она сделалась опять горничною? — Иван Антоныч объясняет это ее любовью к Надежде Викторовне. Я не могу принять такого объяснения. Место горничной слишком низко для нее. Прошу ее...

Пока я говорил о ее парижской жизни, она хорошо владела собою; но как только заговорил я о ее поступлении в горничные, она стала смущаться,— так понимал я волнение, которое стало обнаруживаться лихорадочным сверканием ее глаз. Я продолжал спокойно и даже с некоторою радостью за нее: она смущается, следовательно упреки могут быть небесполезны. Но вдруг она побледнела так, что я перепугался. Я понял, что был слишком неосторожен в выборе слов и она увидела в них такой оскорбительный смысл, какого я не замечал в своем усердии прочесть мораль о рабстве и любви к выгодам; ей должно было показаться, что я сомневаюсь в ее честности. Я ужаснулся и бросился целовать ее руки, умоляя успокоиться, простить меня, потому что в моих мыслях не было ничего оскорбительного. Я даже

становился на колени. Если бы кто подсмотрел, почел бы это за любовную сцену. Я говорил ей, что она дурно поняла меня, что в моих мыслях о ней не было ничего такого, чего бы я не применял отчасти и к себе самому. Если я порицал ее, я вижу и в себе самом те же самые расчеты, которые приписываю ей...

— Что такое вы говорите? — сказала она, оправляясь наконец от волнения, долго мешавшего ей понимать:— Я не знаю, что такое вы говорите? Какие расчеты у вас? Как вы порицаете себя за то же, в чем подозреваете меня?

Я видел, что ее справедливое негодование проходит, и стал говорить со смыслом.— Я служу гувернером у Илатонцева; эта должность до некоторой степени унизительна. Почему я занял ее? — Потому что она выгодна. Я не думаю, что это бесчестно. Но до некоторой степени это показывает во мне человека, дорожащего денежными выгодами. Гувернер, дядька, нянька, горничная — не все ли равно, это прислуга? В моем и в ее положении есть очень много сходного. Но она согласится, что служить горничною — это еще менее почетно, нежели служить гувернером. Если женщина не нуждается в куске хлеба, она слишком расчетлива, когда становится горничною...— Мери слушала, слушала и рассмеялась.

— Довольно; совершенно прощаю вам то, что вы приписываете мне такое корыстолюбие, какое находите в себе самом.

Она стала весела, как ребенок, и стала шутить.— О, пусть я буду спокоен: действительно, ей не должно было видеть ничего обидного в моих словах. Она не догадалась, что ей нет никакой надобности, нет никакого расчета обворовывать Надежду Викторовну,— гораздо выгоднее довольствоваться тем, что будет она честным образом выманивать у неопытной, доверчивой, любящей ее Надежды Викторовны. Или я не думал и этого? О, конечно, не думал: зачем выманивать?— И без уловок она будет получать очень много...

Это была лихорадочная веселость. Как будто Мери и верила и не верила тому, что она была не совсем права, обидевшись моими словами, в которых могла быть неловкость, но уже никак не могло быть оскорбительного, потому что ничего такого не было в моих мыслях; будто ей и думалось и не думалось, что я отбросил

теперь свою недоверчивость, что нет надобности отвечать на мой вопрос, о котором я прошу ее забыть.

— Нет,— сказала она, подумавши: — В сущности, вы были бы прав, если бы дело состояло в том, что́ вы знаете. Я должна оправдаться перед вами. Иначе вы опять стали бы думать обо мне дурно, как только прошло бы ваше сожаление о том, что вы неосторожно довели меня до очень горького чувства. Я расскажу вам правду, хоть вы и говорите, что она уже не нужна вам.

Нет, она ехала сюда не за тем, чтобы быть горничною. Она любит Надежду Викторовну,— если хочу, пусть я не верю, но я буду видеть и раньше или позже перестану сомневаться в том, что она очень нежно любит Надежду Викторовну.— «Быть подле нее, заботиться о ней — это удовольствие для меня. И даю вам честное слово, я сама не знаю, не готова ли была бы я пожертвовать очень многим,— быть может, всем,— если бы так понадобилось для счастья Надежды Викторовны. Можете называть это чувством служанки, но я не могу забыть, что мои родные и я сама — мы обязаны быть признательны к Илатонцевым. А Надежда Викторовна — боже мой, можно ли не любить ее мне, которая несколько лет в самом деле была ее служанкою и лучше всех знаю, какой ангельский характер у нее?» — Но я совершенно прав: быть горничною — это такая вещь, на которую нельзя решиться по привязанности. У нее был расчет, я прав. Но не совсем тот расчет, как я предположил.— «Вы не хотите знать подробностей о моей жизни в Париже, и я очень благодарна вам за это. Я понимала ваши намеки о том, что мне нет надобности оправдываться в моей парижской жизни,— что я могу отложить рассказ о ней до той поры, когда мне самой вздумается. Скажу вам теперь только то, что мне было бы невыгодно бросить Париж из-за расчета на жалованье и подарки от Надежды Викторовны. У меня был другой расчет,— я хотела занять в обществе место, какого не могла бы добиться, оставаясь в Париже. Я честолюбива, вот моя слабость».

Она стала чувствовать, что хорошо владеет языком и манерами, каких требует свет. Она стала думать о Юриньке. Юриньке только еще десять лет. Она знала, что он растет на свободе, все еще только под надзором няньки. Но приходит пора, что надобно будет поручить

его надзору образованного человека — гувернера или гувернантки, в десять лет это еще все равно. Конечно, отец подумает скорее о гувернере. Но — если он увидит в доме девушку, которая способна быть гувернанткою, которая очень расположена к Юриньке, он рассудит, что на два, на три года Юринька может быть поручен гувернантке. Два, три года — о, это довольно, чтобы заслужить в обществе выгодную репутацию, приобресть множество знакомых... Ее будущность была бы обеспечена. Как? — Она не знает, о какой возможности она больше думала: открыть пансион, выйти замуж; — но так или иначе она устроила бы себе хорошую будущность.

Но прямо высказать свое желание быть гувернанткою Юриньки,— она слишком хорошо понимала, что это невозможность. Как привык думать о ней Виктор Львович? — Он знал ее в то время, когда она едва умела читать и по-русски. Она оставалась в его мнении девушкою, которую нелепо и во сне увидеть гувернанткою... Кроме того, что мог он думать и о ее правилах? Он знал, что она уезжала в Париж. Это не мешает мне уважать ее,— потому что она теперь видит, мои предубеждения против нее рассеялись, я уважаю ее,— о, она не забудет этого! — Она пожала мне руку.— Но не все так понимают вещи, как я... Необходимо было, чтобы прежде увидели, каков ее характер, каковы ее правила. Только тогда могли бы не найти нелепостью, не называли бы наглостью ее желание, чтобы поручили ей Юриньку. Она должна была скрывать эту мысль.

Каким же образом могла она возвратиться к семейству Илатонцевых, чтобы увидели, что могут поручить ей Юриньку? — Я могу осуждать. Она прибегла к хитрости. Пусть я осуждаю. Но... но... Нет, я не буду осуждать ее слишком строго... О, когда она найдет силу рассказать мне все, я не буду осуждать ее. Она не моралистка. Она не имеет права быть моралисткою. Но она не вполне согласна с моим взглядом на увлечение женщины. Он благороден. Он был бы и верен при другом общественном устройстве. Но при нынешнем... Нет, нет! — Не дай бог никакой женщине пользоваться правом свободы, которое принадлежит ей как человеку... О, слишком много страданий...

Приехавши в Петербург, она узнала, что место, для которого решилась она сделаться на время горничною,

уже занято. Это было тяжелым ударом. Но — она переносила разочарования, гораздо более страшные, и не падала духом. Вообще ее положение не таково, чтобы ей можно было унывать. У нее есть несколько денег. Есть вещи, на несколько сот рублей. Дядя, в случае надобности, поделится с нею всем, что имеет,— она уверена; да и я вижу, вероятно, что он добрый человек. Полгода,— больше, год,— она может прожить без нужды. А в это время успеет найти себе уроки в пансионах. Она хорошо говорит по-французски. Поучится немножко, будет годиться и в преподавательницы географии, истории,— в Париже такая преподавательница показалась бы не довольно приготовленною, а в Петербурге требования не так высоки, не правда ли? — О, теперь она не погибнет!

Пока мы живем в деревне, ей нет особенной неприятности быть горничною. С такою милою девушкою, как Надежда Викторовна, эта должность не имеет сама по себе ничего тяжелого или скучного,— не имеет даже ничего унизительного,— я могу найти, что это чувство служанки,— пусть так: но она не чувствует себя униженною тем, что она прислуживает Надежде Викторовне. Неприятно было б остаться горничною только потому, что общество смотрит на прислугу с пренебрежением. Но презрение или уважение общества, которое собирается у нас здесь, очень мало интересует ее. В Петербурге она едва ли встретит кого-нибудь из этих людей. И если встретит, они сами не очень важны там. Она останется горничною, пока мы живем в деревне. Это полтора, два месяца,— можно потерпеть; и должно, потому что надобно ж иметь время списаться с madame Lenoir. Madame Lenoir знала ее план,— до сих пор одна; я второй человек, с которым она говорит откровенно. Другим нельзя говорить правду; да и не нужна им правда...

Я пожал ей руку.— У вас есть недостаток, Марья Дмитриевна — и очень важный. Вы немножко слишком хитра. Но я от всей души полюбил вас.

— Я хитра,— как же была бы я не хитра, Владимир Алексеич? — грустно сказала она: — Я женщина; это значит, по вашим же словам: рабыня...

И в самом деле, возможно ли осуждать ее за то, что она немножко интригантка,— что она постаралась очаровать всех здесь? — Ее ждали с готовностью завидовать, осуждать, вредить. Она молода, хороша собою. Ее

прошедшее дает прекраснейший материал для сплетен. Кто же, кому только угодно было бы подумать о ней со злобою, не догадался бы сообразить: «На два года уезжала жить одна,— ого! — Понимаем-с! — Ты мерзавка, моя душенька»,— и все ослы и ослицы с восхищением и негодованием ревут: «Мерзавка!» — и лягаются. А слава богу, кроме ослов и ослиц, почти нет людей: тем и держится общественное благоустройство. Если бы на тысячу людей с ослиными головами приходилось хоть по одному с человеческой, все погибло бы не более как в течение двадцати четырех часов.

Я стал говорить Мери, чтоб она не видела во мне препятствия своему плану. Когда она приобретет такую репутацию, что будут готовы согласиться поручить ей Юриньку, я уступлю ей свое место. Для меня оно так неважно, и ненужно, что я долго отказывался взять его; и не взял бы, если бы не случилось так, что для меня было все равно, где бы ни провести лето.

Она была удивлена, тронута; но твердо сказала, что не может согласиться. Какое же сравнение между нею и мною? Замена была бы во вред Юриньке. Она хочет пользы себе, но не со вредом для других.— Я стал говорить, что Юринька не потеряет, а выиграет. Для гувернантства нужна не ученость, а терпеливость, внимательность и т. д. Она и теперь была бы недурною гувернанткою, а в полтора, два месяца приготовится быть очень хорошею, я ручаюсь ей в этом. Она будет гораздо больше меня заботиться о Юриньке; это слишком вознаградит за то, что у нее меньше знаний, чем у меня.— Мы поспорили, и расстались большими друзьями,— она, прося меня не возобновлять разговора о Юриньке,— я, обещаясь не возобновлять, пока она не убедится, что, уступая ей место, я не приношу никакой жертвы.

Конечно, она скоро увидит это. Тогда согласится. Она не может не понимать, что Юринька не будет в проигрыше. Она отказывается только из деликатности относительно меня; это ясно.

*16.* «Дайте мне слово, что будете говорить от своего имени и не впутаете меня; тогда я скажу вам, что надобно устроить одно хорошее,— или, лучше сказать, расстроить одно глупое и скучное».— «Даю вам какое вам угодно слово».— «Прекрасно. Думаю ли я, что эти безвыходные гости не надоели Надежде Викторовне?» —

«Я не думал об этом, Марья Дмитриевна. По веселому лицу Надежды Викторовны мне казалось, что ей приятно».— Нет; наверное, я ошибаюсь. Надежда Викторовна одолевает свою скуку, потому что думает, гости приятны ее отцу. А он воображает, что ей весело с ними. Его и моя ошибка естественна: молоденькая девушка, еще не бывавшая в свете, как же не было весело ей? Но Надежда Викторовна не глупа и хоть не опытна, но имеет хорошие привычки и врожденное отвращение от пошлости. День, два это общество могло занимать ее; теперь, наверное, наскучило. Она очень добра; потому, вероятно, еще не дала себе ясного отчета о причинах своей скуки с этими людьми; ее чистому сердцу мудрено сознавать дурных дурными. Но она инстинктивно тяготится ими. Пусть же я намекну Виктору Львовичу, чтоб он спросил у дочери, приятна ли ей эта толкотня.— «Хорошо, я скажу ему, и думаю, что вы права. Но почему вы не хотите сказать ему сама?» — «Вы забываете щекотливость моего положения в этом доме. Мне неловко напрашиваться на внимание».— В этом она совершенно права.

*17.* Мери была очень довольна, что ее догадка о скуке Надежды Викторовны оказалась верною. Ободренная удачею, пустилась в строение маленьких планов о том, как и чем Виктор Львович может доставить удовольствие Надежде Викторовне. Все это мелочи, но очень милые, и кроме наблюдательности обнаруживают в Мери искреннюю заботливость о Надежде Викторовне. Мне кажется, что особенно мил проект Мери убрать одну из беседок в саду так, чтобы она по возможности походила на комнату, в которой Надежда Викторовна жила у Ленуар. Главное тут — плющ и виноград. Мери рассчитывала: в залах довольно плюща; в оранжерее есть все другие растения, какие нужно. Виктор Львович был у m-me Lenoir, должен помнить комнату дочери, сумеет убрать беседку.

За обедом оставались только Дедюхины. Вечером и они убрались.

Алина Константиновна не замедлила почувствовать огорчение, близкое к отчаянию. В доме остаемся только Виктор Львович, Надежда Викторовна, Юринька, Алина Константиновна с Федором Данилычем, я, Мери, Иван Антоныч, две горничных Алины Константиновны — десять человек на такой дом! — Пустыня! — Ужасно! — Одно спасе-

ние бедняжке: приняться разъезжать по соседам. И то плохая перспектива: на пятьдесят верст кругом или небогаты, или скупы: где найдешь веселье, то есть толпу.

*18.* Надежда Викторовна пошла гулять; Виктор Львович, набрав народу, стал устраивать из беседки провансальскую комнату. Но увидел, что слишком понадеялся на свою память. Пришлось нести плющ и все на прежние места, чтобы Надежда Викторовна не догадалась, чтобы не испортить сюрприза.— Я оставил своею собственностью мысль об этом сюрпризе; Мери было неприятно, что ей пришлось помогать мне в осуществлении «моего» проекта. Но она понимала, что невозможно отказаться, потому и не отговаривалась. Потом, когда мы с нею остались одни, видно было, что, если б она предполагала эту развязку, она и не стала бы говорить о провансальской комнате. Немножко побранив меня, созналась впрочем, что я не виноват.

*19.* Виктор Львович увез Надежду Викторовну кататься. К возвращению их провансальская комната была готова. Надежда Викторовна была в восторге от сюрприза. В самом деле, эта комната напоминает ей беззаботные годы полудетской жизни, полные счастья.

*20.* Приезжал Дедюхин — звать Виктора Львовича в гости! О, восхитительная твердость характера, свойственная только русским людям! Иностранным подлецам далеко до наших: не имеют такой непоколебимой наглости, очаровательной своею безыскусственностью. В Европе подлец выучивается быть подлецом: у нас — родится.

Хорошо, что милая Надежда Викторовна не может понимать этих мошенничеств. Она совершенно спокойно спрашивала отца о том, как он провел время у Дедюхиных. Он, чтобы отделаться от разговора о них, попросил меня сесть играть в шахматы и был так рассеян, что проиграл все партии. Это немножко примирило меня с ним; по крайней мере стыдится.

*21.* Мери спросила, слышал ли я о Власовых.— Нет; кто это? — Небогатые помещики, живут верстах в двадцати от нас; жена и муж; недавно повенчались; ей лет девятнадцать. «Сколько я могу судить по слухам, это очень хорошие люди, Владимир Алексеич». Из этого, конечно, следовало, что я должен посоветовать Виктору Львовичу познакомиться с ними, для Надежды Викторовны.— «По всей вероятности, она и Власова понрави-

лись бы друг другу». Иметь толпу дрянных гостей — это скучно. Но не иметь хороших знакомых, не видеть никого, кроме своих домашних,— это монотонно. Надежда Викторовна не соскучится с отцом и братом, с музыкою, книгами и прогулками. Но и добрая подруга — не лишнее для нее, милой.— «Я слышала, Владимир Алексеич, что Власова бойкая, живая, веселая,— это очень нравится мне за Надежду Викторовну».— «В самом деле, у вас доброе сердце, Мария Дмитриевна, и сильная привязанность к Надежде Викторовне».— «Как судить о моем сердце, я иногда сама не знаю, Владимир Алексеич,— сказала она задумчиво.— Я очень много думаю о том, чтобы хорошо устроить свою жизнь; но без необходимости не хочу делать вреда никому; мне гораздо приятнее приобретать расположение людей, нежели заслуживать их вражду... До сих пор, кажется, я и не делала зла никому... Думаю, и вперед сумею избегать этого... В Париже мой путь был очень скользок в этом отношении: легкомыслие, мотовство — эти дурные качества слишком легко развиваются, когда девушка пренебрегает тем, что вы называете предрассудком... А из этого возникают интриги, обманы... Сорят деньгами, и алчны до них... Разоряют глупцов... Что́ вы ни говорите о предрассудках, я слишком испытала, что опасно пренебрегать ими... Но я имела рассудок,— или, может быть, доброе сердце,— удерживаться от слишком дурного... Я увлекалась,— потом дурачилась,— но я не разорила никого,— и кажется не была вредна никому, кроме самой себя... Думаю, что теперь для меня будет еще меньше искушений быть вредною кому-нибудь... Я думаю, этого еще мало, чтобы сказать обо мне, что у меня доброе сердце. У кого оно доброе, у тех мало эгоизма... Вы слишком расположен ко мне, Владимир Алексеич; ах, если бы вы всегда сохранили ваше нынешнее мнение... Не знаю, сохраните ли вы его. Но в том, что я люблю Надежду Викторовну, вы не ошибаетесь, это я смело говорю по чистой совести...» — «В ваших пяти порицаниях своему характеру есть правда, Марья Дмитриевна; но все равно я люблю вас».— Она засмеялась: «Я знаю это и по совести не нахожу это незаслуженным; вам и следует любить меня: с вами я очень чистосердечна,— она засмеялась: — «Очень чистосердечна»,— это значит еще не совсем. Но погодите, раскрою вам всю

свою душу,— и я думаю, это будет довольно скоро».— «И я думаю так, Марья Дмитриевна. Мы дружимся не на шутку. А кстати, о дружбе и чистосердечии: убедились ли вы, что с моей стороны не очень велика дружба уступать вам свое место при Юриньке? Что я был совершенно чистосердечен, говоря вам: пожертвование не важное для меня?» — «Почти убедилась».— «И будете гувернанткою Юриньки?» — «Не отказываюсь, но и не говорю: да. Посмотрим. Вы согласитесь, время еще терпит. Посмотрим, что́ будет».— «Это значит, вы уклоняетесь от разговора? Это значит, вы еще не совсем уверена в искренности моего расположения?» — «В искренности совершенно; в прочности — нет. Мы еще так недавно знакомы»,— отвечала она, смеясь, и ушла.

*22.* Виктор Львович поехал с визитом к Власовым и возвратился вместе с ними. Они обедали у нас и уехали уже поздним вечером. Действительно очень порядочные люди. Он не блистательного ума, но не глуп; честного образа мыслей. Она не красавица, вовсе не красавица. Зато проста, без малейшей мысли интересничать. Искренне любят друг друга. Завтра Надежда Викторовна поедет к ним.

*23.* Алина Константиновна объявила, что завтра едет в Петербург. Рыскала, рыскала по соседам, все прекраснейшие люди, потому что у нее все люди одинаково прекрасны, а все-таки не может дольше выносить своего отчаяния. Нигде нет столько шума и толкотни, сколько нужно ей. Федор Данилыч также стал укладываться в дорогу. Не предвидят они, какой удар поразит их. «Сказать им заранее, Алина Константиновна успела бы пролить столько слез, что все мы промочили бы ноги»,— оправдывает свое коварное молчание Виктор Львович.

*24.* Алина Константиновна вбежала к Виктору Львовичу в слезах: «Братец! Вы не отпускаете Федора Данилыча со мною! Братец, отпустите!» — «Нельзя, Алина Константиновна, пусть подождет до послезавтра; всего только два дня; принесите эту жертву».— «Это выйдет не два дня, братец, а всю дорогу врозь, это целая неделя».— «Нельзя иначе, Алина Константиновна».— «Почему же нельзя, братец? Почему вы не позволяете ему ехать со мною?» — «Потому, что вы девушка, сестрица. Вы заботитесь о вашей репутации, никому не говорите, как любите Федора Данилыча, не правда ли?» —

«Правда, братец; я знаю, что надобно молчать, потому что я девушка».— «А если бы вы ехали вместе с ним, все стали бы видеть, как вы его любите, не правда ли?»— «Правда, братец».— «Теперь, видите сама, что не годится вам ехать вместе?» — «Понимаю, братец; ну, так и быть, поедем врозь».— И о такой женщине все говорят,— и сам я думал: «Дура!» — Какая несправедливость! Ах, если бы все были так понятливы и так рассудительны!

*25*. Странно, почему я ленюсь. Пока не хотелось приниматься за работу, были прекрасные резоны лениться: сначала все горевал об Анюте; потом раздумывал, сто́ит ли горевать, какая тут охота работать, когда человек занят такими ужасными страданиями и размышлениями? Едва начал постигать, что не сто́ит и раздумывать о том, стоило ли горевать, приехали новые люди, надобно было всмотреться, с кем приходится жить,— в этом прошло дня два, три; потом заинтересовала дружба Мери,— и за эти дни нечего претендовать на себя, что не работал. Но вот уже с неделю отношения мои к Мери установились, и я не ломаю головы над разгадыванием ее характера. На сердце легко, мысли не заняты ничем, можно бы работать, кажется. И работаю,— но так вяло, что во всю эту неделю не написал столько, сколько можно бы в один день. И добро бы нравилось лениться; — нет, скучаю тем, что ленюсь; а нет одушевления работать. Скучно,— сажусь писать; через четверть часа — скучно писать, бросаю и ложусь, или ухожу гулять, или зову Виктора Львовича играть в шахматы. Нельзя играть в шахматы целый день, нельзя гулять целый день и лежать слишком долго — бока болят; опять думаешь: «Скучно, примусь за работу»,— и опять та же история. Что за нелепая история? — Пробовал взглядывать на нее с такой точки зрения: «Да уж не влюбляюсь ли я в своего друга, Мери?» — Самое хорошее объяснение, при нем все понятно. Но нет, как ни изобличаю себя, не могу найти в себе ничего, кроме дружбы к этой милой и благородной девушке: сижу с нею, хорошо; разошлись — забыл о ней, в голове Петербург, журналистика, наши либералы,— и Волгин, с вялою насмешкою говорящий: «Эх, вы! — Ну какое пиво сваришь с этой сволочью?» И возражаешь Волгину: «Где же, когда же общество не было толпою сволочи? А между тем порядочные люди всегда и везде работали».— «Натурально, по глупости,— всегда и везде

умные люди были глупы, Владимир Алексеич; что́ за радость толочь воду?» — продолжает Волгин свои вялые сарказмы: «История движется не тем, не мыслями и работою умных людей, а глупостями дураков и невежд. Умным людям не для чего тут мешаться; глупо мешаться не в свое дело, поверьте».— Отвечаешь ему и на это: — «Вопрос не в том, умно ли мешаться, а в том, можешь ли не мешаться? Умно ли моему телу дрожать от холода, умно ли моей груди чувствовать стеснение в удушающем газе? — Глупо; лучше бы для меня, если б иначе; но такова моя природа: дрожу от холода, негодую на подлость, и если нечем пробить стену душной тюрьмы, буду биться в нее лбом,— пусть она не пошатнется, так хоть он разобьется — все-таки я в выигрыше». Вижу вялую улыбку, вижу покачивание головы: — «Эх, Владимир Алексеич, натурально, в этом смысле вы говорите справедливо; но поверьте, не сто́ит иметь такие чувства».— «Не в том дело, сто́ит ли иметь, а в том, что имеешь их».

И в таких размышлениях проходит время,— не без скуки, это правда, но и не без удовольствия бранить себя за то, что проводишь время так бессмысленно.

*26.* Нечего записать, кроме того, что Федор Данилыч уехал соединиться с Алиною Константиновною.

*27.* Сидел и читал. Слышу, крадется, конечно Мери, некому кроме: в доме осталось только два человека в башмаках: она и Надежда Викторовна; с Надеждой Викторовною мы не так дружны, да и характер у нее не такой, чтобы она вздумала шалить. Но что это вздумалось Мери? До сих пор она держала себя со мною так же солидно, как я с нею. Пусть, однако, удастся ей шалость, если пришла фантазия. Я притворился, будто не слышу. Она подкралась и закрыла мне глаза руками.— «Не могу отгадать, кто: вы, Марья Дмитриевна, или вы, Надежда Викторовна... Вы, Марья Дмитриевна?» — Она засмеялась: — «Знаете ли, почему я закрыла вам глаза? Потому, что они бесполезны вам: вы и с открытыми глазами слепой».— «Будто?» — «Совершенно слепой». Я взял ее руки: — «Вот вам урок, не быть вперед такою бесстрашной» — я поцеловал миленькие, нежные ручки.— «Пожалуй, целуйте,— теперь мне это не страшно».— «А прежде было бы страшно?» — «Я не так сказала; было бы опасно».— «Вот что!» — «Не шутя».—

«Вы боялись, что если не будете гасить моих страстей вашею холодностью, то и сама можете вспыхнуть?» — «Не вспыхнуть, а стать не совсем холодною» — «О, это было бы страшное несчастье!» — «Не страшное несчастье, а лишнее, хоть и маленькое страдание».— «Но теперь опасность миновала?» — «Миновала».— «Радуюсь и поздравляю».—«Ах, не радуйтесь и не поздравляйте! Вместо прежней опасности нам грозит другая, гораздо более верная,— неизбежная».— «Какая же, если не слишком ужасно сказать?» — «Мы поссоримся,— или не так: я не разлюблю вас, но вы разлюбите меня».— Мне показалось, будто она сказала это не совсем шутя.— Что могла она думать при этом? Одно: я стану ухаживать за нею, она принуждена будет сказать, что я мил ей, как друг, но не как поклонник — я огорчусь и обижусь. Но если она думала это, зачем же она позволила себе ласковую шалость, которая могла бы заставить мою кровь волноваться, если бы я действительно был расположен волочиться? Разве для того именно, чтобы увидеть, расположен ли я к этому,— чтобы видеть, в самом ли деле ей надобно отходить подальше от меня? Или, быть может, она подумала, что держать себя холодно со мною — это может казаться мне осторожностью, опасением с ее стороны,— и быть может, опасением с ее стороны не за мои только чувства, но и за свои? — Можно было и это вывести из ее же слов; она шалит со мною, я должен понять из этого, что она совершенно равнодушна ко мне.

Так я понял и сказал на ее будто бы шутливое предвещание ссоры: «Ваше дурное предсказание не сбудется. Я всегда буду любить вас точно так же, как теперь».— «Это было б очень хорошо»,— проговорила она задумчиво и чрезвычайно серьезно.— «Мне кажется, что я понимаю ваши мысли, Марья Дмитриевна; и ручаюсь вам: никогда не подам вам повода к ссоре».— «Я уверена в этом»,— отвечала она и стала говорить о том, что́ она прочла ныне и что́ было не совсем понятно для нее в прочтенном.

*28.* Нет сомнения, что я хорошо отгадал смысл вчерашней шутки Мери. Она стала держать себя со мною опять без всякой шаловливости. Искренность и серьезность моего уверения успокоила ее за мой рассудок.

*29.* В эти четыре дня прошел, вероятно, больше сорока верст, сыграл, без сомнения, больше сорока партий в шахматы, прочитал больше сорока глупых статей в

журналах и написал меньше четырех страниц статьи, которая не будет отличаться живостью, если вся будет похожа на эти страницы.

*30.* Утро началось рассветом; потом взошло солнце,— я не видел этого, но думаю, что было так. Прошедши по небу как следует, солнце закатилось; после того стало смеркаться; после того наступила ночь; это положительные факты, я был очевидцем.

*31.* Развязка вчерашнего ряда достопримечательных событий: в привычное время захотелось мне спать; я лег и заснул. Проснувшись ныне, увидел, что уже день, и по всем приметам давно день. После того достопримечательные события повторялись во вчерашнем порядке.— Однако же, каким юмористом становлюсь я! Тонко, умно, едко! Счастлива публика, у которой будет такой писатель.

## АВГУСТ

*1.* Действительно, глупею очень успешно.

*2.* Ездил с Виктором Львовичем и Надеждой Викторовною к Власовым.— Власова сказала мне, что не может довольно нарадоваться на то, какой добрый и внимательный отец Виктор Львович. Это правда: со времени отъезда Алины Константиновны он почти не расстается с дочерью.— «Я вполне уважала бы его, если бы не связь его с Дедюхиною».— Эта связь роняет его и в моих глазах; но он держит себя лучше прежнего. Вот уже с неделю или больше Дедюхина не показывается к нам и не присылает мужа за Виктором Львовичем.— «Не может быть!» — Так.— «Неужели так?» — Так. Вероятно, он запретил ей делать скандал.— «О, если бы так! Я почти простила бы ему! Пусть Дедюхина грабит его — это не такая важная потеря для детей, как то, что она своим нахальством унижала его в глазах Надежды Викторовны!» — Вы думаете, что Надежда Викторовна понимала ее отношения к нему? — «Не знаю, Владимир Алексеич; это очень трудно сказать. Наглость этой госпожи была так велика, что я думала, невозможно, чтобы Надина не понимала. Но кажется, нет».— И я думаю, что Надежда Викторовна не понимала: ее мысли так далеки от всего подобного, что ей трудно понимать что-нибудь дурное.

*3.* Болтовня и дельные разговоры с Мери,— шахматы и прогрессивная болтовня с Виктором Львовичем,— тут же перекинемся словом, другим с Надеждою Викторовною,— читаешь, гуляешь,— между этих дельных занятий прибавить к начатой статье два, три десятка строк: чем же это не жизнь, достойная человека?

*4.* Но в самом деле, странно то, что нет недостатка в охоте работать, а работа идет вяло.

*5.* Получил записку — от Дедюхиной! — Она просит меня к себе! — Что за притча? — Виктор Львович уехал кататься с Надеждой Викторовнюю. Надобно ждать, пока приедет,— нельзя отвечать, не зная, в чем дело: может быть, и надобно поехать. А гораздо менее неприятности было бы перепачкаться в навозе.— Велел сказать, что пришлю ответ после обеда, если не приеду сам.

Не отказал ли он ей от должности? — Это одно объясняло бы ее записку: она приписывала бы разрыв моему влиянию,— и рассудила бы, что надобно дать мне взятку.— Но нет, не верится, чтоб у него достало силы оторваться от этой красивой и наглой женщины.

Достало. Разрыв; полный, безвозвратный. Совестливость дала ему силу.

Он чрезвычайно совестлив, это я знал. Но он удивил меня тем, как стыдился во время нашего разговора об этом. Другой думал бы, что ему уж и нечего стыдиться, когда он превозмог свою слабость. Кто, победив пошлую страсть, продолжает стыдиться за прошлое, тот принуждает своею скромностью прощать ему это прошлое.

— Взгляните, Виктор Львович, и скажите, зачем я понадобился Зинаиде Никаноровне Дедюхиной?

Он страшно смутился; торопливо пробежал записку,— прочел ее во второй раз, медленно. Несколько времени молчал.

— Я написал ей, что наши отношения не могут продолжаться,— вы знаете почему.

— Я очень рад за Надежду Викторовну. Вы хороший отец, Виктор Львович.

Он опять довольно долго молчал.

— Хороший, говорите вы? — Не знаю... Но я люблю Наденьку.

После того он стал говорить легче, смелее.— Дедюхина писала ему. Он перестал принимать письма. Она подсылала шпионов, шпионок разузнавать от нашей при-

слуги о причине разрыва. Вероятно, она узнала теперь все, что́ ей нужно — или убедилась, что не может узнать уж ничего, кроме того, что знает. Он полагает, что она увидела невозможность занять свою прежнюю должность при нем, но ей не хочется отказаться от надежды,— она зовет меня затем, чтобы посмотреть, не найдет ли в моих словах чего-нибудь в подкрепление своим планам,— вероятно, у нее есть какие-нибудь планы...

— Проще сказать, Виктор Львович, она хочет подкупить меня.

— Да, да! Это так! — подхватил он.— Она думает подкупить вас! Но прошу вас, поезжайте к ней: разговор с вами скорее всего может убедить ее, ей надобно оставить меня в покое, что я не поддамся никаким ее хлопотам, не хочу и не могу поддаться!

Это показалось мне справедливым. Я сказал, что поеду.

Час ночи. Благородная, великодушная девушка, девушка с бестрепетною душою, но подружившаяся с человеком, недостойным ее отважной самоотверженности. Я был непростительно беспечен.— В нашем доме все знают меня за честного человека; правда, но неизвинительно мне было не думать о том, что не все кругом нас могут или захотят руководиться мнением живущих с нами. Чем благороднее и отважнее девушка, тем заботливее должно оберегать ее от злословия. Я не помнил этой обязанности.

Она помнила о посторонних. Она знала, как думают они о наших отношениях. Она давно предсказала мне то, что я услышал теперь. Когда был этот разговор? Еще 27 числа.— «Вы разлюбите меня, Владимир Алексеич». Я не понял тогда, я перетолковал тогда эти слова нелепым образом. Теперь они ясны. Она не хотела сказать яснее, потому что бесстрашно решила отдавать себя на жертву злословию, лишь бы не отнимать у меня и у себя чистого наслаждения нашею дружбою,— не отдалять меня от себя, пока я сам не пойму, что должен отдалиться от нее. Она хотела, чтоб я не понял ее тогда, но чтобы сказаны были слова, на которые могла бы она сослаться, когда я скажу ей: «Отдалимся друг от друга»,— я знаю ее, я знаю, какой ответ она даст мне. «Это не новость для меня, Владимир Алексеич; вспомните — я предсказала, что вы услышите,— если я теперь отвечаю

вам, что не надобно изменять наших отношений, это не порыв экзальтации, это давнишнее, хладнокровное мое мнение. Вспомните, я говорила тогда: «Вы разлюбите меня, а я не разлюблю вас».— Вы разлюбите меня,— это значит: вы захотите отдалиться от меня.— А я не разлюблю вас — это значило тогда, и теперь значит: я не считаю нужным, чтобы отдалялись от меня. Останемся близки по-прежнему». Я знаю, она скажет мне это. Добрая, нежная, бесстрашная! — Как я люблю ее за это!

И когда она увидела, что пришло мне время услышать, как думают о нас, и решить, что я должен отдалиться от нее, с каким безграничным доверием она захотела показать мне всю нежность своей дружбы! С каким великодушием она решилась приласкать меня на прощанье, чтобы обратить прощанье в залог продолжения нашей близости, чтобы силою ласки крепче прежнего приковать нас друг к другу, чтоб у меня недостало воли оторваться от нее!

Но нет, мы простились — не с нашим чувством: с ним нам нет надобности прощаться,— но с нашими прежними отношениями.

Иван Антоныч вошел ко мне сказать, что лошади готовы; я взял фуражку; — вошла Мери.

— Я хочу сказать вам несколько слов, Владимир Алексеич. Дядя, вы уйдите: это секрет.

— Ох ты, шутница, секретница! — сказал добряк, лукаво покачав головою, и ушел, довольный тем, что и он умеет подшутить. Но я видел, что она печальна.

— Вы говорили поутру, что не хотите ехать к Дедюхиной,— а теперь, дядя сказал мне, вы едете к ней?

— Да, Марья Дмитриевна; а не хотелось бы.

— Не хотелось бы и мне, чтоб вы ехали,— грустно, грустно мне, Владимир Алексеич... Но раньше или позже вы должны были узнать то, чтó услышите от нее... Помните, я будто шуткою сказала вам, что боюсь, вы разлюбите меня? Это время пришло: вы вернетесь уже разлюбивши меня. Но я хочу,— она взяла меня за руку, улыбаясь грустно.— Я хочу, чтобы вы узнали прежде, как нежна моя привязанность к вам, как опечалит меня, когда вы разлюбите меня,— и может быть, это отнимет у вас силу разлюбить меня,— ее голос перерывался: — Я обниму вас на прощанье, мой добрый друг, и пусть оно не будет прощаньем! — Она тихо обняла и поцело-

вала.— Но обнимите ж и вы меня, пока я еще так же мила вам, как вы мне.

Ее слезы катились по моим щекам; и я плакал: так печальна была ее нежная ласка.

— Марья Дмитриевна, вы напрасно огорчаете меня вашим сомнением: я знаю вас, я не могу услышать ничего, что́ имело бы силу изменить мое чувство к вам; все равно, что ни услышал бы я, я буду по-прежнему уважать и любить вас.

— Хорошо,— сказала она с грустною шутливостью.— Вы дали мне слово, что не разлюбите меня,— я спокойна и отпускаю вас. Идите, я провожу вас.

Я шел по комнатам, сошел — уже один — с крыльца, сел в экипаж,— все как будто впросонках; — она стояла на крыльце, провожала меня глазами, пока экипаж повернул за угол сада... И я все смотрел на нее, и во мне было такое чувство, будто я уезжаю от нее далеко, надолго...

Мыслей сначала не было: тяжелая смутная грусть подавляла, туманила их. Она сменилась досадою на Мери, когда я очнулся, еще досаднее было мне на самого себя. Как не совестно ей после стольких разговоров со мною все еще опасаться, что какое-нибудь злословие о каком-нибудь — может быть, и очень легкомысленном или нескромном ее приключении в Париже может ослабить мое уважение к ней? И как неделикатно и глупо я сделал, что, расчувствовавшись, серьезно возражал, вместо того чтобы строго сказать: «Вам стыдно так думать обо мне, а мне обидно, что вы так думаете обо мне». Выговор был бы гораздо умнее патетического возражения.

Но если я поступил глупо, дав разыграться этому патетическому прощанию, то опасение Мери было очень естественно: очень легко говорить: «Я выше предрассудков, и ничто не бесчестное для мужчин не может уронить в моем мнении женщину»,— предрассудок очень силен, и нельзя мне сердиться на Мери за то, что она еще не совершенно убеждена в моей неподвластности ему. Виктор Львович должен знать, что Мери была авантюристкою,— он мог проговориться — невероятно, чтоб он не проговорился Дедюхиной; Дедюхина будет озлоблена, будет язвить всех в нашем доме, всех до последнего поваренка, и Мери будет подвертываться на язык ей, и на кого же не производит впечатления искусная клевета, основанная на правде, которая сама по себе уже не

очень выгодна? — Я не мог долго сердиться на Мери за ее опасение, и сцена нашего прощания снова стала очаровывать меня. Как мила, как нежна наша дружба с Мери... Как мы оба плакали...

Если бы кто подсмотрел, как мы обнялись и плакали, подумал бы, что это любовная сцена.

Как блеснула у меня эта мысль, она осветила все. Вот о чем говорила Мери! Так, наша дружба должна казаться любовною связью глазам всех, не знающих нас хорошо или желающих думать или сказать что-нибудь во вред нам. Беспечный, непростительно беспечный, я не хотел понимать этого. Я воображал, что Мери опасается, не уменьшится ли мое расположение и уважение к ней от злословия о ее парижской ветрености, а она думала о том, что я отдалюсь от нее, когда услышу, что наша короткость подает повод к злословию...

Это опасение верное — оно оправдывается...

Я стал жалеть о том, что должен держать себя далеко от Мери; стал злиться на предрассудки, пошлость, подлость людей, которые не способны понимать ничего сколько-нибудь честного, и благодаря неистощаемости этой темы для размышлений не заметил, как доехал до резиденции г-жи Дедюхиной.

Через двор от дома к службам бежала баба с веником под мышкою, она догоняла мужчину в халате. Мужчина оглянулся на стук экипажа и оказался г. Дедюхиным. Впрочем, пора спать.

*6*. Окончание вчерашнего. «Владимир Алексеич, вы? — Жена заждалась вас!» — крикнул Дедюхин и повернул к моему экипажу. Кучер остановился.— «Меня вы извините, иду в баню»,— кричал Дедюхин и, увидевши бабу с веником, объяснился с нею, на походе ко мне: — «А Настя?» — «Нейдет, Петр Кириллыч»,— отвечала баба.— «Ах она, бестия! — воскликнул барин.— Что ж она нейдет? Что ж она говорит?» — «Не хочу, говорит; некогда, говорит»,— отвечала баба.— «Бестия! Совсем от рук отбилась!» — с негодованием произнес барин и, укрощаясь от гнева, примолвил бабе: «Ну, иди себе, а я вот минутку поговорю с гостем.— Мое почтение, Владимир Алексеич»,— возобновил он разговор со мною, подходя к экипажу и облокачиваясь.— «Вы к жене, а не ко мне, собственно, так, может быть, извините меня, что пойду, помоюсь».— «Сделайте одолжение, не стесняй-

тесь».— «А каково мое положение в доме? — начал он, снова проникаясь негодованием.— Это называется барин, это называется муж! Просто стыд! Слышали, как уважаются мои приказания? — И кем же? — Моею любовницею! Она любовница моя! Хороша любовница! В неделю дай бог раз залучить ее к себе! Некогда — вот тебе и весь сказ! И не смею ничего сделать с нею! Попробуй ударить — по щекам отхлещет, шельма, это барина-то! И взыску с ней не будет! — «Некогда»,— «не хочу» — слышали сам, не я выдумал! Да она еще не то сказала, я знаю! Только уж бабе-то было стыдно передавать мне, барину, такие слова при постороннем госте! Я знаю, что́ она сказала! «Мыть-то его пойду? Много чести. Я не Сашка или не Дунька какая-нибудь, чтобы мне его мыть. Пусть-ко он меня моет — ну, так пойду».— Вот, видите, и принужден переколачиваться, кем бог даст! — Сашенька, душенька, иди в баню-то, пожалуй-ста! А? — закричал он девушке в стареньком дрянном ситцевом платье, показавшейся на крыльце».— «Видите, иду, Петр Кириллыч»,— отвечала девушка, сходя с крыльца, и направилась к бане.— «Ну и прекрасно! А то некому б и помыть».— «Но та женщина, с веником, уже там,— было бы кому помыть и без этой»,— заметил я.— «Нет, та только парить,— а мастерица! — А мыть не годится: женщина не молодая. Ну, пойдем с тобою, душенька моя, Сашенька.— Прошу извинения, Владимир Алексеич, что задержал вас. Да, на что же, скажите сам, Владимир Алексеич: хорошо это со стороны Виктора Львовича: прислал Зинаиде Никаноровне в утешение пятьсот рублей. Откровенно скажу вам, не ожидал я от него такого скряжничества! Положим, если не хочешь жить с женщиною, не живи,— в этом человек волен,— допускаю; но и награди же ее как следует,— не правда ли?» — «Вас там ждут, в бане»,— отвечал я.— «Конечно, для вас такой разговор неприятен, потому что вы с его стороны,— прошу извинения, что не мог смолчать. Но уверен, вы сам в душе согласны со мною: неблагородно пятьсот рублей,— неблагородно!» — «Я не знаю этих подробностей, но не думал, что он прислал только пятьсот рублей,— вы как это знаете?» — «Ах я дурак! Не пришло мне это в голову! — воскликнул он.— Письмо-то его не показано! Обманула шельма! Ну, да что возьмешь, хоть и раскрыли вы мне глаза? Видите мое

положение: Настька, и та меня в грош не ставит. А почему? Все чрез то же самое! Поверите ли: какие-нибудь двадцать пять рублей неделю у жены вымаливаю! Что же Настьке-то за радость, и то надобно сказать: говори на волка, говори и по волку! Не Настька тут виновата, жена!» — «Впрочем, вы напрасно так убиваетесь: вот эта девушка шла с удовольствием, что ж вам горевать?» — «Разница большая, Владимир Алексеич; Настя и собою-то не чета этим, да и разбитная же, бестия, если захочет сделать удовольствие: о, умеет привлечь к себе! Душка, одно слово! По-моему,— откровенно вам скажу: не хуже самой Зинаиды Никаноровны,— потому что, откровенно скажу вам: не всегда же понапрасну назывался мужем, знаю и Зинаиду Никаноровну, но вот вам, как перед богом: Настя даже гораздо приятнее».— «Идите же, там ждут вас».— «Точно, заговорился; прошу извинения, Владимир Алексеич».

Он пошел в баню, я подъехал к дому.

В передней дремал слуга. Из зала слышался молодой и бойкий женский голос: «Я сказала вам, три целковых, меньше ни за что не возьму: цену ронять! С вас возьми два, другой скажет: вон, вы и по два берете. Да берите Сашу: она и целковому будет рада».— Снаружи — мужчина отвечал: «Что мне Саша! Саша мне не в диковинку. Я прошу вашей любви. Извольте три целковых, что с вами делать! Когда же выйдете?» — Войдя в зал, я увидел женскую фигуру в коротеньком шелковом зеленом платьице: она высунулась в окно и, уравновесившись на нем, болтала в воздухе ножками в красных туфельках с золотыми блестками, в тонких и чистых узорных чулках; белым, полным икрам, маленьким ножкам было свободно болтаться, платье не запутывалось в них, не мешало: зеленая шелковая юбочка была такая коротенькая, что золотой позумент, шедший по подолу, едва падал до подколенок и в своих легких колебаниях давал мелькать полоскам тела повыше чулок. Спенсер, очень низко срезанный и с рукавчиками в вершок длиною, давал волю любоваться милою верхнею частью спины, круглыми плечиками, прекрасными ручками, ладони которых опирались на подоконник, помогая балансу тела, локти приподнялись; даже и на локтях кожа была гладка и нежна.— Я пошел к этой не очень скромной, но милой фигуре. Она, услышав шаги, заговорила к подходив-

шему, не оборачиваясь и продолжая болтать ножками: «Хорошо, Федя? Это я плаваю».— «Очень хорошо»,— сказал я.— «Ах, чужой!» — воскликнула она, вскакивая от окна и повертываясь на лету лицом ко мне. Передо мною стояла прехорошенькая девушка лет семнадцати, похлопывая ножкой о ножку, засунув руки в обшитые галуном карманчики своего платьица балетной швейцарской пастушки, расшитого по переду спенсера множеством золотых шнурков и бесчисленными блестками,— нисколько не сконфуженная, напротив, как нельзя более веселая и улыбающаяся с самою дерзкою приветливостью,— наполовину наглая торговка собою, дерзкая до бесстыдства, редкого и между уличными девушками,— наполовину наивный и невинный ребенок,— не по росту и телу ребенок: она была высокая, с формами, развитыми как в двадцать лет,— но по-детски — любопытному и беспечному взгляду, по простодушию своей наглости, будто совершенно чуждой мысли о неприличии.— «Чужой, чужой!» — весело повторяла она, а сама била ножкой о ножку, точно подмывало ее схватить меня и пуститься в пляс: — «Чужой, чужой! Да кто же вы? Должно быть, Владимир Алексеич Левицкий, которого ждала, ждала и ждать перестала Зинаида Никаноровна?» — «Да, я Левицкий; а вы Настя?» — «А вы почему знаете?» — «Да я все знаю,— знаю, с кем вы и условливались — с Ефимовым, писарем станового».— «Ах, врете!» — она повернулась на одной ножке: — «Вовсе я не условливалась с ним, а только хотела посмеяться».— «И надо мною тоже только посмеетесь или нет?» — «Ах, как вы врете!» — она подняла ручки к груди и, подбрасывая ими длинный борок крупных янтарей, на котором висел золотой крестик, делала полуобороты, то на той, то на другой ножке, покачиваясь корпусом с боку на бок: — «Ах, как врете! Ах, как врете!» — «Почему ж я вру? Будто вы не знаете, какая вы хорошенькая?» — «Все-таки врете: у вас есть и без меня».— Вот как! Я ждал услышать это от Зинаиды Никаноровны,— услышал еще и не добравшись до нее самой,— тем лучше, что Настя, на мое счастье, такая хорошенькая! — Можно и приятно идти в опровержение и на такие аргументы, о каких я не думал. Впрочем, и безо всякой нравственной цели я соблазнился бы, я думаю, милою куколкою: человек становится очень слаб,

когда месяца полтора пропустит без подкрепления себя в добродетели прикосновениями к пороку. Я смотрел на швейцарскую пастушку, как голодный волк: — «У меня есть и без вас? Кто же это есть у меня?» — «А француженка-то!» — «А, француженка-то! Француженка-то у меня есть, да не такая, как вы,— сама-то она ничего бы, да лапищи больно грязны, нос утирает рукавом».— «Это кто же?» — спросила Настя, вытаращив серые глазенки.— «Да вот как же! Скажу вам, чтобы вы посмеялись надо мной, увидевши ее! Да что же мне было делать-то,— все они такие, чумазые».— «Да она, значит, простая мужичка?» — «А вы найдете мне не мужичку, я подарю вам платьице еще короче этого,— поедем со мною искать,— вот, переговорю с Зинаидою Никаноровною, и поедем искать не мужичку,— а?» — Настя таращила, таращила глазенки,— и вдруг, подкинув обеими руками тяжелые янтари с крестиком, подскочила ко мне и прошептала: — «Да вы не врете,— в самом деле зовете меня?» — «Да ножки ваши расцелую, если поедете со мною».— «А конфекты у вас будут хорошие? Мне самое главное фрукты в сахаре,— побольше, побольше!» — «Достанем и фруктов в сахаре, и ананасов подарю вам целый пяток».— «Ах, ах»,— она запрыгала и захлопала в ладоши: «Пяток ананасов! Пяток ананасов»,— подскочила совсем ко мне, охватила меня одной рукой, а другую приложила к груди себе и, откачнувшись на той руке корпусом, чтобы поднялось личико, глаза в глаза мне зашептала умоляющим голосом и задыхаясь от радости: — «Пожалуйста же, миленький, возьмите меня в гости к себе! Для вас Зинаида Никаноровна отпустит меня на денечек! Только упрашивайте ее хорошенько!» — и мгновенно впала в отчаяние и закрыла лицо руками: — «Господи, боюсь, не отпустит! Вы не знаете, мне нельзя и на два часа уйти из дому. За всеми должна смотреть,— где же самой Зинаиде Никаноровне? Ей неприлично везде бегать, за всеми смотреть! — Ведь у нас все воры, и сам-то Петр Кириллыч — ей-богу! Чего? — Не больше третьего дня: смотрю, целой головы сахара нет! — Как это? Кто это? Ключей не выпускала из кармана,— а это он ночью подтибрил у меня ключи,— и опять в кармане,— вот вам и подпускай его к себе! — Умолял-то как! Играл, играл, расшевелил меня,— ну и положила его с собою, как доброго человека, а он вот

что! — продал этому самому Ефимову, я дозналась, за два с полтиною, для Саши с Дунечкою, по платочку им купил! Ей-богу, вот какой у нас народ! Федя хоть и получше его и других, но тоже невозможно положиться,— стащит. Господи, вот какая моя доля! И в гости-то съездить нельзя!» — «Не плачьте, Настенька: я упрошу Зинаиду Никаноровну, отпустит».— «Ах, не отпустит! Нельзя отпустить!» — «Отпустит, будьте уверена».— Она утешилась.— «Но проводите же меня к ней».— «Подождите здесь минуточку, Владимир Алексеич: надо еще доложить ей».— Манера держать себя и тон Насти быстро изменились: из молоденькой девушки, не столько бесстыдной, сколько не стыдливой в своем простодушии, она сделалась камеристкою подлой женщины, существом лживым, существом, которое было бы действительно развратно, хоть бы оно и безукоризненно соблюдало ту добродетель, об отступлении от которой забывал я месяца полтора в огорчении от бегства Анюты, в наслаждении дружбою женщины, более милой.— Настя сделалась солидна и говорила заученным тоном: «Надо доложить Зинаиде Никаноровне; она больна, в постели»,— и пошла степенною походкою, чрезвычайно смешной при ее слишком коротенькой юбочке и кукольном характере. Я начинал было чувствовать нежность к вертушке, ребячески торгующей собою по невинному подражанию нравам старших,— превращение наивной бесстыдницы в солидную лицемерку прогнало нежные чувства, и я опять видел в балетной пастушке только охотницу щеголять икрами, действительно соблазнительными: чопорная походка идущей с докладом Насти была забавна, но икры светились сквозь узорные чулки очень мило. Я был неправ; но так я чувствовал тогда.

Она пропадала довольно долго. Наконец прецеремонно явилась в дверях, постная, совершенно убитая видом страданий Зинаиды Никаноровны. «Пожалуйте, Владимир Алексеич; Зинаида Никаноровна просят»,— проговорила она на унылый распев.— «А долго же возились вы с Зинаидою Никаноровною: видно, узлы у корсета затянулись, трудно было расшнуровать? Да она легла бы в корсете,— ее я не стал бы щупать, что там у нее под блузою, есть шнуровка или нет,— зачем было столько хлопот? Лишь скинуть бы платье да надеть блузу».— «Как вам не стыдно говорить это, когда Зинаида Никаноровна

в самом деле больна!» — процедила сквозь зубы моя жеманная куколка, чрезвычайно обижаясь за свою больную.

Больная лежала как следует, в белой блузе, прикрытая легким одеялом. На столике у кровати стояли микстуры, стакан неполный с водою, от которой пахло гофманскими каплями: вон как, не на шутку она больна! — Должен был понимать я: — стакан не полный, она пила из него. Между этих медикаментов — вижу: сафьянная коробочка — это лекарство уж не ей, а мне, для исцеления меня от дурных чувств к ней. Но что такое? Перстень? Велика коробочка; булавка для галстука? — Все-таки не походит: широка коробочка. Но что бы там ни было, это деликатно: не деньгами, а вещичкою — вылечусь я: это гораздо благороднее.

А Зинаида Никаноровна была очень больна: едва могла говорить, чуть-чуть шевелилась, когда не забывалась; а когда заговаривалась до забвения болезни, ораторствовала и жестикулировала с энергиею, которая сделала бы честь самой здоровенной женщине в целой губернии; да и мудрено было б ей не забывать своих физических страданий: душевные были слишком мучительны. Вспоминая, что больна, она опять изнемогала до слабости, близкой к обмороку: тише, тише,— и закрыла глаза, молчит... «Ах боже мой.— Кажется я забывалась, так ослабевала».— «Да, Зинаида Никаноровна, вы забывались».

Как она любила его! Чем она пожертвовала для него! — Я не без интереса узнал, что, кроме всего, чем женщины обыкновенно жертвуют для любимого человека, она пожертвовала для Виктора Львовича губернским предводителем,— вот это точно редкое доказательство любви: многие ли жены мелкопоместных дворян могут похвалиться, что бросали губернских предводителей для других, еще более возвышенных привязанностей? Мне следовало бы плакать от умиления с разинутым ртом от удивления, тем больше следовало, что губернский предводитель был очень благороден: в два года он прикупил к ее родовым тридцати душам еще пятьдесят в этой же деревне и соседнюю деревню в семьдесят с лишком душ,— и она вполне убеждена, что через год, много через полтора он купил бы ей еще Енотаевку,— она уговорила владельца, оставалось только действовать на губернского предводителя; — а в Енотаевке больше

полутораста душ,— и сколько лугов! Восемьсот шестьдесят десятин превосходных лугов! В здешних местах это клад, это золотой рудник...

Действительно, она принесла Виктору Львовичу очень большую жертву; я понимаю и жалею; но что я могу сделать? Ничего, к несчастию.

О, пусть я не говорю этого! Она знает силу мою над мыслями Виктора Львовича,— она горько испытала эту силу,— потому что до сих пор мое влияние на него было во вред ей,— пусть я не отпираюсь, она говорит это не для того, чтобы упрекать меня, она даже понимает мое заблуждение, которое принесло ей такое горе: я смотрел на нее как на женщину, которая изменяет мужу,— против таких женщин все вооружены,— но — ох, ах и проч.,— но не всегда можно порицать их, иногда они заслуживают более сострадания, нежели порицания,— потому что сами мужья заставляют их жаждать другой любви. Таково было и ее положение. Ее муж женился на ней не для того, чтобы любить ее, а потому, что у нее было восемьдесят душ...

— Вы увлекаетесь, Зинаида Никаноровна, это вредно вам,— заметил я, рассчитывая, в какое время у нее составилось восемьдесят душ приданого, когда родовых было тридцать, первое благородство губернского предводителя имело пятьдесят душ и проч.

— Это правда, я увлекаюсь,— согласилась она и стала впадать в изнеможение.

Но когда я услышу о жизни ее мужа, я вполне оправдаю ее. Он живет на ее счет,— он не имел ничего и теперь не имеет, он служил в дворянском собрании ничтожным чиновником,— и чем же он благодарит ее за свое содержание,— за то, что она была готова любить его, любила его?..

— Вам вредно увлекаться, Зинаида Никаноровна,— заметил я, видя, что подтверждаются слова достопочтенного мужа, уверявшего, что он бывал мужем своей жены не по названию только,— и рассчитывая, что когда так, был промежуток от губернского предводителя до Виктора Львовича,— и пожертвование енотаевскими лугами для Виктора Львовича становится сомнительно; или промежутка не было? — Не могло не быть; она не из тех женщин, которым нужно двух мужчин: и один-то редко

нужен, это пустое занятие,— для Енотаевки можно трудиться; без цели, что за охота? Изредка может найти и такой стих — конечно; но изредка, потому что дельной голове некогда много фантазировать.

— Даю вам честное слово, Зинаида Никаноровна, что не считаю вас женщиною, которая увлекалась бы чувственностью. Физическое наслаждение любовью не в вашем темпераменте,— и скажу более: ничтожно для вас сравнительно с другими,— высшими,— побуждениями привязываться к человеку.

— Вы понимаете меня,— томно сказала она, изнемогая и в величайшем удовольствии.

Противная тварь, неспособная находить наслаждение в том, что заставляет даже животных забывать о пище,— тебе енотаевские луга милее потребностей твоей человеческой натуры; в тебе и нервные конвульсии возбуждаются только подлым угодничеством,— корова и овца не унижаются до того, чтобы впадать в них по раболепству.

Но она была в восхищении — по ее мнению, я назвал ее ангелом. Эфирное существо закрыло глаза в изнеможении.

Раскрыла их — и начала говорить, что у меня не бесчувственное сердце: я люблю и счастлив,— я могу понимать, как должна страдать она, лишившись любви... Ах, что может быть выше чистой любви?

Она изнемогла; открывши глаза,— начала хвалить Мери: какая умная девушка Мери, какие прекрасные манеры у нее, но, главное, какая красивая девушка Мери...

Я начал вернее прежнего судить о сафьянной коробочке. Это еще деликатнее, нежели я воображал: не только то благородство, что подкуп не деньгами, а подарком,— но и подарком не мне, а моей любовнице.

Я с нетерпением ждал посмотреть, как достанет у нее наглости вручить мне взятку,— но она изнемогла.

Любопытно, как она исполнит подвиг,— думаю я, и увидел, что ошибался: никакого подвига нет,— дело самое легкое для нее.

Она раскрыла глаза, взяла и раскрыла коробочку,— я увидел, что там серьги с каменьями не цветными, крупнее брильянтов, которые были в брошке, купленной мною для Анюты. «Но это брильянты ли, или стразы» — подумал я, и ум мой, подозрительный до крайней низости, полагает, что это стразы.

Она повертывает открытую коробочку, чтобы каменья

сверкали,— спрашивает, хороши ли серьги,— я говорю, что очень хороши; — она подает мне коробочку, чувствительно произнося: «Ваше сердце говорит вам, кому я дарю их через вас,— от вас они будут ей еще вдвое милее, нежели сами по себе».

— Очень благодарен вам, Зинаида Никаноровна; серьги чрезвычайно нравятся мне,— позвольте, я сейчас скажу, могу ли я взять; если это,— я взял стакан, вынул одну из серег,— если это стразы.— «Брильянты!» — восклицает она, а я черчу главным камнем серьги стакан: камень режет стекло,— в самом деле это брильянты: ах я низкий человек! Как несправедливо было мое гнусное сомнение в благородстве этой женщины!

— Если это стразы, хотел я сказать, Зинаида Никаноровна, то я возьму их с большим удовольствием. Но это брильянты — не возьму, простите меня. Я говорил вам, что вы преувеличиваете мое влияние на Виктора Львовича, но это бы еще ничего: я принял бы ваш подарок в награду, если не за пользу, какую принесу, то за желание, усердие служить вам. Дело не в пустой щекотливости, я чужд подобной мелочности. Но откровенно скажу вам, что этот подарок был бы совершенно бесполезен для меня. Будь это стразы, я осчастливил бы ими девушку, которая берет от меня, кроме денег, и перстеньки и сережки. Но брильянты — это совершенно нейдет к ее другим нарядам, к ее манерам, к ее семейному положению,— ко всему. Она могла бы только продать их,— и конечно, за полцены. Жаль такой большой потери. Лучше бы прямо дать ей деньгами. А это, вы согласитесь, неловко: вы не предложите мне триста, четыреста рублей для подарка моей любовнице. Скажу вам больше: несмотря на все эти затруднения, взял бы я у вас эти серьги или, пожалуй, хоть и деньги ей,— если б имел желание делать ей большие подарки. Но у меня нет этой охоты. Девушка не сто́ит того. Лицом не особенно хороша; флегматична,— и телом и душою, без огня и без нежности; рыбья кровь в жилах, привязанностей в сердце нет ни к кому и никогда не было. А между тем довольно жадная,— правда и то, что подобная любовница не может выманить много денег,— но почти жаль и тех не очень больших, которые даешь ей. Живу с нею потому, что связался раз,— но и только. Итак, не беру серег, чтобы не терять попусту дорогой наряд.

Бесподобная идеалистка слушала в изумлении и конфузе; но изумление прошло, а конфуз и того скорее:

— Я была убеждена, что...— она замолчала.

— Вы мало знаете меня; я не любитель трудных побед и хлопотливых интимностей. Если хотите, это — цинизм: стыжусь; но держусь правила: не употреблять на волокитство более пяти минут,— на шестой, если еще не обнят, говорю: «Она может быть очень хороша, но не в моем вкусе». Для меня нет ничего противнее мысли об отношениях, в которых все объяснения не ограничивались бы словами: «Иди сюда».— «Теперь можешь уйти, больше не нужна мне». Это не галантерейно, зато очень удобно.

— Но вы циник! — воскликнула она с ужасом, естественным в идеалистке.

— Я говорил вам это,— отвечал я с тем достоинством, с которым наши либералы, обвиняемые в демократизме, отвечают: «Да, мы не скрываем своей любви к народу: если она — преступление, мы готовы погибнуть».

Зинаида Никаноровна впала в изнеможение. Серьги не годились. Надобно было подумать, как теперь быть.

— И неужели вы совершенно равнодушен к этой девушке?

— Нет. Я не всегда равнодушен к ней. Почти каждый день, иногда и не один раз в день я бываю неравнодушен к ней,— в продолжение четверти часа. Как только почувствую аппетит быть неравнодушным к ней, иду в село, в ее избу; изба превращается при моем приближении в небесный чертог, потому что впереди меня летит туда Амур, превосходнейший из архитекторов, декораторов и парфюмеров. Амур улетает, и я спешу уйти, потому что изба грязна, зловонна,— немножко, то же начинает быть заметно мне и относительно моей возлюбленной, которая не привыкла быть особенно опрятною, когда не бывает превращаема Амуром в богиню. Этому еще можно бы пособить: свести ее в речку, велеть выкупаться; — тогда и без Амура она была бы приятною собеседницею,— если бы не была чрезвычайно глупа,— чему уже нельзя пособить никаким мытьем,— и если бы была покрасивее... Без особенных усилий фантазии я очень подробно описал мою любовницу, с точностью пользуясь для этого портрета чертами Анюты, как представляется мне эта свежая и довольно красивая, но бессмысленная и аляповатая женщина теперь, когда я срав-

ниваю ее не с изношенными уличными девушками, а с Надеждою Викторовною, Мери, Настею и самой Зинаидою Никаноровною, которые, при всей разнице, сходны тем, что в самом деле красивы, очень красивы.

— Но когда вы так равнодушен к этой Анюте...

К Анюте??!! Неужели я даже назвал имя этой девушки? О, как досадно! Но я полагаюсь на скромность Зинаиды Никаноровны; умоляю Зинаиду Никаноровну сохранить эту тайну; мать Анюты покровительствует нам, но отец избил бы их обеих. Зинаида Никаноровна успокоила меня. Еще успокоительнее то, что в нашем селе верно наберется до сотни Анют, и наверное, с десяток из них — красавицы вроде моей Анюты: сделайте одолжение, разыскивайте, Зинаида Никаноровна, если вам еще угодно будет наводить справки.— Нет, Зинаида Никаноровна была уже вполне убеждена.

— Когда вы так равнодушен к этой девушке, мой подарок действительно не имеет смысла. Я не настаиваю. Но мы еще увидимся, не правда ли? Я найду что-нибудь другое для вас самого... Судя по вашему описанию, эта Анюта и не особенно красива: при вашем равнодушии к ней вы могли бы бросить ее. Неужели нет девушек получше?

— Есть. Но они не подвертываются сами под руку. А ловить я не охотник,— это я уже говорил,— да и не мастер, если сказать всю правду.— Мой обед не особенно хорош, но сытен: отказаться от него, чтобы оставаться голодным,— благодарю за совет!

— О, циник! — с новым ужасом воскликнула идеалистка.— Но хорошо то, что вы упомянули об обеде. У меня вовсе нет аппетита, я забыла, что пора пить чай,— вероятно, вы будете не прочь и закусить. Потрудитесь дернуть сонетку.

Я позвонил. Вошла девушка в дрянном ситцевом платье,— обыкновенная горничная, и некрасивая.

— Авдотья, я не буду пить чаю. Скажи Насте, чтобы приготовила там,— и закуску для гостя. Или пусть сама придет сюда, я скажу ей, какое вино подать к закуске, ты переврешь.— Некрасивая и ненарядная горничная ушла.— Вы извините меня, Владимир Алексеич, что я распоряжаюсь так. Я чувствую себя гораздо лучше прежнего; но все еще очень слаба, и разговор утомил меня; а нам надобно говорить много, много... Пока вы будете там пить чай и закусывать, я отдохну. Я заставлю вас

поскучать: вы будете один, я не смею и не хочу предлагать вам, чтобы вы позвали к себе моего мужа: с ним вам было бы еще скучнее, нежели одному: он глуп и пошл. Вы будете один, и вам будет скучно, но вы извините мою смелость распоряжаться вами так деспотически: больная не может не быть эгоисткою и деспоткою.— Зинаида Никаноровна улыбнулась.

Степенною поступью вошла Настя, с постным лицом; как же иначе? — Зинаида Никаноровна страдает.

— Не печалься, Настя: мне гораздо лучше.— Настя перестала печалиться, сохраняя, однако же, самую важную степенность. Зинаида Никаноровна рассказала ей, какие бутылки надобно подать к закуске.— Пожалуйста же, чтобы все это было поскорее: я и так виновата перед Владимиром Алексеичем, давно было надобно подумать об этом, я все забывала.— Настя повернулась — не на одной ножке, а с образцовою солидностью.— Постой, постой, Настя: я должна была сказать тебе еще о чем-то, не помню...— Настя оставалась, полуобернувшись опять к ней.— Дай вспомнить, Настя,— ах боже мой! — Сейчас думала об этом и не могу вспомнить...— Настя подошла опять к постели и стала, опершись ручкой о спинку кровати, у ног выздоравливающей. Выздоравливающая закрыла глаза, как и принято делать для пособия памяти, особенно, когда чувствуешь слабость... Настя стояла, немножко опираясь локотком о спинку кровати,— закинула ножку за ножку,— начала улыбаться мне и поигрывать по ковру носком ножки, закинутой за ножку, поигрывать свободной ручкою по шнуркам спенсера, подбрасывать свое янтарное ожерелье с крестиком: Зинаида Никаноровна не видит; и мало того, что не видит: оставила ее здесь, а должна знать ее характер; стало быть, не рассердится, если и увидит... Так понимали мы с Настею. Потому она все живее кокетничала шаловливыми жестами, а я взглядами ободрял ее. Играя ожерельем, Настя начала покачиваться на локотке всем корпусом,— Зинаида Никаноровна раскрыла глаза и с ласковою строгостью сказала: «Перестань дурачиться, Настя». Настя перестала покачиваться корпусом и бросать мне улыбки, обратила внимательный взгляд на Зинаиду Никаноровну, но продолжала, хоть потише прежнего, играть ожерельем и стоять на одной ножке, опершись на локоток.— «Вот что, Настя,— начала Зинаида Никаноровна, вспом-

нив наконец: — Владимир Алексеич останется здесь еще довольно долго, поэтому распорядись, чтобы покормили его лошадей и чтобы кучер поужинал. Боже мой, как слаба память! Столько времени не могла вспомнить такой обыкновенной вещи!» — заметила она мне и продолжала опять Насте: — «Не забудь же и не повесничай. Да, еще: пойди сюда, нагнись ко мне».— Настя подошла, стала между постелью и моим креслом, нагнулась ухом к Зинаиде Никаноровне; юбчонка оттопырилась сзади, голые полоски около подколенок засветились подле моих колен; юбчонка закрывала мои руки от Зинаиды Никаноровны; я рассудил, что было бы невежливостью не погладить эти голые полоски, и погладил их с величайшею скромностью, не касаясь рукою выше вершка, много двух, от колен: больше того уже не было бы соблюдением вежливости, было бы неделикатностью; кожа была гладка и нежна, как ни у одной из прежних моих приятельниц,— не исключая и Анюты.— А Зинаида Никаноровна между тем шептала: — «Я очень утомлена и, быть может, задремлю, пока гость будет пить чай; нужды нет, Настя, разбуди меня, когда он покушает; тотчас разбуди, не жалей меня и не сказывай ему».

К счастию для выздоравливающей, я слышал каждое слово этого шепота. Я протестовал. Как же можно будить, если она заснет? — Сон — это самое целебное лекарство. Будить! — Никак! — Зинаида Никаноровна поспорила, но принуждена была уступить: я был непоколебим и, главное, очевиднейшим образом прав.— Настя слушала спор, выпрямившись, и юбчонка ее теперь лежала позументом подола на моей руке, остававшейся попрежнему совершенно скромною в необходимой вежливости.— Зинаида Никаноровна уступила моему протесту, я подобрал руку, и Настя, повернувшись на одной ножке, выпорхнула, немножко пританцовывая.— Когда она скрылась, Зинаида Никаноровна взяла платок и поднесла его к глазам.

— Боже мой, боже мой! — Вы видели эту девушку — она моя любимица, потому что... она моя родственница, она... она... дочь моей матери... Я не могу без слез думать о Насте... Она моя сестра, я так люблю ее, но этот бездушный человек,— мой муж,— не знает никаких чувств и не может уважать их в других. Он подл и безжалостен в своем разврате... Но Настю я не разлюбила... и она меня

любит по-прежнему — одну меня... Я лишилась надежды удержать ее от шалостей,— но она любит одну меня...

Мать Зинаиды Никаноровны рано осталась вдовою. Отец Насти не захотел ни жениться, ни даже заботиться о дочери. У матери не было средств отослать дочь на воспитание куда-нибудь, а была надежда встретить другого человека, более благородного, чем отец Насти. Надобно было скрыть связь с отцом Насти. Малютка была записана дочерью крестьянки; это семейство было отдано в приданое Зинаиде Никаноровне. Насте было тогда лет десять. Зинаида Никаноровна взяла сестру к себе. Могла держать ее как любимицу, но не как сестру: мать была вновь замужем, надобно было по-прежнему скрывать происхождение Насти. Но муж Зинаиды Никаноровны знал, что эта девочка — ее сестра... Ничто не остановило его... Насте было тогда только четырнадцать лет. Настю нельзя было винить...

Настю нельзя. Но можно винить тебя, бессовестная интригантка. Ты знала, что твой муж — мерзавец: ты знала, что ты своим примером и потворством распутству твоего мужа развратила всех своих служанок. Ты могла не желать,— и я верю, ты не желала, чтобы твоя сестра стала похожа на них и на тебя. Я верю этому. Но ты должна была понимать, что твой дом — вертеп разврата — не годится быть местом воспитания. У тебя были средства поместить ребенка в образованное и честное семейство. Ты говоришь, ты любишь ее: верю,— но твоя любовь к ней только любовь забавляться ею. Тебе нравилось иметь куклу, ты... но не велика будет беда бросить этот вздор, чтоб идти обедать, когда зовут обедать. Не буду иметь времени докончить? — И в этом не будет особенного убытка. Впрочем, очень доволен тем, что с пера шли такие бесконечные подробности: это помогло мне терпеливее ждать возвращения Мери.

Через полчаса пора будет ехать к милой куколке. Полчаса на описание всего того, предисловие к чему писалось целых шесть часов! — Живописная и драматическая обстоятельность рассказа должна замениться сжатостью, энергиею, философским глубокомыслием,— из Маколея надобно мне стать Тацитом.

Зинаида Никаноровна говорила о Насте с аффектациею, сквозь которую едва-едва можно было видеть слабенькие проблески любви к побочной сестре. Но и того

было уже довольно, чтоб удивить меня: я не предполагал, чтоб эта интригантка могла иметь к сестре хоть столько доброго чувства, сколько обыкновенный человек имеет к каждому из людей, мимо которых идет по улице. Вбежала Настя: чай и закуска готовы; мы пошли с Настею и провели десять минут за чаем, две минуты за закускою, остальное время от половины девятого до десяти в занятиях, возможность которых, конечно, не предвидела Зинаида Никаноровна, без сомнения дремавшая все это время. Наконец Настя объявила, что я должен идти к Зинаиде Никаноровне, и прогнала меня. Действительно, милая куколка измучилась, кувыркаясь, взлезая на плечи мне и повесничая всяческими бесстыдничествами. Через полчаса она придет за мною к Зинаиде Никаноровне. Мы поедем; у крыльца нашего дома я выйду из экипажа, она останется спрятанная в нем. Я возьму денег, белье себе — то есть переговорю с Виктором Львовичем, который, без сомнения, ждет меня,— выйду, сяду, и мы едем в Симбухино, садимся там на пароход, который отходит на рассвете,— и едем дня на три в Симбирск, где она будет объедаться ананасами.— Я мог быть вперед уверен, что не понадоблюсь больше ни Зинаиде Никаноровне, ни Виктору Львовичу; когда я так полюбил подарок Зинаиды Никаноровны, она не будет сомневаться в искренности моих советов, и Виктор Львович может забыть о ее существовании.

Так и сбылось, Зинаида Никаноровна видела во мне преданного друга,— да и без того, я думаю, согласилась бы с моими советами: независимо от моей дружбы или недружбы к ней, в них не было ни слова лжи, а рассудительность их не могла не быть очевидна умной и хладнокровной женщине.— Виктор Львович разорвал связь с нею из уважения к своим отцовским обязанностям. Надобно примириться с этим фактом. Остаток летнего сезона пусть будет пропавшим для Зинаиды Никаноровны. Надежда Викторовна выйдет замуж,— вероятно, нынешнею же зимою: невесты с таким приданым не засиживаются. На следующее лето Виктор Львович, по всей вероятности, приедет в деревню опять совершенно свободным и не затруднится снова осчастливить своей любовью Зинаиду Никаноровну, если она станет ждать следующего лета смирно, великодушно, как следует благородной женщине с растерзанным сердцем.— «Я сама была

близка к этим мыслям,— сказала Зинаида Никаноровна.— Как ни странно то, что он непоколебим, но мне самой начинало казаться, что он решительно пожертвовал мною для своих отношений к дочери... Мне уже казалось, что я могла бы только мстить ему... Но действительно, следует не вооружать его,— он возвратится ко мне, оценит мое великодушие, молчаливость моего страдания».— Мы были уже без всяких церемоний с Зинаидою Никаноровною. Через Настю мы были, в некотором смысле, родственники; притом же Зинаида Никаноровна соснула часа полтора, это восстановило ее силы, как она и предвидела. Она была теперь совершенно здорова, она проводила меня до комнаты Насти и тут покинула меня, очень мило сказав, что не хочет ободрять повесничество Насти своею улыбкою, а Настя, пожалуй, и при ней прыгнула бы на плечи мне,— Настя избалована ее любовью, и она просит меня стараться хоть немножко исправить эту наивную проказницу: мои слова, быть может, будут действовать на шалунью больше, нежели замечания сестры, слишком снисходительной. Я вошел в комнату Насти и увидел, что она... Иван Антоныч говорит, что лошади готовы.— «А Марья Дмитриевна все еще не возвратилась от Власовых?» — «Все еще нет».— «Я подожду, не вернется ли: я уезжаю дня на три, на четыре, может быть больше, и мне не хотелось бы уехать не простившись с нею».— «Господи, какой вы добрый человек, Владимир Алексеич! Не знаю, как мне и благодарить вас за любовь к моей Машеньке! Как вы любите ее, в самом деле!» — В самом деле, я люблю ее, ты не ошибаешься, добряк: если бы твоя Машенька была родная сестра, я не мог бы любить ее нежнее.

Нет, я не уеду, не простившись с моею милою Мери. Проститься,— не то слово: мы уже простились. Но я должен переговорить с нею: письмо не заменяет живого слова. Пусть она видит, что если я люблю ее не меньше прежнего, что она, друг, милее любовницы мне.

Но я думаю, что я сильно привяжусь и к Насте. Я никак не предполагал этого, входя к ней, чтобы увезти ее. Не ожидал я, что бесстыдница, которую ласкал я с бездушным сладострастием, пробудит во мне чувство более нежное.— Она спала. Когда я ушел, она стала собираться в дорогу, приготовила узелок с бельем и платьями, положила его на стул у кровати, стала одеваться,

надела чулки, взяла платье и задремала, повалилась; платье лежало на ее руке,— так она и заснула. Она спала крепко, не слышала, как я подошел. Я дотронулся до ее плеча: «Вставайте, Настя, поедем».— Она полураскрыла глаза и жалобно: «Миленький, не троньте меня: я хочу спать»,— лениво повернулась и в ту же секунду опять спала. Сон ее был крепок и спокоен, как у ребенка; я стал всматриваться в ее лицо: его выражение было спокойно и невинно, как у ребенка. Я взял платье с ее руки, взял одеяло — она спала вся открытая — я закрыл ее и стал опять смотреть на ее спокойное, невинное личико. Но она была так мила, что я не мог решиться расстаться с нею,— я опять дотронулся до ее плеча и сказал: «Вставайте, Настя, одевайтесь, и поедем». Она приподнялась на локте — и заплакала, ленясь хорошенько проснуться: «Миленький, пожалуйста! — Завтра! Я хочу спать»,— упала и опять уже спала. Я стоял и смотрел на ее спокойное личико. Умиление овладевало мною. Я нагнулся и тихо, крепко поцеловал ее. Она жалобно проговорила сквозь сон, не открывая глаз: «Миленький, пожалуйста, не надобно: я хочу спать». Это был голос невинного ребенка, слезы нежной любви навертывались у меня на глазах. Я довольно долго смотрел на нее и ушел, чтобы не расплакаться: так мила сделалась мне она своим тихим, крепким, невинным сном.

Дверь комнаты Зинаиды Никаноровны была отворена; я зашел сказать ей, что поездка отложена до следующего вечера. Зинаида Никаноровна засмеялась: «Но я вижу, вы не на шутку влюбились в мою Настю: пожалели разбудить ее! Решительно влюбленный!» — «Нет, я не думаю, что я серьезно полюбил ее: но я стал чувствовать серьезное расположение к ней».— Зинаида Никаноровна очень рада, что Настя показалась мне заслуживающею расположения; куда я спешу? — Еще не так поздно: ей не хочется спать, поговорим.— Поговорим, но завтра; я не могу допустить, чтобы Зинаида Никаноровна пренебрегала своим здоровьем из любезности ко мне.— Я не мог условливаться с ней, не поговорив с Настею.

Умно ли мое решение взять на содержание такую избалованную девушку? Не в том дело, очень ли умно это; дело в том, что невозможно сделать ничего более умного. Пять лет назад следовало б отдать Настю в честное семейство, где была бы образованная женщина. Теперь

нечего и думать об этом. Где найти порядочную женщину, которая согласилась бы взять к себе такую наглую бесстыдницу? И если бы нашлась такая женщина, Настя убежала б от нее. Какое честное семейство потерпело бы, чтобы Настя вела торг с прохожими, высунувшись в окно и болтая в воздухе заголяющимися ногами? А Настя не может вдруг отстать от подобных привычек. Поневоле приходится мне взять ее на содержание. Нет иной возможности перевоспитать ее. Хорошо, что я вперед готов находить, что чуть я отвернусь, она бесстыдничает с кем попало. Но это пройдет; и вероятно, я довольно скоро привяжусь к ней. Тогда не будет скучна трудная обязанность. И как бы то ни было, решение принято,— больше, нежели наполовину, высказано Зинаиде Никаноровне. Жалеть поздно, когда уже не годится отступаться. Надобно только воспользоваться этим уроком, чтобы вперед быть рассудительнее. А может быть, мы с Настею и полюбим друг друга. Почему ж бы мне не полюбить ее? Она очень красива. Когда отвыкнет от бесстыдства, будет мила. Год, полтора — и нам будет видно, идти ли нам повенчаться, или разойтись.

Раздумывая так на дороге, я скоро задремал, благодаря экипажу, тихо покачивавшемуся, как люлька, а главное, тому, что Настя, сама измучившись ребяческим повесничеством, расположила и мою фантазию к полному спокойствию на несколько часов. Если б эта бесстыдница была менее резва, можно бы подумать, что она уже очень сладострастна.— Безмятежный сон добродетельного труженика прервался только тогда, как экипаж остановился у нашего крыльца.

Виктор Львович ждал меня, расхаживая по первому залу. Мы пошли в его кабинет.— «Что скажете, Владимир Алексеич?» — спросил он с очевидным беспокойством. Какая боязливость! Чем могла быть страшна ему Зинаида Никаноровна? — Я и прежде не хотел пускаться в лишние подробности. Теперь видел, что и о том, что нужно ему знать, надобно будет поговорить когда-нибудь после, когда он будет поспокойнее.— «Что скажете, Владимир Алексеич? Как объясняет себе Дедюхина мой разрыв с нею?»

— Она понимает вещи очень правильно. Убеждена, что вы останетесь тверд, что она ничего не выиграет никакими хлопотами или интригами. Она решилась молча быть великодушною страдалицею.

Он помолчал.— Зачем же она приглашала вас?

— Чтобы предложить мне взятку,— взятка не годилась для меня; тогда она предложила мне подарок более милый: Настю,— вы знаете? Этим подарком я остался очень доволен. После того Зинаида Никаноровна могла положиться на искренность моих советов, и вот, как я говорил вам, мы решили, что ей надобно быть молчаливою страдалицею. Мы теперь величайшие друзья. Завтра я поеду после обеда за Настею,— поедем с нею в Симбирск, надолго ли, не умею сказать вам; вероятно, вернемся раньше недели.

— Настя красивая девушка. Но что же нового узнали вы от нее или Дедюхиной?

— От Насти то, что она будет очень любить меня, если я буду дарить ей фрукты в сахаре. От Зинаиды Никаноровны я услышал вещи более занимательные, например о благородстве губернского предводителя, о Енотаевке, которую она принесла в жертву своей любви к вам,— вообще очень много любопытного мне, как новость, но не составляющего новости для вас. Оставим это до другого времени; теперь мне хочется спать. Спокойной ночи.

Он хотел что-то сказать, но молчал; вероятно, хотелось, чтобы я еще раз и поподробнее уверил его, что ему нечего бояться,— и вероятно, он сам понимал, что смешно и совестно обнаруживать беспокойство повторением вопросов, на которые уже дан ответ.— «Только еще половина первого,— сказал он.— Еще рано спать, сыграем в шахматы».

— Еще не поздно, это правда. Но я устал. Я спал всю дорогу. Спокойной ночи.— Он не стал удерживать.

Иван Антоныч сказал мне на мой вопрос о Мери, что ее нет дома: Виктор Львович хотел дожидаться меня, поэтому не мог ехать к Власовым за Надеждою Викторовною. Пришлось ехать ему, Ивану Антонычу; Мери попросила дядю, чтоб он взял и ее с собой, прокатиться. Власовы не пустили Надежду Викторовну, оставили ночевать и Мери. Милая моя Мери! — Ей было грустно, она искала развлечься чем-нибудь, хоть поездкою с дядею.

Исправно выспавшись, будущий руководитель русского общества проснулся ныне в одиннадцать часов и услышал от Ивана Антоныча, что с час тому назад Виктор Львович входил ко мне, постоял, посмотрел, как усердно

я сплю,— сел к столу, написал записку и уехал за Надеждою Викторовною.

Я взял записку,— в нее было вложено 200 рублей: он не знает, много ли у меня денег; Настя — избалованная девушка; вероятно, неделя поездки с нею будет стоить мне дорого. Это очень мило, и я боюсь, что Настя заставит меня промотать и все эти деньги, кроме тех, которые были сбережены. Это счастье мое, что он не оставил больше. В post-scriptum [1] он говорил, что не знает, вернется ли до моего отъезда к Дедюхиной за Настею,— может быть, Наденька захочет прокатиться в Симбухино. Вчера она говорила, что это было бы приятною прогулкою,— в особенности вместе с Власовыми.

Но он вернулся: поездка в Симбухино отложена: некогда. Власова хочет быть персиянкою,— милая молодая дама, она сама любит шутить над тем, что она некрасива, и давно уверяла меня, что ей необходимо стать персиянкою для сохранения любви мужа: она убеждена, что в персидском костюме она будет красавица. Она заставила Мери скроить персидский костюм для нее, и все три с Надеждою Викторовною они шьют, шьют,— поклявшись не вставать с места, пока не дошьют. Как дошьют, приедут сюда: Власова хочет, чтобы я увидел ее красавицею.— Но и охота же мне писать такой вздор! — И если трудно убивать время в ожидании возвращения Мери иначе, как писаньем, самым радикальным средством против скуки,— то нельзя ли спросить мне у самого себя: умно ли то самое, что я дожидаюсь возвращения Мери? Я хочу удаляться от нее; она предвидела это, предсказала, мы даже простились,— к чему ж еще новое объяснение, еще прощанье? — Рука устала писать, это много помогло просветлению моего ума: бросаю писать — и думаю, что не буду ждать Мери, уеду, если не сяду играть в шахматы с Виктором Львовичем.

Три часа ночи. Чудо что за умница Настя! Но можно отложить до утра описание ума ее; а теперь лучше будет лечь и уснуть.

7. Проснувшись,— иду к Ивану Антонычу: «Где Марья Дмитриевна? В своей комнате?» — «У Надежды Викторовны».— «Что же она делает у Надежды Викторовны?» — «Все шьют». Что за швейный период!

---

[1] В приписке *(лат.)*.

«Что ж они шьют, Иван Антоныч? Тоже персидский наряд? Кому еще?» — «Не персидский, Владимир Алексеич, а сарафан для Надежды Викторовны. Власова говорит, Владимир Алексеич: сарафан будет очень идти к Надежде Викторовне. А что вы думаете, Владимир Алексеич: Власова-то какая красивая в персидском наряде! — Просто узнать нельзя! Ей-богу, так это скрасило! Можно сказать, чудо! Да вот увидите. Она и жалела вчера, что они не застали вас, вы уж уехали,— больше всего хотела показаться вам. И как обрадовалась, когда поутру услышала, что вы воротились, а не уехали!» — «Прекрасно: скажите же ей, что я встал, жду — пусть выйдет, покажется, похвалю». А в самом деле, пусть она выйдет,— тогда и Надежда Викторовна с Марьей Дмитриевною бросят шить,— а мне хотелось бы поскорее увидеть Марью Дмитриевну.— «Нет, Владимир Алексеич: шутница опять сказала, не будет вставать, пока не дошьем. Экая веселая, эта Власова! Люблю таких, Владимир Алексеич!» Таких нельзя не любить. Иван Антоныч прав. Пусть забавляется, развлекает и других и мою добрую Мери. Могу подождать, пока будет готов сарафан. Успею поговорить с Мери,— тем больше успею, что и не о чем,— все уже было сказано ею, в том милом прощанье.

Признаться, не стоило б,— да и не следовало бы писать о Насте, когда любишь такую славную молодую даму, как Власова, такую девушку, как Надежда Викторовна, и когда дружен с таким благородным человеком, как моя милая Мери. Подумавши о них, стыдно вспоминать о своих нежностях с этой бесстыдницей.— Но долг выше; надобно быть добродетельным; Настя — это драгоценность для подкрепления молодого человека в добродетели.

Добродетель не может не огорчаться, встречая неожиданное сопротивление со стороны порока. Я был огорчен Настею. Но огорчения добродетельных людей не могут быть продолжительны: провидение бодрствует и утешает; то самое, что сначала показалось огорчительным, обращается в пользу добродетельному и радует его. Это сбылось и надо мною: принял Настю в свои объятия с огорчением, а через полчаса уже сам гонялся за нею с большим удовольствием. Умная куколка, в сотню раз умнее меня!

Уставши вчера писать, рассудил, что если не удастся сесть убивать время за шахматами, не стану скучать без

дела, не буду ждать Надежду Викторовну и Мери, поеду похищать прекрасное дитя с формами двадцатилетней девушки и невинным сердцем. Оказалось, что Виктор Львович ушел гулять. Я поехал принять на себя заботу о нравственном возрождении девицы, по простодушию задирающей ножки выше, нежели одобряется обществом. Солнце было еще не совсем близко, когда будущий воспитатель завидел деревню Дедюхиной.

По дороге от дома навстречу мне шла — я узнал по ногам, до колен обрисовавшимся из-под юбочки, прежде чем можно было рассмотреть даже хоть цвет платья,— шла Настя; завидевши экипаж, нуждающаяся в нравственном возрождении бросилась бежать к приближающемуся возродителю,— хорошенькая и невинная моя! — Она ждала меня, и с каким рвением стремится она к обещанным ананасам, хоть еще и не предчувствует, что они — более, нежели ананасы: они залоги ее возрождения! — На расстоянии, соразмерном способности моих глаз при помощи очков, стал я видеть, как развевается юбочка ее, мелькают из-под юбочки колена,— разгорелось лицо,— еще миг, она вспрыгнула в коляску и прямо, со всего маха, накинулась не на корзиночку с ананасами, а на самого меня,— я успел покачнуться вперед, опершись руками о подушку, чтобы она не опрокинула меня и не хлопнулась лицом о зад коляски, а она, стиснувши меня, рыдала скороговоркою: «Миленький, что вы хотите сделать со мною? Вы хотите просить,— она говорила мне,— вы хотите просить Зинаиду Никаноровну, чтоб она отдала меня вам! Миленький, пожалуйста, не просите! Вы убьете меня, миленький, если вовсе возьмете меня к себе! Я, миленький, всегда готова с удовольствием делать с вами все, что только хотите,— и без ананасов, с удовольствием, миленький, потому что я очень полюбила вас, миленький,— только вы убьете меня, миленький, если станете просить ее, чтоб она отдала меня вам,— потому что она отдаст,— отдаст,— ох, отдаст! — А я ни за что не хочу жить с вами, миленький,— только не просите меня у нее, тогда и без ананасов, миленький, я так полюблю вас, что никому, кроме вас, не дам и дотронуться до себя, если вам это не нравится! — Ей-богу, никому,— и Феде не дам даже и пощупать меня, не то чтобы другое что, неприятное для вас,— а вас, пожалуй, и в бане буду мыть, и хоть середи самого сна будите меня, буду

просыпаться для вас!» — Целый дождь слез лился мне на лицо, а тискала она меня изо всей силы, так, что иной раз трудно было перевести дух.— Непонятная связь мыслей, но общий смысл ясен: она не хочет быть моею любовницею.

Я обнял ее и стал успокоивать, велев кучеру ехать шагом: видно, что разговор пойдет интимный, который надобно кончить подальше от ушей Зинаиды Никаноровны: нет, не для ананасов она ждала меня на две версты перед домом! — «Не плачьте, Настенька, я не буду просить Зинаиду Никаноровну,— не бойтесь, я не хочу ничего такого, на что не согласна вы сама».— Она понемножку уверилась и успокоилась.

— Вы совсем перестали бояться, что я буду просить вас себе у Зинаиды Никаноровны? — Да, да, совсем перестала бояться,— она прыгала в коляске, так что мне надо было держать ее, чтоб она не вывалилась; она хлопала в ладоши и накидывалась на меня целоваться.— Хорошо, Настенька; но скажите же мне, я не могу понять: почему вы не хотите, чтоб я выпросил вас себе у Зинаиды Никаноровны, когда вы так рады любить меня даже без ананасов? Да усядьтесь, а то упадете,— я усадил ее, поднял корзиночку, поставил ей на колени, чтоб ей нельзя вспрыгнуть.— Берите ананас, кушайте и растолкуйте, почему мне не просить вас себе у Зинаиды Никаноровны?

Она схватила ананас: — Самая важная причина, душенька,— она откусила: — самая важная; без самой важной,— она зачавкала,— причины я ничему на свете не была бы так рада, как тому, чтобы вы выпросили меня себе,— она опять почавкала,— душенька моя, потому что я уже ужасно полюбила вас.

Кусая, чавкая, кусая и чавкая, она объяснила мне «важную причину»,— причина действительно важная; — как ни суди, как ни огорчайся, а нельзя не признаться: умница моя куколка, очень благоразумная куколка.

Зинаида Никаноровна очень любит ее; Зинаида Никаноровна давно говорит ей, что она еще глупа, надобно ей быть умнее; но Зинаида Никаноровна только так называет ее глупою,— а сама ж говорит и то, что она хоть и глупа, но все же не такая глупая, чтоб нельзя было уж и положиться на нее, что она будет становиться умнее. Она и теперь уж довольно умная, и сама Зинаида Никаноровна видит это. Да, разумеется, видит,— а то не стала бы

думать, что можно будет отпустить ее жить своим умом, не стала бы думать и обещать, потому что любит ее. А Зинаида Никаноровна обещала ей: вот, со дня на день Зинаида Никаноровна ждет Ивана Кириллыча.— Иван Кириллыч брат Петра Кириллыча, только не такой: Петр Кириллыч дурак и только умеет бездельничать, да воровать головы сахара, да выпрашивать деньги,— вчера он выпросил у Зинаиды Никаноровны пятнадцать рублей,— ах, какая добрая эта Зинаида Никаноровна! — Вовсе и не нужно бы давать: пусть не крадет, урок бы ему,— но Иван Кириллыч не такой: он умный и сколько получает! — Он дослужился до полковника и командовал полком,— и сколько он получал! — А теперь он будет полицеймейстером — где-то, бог знает где-то, не вспомнишь, только в самом большом и хорошем городе,— там и хлебом торгуют, и ужасно богатые там купцы! — И он будет получать много, много — ужас сколько! — И он теперь в Петербурге по этим хлопотам, и уж определен, и скоро выедет на свою должность,— и заедет в Симбирск, там у него мать,— чтобы она посмотрела на него, порадовалась, и оттуда проедет к Зинаиде Никаноровне,— непременно, он обещался, и Зинаида Никаноровна не пропустит его, пошлет Петра Кириллыча в Симбирск взять его, привезти, если б он сам стал забывать, что обещался приехать и к брату,— да и не забудет сам! — Он переписывается с Зинаидою Никаноровною и ужасно любит ее! И Зинаида Никаноровна обещалась ей отдать ее ему: он возьмет, непременно! Зинаида Никаноровна говорит: «Он возьмет тебя, Настя, я устрою это»,— говорит Зинаида Никаноровна. И как хорошо говорит ей Зинаида Никаноровна! — «Я и не подумала бы, Настя, что надобно устроить это, потому что ты еще слишком глупа — но такой хороший случай, Настя: нельзя пропустить»,— и все говорит, как надобно быть умною... Настя стала рассказывать мне, как надобно ей быть умною...

Она понимает очень удовлетворительно. Я не мог не успокоиваться за ее будущность, слушая, как прекрасно понимает она. Конечно, нельзя надеяться, чтобы на первое время не делала она ошибок. Но первое время проведет она под глазами Зинаиды Никаноровны; — Зинаида Никаноровна будет тогда внимательно надзирать за нею, не пропустит без замечания ни одной ошибки, вроде болтанья ногами кому-нибудь постороннему,— и Настя, ум-

ница, скоро приучится заголять ноги осмотрительнее. Я убежден, полицеймейстер не увидит никаких ошибок,— а если б и случилось ему заметить и рассердиться, при Зинаиде Никаноровне не возникнет серьезного недоразумения... А через какой-нибудь месяц можно будет и отпустить его с Настею, Настя же будет уметь совершенно избегать ошибок: умная девушка очень скоро отвыкнет от легкомыслия,— а Настя умница.

Так смеюсь я теперь; но тогда мне было грустно за Настю... Я даже стал говорить ей, что Зинаида Никаноровна любит ее, конечно, но дурная женщина и много учит дурному.

С минуту Настя слушала, вытаращив глазенки. Потом расхохоталась: — Ах, душенька, какую глупость вы говорите!

В самом деле, глупость. Прожив со мною полгода, Настя могла бы, вероятно, без смеха слышать, что плутовать нехорошо, что люди, которые учат плутовать,— нехорошие люди. Начинать внушать ей такие дикие для нее понятия на второй день знакомства было слишком рано. И слишком поздно, когда узнано, какое счастье обещано ей Зинаидою Никаноровною. Следовало бы понять это и не начинать. Я и понимал,— а все-таки не только начал, но, даже и после основательного ее замечания, продолжал... Задушевный, неумолкаемый, неудержимый хохот ее скоро парализовал мой язык. Победоносная Настя с искренним сожалением сказала: «Душенька, если вы будете думать так смешно, вы будете самый несчастный человек», развалилась, откинувшись на спинку коляски, разинула рот как можно шире, запихала в него, напирая обеими руками, ананас как можно больше, разложила руки вдоль боков и осталась так, с раскоряченною мордочкою, с торчащим из нее ананасом. Есть больше было, должно быть, приторно, а выпустить сласть изо рту было жаль; а, главное, очень нравилось, что удалось разодрать рот так широко: удовольствие удивительным успехом светилось в глазах.— Бедная победоносная Настя! Она не знала, скольких ананасов лишила себя своим простодушным справедливым смехом! А во мне, хоть и омраченном благородною скорбью о падении моего умного плана, уже зрела мысль, что когда так, это мой последний визит к ней. Она красива, это правда, но в нашем селе найдутся десятки куколок, не уступающих ей ни в чем, ни

даже в бесстыдстве, если оно нужно. Теперь я уже приехал к ней, и пусть не пропадает вечер. Но больше не видеть тебе меня, милая куколка: двадцать верст, большой расход и хуже всего мерзкая Зинаида Никаноровна. Буду находить свое ближе, дешевле и без неприятного общества...

Я велел кучеру пустить лошадей рысью. Мы прокатили по деревне, представляя великолепное зрелище публике: я, прямой, скрестивши руки на груди, смотрящий прямо вперед, как раз в локоть кучеру,— Настя развалившись, задравши вверх мордочку, раскоряченную торчащим ананасом.

Вчера я сказал Зинаиде Никаноровне, что буду серьезно говорить с нею о Насте. И надобно было говорить. И стал говорить,— хоть не совсем то, что предполагал вчера. Настя очень нравится мне; чрезвычайно жалею, что не могу взять ее на содержание: она в один месяц запутала бы меня в долги на целые годы. Но хочу сделать для нее, что могу. Связь между нею и Зинаидою Никаноровною, конечно, не ослабеет, если она получит вольную. Я желал бы знать... Зинаида Никаноровна перебила меня, покрасневши.— Зинаида Никаноровна покраснела! — Я не верил своим глазам! — И не верил своим ушам: Зинаида Никаноровна без аффектации говорила, что выкуп не нужен, что она благодарна мне за то, что я напомнил ей; давно, давно следовало перечислить Настю из крепостных в мещанки,— ей стыдно, что она все забывала об этом... Это были искренние слова, простые, человеческие. Я был изумлен, почти растроган. Конечно, через минуту привычка к мерзкому комедиантству взяла свое: пошли идеальности, эфирности, жеманство.

Я писал это в половине или конце первого, мало думая о пустяках, которые записывал только от скуки, чтоб убить время в ожидании, когда наконец будет дошит сарафан, Мери будет выпущена Власовою из-под ареста,— потому что и персидский наряд самой Власовой и сарафан Надежды Викторовны я считал делом этой милой, веселой молодой дамы,— тем больше считал ее изобретением клятву шить не вставая, пока не дошьют. Вошел Иван Антоныч и сказал, что Надежда Викторовна послала его взглянуть, занят я или нет; если занят, пусть он ничего не говорит; если я не занят, пусть он попросит

меня выйти к ней; она в библиотеке. Он рассудил: когда же дождешься, что я не занят? — Я встал и пошел.

Милая, добрая девушка извинилась, что будет просить меня об услуге: она не так дружна со мною, чтоб имела право; но услуга, о которой она попросит, не будет, конечно, тягостью для меня.— Вчера, еще у Власовых, она заметила, что глаза у Мери несколько красны. Мери сказала: «Не знаю, должно быть от ветру и пыли по дороге». Она поверила. Ныне, за шитьем сарафана, опять видит: глаза у Мери несколько красны. Мери сказала: «Не знаю; разве остается от вчерашнего». Она все поверила, но сказала, что не следует утомлять таких глаз шитьем. Мери говорила: «Это ничего», и не слушалась,— она и Власова взяли шитье у Мери и велели ей уйти, чтоб она не усаживалась опять шить. Когда Мери ушла, Власовой скоро надоело шить, и она легла читать. И Надежда Викторовна пошла взять книгу,— книга, которую она читала, осталась у нее в провансальской беседке. Она входит туда и видит: Мери сидит за столом и плачет,— по столу рассыпаны цветы.— «О чем вы плачете, Мери?» — Но у Мери уже спокойное, даже веселое лицо, и в руках цветы: «Я и не думала плакать; разве от рези в глазах навернулись слезинки».— «Вы плакали, Мери».— «Да вовсе нет, видите, плела гирляндочки на сарафан,— и сплету венок, это тоже надобно для русского наряда. Хорошо я выбрала цветы?» — «Вы плакали, Мери. Чем огорчены вы?» — «Да что это вы, Надежда Викторовна!»—«Чем огорчены вы?—(Конечно, Надежда Викторовна выражала ей участие гораздо нежнее, нежели передавала мне свои слова.) Кем огорчены вы? Вы не хотите сказать? Я подумаю, что я сама чем-нибудь огорчила вас».— «Вы меня?» — с порывом воскликнула Мери и схватила поцеловать руку Надежды Викторовны; Надежда Викторовна едва успела отдернуть руку.— «Вы совсем расстроены, Мери».— «Нет, Надежда Викторовна, я была спокойна и весела; но ваша доброта растрогала меня. Я люблю вас, Надежда Викторовна; только: я очень люблю вас. Но оставьте меня, Надежда Викторовна; перестаньте ласкать меня, или я вовсе расплачусь». Что такое с Мери? Я друг ее, мне она скажет, вероятно. Она, вероятно, еще там, в провансальской беседке: она опять села плести уборы для русского наряда, который выдумала Надежде Викторовне Власова с ее же слов.

Я был рад, что Мери, наконец, одна, что я могу переговорить с нею. Я думал, что знаю, о чем она плакала: о том, что я увидел надобность держать себя далеко от нее; быть может, немножко и о том, что я слишком легко подчинился этой обязанности; с нашего прощанья пред моим первым визитом Зинаиде Никаноровне прошло два дня,— и пусть еще не было минуты, когда бы я мог поговорить с Мери,— но два дня! — Я мог бы написать, если не находилось минуты видеть ее наедине. Я думал, что она огорчена и моею связью с Настею; она еще не могла узнать, что я не хочу видеть больше эту жалкую девушку; она должна опасаться, что Настя разорит меня, будет вводить в безрассудства. Да и обидно ей,— думал я,— что ее друг мог связаться с такою пошлою девушкою. О ревности нечего думать: Мери так же мало, как Власова, расположена ревновать меня; но и Власовой,— если Власова знает,— должно быть неприятно это: женщина не может не чувствовать себя оскорбленною, когда ее знакомый с удовольствием переходит из ее честного общества к пошлости, которою унижается достоинство женщины. Мери дружнее со мною, чем Власова, потому должна и чувствовать обиду более горько.— Так понимал я.

Я отворил дверь беседки. На столе лежали гирлянды. Мери сидела и плела венок. Он выпал из ее рук, краска бросилась в щеки ей,— но это был только миг смущения; я еще не переступил порога, Мери уже владела собою: хоть вся вспыхнувшая, спокойным движением нагибалась поднять венок, подняла и, держа его обеими руками, будто хотела продолжать плесть, подняла на меня смелый взгляд, твердо сказала: — А, это вы, Владимир Алексеич!

Я остановился; так холоден был взгляд, и так странно звучал твердый голос, будто вызовом на борьбу, будто она встречает врага,— что это такое? Разве то, что она оскорблена моею связью с Настею еще гораздо сильнее, нежели думал я? — Ревности не может быть в ней; но она стала презирать меня! Так я понял. И точно; в ее взгляде я читал: «Что вам угодно, милостивый государь? Зачем вы изволили пожаловать сюда? Вы должны были понимать, что я не хочу видеть вас». И точно, из слов Надежды Викторовны о шитье сарафана я понимал: эта поездка к Власовой, это шитье персидского наряда для Власовой, как и этот сарафан,— все только для того, чтоб уклоняться от свиданья со мною,— так чужд я стал

ей! — Более, нежели чужд, пояснял мне ее взгляд: она встречает меня будто врага! Сердце мое тоскливо сжалось.

— Марья Дмитриевна, вы не подаете мне руки!

Лицо ее мгновенно изменилось: просветлело радостью, прежняя нежная дружба светилась в ее взгляде.

— Вы хотите, чтоб я подала вам руку? — Она спокойно встала и шла ко мне.— Вы остаетесь моим другом? Благодарю вас! — Она обняла тихо и крепко, без поцелуя, как обнимались мы с Ликаонским, когда он уезжал, как обнимаются друзья, когда хотят показать: эта сила чувства — не порыв, это сила моего постоянного расположения к тебе.— Вы не усомнились во мне, Владимир Алексеич? Благодарю вас! — Она крепко прижала меня к своей груди и спокойно отступила и села.

Я и шел к ней, уже предрасположенный быть глубоко взволнован. Я был теперь нежно, нежно растроган; понимал, что если сяду и дам себе волю разговориться, то расчувствуюсь до слез. А слезы — плохое свидетельство непоколебимости. Я понимал, что не должен садиться. Надобно покороче, поскорее сказать, что́ надобно сказать, и уйти, пока еще не хлынут слезы.

— Нет, Марья Дмитриевна, я не мог усомниться в вас. Когда я, после вашего великодушного прощанья со мною, понял, что должен держать себя далеко от вас, в тот же миг я понял, что вы давно знали все, чего я не предполагал, что вы давно пренебрегли молвою о наших отношениях и вперед хотите пренебрегать ею, удерживать меня в прежней близости к вам. Но я не соглашусь уступить. Я слишком люблю вас. Моя небрежность о вашем добром имени происходила именно от того, что я чрезвычайно искренне люблю вас. Не знаю почему, но я не думал о себе как о вашем муже,— нет, знаю, почему: потому, что видел, мне нельзя думать о себе как о вашем муже. Поэтому я не мог помнить, что вы женщина. Вы видели это; вы видели, я не помнил, что вы молода, что вы хороша собою. Так сильно уважение к вам даже над моими мыслями. Как же могу я позволить себе продолжать быть вредным для вас? Нет, я не могу согласиться на ваше великодушное бесстрашие, чтобы продолжалась наша близость, чтобы возобновились поводы к молве, будто бы я ваш любовник. Нет, мы должны стать чужды друг другу,— и будем чужды.

Я чувствовал, что надобно поскорее высказать все, пока еще не расплакался,— и договорил, не останавливаясь, хоть видел, что мои слова производили на нее впечатление вовсе не такое, как бы следовало по моим ожиданиям. Я предполагал, что она более или менее знала вперед мои мысли. Но она слушала, будто совершенно неожиданные новости: ее лицо выражало удивление, ее руки сложились на поясе, рука об руку, пальцы их сжимались, плечи приподнимались, будто она изумляется, не знает, что́ и думать о том, что слышит, так это несообразно с ее предположениями.

— Что такое вы говорите, Владимир Алексеич? — Так ли я поняла вас? Вас называют моим любовником? — Кто?

— Зинаида Никаноровна Дедюхина.

— Неужели она сказала вам, что я ваша любовница? — Я вижу, что не ошиблась в смысле ваших слов,— но не ошиблись ли вы в смысле ее слов? Но нет, что же я спрашиваю! — Вы сам не могли хотеть того, что я, по ее мнению, ваша любовница! Вы не могли приписывать ей такой мысли! — Я не понимаю, решительно не понимаю! Я ослышалась, вы сказали не то,— или вы ослышались и отвечали не на тот вопрос, который я сделала!

Мери говорила с недоумением, с изумлением, но была далека от всякого патетического настроения,— гневного ли, сентиментального ли; потому и я уже не мог опасаться, что дело у меня дойдет до слез. А видно было, что разговор затягивается. Я сел.

— Я совершенно ясно понял ваш вопрос, Марья Дмитриевна, и вы совершенно ясно поняли мой ответ.

— Но это странно, Владимир Алексеич! — Она пожала руками и плечами.— Зинаида Никаноровна Дедюхина сказала вам, что я ваша любовница? И вы пришли сюда затем, чтобы сказать мне, что вы сохраняете прежние чувства ко мне, но хотите избегать меня, чтобы не продолжать компрометировать меня? Так?

— Совершенно так, Марья Дмитриевна.

— Значит, так. Но воля ваша, это странно.

— Марья Дмитриевна, вы держали себя со мною не так, чтобы я мог думать, что я сколько-нибудь нравлюсь вам или успел бы понравиться. Я и теперь вижу все то же. Вы любите меня, как Надежду Викторовну.

— Конечно так; если бы вы не видели этого, между нами не могло бы быть таких спокойных и нежных отношений. Но я и спрашиваю вас вовсе не о том, почему вы, услышав, что я ваша любовница, не делаете мне предложения. Я спрашиваю вас: как мне понять, что вы пришли передать мне это мнение Зинаиды Никаноровны Дедюхиной,— ваше решение избегать меня,— и кончили тем? — Неужели это — все, что вы хотели сказать мне? — Я ждала совершенно иного разговора, вовсе не о Дедюхиной и не о том, что я ваша любовница.

— Марья Дмитриевна, я в свою очередь не знаю, что́ такое вы говорите мне. Какого другого разговора вы могли ждать от меня? Скажите мне — я ничего не понимаю.

Она задумалась. Пристально посмотрела на меня. Но на моем лице не было ничего, кроме полнейшего недоумения. Я видел, она очень хорошо понимает, почему я никогда не воображал ее ни своей женою, ни своею любовницею, и продолжает по-прежнему не желать, чтобы я увлекся такими фантазиями. Чего ж она хочет от меня, когда не хочет предложения? — Я не понимал и терпеливо ждал, пусть же она скажет. Она пристально всматривалась в это смирное и бессмысленное, как у овцы, выражение моих глаз, и опять задумалась.

— Неужели я была введена в ошибку? — сказала она, опять пристально смотря на меня.— Прошу вас, расскажите мне все, что слышали, узнали, все, что вы говорили, все, что вы думаете. Вы получили записку от Дедюхиной,— не хотели, но потом решились ехать,— узнав, что вы едете, я простилась с вами. Как вы понимаете это прощанье?

— Вы предвидели, что я услышу от Дедюхиной, будто бы я ваш любовник, и увижу, что обязан держать себя далеко от вас. Я сейчас говорил вам это. Вы сказали, что не предвидели этого. Стало быть, ваше прощанье со мною имело другой смысл. Какой? Не тот ли, что вы предугадывали, какими пошлостями я увлекусь?

— Вы говорите об этой жалкой девушке? — Да, я не считала невозможным этого. Но это не казалось мне важным. Пусть у вас пропадет несколько денег на ее прихоти: беда не очень велика, вы скоро образумитесь: вы не можете оставаться очарован таким ничтожным существом. Я не боюсь за вас. Я не думала об этом, прощаясь с вами. О чем же я думала? — Нет, я вижу, вы не знаете.

Я вижу, я ошиблась, подумав, что ваша дружба ко мне одолела все те сомнения, которых я боялась. Я вижу, я ошиблась, обняв теперь вас, как друга, который не покинет меня в тяжелых страданиях, которые ждут меня. Может сбыться,— то, чего я опасалась: из друга вы можете стать моим врагом, преследователем. Но пока вы еще не разлюбили меня,— и я прошу вас отвечать всю правду на мои вопросы; — вы обещаетесь?

Она говорила это с такою глубокою печалью, что я опять был взволнован.

— Вы предвидите страдания, Марья Дмитриевна? — Какие?

— Вражду и преследование от людей, которых я искренно и очень сильно люблю. В том числе,— это я уже сказала,— от вас.

— Пусть все будут против вас, но во мне вы не должны сомневаться! Моя дружба к вам останется неизменна! — горячо сказал я. Мне казалось, что теперь я понимаю все: она влюблена в кого-нибудь! В кого? Неужели во Власова? Он любит жену, он не мог завлекать Мери,— если бы завлекал, он не лучше меня: слишком неопасный соблазнитель! — Но чего не бывает на свете! — Или, гораздо вероятнее, какая-нибудь совершенно нелепая страсть, например к какому-нибудь деревенскому парню,— чего не бывает на свете! Так выходило из ее слов. За что, кроме такого увлечения, могли бы восстать на нее люди, которые так искренне расположены к ней, как я? — Пусть все будут против вас, я останусь вашим другом! Говорите же, что такое? Вы увлеклись, влюблена?

— Нет, Владимир Алексеич. Я столько страдала от увлечений, что уже довольно,— довольно,— довольно! — Я давно сказала себе: не хочу, не буду — и не буду! — Она сказала это горячо, грустно улыбнулась и спокойно прибавила: — Теперь слишком поздно и жалеть об этом решении, если бы даже была охота жалеть. Но и не было и нет охоты жалеть. Но я просила вас обещаться, что будете отвечать всю правду на мои вопросы.

— Буду, Марья Дмитриевна.

— Хорошо. Вы говорите, что Дедюхина считала меня вашею любовницею? — Правда это,— и вся правда?

— Да.

— А теперь? Что думает она обо мне теперь?

— Вероятно, забыла о вашем существовании.

— Забыла о моем существовании! Убедившись, что я не любовница ваша, забыла о моем существовании!

— По всей вероятности.

— Вы так думаете? Это правда, вся правда?

— Да.

— Я была обманута. Вы не говорили того, что́ я предполагала,— должно быть, так. Я вижу по вашим глазам, вы ничего не знаете! Но нет, мне все еще не верится.— Последний вопрос,— он решит все: каковы мои отношения к Надежде Викторовне?

— Неужели она подала вам повод жалеть, что вы искренне любили ее? — Она, такая добрая и деликатная?

— Нет. Я хотела сказать не то. Я хотела сказать, что Виктор Львович гораздо меньше любит ее, нежели следовало бы. Он дурной отец.

— Вы несправедлива к нему, Марья Дмитриевна.

— Я справедлива к нему. Я надеюсь, что она не будет несчастна. Я надеюсь, что все будет к лучшему для нее. Но — но он слишком мало думал о дочери. Хорошо, что я могу... хорошо, что я могу — но нет. Довольно. Я не хочу говорить больше.

Мери замолчала и стала плести венок. До сих пор мне казалось, что она довольно спокойна. Тут я увидел, что ей стоило большого усилия сохранять спокойный вид: ее руки дрожали.

— Вы слишком любите Надежду Викторовну,— она заслуживает того. Но это делает вас несправедливою к ее отцу. Можно ли сказать, что он мало думает о дочери, когда чувство отцовской обязанности дало ему силу разорвать связь с Дедюхиною?

Мери промолчала и усиливалась плести венок. Но руки ее дрожали.

— О, как мне тяжело, Владимир Алексеич! Прошу вас, уйдите, или я не знаю, что будет со мною,— мне кажется, со мною будет истерика.

Лицо ее становилось бледно, грудь волновалась; — я не знал, что мне делать: уйти, как она велит, и послать к ней кого-нибудь,— Надежду Викторовну или Власову,— но до дома далеко, это пройдет минут десять. Я боялся оставить ее одну. Я не знал хорошенько, что такое истерика, но я знал, что это какие-то ужасные пароксизмы,— какие-то конвульсии с хохотом и рыданьем. Как оставить ее одну на столько времени? — До дома полверсты.

— Я боюсь оставить вас одну, Марья Дмитриевна.

— Не бойтесь, это ничего.— Уйдите.— А уже слышалось, что ей очень трудно говорить ровным голосом.

— Боюсь уйти, Марья Дмитриевна.

— Так я уйду, пока могу.— Она встала и пошла твердым шагом.

— Это хорошо, пойдем вместе, там, в доме, сумели бы ухаживать за вами, если бы что случилось.

Она казалась спокойною, только бледна, и грудь ее волновалась. Так прошли мы шагов двадцать,— она шла твердою поступью, я начинал успокоиваться,— вдруг она зарыдала с хохотом и упала. Я подхватил ее на руку.

— Назад, в беседку! Пусть не слышит! — Она опять шла, шатаясь: — Назад! В беседку! — Она хохотала: — Никто не должен слышать! Нет сил молчать,— вы мой друг! — Скрывать от вас! — Нет силы скрывать дольше! — Слишком тяжело! Я все скажу! О, как вы любите меня! Вы не понимаете потому, что любите меня! — Неужели вы перестанете уважать меня? Скажите, что вы не будете презирать меня! Нет силы, стыдно! О, зачем вы так уважали меня? — Я не стыдилась бы! — Скажите же, вы не презираете меня? Я скажу вам все! Не могу,— душит! — Нет силы молчать, нет силы сказать! — Идите к нему, скажите ему, он расскажет все! Он не знает, он не должен знать! Но вам я скажу! — Она рыдала и хохотала, опустившись на мои руки в бессилии.— Не могу! Идите к нему, он скажет! Не верьте ему, он не знает! — Не верьте ему, что он обольстил меня! — Я соблазнила его! — с конвульсивною силою она рванулась и побежала,— сделав десять шагов, упала.

Я взял ее на руки,— она отталкивала их, но слабая, как маленький ребенок,— я понес ее в беседку, она лежала на моих руках, будто в летаргии. Я положил ее на диван, несколько времени она оставалась без движения и почти не дышала.— «Не бойтесь,— проговорила она — слабо, чуть слышно.— Все прошло; все сказано, и все прошло. Уйдите, без вас мне будет легче; мне стыдно вас,— мне стыдно».

Не знаю,— жалость ли только, или остаток прежней веры в благородство ее сердца,— или просто то, что я сам не знал, что делаю и говорю,— я целовал ее руку и говорил: «Марья Дмитриевна, я верю в вас,— Марья Дмитриевна, вы не можете быть дурною,— Марья Дмитриевна, я знаю вас, у вас благородное сердце».

— Нет, нет,— уйдите,— отвечала она слабым голосом.— При вас я презираю себя,— уйдите, или мне будет опять дурно.

Я вышел и сел подле беседки, ждать, пока она оправится.

Через полчаса она вышла; все еще несколько бледная, но не такая бледная, чтоб это могло показаться поразительным кому-нибудь незнающему,— возбудить подозрения, разговоры: устала или болит голова, только. Я пропустил ее, молча, потупивши взгляд. И она прошла, не имея силы взглянуть.

Так дорожить уважением честного друга, так мучиться чувством стыда перед ним,— и этот благородный стон, которым она принимала на одну себя всю вину: «Он не обольщал меня, я соблазнила его», как прекрасна могла б она быть, если бы не захотела быть дурною!

Я рассудил, что Надежда Викторовна, конечно, гораздо больше меня способна верить хорошему, не предполагать дурного. Она ли не поверит тому, в чем был убежден я, когда шел на этот разговор? И она ли усомнится в чистоте моей дружбы к Мери, когда я был способен иметь такое чистое чувство? — Думать не хотелось, голова была без мыслей, будто я толкнулся лбом о стену,— я рад был, что у меня есть готовый ответ для Надежды Викторовны. Он был хорош и тем, что прекрасно объяснял мои будущие отношения к Мери.

Надежда Викторовна вышла ко мне в библиотеку.— «О чем же плакала Мери?» — Вы видели, Надежда Викторовна, как дружны были мы с нею. Мы забывали, что это может подать повод к сплетням. Я услышал их. Я должен держать себя далеко от Мери. Она плакала об этом.

Милая, добрая девушка,— ее можно называть невинною девушкою, не смеясь. Как она была огорчена за Мери!

— Я ставлю себя на ее место и понимаю, что ей нельзя не плакать. Вы — все общество, которое имела, которое может иметь она здесь. Я люблю ее, это правда; но отношения между нами не могут не быть стеснительны для нее; тем более, что она горда. С Власовыми она держит себя свободнее,— но хоть они очень хорошие люди, все-таки они помнят, что Мери — горничная. Ах, это положение горничной вовсе не годится для такой гордой, развитой девушки! Как ни привязана я к Мери, я

желала бы лучше вовсе не видеть ее, чем видеть ее своею горничною! Надобно найти ей другое положение,— не правда ли? И madame Lenoir говорила, чтобы я позаботилась об этом. Madame Lenoir говорила, что она может быть гувернанткою; может, не правда ли? Тогда она могла бы опять быть дружна с вами, и никто не говорил бы об этом дурно. Вы будете жить у нас, она могла бы ездить к нам каждый день,— тогда она могла бы ездить в гости ко мне,— не так ли? — И кто мог бы говорить дурно? Вы думаете так, не правда ли? — Потому что и вы тоже очень любите ее, как она вас,— не правда ли?

Я сказал, что очень люблю Мери и поэтому давно написал своим знакомым в Петербурге, чтоб они постарались найти для нее место гувернантки. Я еще не говорил ей об этом, чтобы не заводить спора прежде времени: она так любит Надежду Викторовну! — Мы оба стали радоваться, что одинаково думаем о Мери и о том, что надобно сделать для Мери.

Я ушел в свою комнату и поплакал о бедной Мери: зачем она захотела быть такою дурною?

Но я не хочу отказаться от мысли, с которою я целовал руку моей бедной Мери,— говорил ей, что не могу считать ее дурною. Нет, Мери согласится уехать отсюда! Она согласится, я знаю: тогда я не буду ненавидеть ее; осуждать буду,— плакать о ней буду; но буду плакать без негодования, только с сожалением, и осуждать ее буду снисходительно. Пусть она уедет в Петербург. Мы можем приехать через несколько дней, пусть она будет любовницею Виктора Львовича, если ей так надобно: в Петербурге это может оставаться неизвестно, не будет вредить отношениям Надежды Викторовны к отцу. Тогда мне будет только жаль мою милую Мери, что она не захотела быть такою прекрасною, какою могла быть. Никому, кроме нее самой, не будет несчастия от того, что она захотела быть дурною... Бедная Мери! Такое унижение, такое великое, добровольное уни...

Я писал это,— вошел Иван Антоныч.— «В другой раз ныне я отрываю вас от работы, Владимир Алексеич».— «Ничего, Иван Антоныч; моя работа не спешная. Что скажете? Опять прислала Надежда Викторовна?» — «Нет, Владимир Алексеич, я пришел поговорить с вами».— Я угадал его: — «Что такое, Иван Антоныч?» — «Да вот, о Машеньке, Владимир Алексеич». Поутру —

еще задолго до обеда — Машенька пришла из саду, он видит, она будто бледная; здорова ли? — Она сказала, здорова, только болит голова, она ляжет, пройдет,— он говорил ей, не послать ли за лекарем, она говорила — не надобно, пройдет. Теперь встала, но сидит, молчит,— он боится, не сделается ли к ночи опять худо? С больными так бывает: пока день, становится легче, а ночью и разболеются. Как я думаю? Или он попросил бы меня пойти взглянуть на нее. Как я думаю? — «Она не больна, Иван Антоныч, а только огорчена».— «Чем же?» — Я повторил ему то же самое, что говорил Надежде Викторовне. Он всплеснул руками: — «Ах ты боже мой! Какие люди есть на свете! Да у кого же нет глаз видеть, похожа ли на что-нибудь дурное ваша с нею дружба? И неужели кто-нибудь из нашего дома выдумал такую глупость и такую подлость?» — «Нет, не из нашего дома, а Зинаида Никаноровна Дедюхина».— «Ну вот, это так,— от нее можно ждать всего!» — «Но это вы вздумали хорошо, Иван Антоныч: если бы мне поговорить еще раз с Марьею Дмитриевною, может быть это было бы полезно». Старик пошел сказать ей.

Умно ли я сделал, что сообщил и ему идиллическое мнение, которым недавно ослеплял себя? Что, если Мери вздумает воспользоваться этим? — Если я прослыву ее любовником? Это было б очень выгодно для нее. А я усердно подготовил ей возможность играть моим именем для прикрытия правды. Мое положение будет необыкновенно глупо. Пусть, все равно. Лишь бы отвратить серьезные семейные неприятности, пусть буду и посмешищем для нее и для себя самого.— Так рассудил я. А пока я рассуждал, Иван Антоныч возвратился: Машенька еще не хочет говорить со мною: боится опять расстроить себя.

Я подумал, не уловка ли это, не отлагает ли она разговор, чтобы прежде переговорить с Виктором Львовичем, и пошел к нему, по какому побуждению, сам не знаю. Неужели только по мелочному самолюбию, чтобы думать: «О нет! когда я раз понял, что хитрят со мною, я не дам перехитрить себя. Вероятно, вы будете говорить, Марья Дмитриевна, что еще не виделись с Виктором Львовичем после нашего объяснения,— я буду знать, правда ли это».— Или в самом деле мне казалось, что для разговора с нею мне надобно хорошенько всмотреться в Виктора Львовича,— знать, до какой степени велика ее власть над

ним? — Мне казалось, что меня ведет к нему эта серьезная надобность. Так или нет, но я пошел к нему. Он читал газеты.— «Не хотите ли играть в шахматы, Виктор Львович?» — «Я никогда не прочь от шахматов, но я не ожидал, что вы захотите, а то сам позвал бы. Я думал, вы сильно занят, вы не выходили обедать, велели подать к вам в комнату».— Он был в хорошем и разговорчивом духе,— он уже и вчера был в таком духе со мною, не боялся меня, не конфузился.— «Я только сказал слуге, что я занят; я был не занят, а расстроен. Сильно расстроен,— огорчен,— тем, что узнал ныне поутру от Марьи Дмитриевны».— Он осовел,— раскрыл рот, закрыл, не сказавши ничего. Покраснел. «Вы думали, кажется, что я узнал это еще третьего дня вечером, от Зинаиды Никаноровны Дедюхиной, и должно быть вы так передали Марье Дмитриевне, потому-то, вероятно, она и избегала меня,— потому-то, когда я наконец нашел ее ныне поутру, мы с нею очень долго не могли понять друг друга».— «Но неужели вы не знали до сих пор? Как же,— мне показалось, когда вы говорили со мною по приезде от Дедюхиной, вы намекали на это».— «Не мог намекать. Вы полагали, что она узнала и сказала мне, потому вы и находили в моих словах смысл, которого не было у меня в мыслях».— «Да, теперь вспоминаю, вы не сказали ничего об этом,— и вы казались сердитым, ушли, сказавши коротко, что Дедюхина оставит меня в покое,— вы казались такой сердитый,— я не мог сомневаться, что вы узнали все. Так я и сказал ей».— «А на другой день вы увидели, что я нисколько не угрюм с вами, и подумали, что после первой досады я примирился с этим?» — «Да. Но она была уверена, что не примирились,— и еще не примирились?» — «Не умею ничего сказать вам. Прежде я должен поговорить с Марьею Дмитриевною».— «Но вы говорите, что ныне утром у вас уже был разговор с нею?» — «Да. Но она полагала, что я знаю, чего еще не знал, и мы долго не могли понять друг друга, от этого разговор вышел чрезвычайно тяжелый для меня,— для нее еще более мучительный,— с нею сделалась истерика, она убежала и должна была лечь».— «Она больна?» — Он побледнел, вскочил, засуетился. Я должен был схватить его, чтоб удержать.— «Если не пускаете меня,— и в самом деле я должен сидеть смирно, не показывать виду, что она дорога мне,— если не пускаете меня, идите

к ней,— узнайте,— скажите мне, успокойте меня».— Я насилу растолковал ему, что по всей вероятности это было только изнеможение и пройдет, если еще не прошло.— Но он все-таки вытребовал, чтобы я сейчас пошел к ней, узнал, сказал ему.

— А Машенька моя уже встала, ушла в сад,— и говорит, что напрасно не хотела говорить с вами, что для нее лучше будет поговорить; но только еще не велела звать вас, сказала, что зайдет ко мне, скажет, когда позвать вас,— должно быть, прежде хочет хорошенько освежиться воздухом,— сказал Иван Антоныч. Я пошел в аллею, которая извивается по берегу большого ручья,— в ее любимую аллею: я угадывал, что она там. Она была там. Она шла, опустив голову, она была все еще несколько бледна. Увидевши меня, она покраснела, но гордо выпрямилась и подняла на меня смелый взгляд.

— Я рассудила, что напрасно отказалась говорить с вами,— это была слабость: мне нечего стыдиться. Но я не хотела, чтобы вы пришли сюда так рано: я видела в зеркало, что я все еще немножко бледна,— я не хотела, чтобы это располагало вас к состраданию,— я не хотела эффекта,— и я опасалась, что я покраснею,— как и покраснела,— я не хотела, чтобы вы видели и это, потому что это слабость, которой я стыжусь: не должно краснеть ничьего взгляда, когда чувствуешь, что не сделано ничего дурного, как бы ни судили другие. Я хотела подождать сумерек, чтобы вы не видели ни бледности моей, ни напрасного стыда. Но вы пришли раньше,— и увидели. Все равно. Или тем лучше. Я хотела, чтобы вы не видели, как я слаба,— но пусть вы видите меня такою, какова я. Тем лучше: перед вами мне тяжело притворяться.— Вы видели Виктора Львовича? Что сказали вы ему? На что он согласился?

— Я видел его,— но ничего не говорил с ним, кроме того, что сказал о нашем разговоре поутру. Я сам не знаю, зачем я пошел к нему: затем ли, что думал, вы хотите условиться с ним и за этим откладываете разговор,— или затем, чтобы видеть, как велика ваша власть над ним. Но я...

— Условливаться с ним? — Нет, моя власть над ним была бы слишком мала, если б мне надобно было условливаться с ним, в чем я должна уступить или на что он не должен соглашаться,— я не захотела бы таких отно-

шений,— я не сделала бы его моим любовником. Я и не поехала бы сюда, если бы не была убеждена, что приобрету очень сильную его привязанность. Не подумайте, что я хочу хвалиться, вводить вас в ошибку, отнимать у вас бодрость,— нет, я только хочу сказать вам, как я понимаю свои отношения к нему: я думаю, что я могу не бояться ничьего влияния на него. Но ошибаюсь ли я в этом или нет,— я могу и ошибаться в этом, потому что мне еще не было случая испытать мою силу над ним,— ошибаюсь ли я или нет в том, что я сильнее вас над ним, во всяком случае я благодарна вам за то, что вы не хотели говорить с Виктором Львовичем прежде, нежели успеете поговорить со мною. Я вижу в этом остаток вашего прежнего расположения,— прежнего доверия ко мне. Чего же вы потребуете от меня? — Я не знаю, на что я не соглашусь,— кроме того, чтобы разорвать мои отношения к Виктору Львовичу,— это невозможно. Невозможно! Я столько работала над собою, подвергала себя стольким лишениям, перенесла столько неприятностей для осуществления этой мысли! По приезде сюда успех был быстр,— быстрее, нежели сама я желала. Но как долго, тяжело подготовлялась возможность приехать сюда! — Отказаться от свободы, подавлять все страсти, от чувственности до гордости,— нет, я не могла бы выдержать такого долгого, тяжелого стеснения из-за мысли, отказаться от которой была бы способна!—Если б я могла отказаться от нее, давно отказалась бы: путь к ее осуществлению был труден, слишком труден! Но я не могла отказаться, это было выше сил моих! — Не требуйте ж от меня того, чего я не могу! На все другие уступки я готова.

— Я думаю, что можно сделать так. Вы уедете в Петербург,— положим, там нашлись бы уроки французского языка. Вы поселитесь где-нибудь далеко от дома Виктора Львовича. Через неделю, через полторы приедем и мы. В Петербурге, если только захотите вы, отношения ваши к Виктору Львовичу будут оставаться никому неизвестны; это необходимо для того, чтобы сохранялось доверие дочери к отцу: она в таких летах, что это чрезвычайно важно.

— Совершенная правда. Для хорошего выбора между женихами очень важно.

— Конечно, для того, чтобы ваши отношения к Виктору Львовичу оставались неизвестны, вы должны будете

подвергать себя большому стеснению: роскошная жизнь возбудила бы догадки, обнаружила бы все. Пока Надежда Викторовна выйдет замуж, вы должны будете жить довольно скромно. Прошу вас, решитесь на это для Надежды Викторовны.

— Я решилась на это. Я буду жить скромнее, нежели вы думали бы требовать. Я девушка, живущая уроками,— я буду жить довольно бедно,— я не могла бы жить иначе, не возбуждая злословия. Но это не жертва для пользы Надежды Викторовны, так надобно мне самой. Я сама, не для нее, для самой себя, давно решила так,— с той минуты, как решила бросить Париж. Будьте спокоен. Ваше требование — мое собственное желание.

— Когда же вы уедете отсюда?

— Когда вам угодно,— я была бы рада хоть сейчас,— для меня самой чем скорее, тем лучше,— и это уже несколько дней. Я не могла бы уехать в тот день, когда — помните? — закрыла вам глаза и назвала вас слепым; не могла б уехать еще с неделю. Но вот уже несколько дней я могу и желала б уехать: моя власть над Виктором Львовичем достаточно упрочена. А когда так, вы понимаете, я не могу не желать поскорее уехать. Быть горничною — это неприятно; но это еще не так сильно тяготит меня. Я люблю Надежду Викторовну, у нас не бывает гостей, кроме Власовых, — или, если и бывают, другие не видят меня в роли горничной. А Власовы порядочные люди и обращаются со мною довольно деликатно,— не совсем умеют, это правда, но и невозможно обижаться, когда помещики, родовые дворяне не умеют быть совершенно порядочными людьми; это невозможно для них; довольно того, что желают быть,— видишь это и не обижаешься их неловкостями. Оставаться горничною, при таком нашем одиночестве, это еще ничего бы. Но ужасно то, что с каждым днем ждешь: вот сделана какая-нибудь неосторожность Виктором Львовичем,— вырвалось неуместное слово, подмечен взгляд — и все открыто. Вы видели, как боялась я, не узнано ли все Дедюхиною! Я была почти — совершенно убеждена, она все узнала!— Это было страшно неприятное ожидание. Это неимоверное счастье, что она еще не дозналась, не догадалась. Но с каждым часом, пока я здесь, все может открыться!— Мне страшно жить здесь! Чем скорее уехать, тем лучше для меня! Вы понимаете, Владимир Алексеич, что это говорится искренне?

— Ваша власть над ним упрочена, я вижу это. Вы хотите, чтобы ваши отношения к Виктору Львовичу оставались неизвестны, я понимаю это, и потому...

— Вы понимаете, почему я не хочу, чтобы меня знали как любовницу Виктора Львовича? — живо сказала она, не дав мне договорить,— и побледнела:— О, как я увлекаюсь, когда говорю с вами! Да, это страшная опасность, иметь полное доверие к честности и скромности человека! Едва взволнуешься — и проговоришься ему! Сколько раз я проговаривалась вам, что я хочу быть, что я стала любовницею Виктора Львовича! Вы не понимали самых неосторожных полупризнаний,— вы придумывали самые натянутые объяснения, потому что уважение ко мне не давало вам понимать их,— о, как вы любили меня! О, как горько мне, что я потеряла эту любовь!— Но я потеряла ее, и я не могу надеяться, что теперь мои неосторожности могут оставаться непонятны. Я увлеклась, я перебила ваши слова,— поздно отпираться или хоть молчать!— Вы поймете, если еще не поняли. Лучше же полное признание, когда поздно молчать.— Да, Владимир Алексеич: я не желала бы, чтобы Виктор Львович был моим любовником. Если бы можно было обойтись без этого, было бы гораздо лучше. И бывали минуты, когда я мечтала, что можно обойтись без этого. И если б не эта мечта, конечно безрассудная,— то я почти убеждена в том, что я не бросила бы Париж. Но теперь поздно жалеть о Париже,— с его свободною и если не очень уважаемою, то все-таки в сущности честною моею жизнью. Свобода, веселье, общество — всему я сказала: «прости, прости надолго!»— Я не совсем хорошо понимала, как тяжело то, на что я решалась!— Но теперь поздно! — И давно поздно! — Потому что очень давно, и с самого начала,— я имела и светлые минуты хладнокровного раздумья, когда понимала, что невозможно обойтись без этого. О, Владимир Алексеич, это трудная жизнь, на которую я обрекла себя! — Быть горничною — тяжело, но все-таки это сносно! — Подле меня люди, которых я люблю: они, все трое,— потому что я люблю и его,— меньше, нежели Юриньку и в особенности Надежду Викторовну, но люблю и его, — верьте, люблю и его: почему ж не любить? — Он добр, я выросла среди родных, которые учили меня любить его,— я всегда была очень хорошо расположена к нему,— а теперь он мой любовник; он еще не ста-

рик, он еще красив,— я начинаю привязываться к нему совершенно искренне, — да это и надобно так: он так безгранично любит меня! — Все трое они милы мне, и вы,— прежде вы были мой друг,— я искренне люблю и дядю,— так хорошо жить даже и будучи горничною,— пока я здесь, пока я горничная, я еще очень счастлива сравнительно с тем, что ждет меня в Петербурге: одна, одна и одна... Страшно, страшно! — Ни друзей, ни подруг, ни знакомых,— почти не будет и развлечений,— жизнь затворницы — ах! — Я не создана быть затворницею! — Но что делать! Так необходимо. Перенесу все.— Перенесу, но ужасна жизнь, на которую я обрекла себя! — Она замолчала и плакала; она давно плакала:— О, какая безотрадная жизнь ждет меня!

— У вас будет отрада,— сказал я, лишь бы сказать что-нибудь, потому что ее ужас перед этою мрачною жизнью тяготел и надо мною: мне не было жаль ее, потому что она сама избрала для себя все эти лишения — но лишения были тяжелы,— и мысль о такой жизни для нее тяготила меня: — У вас будет отрада,— вы забываете...

— Свидания с Виктором Львовичем? — Да, они одни будут перерывать эту пустую, мрачную монотонность одиночества,— но они будут визитами в тюрьму,— как они долги, слишком коротки,— как ни часты, слишком редки, чтобы жизнь в тюремной келье не была жизнью в тюремной келье,— одинокою, пустою, мрачною...

— У вас будет другая отрада, я говорил о детях.

— У меня не будет детей,— не будет... никогда!.. Я не должна иметь детей... никогда! Нет, его дети не будут иметь жалобы против меня, что я отниму у них что-нибудь... Ни любви его, ни даже части наследства после него... Я не имею права,— они могли бы тогда справедливо чуждаться меня,— я не хочу этого,— они должны любить меня, и пусть они будут мне вместо родных детей!..— Она зарыдала, вскочила и ушла быстрыми шагами.

Я сидел в унынии, горьком почти до злобы: как прекрасна могла бы она быть, если бы захотела!— Как прекрасна была б она, если бы в ней было поменьше честолюбия! Мне было жаль ее до того, что я негодовал на нее: зачем она захотела быть такою, чтобы мне было жаль ее!..

— Владимир Алексеич, вы еще здесь? — раздался ее голос,— я услышал и легкую, твердую поступь ее по песку дорожки за изгибом аллеи: она шла назад.

— Еще здесь, Марья Дмитриевна.— Я встал и пошел навстречу.

— Я увлеклась и наговорила много лишнего,— и ушла, забывши договорить о том, что надобно. Я сказала, что мне хотелось бы уехать,— и чем скорее, тем лучше для меня. Но вы понимаете, мой отъезд поведет к тому, что и он с детьми скоро поедет за мною в Петербург. Я вовсе не потребовала бы этого. Я убеждена, что и два и три месяца разлуки не были бы страшны мне, а летнего сезона остается только месяц, — тем меньше для меня надобности опасаться,— конечно, я предполагаю, что вы не воспользовались бы моим отсутствием, чтобы действовать против меня, — так?

— Вы сказали, что хотите, чтобы очень долго,— вероятно до замужества Надежды Викторовны,— никто в Петербурге не знал о вас.

— Да, до замужества Надежды Викторовны.

— Когда вы так решили, что ж я могу иметь против вас? Его связь с вами не будет вредить хорошим отношениям Надежды Викторовны к отцу, пока для ее счастья важно, чтобы она оставалась расположена доверять его советам. За него, за Юриньку, и в особенности за Надежду Викторовну, я буду даже рад тому, что он привязан к вам, а не к какой-нибудь другой женщине. Он не может не иметь любовницы. И уже не говоря о женщинах вроде Зинаиды Никаноровны Дедюхиной, даже какая-нибудь танцовщица в Петербурге,— пусть сама по себе и хорошая, добрая женщина, все-таки будет, разумеется, только отвлекать его от детей. А при вас он думает о них больше, нежели без вас. За него и за них я рад вашей связи,— мне жаль только саму вас, Марья Дмитриевна. Ах, зачем вы не такая прекрасная, какою следовало бы вам быть!..

— И мне самой жаль, что я не такая прекрасная, как нравилось бы вам,— сказала она, засмеявшись.— Но об этом мы всегда успеем говорить, а я устала от этих волнений, до которых опять довел меня ваш идеализм: еще была слаба от истерики поутру,— и расплакалась! Я очень утомилась, надобно идти лечь. Я вернулась только сказать: как ни хочется мне уехать, я не говорила и не хочу говорить об этом Виктору Львовичу. Я не знаю,— приятно ли было б это для Надежды Викторовны. Или, лучше сказать, я уверена, что это огорчило бы ее. Вы по-

нимаете, хоть я и посоветую ему оставаться без меня здесь, сколько будет хотеться Надежде Викторовне, но в этом деле мои слова ничего не значили бы: он не выдержал бы недели. Пожалуйста же, поговорите прежде с Надеждою Викторовною, как понравилось бы ей: ехать в Петербург через полторы, две недели,— я не так коротка с нею, чтобы могла судить наверное,— я опасалась, что это было б очень неприятно ей, но могла ошибаться. Поговорите с нею вы, и после того вы сделаете, как сам рассудите: сказать Виктору Львовичу, чтоб я уехала, или не говорить.

— Я уверен, Марья Дмитриевна, что Надежде Викторовне будет не совсем приятно расставаться с деревнею: эта школа для девочек, эти посещения больных, да и то, что здесь свобода, приволье,— эти Власовы,— все это мило, жаль расстаться; но такое огорчение не стоит брать в расчет.

— Всего этого не стоило бы брать в расчет, Владимир Алексеич,— и я не приняла бы, — давно б уехала, и вы теперь уже собирались бы ехать. Но мне кажется, что огорчение Надежды Викторовны было бы глубже,— и более достойно уважения.

— Что ж еще, кроме этих милых, но не важных чувств, могло бы привязывать ее к деревне?

— Поговорите с нею,— как покажется вам; я не хочу говорить,— чтобы вам под влиянием моих мыслей не показалось то, чего, может быть, и нет.

— Что ж это? Секрет, любовь?

— Будто вы не знаете ее!

Столько нежности было в ее словах, столько нежной заботливости в ее желании, чтобы я не говорил с отцом, не узнав чувств дочери! Она не говорила, не хочет говорить ему, что она хочет уехать, потому что ее желание — его закон, а для дочери, быть может, лучше оставаться в деревне! — Дочь кроткая девушка, уступчивая, скроет, согласится,— скажет: «И мне приятно уехать», когда он скажет: «Я соскучился здесь»...

— А если Надежда Викторовна будет говорить, что ей очень приятно остаться здесь подольше?

— Как вы рассудите. Я вам сказала, что лучше для меня,— но решайте вы. Вы лучше меня увидите, хорошо ли это для Надежды Викторовны. Я говорю вам, быть может я и ошибалась: я горничная и не могу быть интимна с нею,— в особенности теперь. С Власовою я еще

осторожнее, хоть и кажусь свободнее. Узнавать через него я не хотела: он мог бы не суметь говорить так, чтоб она не заметила, что́ приятнее ему,— и я узнала бы от него не ее мысли, а то, на что согласна она из любви к нему. Трудно заботиться о счастье такой девушки, в которой так мало эгоизма, так много кротости, уступчивости, любви!

— Как вы хороша, Марья Дмитриевна, когда вы говорите о ней! — Зачем же вы захотели...— я не договорил, голос у меня перервался от слез,— от слез волнения безумною надеждою, что Мери могла бы принести свое честолюбие в жертву своей любви к Надежде Викторовне: она так искренне и сильно любит эту кроткую, милую девушку...

Она могла бы чувствовать, что такая победа над собою милее всего, к чему стремится она... И как прекрасна была бы она тогда!..— Марья Дмитриевна, Марья Дмитриевна, мне жаль вас!..— только и мог я говорить, а сам плакал.

— Вы опять плачете о том, зачем я не так хороша, как бы надобно по-вашему? — Юноша, это невозможно, так нельзя жить на свете,— сказала она с грустною шутливостью: — Но за то, что вы сам еще такой хороший юноша и такой добрый друг, поцелуйте меня.

— Не хочу, Марья Дмитриевна, я не люблю вас,— проговорил я, а сам плакал хуже прежнего.— Мое сердце ноет за вас, ноет, Марья Дмитриевна!..

— Я не так хороша, чтобы можно было поцеловать меня,— правда,— сказала она, засмеявшись:— Поцелуйте же по крайней мере мою руку,— она приложила руку к моим губам, поцеловала меня в лоб и ушла.

А я так и остался тут, на нашей любимой скамье, у ручья, плакать,— и сидел в слезах, пока совсем смерклось,— с полчаса, я думаю, сидел я так... В самом деле, я бываю иногда похож на ребенка.

Это было писано с одиннадцати часов вечера,— потому что, вернувшись в свою комнату, я все хандрил и лежал,— и просто лежал, раздумывая,— сел писать в одиннадцать часов, писал до трех,— после того повалился спать, спал как убитый, измучившись своими страданиями за Мери; проснувшись, услышал, что Власовы уже уехали, а Надежда Викторовна ушла гулять; сел и дописал вчерашние свои приключения уже ныне поутру, то есть —

*8.* Кончив, посмотрел на часы, и увидел, к своему удивлению, что уже скоро будет обед. Потому разговор с Надеждою Викторовною отлагается до после обеда.

Я сказал без подготовки, чтобы яснее видеть эффект,— и пожалел, что сказал без подготовки,— так силен вышел он.

Я оказал ей маленькую услугу: мне кажется, что ей скучно в деревне,— и я вот только что говорил об этом с Виктором Львовичем,— он сказал: «А! тем лучше, если ей скучно,— мне самому надобно быть в Петербурге,— поговорю с нею и поедем».

Она побледнела. Даже губы побелели.

— Вы испугались, Надежда Викторовна? — Простите мою ошибку. Я не мог не думать, что вам скучно здесь: кроме Власовых, у нас никто не бывает, да и некому бывать, потому что кругом нет порядочных людей, и т. д.,— а Виктор Львович говорил не так, что ему необходимо ехать,— может быть, и отложит, если вам и т. д.,— но почему же вы и т. д.

Она испугалась потому, что отъезд все еще представлялся ей таким отдаленным,— она совсем забывала, что уже скоро осень. Ей не хотелось думать об этом, а время летело так быстро,— ей вовсе забывалось, что скоро надобно будет расставаться с деревнею. Если б ее воля, она долго, долго не рассталась бы с деревнею,— она не знает, когда она захотела бы ехать в Петербург, кажется, никогда... Это потому, что здесь она совершенно счастлива... И madame Lenoir говорила ей, чтобы она как можно дольше удерживала отца в деревне: в деревне их расходы ничтожны сравнительно с теми, какие будут в Петербурге; пусть она помнит, что каждая неделя, проведенная в деревне, сберегает ее отцу две тысячи рублей и что в России готовится освобождение крестьян: чем лучше будет положение дел ее отца к тому времени, тем легче ему будет сделать в пользу своих крестьян при их освобождении все то хорошее, чего он желает. Для хорошего освобождения своих крестьян ему нужно будет очень много денег. Она не умеет пересказать мне так хорошо, как говорила ей это madame Lenoir; но, конечно, я сам знаю все это еще лучше: так говорил ей отец, что я знаю все, как надобно освободить крестьян...

Я в эти дни совершенно забывал о денежных делах Виктора Львовича,— забывал и взглянуть с этой точки зрения на вопрос об отъезде Мери в Петербург и о неизбежном следствии ее отъезда — ускорении нашего пере-

селения туда. Слова Надежды Викторовны поразили меня, будто новость, и я сильно поколебался.

Но очевидно было, что, кроме пользы крестьян, Надежда Викторовна думает еще о чем-то, чего не может высказать мне. Она очень хорошая девушка, и желание пособить отцу при освобождении крестьян, конечно, так же близко ее сердцу, как моему. Но она не может не понимать, что какие-нибудь десять — пятнадцать тысяч не большой расчет в делах ее отца. Такая мелочь не может иметь влияния на то, какие уступки в состоянии он сделать при освобождении. Надежда Викторовна могла бы огорчиться, что разрушается ее проект этой маленькой экономии; но тут еще не от чего было ей ужаснуться до того, что побелели губы. Тут личное чувство.

— Конечно, так,— сказала Мери: — она ужаснулась за саму себя. Она справедливо боится Петербурга. Madame Lenoir воспитывала ее так, что она серьезно понимает жизнь. Ей было говорено, что любовь — это не ребяческое веселье, а страшное чувство, тяжелая душевная болезнь, и очень редко имеет счастливый конец, почти всегда ведет к долгому страданию, что если это и неизбежная болезнь, то чем позже подвергнуться ей, тем лучше: пусть укрепится рассудок, пусть приобретется хоть немножко побольше уменья различать людей. Ей было говорено: «Как ты явишься в свет, за тобою будут ухаживать все знатные женихи,— ты такая богатая невеста. Между ними очень мало хороших людей, а очень много таких, которые умеют превосходно притворяться хорошими. Горе тебе, если ты ошибешься в выборе». Она девушка не огненного темперамента, ее воображение чисто. Потребность страсти еще не пробудилась в ней, и она трепещет при мысли о Петербурге с его женихами...

— И не напрасно трепещет. Будь она не очень богатая невеста, она вошла бы в такое общество, где встречаются люди, достойные девушек с чистым сердцем и нежным характером. А с ее приданым, наверное, она погибнет.

— Кажется, вы жалеете уже не меня,— вчера, помните, вы плакали от жалости обо мне,— а теперь, пожалуй, расплачетесь о ней и забудете жалость ко мне,— сказала Мери, смеясь, но очень грустно, будто сама понимает, что приняла дурное решение; а я видел, что она уже приняла какое-то решение. Она не была похожа на вчерашнюю Мери, больную, плачущую, колеблющуюся между робо-

стью и отвагой, стыдом и гордостью. Она была спокойна, и румянец ее был ровный, нежный, здоровый, улыбка весела, взгляд смел: — Кажется, вы так жалеете о ней, что готовы посоветовать мне оставаться здесь, чтоб она также подольше оставалась здесь, безопасная и счастливая?

— Да, Марья Дмитриевна. Лучше оставайтесь здесь. Пусть продлится, насколько возможно, тихое счастье этой милой девушки.

— А как же, Владимир Алексеич, я погублю-то ее, если не уеду поскорее? Вы забыли: обнаружится, что я любовница ее отца, она потеряет доверие к отцу,— все погибло,— сказала Мери с горькою насмешкою.

— Не смейтесь надо мною, Марья Дмитриевна, хоть я и заслуживаю того. Пусть моя вчерашняя печаль была глупа, но она происходила от искренней любви к вам, не вам смеяться над нею. Пусть мои вчерашние мысли были экзальтированы,— но экзальтация была от расстройства головы страданием, которого я не стыжусь. Она добрая девушка, и защищать ее — хорошее дело. Я слишком перепугался и доходил до нелепости, но я так любил вас, и как же мне было не потерять рассудок?

— Но теперь вы разлюбили меня, и ваша голова пришла в порядок. Вы можете давать хладнокровные, умные советы. Жду.

— Прошу вас, будьте добрая и не смейтесь надо мною. Будем говорить серьезно.

— Будем. По вашему мнению,— я должна остаться здесь. Но пока я здесь, каждую минуту может обнаружиться, что Виктор Львович — мой любовник. Как быть мне с этим опасением?

— Забудьте о нем. Дело вовсе не так важно. Когда обнаружатся ваши отношения к Виктору Львовичу, тогда вы и уедете. Тогда будет ясно: он пожертвовал любовницею для дочери. Это не поколеблет, а напротив, даже укрепит ее доверие к его отцовской любви.

— Я и сама так думала, пока думала одна. Теперь не могу. Если я не уеду, вам будет казаться, что я лицемерила вчера, говоря о своем желании уехать. А я хочу сохранить ваше уважение, насколько это возможно. Впрочем, это не главное. Гораздо важнее то, что очень неблагоразумно мне оставаться здесь. Пока я раздумывала одна, я увлекалась энтузиазмом. Он давал мне силу и пренебрегать опасностью и забывать, что чем меньше привычка думать

обо мне как о горничной, тем выгоднее для меня. Разговор лучше раздумья, потому что охлаждает, принуждает образумиться. Я не могу оставаться здесь, Владимир Алексеич.

— А интересы Надежды Викторовны?

— Что же делать, Владимир Алексеич? Не присудим же мы ей век оставаться здесь. Не идти же ей в монахини. Раньше или позже, надобно ж ей вступить в жизнь, быть окруженной искательствами, делать выбор. Рассуждая по-вашему, следовало бы отнять у нее приданое,— да и того мало,— сделать, чтобы женихи не могли рассчитывать и на наследство после Виктора Львовича.

— Почти что так, Марья Дмитриевна.

— Идите же и скажите Виктору Львовичу, что я уезжаю. Послезавтра. Хотелось бы завтра, но уже пропущено время дня, когда привозят нам почту. Завтра вы получаете письмо, в котором говорится, что место гувернантки для меня найдено. Торопиться так, чтобы собраться ехать в тот же день, это было бы неловко. Так и быть, до утра послезавтра. Идите же и скажите ему. Я не просила бы вас, но сама не могу увидеть его скоро.

Я отговаривал. Но она была слишком счастлива тем, что решилась.— «Здесь каждую минуту может поразить меня удар, от которого мне трудно будет оправиться. Для Надежды Викторовны не велика беда, если бы я оставалась дожидаться, пока он разразится. Но я не могу пренебрегать своими интересами».— Она ушла, не дослушав моих убеждений. Правда и то, не стоило слушать их: что резонного мог я возразить на ее решение? — Невозможно бесконечно отсрочивать вступление Надежды Викторовны в свет. Не в монахини же идти ей в самом деле. Два-три месяца отсрочки уменьшат ли для нее опасность полюбить негодяя,— или хоть и не негодяя, а все-таки человека, неспособного составить счастье девушки с нежным и благородным сердцем? — Первая любовь всегда любовь простодушного ребенка, отсрочивай ее хоть до тридцати лет.

Я пошел к Виктору Львовичу; услышал там у него голос Надежды Викторовны; вернулся в голубой зал, взял газету и сел ждать, пока Надежда Викторовна пройдет мимо меня. Так просидел, может быть, с полчаса. Быстро вошла Мери. Глаза ее горели.

— Сказали ему?

— Нет еще.

— Слава богу! Я передумала. Я останусь. Не могу отнимать у нее счастья,— кто знает, что ждет ее в Петербурге! Пусть остается счастлива, пока может. А мне,—мне все равно. Думайте обо мне, что хотите.

— Что же я скажу ему? Он будет ждать моего мнения.

— Говорите, что хотите. Только не говорите, что я хотела уехать. Я не уеду. Не могу поступать во вред ей.

— Какой же вред ей, Марья Дмитриевна? — Ничтожный. А для вас оставаться здесь очень тяжело.

— Все равно.— Она прошла несколько раз по залу, в сильном волнении. Остановилась, потерла лоб: — Да, но как же это, что я еще здесь? Мне кажется, прошло минут пять,— или его нет дома? Ушел гулять?

— У него Надежда Викторовна.

— Она у него? Вы понимаете, зачем она у него? — Мери улыбнулась грустно, сострадательно.

— Я думаю, она спрашивала его, действительно ли ему необходимо ехать на днях в Петербург. Вероятно, он догадался, что это моя мысль,— что́ он отвечал,— не знаю.

— Он отвечал, что не умеет сказать, скажет завтра. Ему надобно узнать, чья это мысль,— ваша или моя. Хорошо, что он еще не знает, что и я поддавалась этой мысли. Тогда мне было бы много хлопот с ним. Ах, Владимир Алексеич, он добрый человек, и я начинаю привязываться к нему,— но он дурной отец! Ах! бедная! — Что могло бы быть с нею? Как он помог бы ей выбрать мужа? Вы видите, я для него занимательнее дочери! Я — кто такая я для него? — Любовница! — И я имею больше занимательности для него, чем дочь! И если б я захотела, я могла бы вредить ей! — Но этого не будет! Этого не будет! — У меня разгорелась голова. Я пойду гулять. Если долго не вернусь, скажите дяде,— а главное ему: он в состоянии поднять тревогу,— скажите им, чтоб не беспокоились. Я здорова, но мне надобно освежиться чистым воздухом и не хочется ни на кого смотреть. Я думаю, что я уйду в рощу и буду ходить долго.

Я смотрел в окно, как она шла по саду к роще, пока скрылась. Я не стал ждать в голубом зале, я ушел в свою комнату, попросив Ивана Антоныча сказать, когда Надежда Викторовна уйдет. Мне больше нечего было сторожить в голубом зале,— стыжусь вспомнить, что я сидел там на карауле: не хитрит ли Мери, не хочет ли предупре-

дить Виктора Львовича о том, с чем я приду к нему и как ему надобно держать себя. Но когда она скрылась вдали, за изгибом аллеи, ведущей в рощу, мне стало совестно,— не столько за свою подозрительность, сколько за свою глупость: надо было быть слепым, чтобы не видеть, что ей не до хитростей.

Не прошло, я думаю, десяти минут, Иван Антоныч пришел сказать, что Надежда Викторовна идет через голубой зал.

Все было так, как угадывали мы с Мери. Надежда Викторовна спрашивала отца, необходимо ли ему ехать в Петербург. Он догадался, с какою мыслью я говорил ей это, но не знал, моя ли это мысль, или Мери также находит это нужным. Потому отвечал нерешительно: «Правда, в Петербурге есть важные дела, по которым надобно было бы поехать туда поскорее. Но вижу, тебе хотелось бы, Наденька, чтобы мы остались здесь подольше. Да и прежде, помню, ты говорила это. Позволь мне подумать до завтра». Дочь стала очень живо говорить, что она боится Петербурга, боится большого света. Она не высказывала свою мысль так ясно, как растолковала мне Мери,— не знаю, стыдилась ли, или сама не умела отчетливо понимать свое чувство. Только твердила, что боится, очень боится большого света. Отец понял это только в смысле робости скромной девушки, которая не воображает себя красавицею и опасается быть неловка, смешна. Так он и отвечал ей, что ее боязливость очень нравится ему,— и что он уважит ее желание, если увидит, сообразив хорошенько, что это возможно. Он очень нежно ласкал ее. Но все-таки с тем и отпустил ее, что дела, которые призывают его в Петербург, очень важны, и он подумает, нельзя ли как-нибудь устроить их без его личного присутствия,— но не знает, можно ли это. Ему было жаль говорить так,— но как быть иначе? Надобно пожалеть и Мери; — здесь их отношения не могут долго укрыться,— в особенности при шпионстве Дедюхиной... Да и для доброго согласия между ним и дочерью скандал был бы вреден... он хоть и не был уверен, что моя мысль одобрена Мери, но сомневаться в этом было трудно: Мери так умна и благородна.

— Да, она очень умная и добрая девушка, поэтому она не согласилась на мою мысль. Здесь всем хорошо,— она не хочет расстраивать эту тихую жизнь. Когда будет молва, тогда она уедет; раньше не считает нужным.

Он и удивился, и обрадовался, и перепугался, обрадовался за дочь,— перепугался за всех трех,— и за нее, и за Мери, и за себя. Но радость угодить дочери скоро взяла верх. С восторгом он пошел сказать ей, что, просмотрев бумаги, убедился: можно не ехать. Скоро вернулся ко мне и стал тосковать, что Мери подвергается слишком большой опасности.— Глупое или умное, дурное или хорошее, дело было сделано,— кем из нас больше,— мною или Мери, я и не умею разобрать; если оно глупо и дурно, раскаиваться было поздно; мне оставалось только успокоивать Виктора Львовича. Я начал говорить, что опасность для Мери действительно велика, но уже гораздо меньше, нежели была в первые дни связи, когда страсть Виктора Львовича была, конечно, гораздо порывистее; теперь он с каждым днем будет лучше владеть собою, и отношения его к Мери очень долго могут оставаться незамеченными. Он слушал с отрадою, вдруг задумался, взглянул на часы, сказал: «Еще не поздно» — была половина девятого,— «извините, что я располагаюсь у вас написать несколько слов»,— позвонил и сел к моему столу, принялся писать. Вошел Иван Антоныч. Виктор Львович сказал, чтоб он велел поскорее запрячь лошадей в легкий экипаж, а сам был бы готов ехать, и продолжал писать. Иван Антоныч доложил, что лошади поданы, Виктор Львович торопливо дописал две-три строки, запечатал, отдал Ивану Антонычу со словами: «Отвезите к Зинаиде Никаноровне Дедюхиной и не жалейте лошадей. Спросите, дожидаться ли вам ответа, или она пришлет после». Иван Антоныч ушел. Он обернулся ко мне: «Написал ей, что переносить разлуку вблизи мучительнее, нежели вдали, и перемена места развлекает. Не угодно ей отправиться путешествовать для облегчения страданий? Я дал бы пятьсот рублей на подъем и по триста в месяц. Пусть уедет, тогда не остается никого с охотою шпионить, и Мери более безопасна».— Я согласился, что это умно.

Он сидел, рассказывая историю своего сближения с Мери. Но рассказ еще не кончился, когда возвратился Иван Антоныч. Дедюхина очень чувствительно пишет, что подумает и решительный ответ пришлет завтра поутру. (Виктор Львович вставил, что через два дня не будет иметь денег, и это умно, а то не убралась бы скоро, без конца торговалась бы. Поднять плату себе успеет и в два

дня, но скорее уберется со своим шпионством.) Виктор Львович ушел спать. Это было в конце первого. Я сел записывать. Часа в два вошла ко мне Мери: — «Дядя уже спит, я заглянула, и Виктор Львович, вероятно?» — «Вероятно».— «Кажется, кто-то приезжал? Мне слышалось впросонках,— или так показалось?» — «Иван Антоныч ездил с письмом Виктора Львовича к Дедюхиной: пусть она едет путешествовать».— «Вы посоветовали ему?» — «Нет, он сам вздумал».— «Когда так, это очень радует меня: это умно и мило, что он сам догадался. Только с этой стороны это приятно мне. Я думала и дремала, стала совершенно спокойна: все равно, пусть будет узнано хоть завтра же. Для меня все равно».— «Если я правильно понимаю ваше намерение, которого вы не высказали прямо...» — «Вы правильно поняли его, и я высказывала его очень ясно: видите, как я полагаюсь на вас, хоть вы уже и не любите меня. Я вверяю вам такую тайну, что одним намеком на нее Виктору Львовичу вы можете погубить меня».— «Я хотел сказать, что когда ваш план таков, то для вас не все равно, будут ли, или не будут знать, что Виктор Львович был вашим любовником».— «Все равно, Владимир Алексеич. Будь я знатная и богатая, мне не повредило бы то, что я была в связи с ним. И будь вся моя жизнь так же безукоризненна, как жизнь Надежды Викторовны, этим не облегчалось бы порицание, когда нельзя не знать, что мои родные были его слугами, я сама — служанкою его дочери. Я буду заслуживать порицание и негодование только за мое происхождение и бедность. Все остальное ничего не значит».— И то правда, чистая правда, согласился я.— «Где же были вы до сих пор, Марья Дмитриевна? Я уже начинал беспокоиться за вас».— «Ходила по роще, устала, села к дереву и дремала; потом опять ходила. Все думала: рано, не улеглись они. Не хотелось смотреть ни на кого. Грустно, Владимир Алексеич».— Я промолчал. Не хотелось сказать: «Да, грустно идти по дурной дороге, имея недурное сердце».— «Грустно, Владимир Алексеич, хоть и не о чем бы жалеть, потому что все вышло хорошо,— так хорошо, как нельзя было и надеяться. Вы видели, я не могла верить, что все это остается неизвестно,— а остается: по вашим словам об ответе, сейчас присланном Дедюхиною, там нет ни тени намека».— «Нет. Это положительно, она и не подозревает. Все идет хорошо. Вам не о чем грустить. Только мне

грустно».— На этот раз она промолчала. «Спокойной ночи, Владимир Алексеич».— «Одну минуту, Марья Дмитриевна; он рассказывал мне: — помните, вы вскликнули тогда, чтоб я не принимал его взгляда на историю вашего сближения с ним, потому что он не знает,— это правда, о многом он не догадывается. Но вы прибавили тогда, что вы соблазнили,— этого я не нахожу, что вы соблазняли его. Как же это?» — «Это было сказано мною слишком резко. Я была в страшном волнении, хохотала и кричала, и упала в конвульсиях,— болезненное восклицание болезненного чувства. Если хотите, можете назвать так. Но в сущности, конечно, это так. Правда, я не соблазняла его, в обыкновенном значении слова. Я не навязывалась ему грубыми уловками. Я не приманивала и так называемым невинным кокетством. Я была с ним серьезна и скромна. И не только скромна — была искрення. Так было необходимо,— вы понимаете, что это было необходимо: вы знаете, я хочу не обобрать его и бросить, я хочу непоколебимых отношений. Обрекать себя лицемерить на всю жизнь — слишком тяжело, я не могла обрекать себя на такое стеснение, и если бы могла захотеть, я знаю, я не выдержала бы долго, скоро он увидел бы меня не такою, какою представлялась я вначале, он разочаровался бы и охладел,— он понял бы, что я обманывала его, и потерял бы уважение ко мне. А я хочу, чтоб он верил в меня всю жизнь. Я должна была держать себя с ним честно: ни обольстительного взгляда,— потому что я не хочу играть роль влюбленной,— ни фальшивого слова, потому что прочное уважение приобретается только полною искренностью. Мои поступки, мои разговоры — все было безукоризненно. Не тем, что завлекала его, я привлекла его,— нет, сама я и не привлекала его: вы все вели его ко мне,— все вы, кто говорил с ним. Я удалялась свиданий с ним; я мало говорила с ним и при других. Вы все говорили с ним за меня. Обольщала ли я, обманывала ли я кого-нибудь из вас? Вы знаете теперь, мое расположение ко всем вам,— от Надежды Викторовны до Власовой,— непритворно. Вот было мое средство овладеть его мыслями,— и я овладела ими, когда он подошел ко мне, приведенный вами всеми. Вы привели его ко мне раньше, нежели я хотела,— я хотела, чтоб это было перед отъездом в Петербург, по приезде в Петербург, здесь вы видите, мне слишком тяжелы и опасны эти отноше-

ния. Я была не готова к разговору с ним, я была застигнута врасплох и не остереглась от увлечения,— вы знаете, или он еще не сказал вам, каким порывом увлеклась я? — Это были необдуманные слова, но вы сам имели такое же чувство, все разделяли это чувство, от Власовой до моего дяди, я не остереглась и высказала. Он ушел, не сказав ни слова,— и только тогда я поняла, что все решено. Я не хотела этого так рано, и я не думала, что он уже так сильно привлечен ко мне. Я была очень недовольна, что это пришло к решению так рано. Но уже невозможно было вернуть неосторожных упреков,— и что могла я отвечать ему, когда он сказал, что послал ей письмо? — Я хотела удержать его от объяснения,— но возможно ли было это? Я просила его быть благоразумным,— но возможно ли долго настаивать, когда каждую минуту могут заметить наши разговоры,— и вы все беспрестанно тут же где-нибудь, подле, то один, то другой,— и она, конечно, завела шпионство... Надобно было прекратить эти тревожные отношения... Тревожные и для меня,— я и сама иногда забывала казаться спокойною,— потому что я человек,— я не имею пылкой страсти к нему, но мое расположение к нему довольно сильно, и я человек. Надобно было прекратить это неосторожное искание разговоров со мною, надобно было прекратить эти разговоры, в которых и я забывала иногда осматриваться, не проходит ли мимо кто из вас,— надобно было отвечать ему. Честно ли я отвечала ему? — Вы знаете,— честно ли?.. Я сказала ему все, чего требовала совесть, и не сказала ничего, кроме того, что действительно чувствовала... Все было серьезно и честно,— все хорошо; только замысел мой — был дурен, по вашему мнению,— и я хочу дурного. На самом ли деле я хочу дурного? — Нет, Владимир Алексеич, не хочу, и не сделаю, не допущу ничего дурного. Судите, как хотите, о моем замысле,— но воля моя чиста и тверда, я не сделаю ничего дурного. Был ли дурен и мой замысел? — Прежде и о нем я думала: нет; не только поступки мои, не только средства мои к его исполнению будут, как были, честны,— но и сам он не заслуживает осуждения. Так я думала, когда ехала сюда. А теперь? — И теперь думаю то же: в моем замысле нет ничего дурного. Да, я и теперь сужу так, наперекор вашему влиянию на мои понятия. Да, Владимир Алексеич: какое смятение ни

овладевает мною от мысли, что вы, человек честный и любивший меня, порицаете меня, я тверда в том, что я права. Но я грустна,— и вы скажете: это оттого, что я чувствую себя не совсем правою. Но одним ли виноватым бывает тяжело на душе? Не может ли бывать очень горько и правым? Не бывают ли тяжелы и незаслуженные огорчения? Быть может, Владимир Алексеич, моя грусть только оттого, что вы, которого я искренне полюбила, считаете меня недостойною вашего расположения,— что, я предвижу, могут также отшатнуться от меня,— разлюбить, возненавидеть меня и другие, которых я люблю так же искренне, как вас, и еще сильнее, нежели вас: мой дядя,— еще больше Надежда Викторовна,— и это будет, вероятно, скоро,— со временем, быть может, и Юринька. За что, Владимир Алексеич? Вы видите, буду ли я когда-нибудь пренебрегать моим дядею. Чем до сих пор я была вредна Надежде Викторовне? — И не буду никогда, ничем. Не употребляю ли я все свое влияние на него в ее пользу? Так будет и всегда. Я так хочу, и у меня достанет воли, во что бы то ни стало. За что ж ей будет не любить меня? А я предвижу это и от нее: и она будет несправедлива ко мне, как вы. За что вы считаете меня дурною, почему вы не верите чистоте моих намерений,— чем я виновата в ваших глазах? — Только тем, что я не аристократка. Будь я знатна и будь у меня хорошее состояние, я могла бы стремиться к тому, к чему стремлюсь,— и вы могли бы видеть во мне гораздо меньше заботливости о Надежде Викторовне и Юриньке,— и все-таки вы не думали бы, что я хочу быть вредна им, не считали бы меня дурною, не находили бы ничего унизительного для меня или неискреннего в моем желании владеть его сердцем. Вы понимали бы, что мое расположение к нему может быть искренне,— и сотой доли того, что вы знаете обо мне,— о моем характере,— о благородстве моего характера, как вы называли это еще недавно,— сотой доли того, чем заслужила я ваше доверие,— сотой доли было бы достаточно, чтобы вы не могли усомниться в искренности моего влечения к нему, в непоколебимости моей любви к его детям. Почему ж бы я не могла — не только любить его детей,— не могла бы чувствовать искреннего влечения и к нему? — Он добрый, благородный, чрезвычайно деликатный человек, он еще не стар, он еще красивый

мужчина,— я не говорю, что я влюблена в него, не только вам, и ему не говорю этого: он не так молод, чтобы влюбляться в него, и еще важнее: мое сердце изношено,— нет, я не способна вспыхивать, у меня нет иллюзий, я не могла бы никого полюбить страстно,— но почему женщина, пресыщенная тревожными наслаждениями, с сердцем, утомленным, измученным страстями, не может искать отдыха в спокойной привязанности? — Будь я равная ему, я могла бы выйти замуж за него, и вы не подумали бы обо мне дурно. Но я мещанка и бедна,— вот почему я лгу, и не могу иметь чувства женщины, и буду злою советницею ему, врагом его детей! Так, Владимир Алексеич: я не аристократка, вот моя вина, вот мой порок в ваших глазах! Вы говорили: надобно стереть с лица земли разницу сословий и состояний,— сгладьте же ее хоть в ваших собственных мыслях. Судите меня по моим поступкам, а не по тому, что я мещанка и бедна,— судите меня по тому, как я пользуюсь своею властью над ним: буду ли обирать его, или буду честным другом ему,— буду ли вредить его детям, или честно — до самопожертвования — заботиться о их счастии. Жду справедливости от вас,— и дождусь ее, эта уверенность утешает меня». Она пожала мне руку и ушла, не давши мне времени отвечать.

Но я и не знаю, что́ мог бы я отвечать. Я был расстроен. С полчаса, я думаю, я оставался очень расстроен. В моих ушах все звучали ее слова: «Вы говорили: надобно стереть с лица земли разницу сословий и состояний,— сгладьте же хоть в ваших собственных мыслях»...— Демократу, социалисту, революционеру не могло быть особенно приятно, что он услышал,— и едва ли не заслужил услышать такие слова... Едва ли не заслужил,— потому что во всем, что она говорила, не было ни одного фальшивого звука,— все правда, и все искренне... «Я мещанка и бедна, вот моя вина в ваших глазах!» — Кроме, действительно нет... Начав оправляться от тяжелого удара, я увидел, что все еще слишком взволнован и не могу продолжать свое записыванье в дневник. Лег спать и долго ворочался с боку на бок, раздумывая о том, какой прекрасный я демократ и прочее в теории и как умны и хороши оказываются иногда на практике люди, превосходно умеющие сочувствовать всяческим демократизмам, пока не требуется от них смысла и совести, чтобы применить эти чувства к делу. Поутру ныне, то есть —

*9.* Проснувшись поздно, дописал эти заметки о вчерашнем. Кончив, пошел бродить, потому что хандрил и не хотелось ни работать, ни даже читать. Нашатавшись по роще и лесу, пришел назад с усталыми ногами, но с прежнею энергиею прекрасного чувства. Лег и продолжал хандрить. Думал не выходить к обеду, сказать, чтобы принесли в мою комнату. Но рассудил, что Мери непременно, а вероятно и Виктор Львович догадались бы: это вздор, будто мне некогда, будто работаю,— просто-напросто демократ, социалист и революционер несколько оплошал духом. Потому вышел обедать. Оказалось, что у нас Власовы. Милая madame Власова была весела и говорлива, как всегда. Я развлекся, слушая добрую и живую болтовню ее. Под конец обеда и сам стал шутить. Из-за стола все пошли в голубой зал; — и я туда же, за своею партнеркою в пустомельстве. Славная молодая дама, от всей души люблю ее,— как сойдешься с нею, перестаешь быть дураком, а еще лучше то, что действительно приятно смотреть на нее: сама счастлива и делает мужа одним из самых счастливых людей на свете. Сел за шахматы с Виктором Львовичем, успокоив ее обещанием, что не перестану ни слушать, ни болтать,— и сдержал обещание. Она ужасно приставала, чтоб я шел с ними,— с нею, ее мужем и Надеждою Викторовною,— кататься на лодке по озеру. Виктор Львович противился: пусть я не поддаюсь на хитрость Катерины Федоровны, она зовет меня не по любви, а потому, что жалеет мужа: хочет засадить меня в весла, а муж будет себе посиживать. Я видел, что ему хочется продолжать вчерашнюю исповедь, и остался. Они ушли. Точно, скоро он бросил игру, стал толковать. Так просидели мы довольно долго. Я слушал и спрашивал. Вошла Мери. «Они гуляли по саду, теперь пошли на озеро, хотят плыть на тот берег,— взяли с собою от меня Юриньку и двух из его приятелей, на которых поменьше грязи,— не могу приучить их умываться»,— сказала она и села с нами. В доме оставались мы трое, одни,— ее дядя повез деньги Дедюхиной; мы могли сидеть втроем. Виктор Львович переместился к окну, поглядывать временами на подъезд и двор, чтобы не застали нас невзначай. Так мы сидели втроем и толковали часа два, я думаю. Она была с ним непринужденна и серьезна, без нежностей и без заботы показывать, что сколько-нибудь думает или

не думает о нем,— когда приходилось, смотрела на него,— когда приходилось, смотрела с расположением,— когда не приходилось, не смотрела, будто он муж ей, или, еще более похоже, будто старший брат, или дядя, что-нибудь так, просто родной, близкий, которого она очень любит и о котором ей нечего думать,— так вообще; но иногда смотрела на него и с тем расположением, как добрая, скромная женщина смотрит на мужа, с которым живет не первый год: тихая любовь, и больше, признательность за то, что он любит ее, что ее сердце спокойно.— Со мною она была совершенно по-прежнему, будто мы дружны, как было. Она, впрочем, и действительно любит меня, это было видно; теперь мои глаза очень зорки и заметили бы малейшую искусственность. Но такая простая и свободная была она, что и я по временам забывал все и думал о ней по-прежнему.— Мы говорили обо всем, о чем случится, как, бывало, я говорил с нею одною, как он, бывало, говорил со мною, когда нам не о чем было говорить: так подействовали ее спокойствие, непринужденность, такт на меня и на него, что мы сидели и говорили, будто сиживали так втроем каждый день с полгода... Она говорила со мною о книгах — и он говорил; — он говорил со мною о том, что действительно я прав: надобно устроить пристань в Симбухине,— и она сказала, что это было бы выгодно и что кроме этого можно сделать много другого: у Виктора Львовича теперь столько свободных денег; ей вспомнилось, она слышит, что глина,— та, которая вверх по речке,— очень хороша; пригласить бы техника взглянуть: не годится ли эта глина для фарфора? — Это было бы тоже выгодно... Так мы говорили обо всем,— не избегали говорить даже и об их отношениях,— как будто мы забыли, что это новость, и будто и мне не приходило в голову, что еще неизвестно, хорошая ли это новость,— так она говорила, и о том говорила, что будто не помнилось мне, что это новость: она заметила, что Виктор Львович уже не молодой человек и напрасно ложился поутру на траву,— она видела, это нехорошо,— и я сказал, что это нехорошо, если это было рано, когда трава еще в росе,— и он сказал, что это было неосторожно, потому что трава была еще сыра,— и спросил, когда же она встала, что увидела это? — Она встала в восемь часов,— хоть легла в половине третьего; такая привычка.

Переедем в Петербург, тогда она привыкнет вставать поздно. А не забыл он ее просьбу поговорить с отцом Андрюши? — Я спросил: что ж это? О чем поговорить с отцом Андрюши? И какого Андрюши? — Это мальчик, который приходит иногда в кухню,— умный, его следовало бы отправить в училище; чему учат в сельской школе, он уже всему выучился,— и т. д.— Я заметил, что не вижу на руке у нее перстенька с яхонтом.— Юринька изломал его и даже оцарапал ей руку этим.— «Зажила ваша рука, Мери?» — спросил он.— «Да и вчера уже не было заметно, я показывала вам».— «Нет, вчера была еще видна царапинка»... Так разговор касался их отношений,— конечно, иного и нечего было говорить о их отношениях: это такая неновость, и все так определилось, установилось,— ничего интересного им друг о друге, кроме обыденных мелочей,— и мне казалось, будто так, и он так чувствовал, когда она тут, непринужденная, спокойная,— и ему было совершенно легко и свободно передо мною... Мы говорили и о Надежде Викторовне. Он спросил, кажется ли мне, — ему кажется,— что Наденька хорошеет с каждым днем? Она заметила, что это так должно быть: Надежде Викторовне осьмнадцать лет,— и спросила, замечаю ли я, что Надежда Викторовна стала больше любить музыку? — Я сказал, что этого я не заметил,— Виктор Львович сказал, что я слишком много работаю, лучше бы почаще выходил слушать; что же я теперь пишу? — И разговор пошел о моей работе,— более воображаемой, нежели действительной. Так было каждый раз, когда разговор касался Надежды Викторовны: Мери говорила о ней, пока говорил он или я,— раза два или три и сама упоминала о ней,— как случилось вспомнить, что-то сказать,— но не искала случая заговаривать или тянуть разговор о ней,— тем меньше старалась показать свою любовь к ней: при нем это уже лишнее; это я еще могу думать так и иначе; а с ним ей нечего толковать о ее любви или нелюбви к его детям... По временам и мне казалось несомненно, что она будет не вредна, а полезна им, как она уверяет; и хочет, конечно; в ее желание я верю и теперь... Готов думать, что ей и удастся держать себя относительно их так, как она хочет. У нее такая сильная воля. И нет надобности вредить им. Из-за чего было бы вредить? — Из-за денег? — Она не жадна,

она умна; может не пожалеть и огромнейшего приданого Надежде Викторовне, какое бы ни понадобилось: все-таки останется довольно для нее самой... По временам я был убежден, что из ее замысла не будет никакого вреда его детям... Так свободна и беспритворна была она, будто в самом деле совершенно правая... Он сказал: «Они идут». Она встала спокойно и пошла из комнаты,— вовсе не как любовница, скрывающаяся, чтобы не застали ее с любовником,— нет, будто хозяйка идет взглянуть, все ли готово, распорядиться, чтобы подавали чай и закуску, потому что они нагулялись и устали, хотят есть... Если бы все они увидели ее, так уходящую из голубого зала, все видели бы, что она только шла через комнату, где мы сидим, и едва ли заметили, что мы сидим тут: так спокойно шла она... «Правду говорит она,— сказал Виктор Львович, подходя опять к шахматам, когда она ушла.— Она вовсе не любовница моя, а друг мой», он вопросительно взглянул на меня, говоря это: без нее у него опять не было уверенности, что все это должно казаться мне хорошо... «Так она говорила и мне»,— сказал я... Они вошли; с ними Юринька,— облапил меня от удовольствия, что мы не виделись, кажется, суток двое.— «Впрочем, право, я люблю вас, Владимир Алексеич; но только, право, Мери лучше вас».— «Не только лучше, а умнее, Юринька»,— сказал я: во мне опять было горькое чувство против нее. Виктор Львович, заговорившись с дочерью и Власовыми, не расслышал этой глупой и нечестной выходки, о которой пожалел я, едва сорвалась она у меня с языка. Отвязавшись от объятий Юриньки, я пошел в свою комнату. Во мне кипела желчь. Зачем она, такая прекрасная, захотела унижать себя?.. На кресле у моего письменного стола сидела Мери, опустив голову, задумчиво играя какою-то ленточкою.— «Я ждала вас. Я знала, вы скоро уйдете оттуда».— «Знаете ли, что́ я сказал там сейчас? Вот как отвечал я Юриньке...» — «Что́ же за беда была бы, если б и услышал Виктор Львович? Ваш намек не был бы для него неожиданностью. Я не спрашивала его, но это заметно: он понимает, что я должна казаться вам обманщицею. Я думаю, и у него самого были сначала такие же сомнения, хоть по временам. Как мы ни суди о нем, он не глуп, и пожил на свете, и достаточно много видел обмана».— «Так, Марья Дмитриевна; но я и го-

ворю не о том, что моя неосторожная выходка могла бы иметь влияние на ваши отношения, а только о том, как это было дурно с моей стороны делать намек, когда совершенно не знаю сам, как мне думать».— «Ах, Владимир Алексеич, не то больно мне, что иногда вырвалось бы у вас злое слово в припадке желчи: это еще ничего бы; вы ошибались в моем характере, я не могла бы жаловаться на то, что вы поддаетесь негодованию. Есть чувство, переносить которое тяжелее, нежели порывы раздражения. Взгляните на эту ленточку: она моя. Я подняла ее на полу... Пусть бы выбросили вы ее за окно,— но она оставалась тут, под глазами у вас. Порыв прошел, и в успокоившейся душе осталось холодное пренебрежение»,— у нее набегали слезы.— «Я шла сюда не грустная, Владимир Алексеич...» — На счастье, у меня была не одна эта ленточка от нее, еще две. Я вынул дневник и показал, что они лежат в нем. Тогда она поверила, что это была случайность. Я вспомнил, что точно, тетрадь упала, я взял ее с пола и не заметил, что одна из ленточек выпала под стул. Мы стали толковать. Но скоро пришел Юринька, и никакими средствами нельзя было выпроводить его. Она ушла с ним. Впрочем, и все равно. Напрасно было толковать. Она упряма. Да и не совершенное ли сумасбродство надежда уговорить? Только в моей нелепой голове могла родиться такая мысль. От таких замыслов люди не отказываются. По крайней мере, когда понимают, чтó такое они хотят сделать над собою. Она давно поняла. С первых дней нашей дружбы. Пусть прежде она думала, что она павшая девушка и т. п., что это не унижение для нее. Но он еще и не воображал, что может сделаться ее любовником, а она уже знала, что в ее жизни до той поры не было ничего дурного, кроме этого намерения,— знала, что идет еще на первое свое бесчестье,— продолжала идти. И дошла, и не ужаснулась, обесчестивши себя,— нет, имела силу оставаться веселою, радовалась своему первому успеху,— так радовалась, что даже не могла иногда владеть собою от восхищения. Та сцена со мною: подбежала, закрыла глаза мне и шутит в веселье, стала резвою девочкою от избытка радости! — И когда пришло время, что я должен был узнать о ее унижении, постыдилась два-три дня,— и потом упрямо твердит: «Я давно упала так низко, что вы напрасно огорчаетесь!» — Нет, какая

же тут надежда, чтоб она пожалела себя! — бить воздух словами, упрашивать зажмурившую глаза, чтоб она раскрыла их! — «Я слепа, ничего не вижу».— «Вы надели грязные башмаки, сбросьте их».— «Я не вижу, я думаю, что я всегда ходила в таких башмаках,— должно быть, это вы только называете так, грязь,— а это, должно быть, та самая пыль, которая всегда была на башмаках у меня,— у женщин, которые росли и живут не под стеклянным колпаком, часто башмаки пылятся, и у меня тоже, а грязи я не вижу: вы напрасно огорчаетесь...» Какая тут надежда, чтоб она пощадила себя, не довершала своего унижения! — Нет, я не могу сохранить симпатии к ней. На первое время, конечно, поддаешься грусти. Но нельзя долго грустить о человеке счастливом.

Впрочем, нисколько не смешно, что я огорчен. Упрашивать ее, это была нелепая фантазия. Но в том, что я чувствую сострадание, я совершенно прав. Ей самой грустно, как ни безжалостна она к себе. Ей не следовало становиться дурною.В ней так много прекрасного и так мало дурного. Ничего дурного, кроме честолюбия. Оно одно.

Власова прислала звать меня, чтоб я вышел к ужину; я пошел без малейшей неохоты. И не будь решено у них встать завтра пораньше для какой-то надобности видеть восхождение солнца с горы, потому и залечь спать с одиннадцати часов, я рад был бы сидеть и болтать с ними без конца. Такая разница между настроением моим до этого последнего разговора с Мери и после него. Так упряма и безжалостна, что поневоле охладел к ней. Завтра, я думаю, исчезнет и последний, уже и теперь очень слабый, остаток сострадания к ней. Буду совершенно равнодушно смотреть на ее унижение.

Но теперь пока все еще немножко жаль. Пока еще не стало лень думать о ней, надобно записать, как я сужу о ее психической истории. Как бы то ни было, она замечательное лицо.

Ношена матерью во чреве, рождена и выкормлена грудью в чувствах непоколебимой и чистой преданности господам, благодетелям и более богам, нежели людям. Три или четыре поколения бесфамильных предков и по материнской и по отцовской линии служили верою и правдою знаменитому роду Илатонцевых и за то были достойно награждаемы всеми земными благами и почестями, какие только доступны желаниям верных слуг.

Виктор Львович, как принял верховную власть, даже пожаловал волю (впрочем, и не им одним, а всей прислуге). По этому случаю бесфамильное семейство, в котором кормилась молоком преданности из материнской груди малютка Машенька, приняло фамилию Антоновых,— по имени деда Мери, по отчеству записывавшихся в мещане: Дмитрий Антоныч Антонов, с женою и дочерью,— младший брат его, холостой, Иван Антоныч Антонов. Господин и освободитель женился, стал собираться жить за границею.— «Поедете ли вы с нами?» «Если вам так будет угодно. Но сами мы думали бы, куда же нам? Позвольте остаться».— «Извольте; как для вас лучше. Вас два брата, вот вам две должности: дом в Петербурге, дом в Илатоне. Где кому, как сами решите. Но мой совет: у Дмитрия Антоныча есть дочка. Для детей деревенский воздух здоровее петербургского; лучше бы именно вам, Дмитрий Антоныч, ехать в Илатон».— Братья рассудили: правда. Иван Антоныч остался заведовать домом в Петербурге, Дмитрий Антоныч переселился заведовать домом в Илатоне.

Известие о рождении Надежды Викторовны было передано четырехлетней девочке такими словами: «Ну вот, Машенька, родилась твоя барышня».— Когда Илатонцевы приезжали из Парижа погостить в деревне, Машеньку водили смотреть на ее барышню. Машенька была так приготовлена видеть в барышне свое божество, что если б Надежда Викторовна и не была миленькою малюткою, все-таки, вероятно, казалась бы своей будущей горничной по крайней мере ангельчиком, если не лучше всякого ангельчика. Маленький ангельчик был нежен, тих; будущая горничная была бойкая, смелая девочка и в восемь-девять лет уже разыгрывала роль няньки своей будущей госпожи, в ожидании, пока будет ее горничною.— Отец Машеньки умер на службе барину, от усердия к службе: простудился, наблюдая за какою-то перестройкою. Мать зачахла с горя и недолго пережила мужа. Дядя выписал сиротку к себе. Машеньке было тогда лет одиннадцать.

Года через три Виктор Львович возвратился жить в России, с малюткою Юринькою и десятилетнею Наденькою. Еще рано было определять к барышне горничную. Да и сама будущая горничная была еще наполовину ребенок. Madame Lenoir сказала Ивану Антонычу на

просьбу о взятии племянницы к должности при барышне: «Пусть ваша Машенька растет да играет; еще успеет наслужиться».— Машенька росла и играла — еще в куклы,— но стала больше любить приходить играть со своею будущей барышнею: четырнадцатилетней немножко уже стыдно играть в куклы, а все еще нравится. Лучше же всего ходить играть в куклы с барышнею; тогда никто не может пристыдить: «Экая большая, а играет в куклы!» — «Это я не сама играю, я забавляю Надежду Викторовну».— Так и стала идти жизнь Машеньки, все больше и больше в комнате маленькой барышни.— «Перестало мне нравиться играть в куклы, я взяла куколкою себе Надежду Викторовну,— рассказывала Мери.— Ах, если бы вы посмотрели тогда на нее, какая она была у меня миленькая, веселенькая! С утра до ночи все наряжала б и причесывала б ее! — И терпеливая была девочка, сидела смирно, сколько я ни причесываю, ни охорашиваю ее,— пока уже madame Lenoir велит перестать мучить ребенка. Невозможно было не привязаться к такому миленькому, кроткому ребенку...» И madame Lenoir видела, что Мери души не чает в своей будущей барышне; видела, что четырнадцати-пятнадцатилетняя нянька или горничная очень рассудительная, скромная девушка, полюбила ее, совершенно полагалась на ее ум, осторожность, заботливость. «Когда Наденька с вами, Мери, я спокойна,— говорила madame Lenoir.— Могу уйти, играйте себе»,— и уходила распоряжаться по хозяйству, разбирать дела прислуги, давать советы, поправлять ошибки старших... «Конечно, это жаль, что она так мало занималась мною в те первые два года,— говорила Мери.— Если б она построже всматривалась в меня тогда, то, может быть, я и не сделалась бы после такою дурною. Тогда, я думаю, еще можно было предотвратить развитие моих дурных наклонностей. Но у нее было слишком много хлопот: Алина Константиновна, со своими наивностями,— да и сам Виктор Львович, с излишнею своею доверчивостью и щедростью к интриганткам,— пятьдесят человек прислуги, со своими ссорами, жалобами, всяческими дрязгами — и с серьезными надобностями в совете, помощи,— хозяйство в таком большом, роскошном доме... Эти хлопоты поглощали все то время, какое оставалось у нее от материнских забот о Надежде Викторовне и Юриньке.

Иногда по целым неделям не выбиралось у нее полчаса свободы, отдохнуть за книгою... Конечно, если б она заметила, что надобно удерживать меня от дурного, не пожалела бы труда и нашла бы время, потому что очень любила меня. Но нельзя мне винить ее за то, что она не видела тогда этой надобности. Я казалась такою прекрасною, что и родная мать, у которой только и дела было бы, чтобы думать обо мне, не подозревала бы ничего дурного во мне, только радовалась бы на такую умную и скромную девушку. Что ж могла madame Lenoir? — Только хвалить и ласкать меня». Мери говорила это, думая об увлечениях, которым отдалась года через три, в Париже. Не знаю, как пошла бы ее жизнь,— хуже или лучше, если бы можно было предохранить ее от свободного и чистого наслаждения. Правда, для девушки соединено с этим много огорчений, которых не испытывает молодой человек: его не оскорбляют за то, что он честно,— или даже не совсем честно,— ищет наслаждения: девушку бессовестно порицают и за самое безукоризненное увлечение: как она смеет иметь человеческие чувства, пока не переименована в замужнюю женщину? — Но я все-таки не знаю, что́ легче и лучше для девушки: переносить упреки за повиновение непреодолимому влечению сердца и тела или стараться подавлять его аскетическими, полуаскетическими и вовсе неаскетическими средствами, которые все одинаково бессильны подавить его и одинаково вредны для здоровья.

Мери говорила об этом очень решительно: она испытала слишком много огорчений и страданий; поэтому слишком строго судит о своих увлечениях и жалеет, что не были замечены первые проявления ее чувственности, когда еще можно было бы запугать, удержать. Пусть она и права, не смею решать. Но она до несправедливости горько выражалась о себе, когда говорила, что на пятнадцатом, на шестнадцатом году «казалась» скромною. Когда она рассказывала об этом времени своей жизни без раздумья о более поздних увлечениях, то можно было видеть, что она не только казалась, но и была очень скромною девушкою до того самого времени, когда овладели ею мечты о лошадях в серебряной сбруе, кружевах и брильянтах. А это было с небольшим за год до отъезда за границу; когда они уехали за границу, ей был девятнадцатый год.— Однако пора спать. Допишу завтра.

Не только на шестнадцатом году она была, но и на семнадцатом оставалась очень скромною девушкою. От природы умная и серьезная, она была резвою и бойкою, но не могла быть легкомысленною, а ей было внушено, что ветреничать — это гибель. Организм еще не разгорался сам собою до сильных сладострастных ощущений, а возбуждать их искусственным образом она не умела; нервы были здоровы, голова занята делом или веселостями, сердце было спокойно. Сердце оставалось спокойно благодаря ее аристократическому положению. Она была слишком много выше остальной прислуги по своему родству, да и по своей должности. До отъезда Илатонцева за границу отец Мери был дворецким, мать — ключницей, дядя — камердинером, или, лучше сказать, обер-камердинером: здесь мы живем запросто, и он просто камердинер; в Петербурге у Ивана Антоныча два помощника, он начальствует по камердинерскому ведомству, а сам прислуживает барину лишь настолько, насколько находит нужным для собственной важности: нельзя же в самом деле допустить молокососа до подавания сюртука Виктору Львовичу, зазнается молокосос,— так объяснял мне Иван Антоныч.— Когда господа переселились жить за границу, отец и дядя Мери стали управляющими домами. По возвращении Виктора Львовича дядя пожелал снова стать обер-камердинером; места дворецкого и ключницы оставались не заняты после отца и матери Мери: madame Lenoir сама заведовала хозяйством, и не было между прислугою чинов, равных Иван Антонычеву, кроме чина самой Мери. Горничная молодой барышни, она была неизмеримо выше каких-нибудь прислужниц Алины Константиновны. За ними могли волочиться молодые люди придворного штата, за Мери не могли посметь без ее собственного одобрения,— а его не было: проводя целый день около madame Lenoir, она привыкла к простоте, деликатности,— уже и сама умела довольно хорошо соблюдать в разговоре и в движениях непринужденность, а еще лучше умела понимать эти условия истинно хорошего тона. Молодые слуги их домашнего штата и такие же гости, бывавшие у ее дяди, не могли нравиться ей: и грубы и слишком ломаются. А гости Виктора Львовича не имели случаев приволокнуться за нею: madame Lenoir не позволяла ей соваться в ту, парадную половину дома, когда собираются гости. И нельзя было ослушаться: там дядя. И не было большой

охоты ослушаться: девушка была и гордая и серьезная. Она знала, как любезничают господа со служанками: слишком свысока; потреплет по щеке, это милостивое внимание. Мери нимало не желала, чтобы гости обращались к ней с такими милостивыми вниманиями, какие нравились горничным Алины Константиновны.

Не было любезничанья, от которого разгорячался бы организм; сам собою он еще не разгорался: раздражать его она не умела. Нервы были крепки, характер серьезен, в голове не было ветреных мыслей. Не могло быть сильных сладострастных томлений: не от чего было быть им. Правда, Мери с детства слышала много грубого, много скандального и рано стала довольно отчетливо понимать то, что слышала. Не только понимала, и видывала. Алина Константиновна, по рассеянности, некоторые служанки, тоже по простоте нравов и по большой привычке, делывали разные наивности, не осмотревшись хорошенько. Дядя Мери, его друзья и жены друзей были люди строгой нравственности и говорили всегда скромными словами, с прекрасною морализациею; но говорили очень много скандального. Конечно, не по любви к соблазнительным темам, а по необходимости рассуждать о характерах и отношениях лиц, от которых зависели. Подвластные не могут не заниматься жизнью и делами своих высших. Иногда Мери случалось слышать и ветреные разговоры горничных Алины Константиновны, других шаловливых молодых женщин из прислуги. Столько насмотревшись и наслушавшись, девушка на семнадцатом году не могла не воображать иногда сладострастных приключений. Но эти мечты не доводили организм до сильных волнений. Он был здоров и еще слишком молод, чтобы возбуждаться от одних мыслей. Должно быть, и мысли эти очень мало занимали ее. Это видно из того, что она засыпала, как ляжет, вскакивала с постели, как проснется,— это попадалось в ее рассказах. Помню, ей даже случилось как-то сказать: «до той поры, как влюбилась, я не знала, что такое бессонница». Так оно видно и по фактам ее первой влюбленности. Из них ясно, что Мери до той поры еще не испытывала сладострастных ощущений,— иначе не таково было бы начало ее первой страсти.

Прошло время детской беззаботности. Ум созревал, мысли о будущем стали идти дальше завтрашнего дня. Девушка стала думать о том, какая судьба ждет ее. Нельзя было не думать об этом: дядя говорил, что она уже

невеста. Женихов еще не было: из тех молодых людей, которые могли бы делать предложения, ни у кого не могло быть сомнения в том, что получит отказ; так держала себя с ними Мери. А дядя не будет ни сватом, ни заступником,— напротив, одобрит отказ. Всем было известно, какие предположения у него насчет того, что́ всего умнее и лучше для племянницы: ей следует располагать свою жизнь по жизни своей барышни. Пока Надежда Викторовна не выйдет замуж, Машеньке тоже надобно оставаться в девушках; такая должность ее при барышне, горничная. Барышня выйдет замуж, тогда горничной время выбирать жениха, и надобно будет постараться выбрать такого человека, который уже был бы сам по себе — или мог бы через женитьбу на ней стать тем же при молодом барине, чем находится она при барыне: первым лицом, доверенным лицом,— как была судьба матери Машеньки, так надобно желать и для Машеньки: быть ключницею, женою дворецкого.— Выходить замуж раньше барышни дело нерассудительное. Положим даже, что Машенька и не проиграла б через это ничего, пока Надежда Викторовна остается в девушках. Но кто же знает, какой будет муж у Надежды Викторовны? Годится ли ему в доверенное лицо муж Машеньки? Не понравился, расстроилась вся жизнь Машеньки. Не жить же Машеньке врозь с мужем, или не жить же мужу при Машеньке дармоедом,— или не быть же мужу Машеньки каким-нибудь лакеем или швейцаром. Значит, и Машеньке через мужа пришлось бы отойти от Надежды Викторовны,— другими словами, потерять свое счастье. Не годится делать иначе, как так: пусть прежде выйдет замуж Надежда Викторовна, тогда и выбирай себе мужа, Машенька,— такого мужа, который уже пользовался бы расположением молодого барина или мог бы получить его расположение.— Так рассуждал Иван Антоныч; и мнение его было так справедливо, что никто не мог не согласиться: точно, так оно и следует судить; умный человек Иван Антоныч, об этом нечего и говорить: умный человек, основательный.

Так думала и племянница. С детства ей было внушено, что ей предназначается такая судьба, и что так будет умнее всего, и что лучше этого не может быть ничего.

Мери оставалась убеждена, что ничего не может быть лучше этого, пока не умела думать своим умом. Потому-то и не могла она думать о женихах: еще рано. Потому-то

и не было женихов: она еще не хочет идти замуж, и дядя не желает отдавать; нечего и соваться сватать. Мери была девушка умная и держала себя так, чтобы ни у кого не было мысли посватать ее. Дядя, как человек умный, видел, что она держит и хочет держать себя так. Но, тоже как человек умный, находил, что не мешает теперь все-таки почаще и посильнее внушать Машеньке, что именно так и следует ей держать себя. Надобно почаще толковать ей это: ее лета стали такие, что надобно потверже помнить, как ей держать себя: «Твои лета, Машенька, такие, от которых у женщины зависит счастье на всю жизнь: как в эти лета сумеет девушка позаботиться о своем счастье, так оно и пойдет» — и т. д. и т. д.— Иван Антоныч говорил очень умно. При таких разговорах нельзя было девушке не начать серьезно думать о своем счастье. Быть может, стала бы она думать о нем и без внушений дяди. Вероятно, и без них начала бы: уже с полгода она перестала сама для собственного удовольствия тянуть подольше игру с Надеждою Викторовною в куклы. Надобно же думать о чем-нибудь. А у нее стало и гораздо больше досуга думать: Надежде Викторовне было двенадцать лет, ученье пошло серьезнее, стало занимать довольно много времени — в эти часы Мери нечего было делать, она думала и понемножку стала даже находить занимательным читать. Чтением ее, конечно, были романы; и конечно, романы или экзальтированные, или скандальные, или сказочные, вообще только плохие и пустые. И конечно, она воображала себя героинею всех самых удивительных приключений. Но пока это была только забава, девушка была умная, с положительным характером, и книги не могли оторвать ее от действительной жизни. Она была так положительна и рассудительна, что даже и не пристрастилась к чтению: она не барышня, ей нельзя приучать себя сидеть по целым дням или не спать по ночам за книгою. Здравый смысл всегда был очень силен в Мери. Как теперь он не допустил ее пристраститься к романам, так прежде, и теперь, и после, почти до самого конца ее парижской жизни, он не давал развиться в ней любознательности. Ребенка выучили читать и немножко писать; по мнению дяди, этого было довольно. Ребенок был и рад. С тем и оставался, когда приехала madame Lenoir. Она полюбила девочку. Девочка была очень даровита. Девочке был еще только четырнадцатый год. «Еще не поздно»,— подумала m-me Lenoir, сказала дяде, что приготовит

его Машеньку быть гувернанткою, стала учить. Дядя приходил в восторг: гувернантка — это уже барышня: его Машенька будет барышнею! Но Мери оказалась ленивицею, рассеянною. Не только бросала книгу, как отвернется m-me Lenoir, пропускала мимо ушей и то, что рассказывалось ей. Все труды m-me Lenoir пропадали понапрасну.— «Как же ты не понимаешь, Машенька, что Шарлотта Осиповна хочет сделать тебе добро?» — укорял дядя.— «На что мне, дяденька? — возражала девочка.— Это барышням надобно учиться, а мне вовсе не нужно».— «Да если ты выучишься, ты сама будешь барышнею».— «Какою ж это барышнею, дяденька? Вы сам говорите, что настоящие барышни только богатые, а бедные хуже нас. Вы сами говорили, при Надежде Викторовне я буду жить так прекрасно, что и барышни будут завидовать мне».— Воспитанница была тверда в понятиях, внушенных ей,— тверже самого воспитателя с его помощниками и помощницами, такими же умными людьми и верными слугами и служанками,— тверже их в их образе мыслей, потому что сильнее их характером и умнее. Дядя сбился с толку, обольстившись пустым титулом барышни. Мери помнила, что лучше жить служанкою в изобилии, даже роскоши и великом почете, нежели барышнею без денег. Так и отбилась от учения, ненужного ей.

Быть первым лицом при такой богатой, знатной и вдобавок доброй госпоже, какою будет Надежда Викторовна! —Какое счастливое предназначение! — Мери была в очаровании от своего предназначения, пока жила беззаботным ребенком, день за день, не вдумываясь ни во что,— ни даже в то, чем была очарована. Так жила она не только на четырнадцатом, и на шестнадцатом году; продолжала так жить, когда пошел ей и семнадцатый год. Но умный и заботливый о нравственности дядя чаще и чаще толковал ей, как вообще толкуют со взрослыми девушками умные и заботливые о нравственности родные. А еще важнее того, праздновались свадьба за свадьбой знакомых ей девушек, подобных ей аристократок прислуги аристократического мира,— девушек немногим старше ее или почти вовсе ровесниц. У них женихи, мужья. Пришлось и ей думать о своем женихе, муже; — и счастливая по наследству испугалась своего счастья.

Служить Надежде Викторовне — это прекрасно: и ничего не могло бы быть лучше, если бы только это. Но

надобно будет не только служить Надежде Викторовне, надобно будет и выйти замуж. Кто же будет ее муж? Камердинер мужа Надежды Викторовны. Какой же будет он? Такой же, как вот все эти, за которых выходят ее приятельницы,— как эти молодые люди, на которых ей не хотелось и смотреть. Так вот какой он будет! — «Нет, я не буду любить такого мужа! Лучше бы пусть и не было у меня такого мужа! Пусть и не будет его. Не пойду замуж. Вовсе не нужно».

Правда, вовсе не нужно. Можно оставаться при Надежде Викторовне и не выходя за камердинера ее мужа. Надежда Викторовна не будет требовать этого. Для Надежды Викторовны все равно. Так. Но легко подумать это «не пойду замуж», а что ж это значит не пойти замуж? Это значит: остаться в девушках! Ах, какой смех! Ах, какой стыд! Остаться в девушках, сделаться старою девкою! Да это хуже всего на свете! — И Мери уже видела себя, какая стала она старая девка: вот она идет или сидит, худая как щепка, желтая, и подбородок загнулся вострым крючком! — И все переглядываются, перешептываются: «Хороша старая-то девка!» Нет, уж лучше пойти замуж!

Но как же идти за такого мужа? — И муж рисовался перед нею. Какое лицо у него, нечего смотреть: до того ли тут, чтобы разбирать лицо, когда он так выступает! Точно журавль! И как он держит локти! Господи, как он топырит их! Он думает, это по-модному, по-господски! И доволен собою, что он так ловок! — Ухмыляется! Господи, да и лицо-то у него такое же! Как он корчит его по-господски!— Обезьяна, настоящая обезьяна!..

Господи, какая судьба! — Или старая девка, или такой муж!..И Мери готова была плакать.— Господи, неужели нельзя, чтобы муж был не такой? — Нельзя. Или, пожалуй, иди за такого, который и не обезьяна, да уж и не то, что просто обезьяна, а негодяй, мучитель! Некоторые дуры захотели выйти за чиновников,— и вышли,— или даже за офицеров! Как все они живут? Бедно! — И хуже того, чем бедно: мужья пьяницы, мерзавцы, бьют их! Конечно, какой же хороший человек, кроме слуги, захочет жениться на служанке? Те хорошие люди, которые не похожи на обезьян, не женятся на служанках, а только волочатся за ними, берут в любовницы. Да, служанка не может найти себе мужа и хорошего человека и не обезьяну, а любовников таких некоторые находят. И если любовник богатый, девушка

живет счастливо,— даже очень счастливо. Гораздо лучше, нежели самая важная и любимая служанка у самой богатой и знатной госпожи. Какое же сравнение! Все завидуют таким счастливицам! И Раиса Петровна, и Лиза, и Наташа, и Прасковья Семеновна, и даже сама Анна Федоровна, и все, все говорят: «Помилуйте, это совсем не то, что наша жизнь!» — Но только все говорят, что это дурно. И женщины, и мужчины, и дядя, все: это дурно. Господи, какая беда!—Одно только и есть хорошее для служанки, и то дурно!

Господи, зачем же это так? Да так ли в самом деле?..

Плохо дело наследственных принципов морали, как дошло до вопроса: да так ли на самом деле? — Лишь вздумал взглянуть, с первого взгляда видишь: не так. Эта мораль — нескладица и ложь. Такая нелепая нескладица, такая явная ложь, что с пяти лет у каждого неглупого ребенка уже набралось довольно наблюдений, чтобы захохотать над этою нескладицею, презреть эту ложь, как только вздумается подумать о ней. С раннего детства в каждой неглупой голове уже сложился ответ,— незаметно сложился, так легко и просто слагается он,— и, незамеченный, лежит совершенно готовый в дремлющем уме,— и как явилась надобность,— чуть встрепенулась мысль,— он и тут, готов, ясен, решителен. Помню, точно такая же история была и со мною: все верил, верил в эту мораль,— пришлось подумать о ней,— и вижу: да, какое же, будто я верил в нее! — Может быть, и верил, когда мне было два года от роду,— но с той поры, как помню себя, всегда видел, что люди чувствуют не по этой морали,— всегда слышал, что и живут по ней лишь те, кому не представляется надобности жить не по ней,— с тех пор, как помню себя, не верил в нее,— а только воображал, будто верю, потому что не вздумалось подумать: да точно ли верю?

Так было и с Мери. До сих пор она воображала, что верит в мораль, проповедываемую дядею и его сотрудниками и сотрудницами в деле ее нравственного воспитания, всеми этими Аннами Федоровнами с мужьями, отцами и сестрами,— нравственными людьми, это бесспорно,— воображала, что верит в нее, уважает ее, следует ей,— до сих пор ей так воображалось, потому что не было нужды всматриваться в то, много ли смысла и правды в этой нравственности. Ей говорили: «Не бери чужого»,— она и не родилась ни воровкою, ни алчною, у нее не было охоты брать чужого; ей говорили: «Не лги»,— она была горда

и отважна, ложь не по натуре таким людям; — ей говорили: «Будь скромна»,— она была горда и рассудительна, страсти еще не пробуждались в ней, у нее не могло быть охоты унижать себя ветреностью. Ее собственные влечения были согласны с тем, что требовалось от нее во имя морали; и она, следуя своим влечениям, воображала, что уважает внушенную ей мораль... А как только вздумалось ей спросить себя: «Да так ли?» — она с удивлением увидела, что давно, давно знала все, нужное для решительного ответа: «Это глупость, это глупая ложь!»

«Это дурно»,— почему ж это дурно? — «Все они говорят, что это дурно».— Кто это они? Что это за люди? Например, ее дядя? Добрейший и честнейший человек, это правда. Но недалек и робок, хуже маленького ребенка. И все они такие, его приятели и приятельницы, которые искренне говорят то, что говорят. Как же полагаться на мнения людей, которых нельзя не любить за их доброту и честность и над которыми нельзя не смеяться, так они легковерны и недогадливы? — Как полагаться на мнения людей, которые ничего не понимают? — Кто ни захочет, все обманывают их во всем, в чем захочет. И это не обман ли, придуманный хитрыми, чтоб они не пускались соперничать,— были бы смирны, и можно было б оседлать их и ездить на них? — Они оседланы, и на них ездят; должно быть, это для того и придумано.— «Это дурно, пойти на содержание к богатому человеку».— Да почему ж это дурно? Но, кажется, и Шарлотта Осиповна думает, что это дурно. Да, и она так думает. А она умная и не обманщица. Значит, это в самом деле дурно. Господи, какая беда, что и она так думает и что значит, это дурно!.. Но что ж такое, что она и думает так? Это ничего не значит. Она не может судить об этом. Она барыня; положим, не русская, и говорит, что у них нет барынь; но это все равно, она барыня, хоть у них там и не называют так. Положим тоже, она и не богатая. Но все же барыня, а не служанка. Это совсем не то. Ей хорошо так думать; а попробовала б она родиться служанкою, да и идти замуж, тогда б она и увидела, каково это. Тогда б она и не захотела так думать.

Да почему это дурно в самом деле? Они все говорят: «Все пренебрегают такою девушкою»,— вот это и неправда! Если девушка пойдет в любовницы к бедному,— точно все пренебрегают ею. Так что ж, разве это оттого? Это вовсе не оттого, а потому, что вообще пренебрегают

всякими бедными людьми. А когда любовник богат и девушка живет пышно, любопытно бы посмотреть, кто ж это пренебрегает ею? Не они ли пренебрегают, дядя с Раисою Петровною, и с Анною Федоровною, и с ними со всеми? Да не все ли они вздыхают и говорят: «Какое же сравнение с нашею жизнью!» — И кланяются... Просто они сами не понимают, что они твердят одно, а делают и чувствуют совсем другое. Они наслушались пустяков и твердят безо всякого смысла...

Так начались мечты девушки,— девушки еще совершенно скромной,— не только не имевшей ветреных отношений, еще не чувствовавшей и влечения к любви. Мечты были чужды всякого сладострастного волнения, она еще и не испытывала ничего такого, что могло бы назваться похожим на негу страстного томления. Сам любовник вовсе не был занимателен для ее фантазии. Она думала только о том, что иметь богатого любовника — это счастье; а еще важнее: только тем, чтоб найти себе богатого любовника, она может избежать ужасной судьбы: старая девка или муж-обезьяна.

Сначала она помнила, что эти мысли о богатом любовнике только игра ее огорченного воображения и что само огорчение пока еще только воображаемое. До старых девок ей еще очень далеко. Далеко и до той поры, когда надобно будет делать выбор, идти ли замуж, или оставаться в девушках. Решать это надобно будет после замужества Надежды Викторовны,— пожалуй, хотя и не скоро после того. А Надежда Викторовна разве года через четыре будет невестою. Когда-то еще будет это горе, идти за камердинера мужа Надежды Викторовны. Да и почему же знать, что этот неизвестный камердинер будущего неизвестного барина непременно похож на обезьяну. Вот сама она — горничная и, однако же, не похожа на горничную; и камердинер может не быть кривлякою дурного тона. Словом, нет ничего глупее вздора, который представился ей.— «Говорят, я умная девушка,— думала Мери, опомнившись от своих мечтаний.— А если б я сказала им, какие глупые пустяки занимают меня! Не поверили бы!»

Но мечты, хоть и глупые, были приятны. Какое же сравнение в самом деле, быть служанкою или иметь своих лошадей в серебряной сбруе? — Глупое мечтанье возвращалось и стало привычным. И тогда Мери стала находить, что в нем нет ничего глупого, кроме того, что оно

несбыточно. Иметь богатого любовника,— да как же это ей найти его? — Ей, которая вечно на глазах у прислуги и у дяди, и — еще хуже того, у madame Lenoir! Как тут искать себе любовника! — Если бы кто сам вздумал пробираться до нее, предложить ей себя в любовники,— и то не добрался бы до нее! Конечно, так. Нечего и думать о несбыточном. Но как хорошо оно! — Лошади в серебряной сбруе, а сама вся в брильянтах! И какие прелестные бывают кружевные платья!.. Так однажды рассказывала Мери, смеясь,— и остановилась.

— Бедственное положение! Непременно нужен любовник, и негде взять его! Но я имею надежду: вы нашли его?

— Нашла; но не могу сказать вам ничего больше. Вы не можете вообразить, как мне хотелось бы досказать вам этот эпизод моей жизни. Мое сердце было бы облегчено. Но я не имею силы продолжать. После. Теперь не могу.

Конечно, не могла. Конечно, недоставало силы. Конечно, и было нельзя. И так она уже высказала больше, нежели позволяла осторожность. Это шутливое описание того, что нельзя было искать,— и затем ответ: «Нашла»,— это было слишком много, слишком неосторожно. Но желание облегчить сердце заставляло ее говорить,— и, конечно, она досказала бы, если бы достало силы признаться в своем замысле. Впрочем, вольно же было мне и не понимать, когда все было досказываемо мне до последнего слова, выговорить которое не было силы у нее!..

Если бы молодые аристократичные гости могли волочиться за нею, по всей вероятности она стала бы думать о ком-нибудь из них. Но волокиты не проникали в ту часть дома, где она проводила почти все время подле Надежды Викторовны, на глазах у madame Lenoir. Когда собирались гости, Мери не выходила в парадные комнаты,— madame Lenoir давно установила это правило. Мери строго соблюдала его, потому что оно было согласно с ее гордостью. Было бы слишком резкою новизною нарушить теперь эту привычку. Madame Lenoir тотчас догадалась бы: «Мери, неужели ты хочешь ветреничать?» — Мери вовсе не хотела ветреничать. Ей только был нужен богатый любовник. Да и он, если рассудить хорошенько, вовсе не нужен. В серьезных своих мыслях Мери продолжала находить, что ее наследственное счастье — быть любимою служанкою Надежды Викторовны,— очень хорошее

счастье. Желать лучшего — только пустая фантазия. Мечты о любовнике — только забава. Для забавы нельзя ронять себя во мнении m-me Lenoir. Конечно, из этого не могло бы выйти ничего умного. Пройти мимо гостей, услышать любезность — этим еще не приобретешь себе любовника. Больше — было бы невозможно: везде прислуга; остановись отвечать на комплимент,— через пять минут известно дяде, и дядя идет жаловаться m-me Lenoir: «Машенька шепчется с молодыми господами, Шарлотта Осиповна; остановите ее, глупую этакую»...

Никак нельзя было искать любовника. А нельзя же быть любовницею без любовника. Пришлось назначить в любовники единственного человека, который тут, на глазах. Чем же не любовник Виктор Львович?

Впрочем, если б и можно было выбирать, Мери, может быть, выбрала бы думать все-таки о нем. С детства все ее мысли о себе самой вертелись около зависимости от него: в его расположении, в его милости все ее счастье. Пришлось думать о новом счастье,— естественно было подумать, не может ли и оно быть найдено все в нем же. Конечно, может. Нужна же ему любовница. Он содержит любовницу. И как она живет! Мало любовниц, которые живут так прекрасно! — Ни одна, может быть. Для круга, воспитавшего Мери, любовница Виктора Львовича была занимательнейшим лицом на свете, после самого Виктора Львовича. Ее роскошь,— то есть ее счастье, это был самый главный предмет удивления, поклонения, зависти. О том, как счастлив сам Виктор Львович, уже нечего рассуждать. Илатонцевы — это люди совершенно особой породы, им уже по природе должно быть такими счастливыми, с их судьбою нечего сравнивать свою. Но любовница Виктора Львовича — другое дело. Еще недавно сама бегала в лавочку попросить в долг два фунтика сахару. Выросла в бедности, не то что выше,— куда! — Была гораздо хуже их самих, рассуждающих теперь о ней... С ее счастьем можно было сравнивать свою долю, ее счастью следовало удивляться, завидовать... Все,— и сам дядя,— указывали ее Мери: «Гляди-ко, Машенька, это вот она едет в коляске-то»... А о ее квартире, сервизах, о нарядах, в каких она ездит на маскарады, по театрам, Мери знала едва ли не точнее, нежели она сама.— И давно ли она любовницею Виктора Львовича? Всего-то года полтора. Прежде была другая, такая же счастливая; та сама виновата: стала

слишком открыто кутить с другими. И эта надолго ли? Тоже дура, выведет из терпения Виктора Львовича. Он уже и слышит о ней кое-что, но пока еще снисходит, потому что имеет слишком доброе сердце,— и она заговаривает его, оправдается, или хоть и не оправдается, выпросит прощение. Ну да не надолго же...

Таким образом, все было готовое даваемо Мери от ее воспитателей и воспитательниц, нравственных людей: внушен идеал счастья, указано и где найти его; вот вакансия,— он уже или ищет, или скоро будет искать новую любовницу... «Почему ж бы не взять ему меня?» — подумала Мери и стала засматриваться на себя в зеркало. Можно взять ее. Она не хуже — даже лучше этой его любовницы.

Да он и сам думает так. Он сам говорит ее дяде: «А какая прелесть становится ваша Машенька, Иван Антоныч».— Дядя всегда сообщал об этом всем, и все после того сообщали Мери, которой уже было сообщено и прямо самим дядею.

«Надобно только захотеть, и он сейчас же променяет ее на меня»,— думала Мери. Только захотеть... И как же не захотеть? Жить так счастливо! — Да и сам он такой, что нельзя не признаться: это чудо, что за любовник!.. Весь кружок, воспитавший дядю, находил, что нет на свете человека, которого было бы можно сравнить с Виктором Львовичем в каком бы то ни было отношении: по уму ли, по манерам ли,— по походке ли, по разговору ли,— по всему, первый между всеми, и лицом то же самое: чудо, да и только!.. Это было лакейское обожание. Но действительно, Виктор Львович и теперь по лицу еще довольно молодой мужчина и красивый. Тогда было ему тридцать пять, тридцать шесть лет.

«Только захотеть, и он променяет ее на меня»,— думала Мери. Как это сделать? — Надобно начать кокетничать с ним. Надобно. Мери решилась.

Во всем этом еще не было ровно ничего своего,— не только от своего сердца, даже из своей головы. Все это были чужие мысли, чужие стремления, вбитые в голову Мери разговорами и вздохами нравственных людей, ее дяди с его кружком. Они вздыхали от любви к богатству, и оставались бедны,— поклонялись всякому пошлому успеху, и оставались честны в поступках,— потому что от природы были слабы умом, робки сердцем, вялы волею; неспособные ни рисковать, ни даже пожелать энергиче-

ски, они оправдывали свою апатию и трусость бессмысленным набором слов и не умели понимать, что лгут сами перед собою. Мери разобрала их истинные убеждения сквозь пустые фразы, которыми они возвеличивали свое бессилие. Идеал счастья был вложен в ее мысли готовый. Дорога к счастью указана. Все было чужое внушение. Своего было только уменье понять и отвага идти.

Она была отважна. Но она была скромна по привычке и совершенно неопытна в кокетстве. Она превосходно знала его понаслышке, отчасти по наблюдению. Но и не умела, и стыдилась, и робела. Каждое утро она думала: «Ныне, как придет Виктор Львович играть с Наденькою,— и если тут не будет Шарлотты Осиповны,— начну кокетничать с ним».— Он приходил, и Шарлотты Осиповны вовсе не было тут, или она выходила распорядиться по хозяйству; — и он уходил, и она могла только досадовать на свою трусость: он не заметил ничего, и нечего было ему заметить... Тем больше она мечтала, и тем живее рисовалось все в ее мечтах; вот она кокетничает с ним; вот он завлечен, и она говорит: «О, пощадите меня!» — а сама падает в его объятия. Голова разгоралась, и сердце стало трепетать, и его трепет был так приятен... Девушка обольстилась кружевными платьями, а теперь становились привлекательны ей сами любовные сцены. Милее, нежели о брильянтах, стало мечтать ей о самом любовнике. Прижаться грудью к его груди — какое, должно быть, это наслаждение, когда и от мыслей так приятно бьется сердце! О, какое будет это блаженство обнимать его!.. Но достижимо ли оно? Что, если он отвергнет ее? Захочет ли он променять на нее свою любовницу? — Мери начинала мечтать с уверенностью в успехе,— и через полчаса доходила до отчаяния: его любовница так умеет нравиться, а она так робка!.. День за днем проходил в колебании между самонадеянностью и сомнением, в смелых планах и застенчивом бездействии.— И вдруг новость, такая, что и победа верна и нельзя медлить: нет соперницы! — Любовница Виктора Львовича давно пробовала заводить у себя карточные вечера. Он запрещал. Она все-таки окончательно вошла в компанию с шайкою шулеров и превратила свою квартиру в игорный дом.— «Я не могу жить с женщиною, которая участвует в грабеже»,— сказал он.— «Как тебе угодно»,— отвечала она. Он бросил ее. Он стал ездить к актрисе, которая не хочет

стеснять своей свободы, каждый вечер делает выбор между своими поклонниками, кто из них привлечет ее каприз. Эта актриса не соперница. Его сердце свободно. Но он не умеет долго сохранять его свободным. Надобно спешить, пока у него еще нет новой привязанности. Завтра же она улыбнется ему скромно и заманчиво, взглянет на него томно,— и завтра же он будет принадлежать ей!.. Пришло завтра, и прошло,— и день шел за днем, и она видела его и робела взглянуть на него, и вечер за вечером пролетал все только в мечтах, что это будет завтра. Теперь вечера летели в мечтах, часы, как минуты: успех был так верен, страстные сцены так близки,— и сердце билось сильнее, сильнее, и от его трепетания начинала волноваться кровь, и ее волнение стало усиливаться до того, что по всему телу распространялась теплота. Мечты уже переходили в грезы, и мысли мутились.— «Завтра же, завтра же»,— и опять завтра приходило и проходило, и она не кокетничала с ним... Конечно, если б она и умела, она уже не имела бы сил кокетничать, когда уже было так, не прежние мечты, а грезы. Она могла только броситься обнимать его.

Теперь его рассказ, давший мне возможность вырвать у нее это признание, признание в том, что она не только хотела тогда сделаться его любовницею, но и прониклась живым влечением к нему, что начавши, по чужому внушению, мыслями об экипажах, кружевах, она стала мечтать о любви.

Он замечал, что Мери, прежде всегда свободная, бойкая с ним, часто и резвая при нем, совсем переменилась: взойдет он в комнату дочери, и Мери играла с нею. Мери покраснеет и бросит игру; протянет он руку поздороваться, Мери принимает его руку тихо, робко. Пока он сидит тут, с дочерью, Мери держится в стороне.— Перемена, какой и следовало ожидать от умной, скромной девушки в ее лета: стала помнить, что она уже взрослая девушка, что бойкость была бы теперь нескромностью, резвость — ветреностью.

Однажды, вернувшись домой на рассвете,— вероятно, от актрисы, принявшей его в число своих поклонников, он проснулся очень поздно. «Ушла Шарлотта Осиповна гулять?» — спросил он Ивана Антоныча, когда тот принес ему чай. Madame Lenoir уходила около этого времени,— часу во втором,— гулять с Надеждою Викторовною.

Но дел по хозяйству было много, она не могла соблюдать большой правильности во времени этой прогулки: раньше, позже, как удастся.— «Не знаю, а кажется, еще не ушла. Пойду, взгляну»,— отвечал Иван Антоныч.— «Не трудитесь, пойду, увижу сам, не велик труд. Я только так спросил, думал, что знаете»,— сказал Виктор Львович; Иван Антоныч занялся осмотром платья, приготовленного барину к выезду, хорошо ли вычищено; а он выпил чашку и пошел к дочери.— «При madame Lenoir я был хорошим отцом,— заметил он: — Помнил о детях». Дочери не было в комнате, сидела одна Мери и шила что-то,— конечно, встала при его входе.— «Здравствуйте, Мери. А Шарлотта Осиповна с Наденькою, должно быть, ушли гулять?» — «Ушли, Виктор Львович»,— отвечала она,— ему показалось,— будто несколько задыхаясь. Он взглянул на нее хорошенько: она стояла бледная, и ему показалось, будто ее губы и руки дрожат.— «Да вы нездорова, Мери?» — «Да, Виктор Львович».— «Что с вами, лихорадка?» — «Да, Виктор Львович».— «Идите же в свою комнату и приляжьте, и попросите, чтобы съездили за медиком».— «Очень хорошо, Виктор Львович»,— сказала она и пошла,— сделала шаг, и пошатнулась. Он подхватил ее под руку, чтоб не упала. Рука была ни холодна, ни горяча: что за чудо, нет ни ознобу, ни жару, а вся дрожит и пошатнулась,— какая ж это лихорадка? — «Да это не лихорадка, Мери. Что́ вы чувствуете?» — «Я ничего не чувствую, Виктор Львович; покорно благодарю; я сама дойду, не ведите меня».— А сама дрожала больше и больше.— «И голова не болит, Мери?» — «Не болит, Вик...» — и не договорила, ноги подкосились. Он подвел ее к постельке Надежды Викторовны,— это было ближе всего,— усадил: — «Да что ж это с вами, Мери?» — «Ничего, Виктор Львович, не беспокойтесь. Это ничего. Я только испугалась».— «Чего же вам было пугаться? Нечего. Вы были, должно быть, расстроена чем-нибудь?» — «Нет, Виктор Львович; я ничего. Это так».— «Нет, я вижу, вы чем-то расстроена, Мери. Я скажу Шарлотте Осиповне, она поговорит с вами».— «Не надобно!» — воскликнула она.— «Вы боитесь Шарлотты Осиповны? Что ж это такое, Мери? Хорошо, я не буду говорить ей. А меня не боитесь?» — Она молчала, вся дрожала, сердце билось под корсетом, будто хотело разо-

рвать его.— «Посидите же тут, Мери, отдохните, постарайтесь успокоиться»,— сказал он и пошел, рассудив, что тут не место исповедывать ее: каждую минуту может войти какая-нибудь служанка в комнату madame Lenoir,— это рядом,— за какою-нибудь вещью, приготовленною по хозяйству,— за каким-нибудь столовым бельем, или мало ли там у них этаких надобностей и вещей? — Он вернулся в свои комнаты и отправил Ивана Антоныча из дому с поручением, какое первое вздумалось. Теперь здесь никто не помешает: другие слуги не суются без надобности, когда им сказано: «Я занят, не входить; кто приедет, меня нет дома»,— у одного Ивана Антоныча привилегия входить в его спальную и кабинет, как взбредет фантазия взглянуть в десятый раз, все ли в порядке, и нельзя ли еще прибрать что-нибудь, не найдется ли где пылинка.

Виктор Львович рассудил, что должен поговорить с Мери. С нею что-то странное: опасение, огорчение,— что-нибудь такое, какая-то внутренняя борьба. Чтоб она затеяла какую-нибудь шалость, этого не может быть: очень умная и совершенно скромная девушка. Но увлечение, это очень может быть. Такие лета. Конечно, лучше бы попросить madame Lenoir поговорить с нею. Но когда она так вскликнула: «Не надобно!» — И правда. У женщин всегда готовы выговоры. И притом же, хоть Мери и привыкла к Шарлотте Осиповне и любит ее, но все-таки Шарлотта Осиповна — чужая. Он — свой. Лучше поговорить с нею ему.

Это была его обязанность. Он всегда, со всеми, служившими у него, честно исполнял, насколько видел и мог,— честно исполнял обязанность быть опекуном, советником, другом людей, служивших ему. Он не мог не исполнять этого долга: таковы издавна были чувства Илатонцевых. Он не хотел быть недостойным своего отца, деда. И если б мог забывать свою обязанность, то не относительно Мери. Ее семейство десятки лет с полною преданностью служило роду Илатонцевых. Ее бабушка была его нянька; ее отец и мать, умирая, просили передать ему, что оставляют сироту на его попечение, и имели полное право требовать от него заботливости о ней. И она сама так ухаживает за его дочерью, радуется не нарадуется на его дочь; и такая умная, милая, хорошая девушка.

Она сидела, как он оставил ее, на постельке Наденьки,— видно, что совсем забылась в своих мыслях,— если

б не забыла в них обо всем, не осталась бы так сидеть, оправила бы постель своей барышни,— сидела, отшатнувшись на спинку кроватки, сложив руки на груди, закрыв глаза,— будто дремала. Бледность еще не совсем прошла, но дрожи уже не было: сложенные на груди руки тихо приподнимались и опускались от глубокого, но ровного дыхания. Можно было подумать, что она уснула; но она не спала: его шаги по ковру не были слышны, и он был еще далеко от нее, а она открыла глаза и встала, и по лицу разлилась краска.— «Я пришел за вами, Мери»,— сказал он ласково, но не подходя к ней ближе, чтобы не испугать ее застенчивости, взяв за руку или приласкавши,— а если бы подойти, он приласкал бы ее, такая милая была она в своей застенчивости: — «Я пришел за вами, Мери. Идите ко мне»,— он повернулся и пошел из комнаты. Он прошел несколько комнат, и ему заметилось, что не слышно ее шагов, а им уже должно было быть слышным в этих комнатах, на паркете без ковров, он оглянулся: так, она не идет за ним. Он пришел опять в комнату дочери. Мери стояла на прежнем месте, как стояла, будто приросла к нему, а лицо то бледнело, то краснело. Он взял ее за руку: — «Пойдемте же, Мери».— «Нет»,— прошептала она.— «Идите»,— он подвинул ее за руку, она и не сопротивлялась и не двигалась сама, она машинально уступала его руке, которая подвигала ее; — «Вот так, Мери; идите же вперед, а я за вами».— Он провел ее несколько шагов за руку, подвинул вперед, а сам остался сзади. Она шла,— сначала нетвердыми шагами, как будто все против воли, и плечи ее были опущены, стан не выпрямлен, будто пригнетался, но постепенно он выпрямился, и поступь стала тверда, стала легка; он шел сзади. Она вошла в его кабинет.— «Сядьте на этот диван, Мери»,— сказал он, затворяя за собою дверь. Она остановилась на его голос, но как шла через комнату, посредине, и обернулась. Лицо ее казалось спокойным, но горело, и грудь дышала ровно, но глубокими вдыханиями, и корсет бился, так стучало в него сердце,— так она стала и смотрела на него, как он подходил к ней,— глаза ее были широко раскрыты, блестели, но блеск их быстро померкал. Он подошел, взял ее за руку, подвести к дивану, усадить.— «Сядем, Мери»,— глаза ее померкли, и губы раскрывались,— он повел ее; она сделала несколько шагов и остановилась: она не могла ступать и качалась,

как опьянелая, ему все еще не казалось тут ничего особенного, он думал, это волнение робости,— робости перед признанием в каком-нибудь неосторожном поступке,— может быть, даже и тайном свидании: взрослая девушка, и не кокетничала; тем легче могла увлечься. Он обнял ее талью одною рукою,— не дать ей упасть: — «Не бойтесь, Мери: я защищу вас»,— сказал он. Она быстро ослабевала, опускалась на его руку, глаза ее закрылись, на лице явилось выражение томного блаженства,— теперь уже нельзя было долее ошибаться в характере ее волнения; но он не мог покинуть ее, хоть уже и понимал, что его прикосновение распаляет ее: она не держалась на ногах, она падала. Он должен был взять ее на руки. Она трепетала на его руках, она вся обвилась вокруг него, и вся трепетала, и стонала: «Что со мною?.. Умираю... умираю, люблю...» — По залу мог пройти кто-нибудь,— услышал бы. Он понес ее в следующую комнату,— в свою спальную, положил ее на свою постель,— кроме было некуда: ни дивана, ни большого кресла,— опустил ее на свою постель, она продолжала конвульсивно биться, стискивая его, он боялся оторваться от нее, чтобы пароксизм не перешел в раздражение отчаяния. Он оставался, нагнувшись, не выпуская ее из рук, она целовала его, он должен был принимать ее поцелуи, сам поцеловать ее.— «Неужели я обесчещу ее?» — подумалось ему, потому что он чувствовал, что его мысли начинают путаться. Но она стала изнемогать, успокоиваться, и шептала: «Ах, какое блаженство! Я думала, что я умру! Какое наслаждение! Я не предчувствовала! Но и прежде я уже полюбила! Не думала о подарках, о нарядах, только о любви! Ах, я еще не знала, какое это блаженство!» — Она целовала его уже только ласково, ее руки опускались, он мог теперь уложить ее и осторожно высвободиться, и сел подле постели. Как ему теперь говорить с нею? Как разочаровывать ее? Но она лежала, закрыв глаза, в совершенном утомлении. Он был рад, что ему есть время собраться с мыслями. Но что, если она тут уснет? — И возвратится дядя,— это еще ничего: сесть в кабинете и запереть эту дверь; Иван Антоныч привык не требовать объяснений и не подумает искать племянницу: она там, в той половине дома, по обыкновению, ему не о чем думать. Но возвратятся m-me Lenoir и Наденька: у обеих первый вопрос: а где же наша Мери? — А Мери, кажется, уже за-

дремала... Она дремала, но вдруг вскочила, подошла к зеркалу, оправила волоса.

— Я должна уйти. Ах, если бы вы знали, как я счастлива, что вы позволяете мне любить вас! — она покраснела, застыдилась.

— Я еще не любовник ваш, моя милая, добрая Мери.— Он чувствовал, что может влюбиться в нее, если отложит объяснение до другого времени. Когда он сидел подле ее постели и думал о том, как легче для нее разочаровать ее, он больше думал не об этом, а о том, как хороша она, и о том, что ее любовь к нему — не продажная, и у него мелькала мысль: «Если заснула, пусть спит,— и если б madame Lenoir вернулась и если б догадались, что Мери здесь,— тогда уже надобно было бы мне быть ее любовником». Он понял, что должен спешить, пока еще может разочаровать,— не ее только, а также и самого себя.— Милая моя Мери, мы с вами любим друг друга, но мы еще не любовник и любовница.

— Я знаю это, Виктор Львович,— сказала она и покраснела еще сильнее.— Я отдаю себя вам первому, Виктор Львович, но я не барышня,— простите меня, Виктор Львович, за то, что я наслушалась всего и в мыслях моих уже не было невинности; для вас я хотела бы быть невинная. Простите меня, что я не барышня.— Она говорила это со слезами. Против ее пароксизма он успел сохранять хладнокровие,— теперь вскочил обнять ее, но сделал над собой усилие и пошел к двери кабинета.— Перейдем туда, Мери, там, если и увидят вас, не беда.

Она приложила руку ко лбу,— закрыла лицо руками.— Виктор Львович, что вы сказали? — Там, если увидят меня, не беда? Так надобно, чтоб они и не знали, что я люблю вас? Я не должна любить вас? Боже мой, боже мой! — Вот почему я еще не любовница ваша! А я думала, это потому, что я была слаба, что вы побоялись, чтоб я в самом деле не умерла, когда я и без того умирала! Боже мой, боже мой! — едва слышно шептала она.— Взвизгнула она, как будто разорвалась ее грудь: — Боже мой! — и убежала.

Он пожалел, что разочарование вышло так резко, что ему не удалось растолковать ей, почему ей следует оставаться скромною девушкою: тогда его отказ не показался бы ей обиден;— вероятно, не был бы и очень огорчителен, потому что, конечно, это ребяческое увлечение,

и было бы довольно легко образумить ее. Но все-таки он был рад, что это кончилось так скоро, что миновала опасность забыть свою обязанность. Это была бы низость, отплатить за верную службу родных тем, чтобы обесчестить девушку, девушку, которой он должен быть опекуном. При первом случае он поговорит с нею, растолкует ей, что он не захотел быть ее любовником только потому, что желает ей добра.

За обедом он услышал от madame Lenoir, что Мери нездорова: медик был и говорит, что болезнь не важна, но что он предписал больной спокойствие. Больная ушла лежать в свою комнату. У нее была особенная комната, подле дядиной. Как идти туда? — подумал Виктор Львович. Нашел предлог сам увидеть медика, нашел случай вставить вопрос о Мери,— и сам услышал, что болезнь не важна. И потом продолжал слышать это. Не для чего было нарушать осторожность. Пусть найдется удобный случай.

Случай нашелся, дней через пять, шесть. И раньше всегда можно бы найти такой же, потому что Иван Антоныч безусловно доверчив к честности своего господина. Но раньше удерживала мысль, что еще рано: Мери может быть еще слишком расстроена. Но теперь, вероятно, она в состоянии понимать. Он вошел к Ивану Антонычу, сказал, что хочет взглянуть на больную, посидеть с нею. Иван Антоныч проникся благодарностью за такое расположение, проводил Виктора Львовича к больной. Мери сидела; — дядя заметил, что она уже ходит, не только сидит; она сказала, что она лежала, но услышала голос Виктора Львовича и встала, но что, впрочем, это нисколько не утомит: она вовсе не так слаба. Дядя не преминул заметить, что теперь у нее румянца, кажется больше, нежели было. Виктор Львович стал спрашивать о здоровье, о лекарствах, она отвечала, хорошо владея собою. Дядя присел по примеру Виктора Львовича; посидел минут пять; увидел, что Виктор Львович разговорился и, должно быть, засидится тут, поэтому отправился исполнять поручение, которое заблаговременно придумал Виктор Львович дать ему:— «Вы говорили, Виктор Львович, чтобы я ехал в двенадцатом часу, так вы меня извините, я поеду, а то будет поздно»,— и преспокойно ушел.

— Вы не сердитесь на меня, Мери? — сказал Виктор Львович.

— Нет, Виктор Львович; я теперь понимаю, что вы поступили благородно,— сказала она, не без смущения, но твердо.— Мне только стыдно за саму себя.

— Это были неблагоразумные мысли, Мери; но вы как были скромною девушкою, так и оставались. Вы не кокетничали. Вам нечего стыдиться. Но теперь вы понимаете, что вы хотели своей погибели?

— Понимаю, Виктор Львович.

Она была теперь так умна, как он и не надеялся бы. Он стал говорить ей, что доля, которая ждет ее, несравненно лучше, нежели судьба девушек, которые не остаются рассудительны: они, за недолгое веселье, расплачиваются горем на всю жизнь. Она выйдет замуж за человека, который будет искренне, всю жизнь любить ее, и т. д. и т. д.,— в такой жизни, как будет ее, и гораздо больше наслаждений. Правда, не будет роскоши, но будет полное изобилие, и она будет пользоваться всеобщим уважением.

— Я понимаю это, Виктор Львович. И мне стыдно, что я могла забыть об этом. Мне стыдно смотреть на вас. Господи, как я могла иметь такие дурные мысли! — Она плакала: — Ах, какою дурною девушкою хотела я быть!

— Это не были такие мысли, чтобы следовало назвать вас за них дурною девушкою. Только это было нерассудительно, как вы видите теперь сама.

— Нет, Виктор Львович, это было не по нерассудительности, и тем хуже...— и, заливаясь слезами, она стала признаваться ему, что она была соблазнена богатством, что она думала все только о роскоши. Он очень хорошо понимал, что эти действительно дурные мысли могли быть только началом, что после разгорелось искреннее, бескорыстное влечение, и все дурное сгорело в нем, осталась чистая любовь,— но высказывать такие возражения было бы неуместно; он сказал только, что теперь, когда она понимает все так умно, лучше всего ей и не вспоминать об этом.

— Это я забуду, Виктор Львович: но какими глазами я буду теперь смотреть на вас? Я думаю, мне нельзя оставаться у вас: как я буду смотреть на вас? Я и сказалась больною только поэтому. Я вовсе не была больна. Я так и сказала медику, что я здорова, что я только хочу не выходить из своей комнаты. Это потому, чтобы не видеть вас,— чтобы не ходить туда, к Надежде Викторовне,— чтобы не видеть вас. Боже мой, какой стыд,

какой это был припадок со мною! Что я такое в ваших глазах, когда я была в таком припадке?

Он сказал, что он уже не молодой человек и что ей нечего стыдиться перед ним, немолодым человеком, который обо всем, что видел, думает только одно: кокетки не держат себя так, и с ветреницею не могло быть ничего подобного. Он всегда знал, что она очень скромная девушка; теперь знает, она такая скромная, каких чрезвычайно мало. Так он смотрит на нее; пусть же она перестанет прятаться от его взгляда. Ей нечего стыдиться. Когда же она начнет опять играть с Наденькою?

— Не знаю, Виктор Львович,— отвечала она. Все время, как они остались одни, она не подымала глаз. Ему было понятно: эта застенчивость не от стыда только; столько же, или больше, от того, что еще не совсем заглохла любовь, которую она должна заглушить в себе. Тем тверже он помнил, что ему не следует ни говорить ласковее, ни засиживаться долее, нежели необходимо. Он ушел, сказав, что уверен, это скоро пройдет и он будет видеть ее по-прежнему веселую подле Наденьки.

Тем и кончился тогда для него этот маленький роман. Он зашел к madame Lenoir, чтобы она услышала об этом посещении от него же самого, а не через словоохотливость Ивана Антоныча; чтобы видела: ему не о чем молчать, это лишь его всегдашнее доброе расположение к ее любимице.— Я думаю, и без этой предосторожности madame Lenoir ничего не подумала бы. Она, вероятно, считает Виктора Львовича человеком слабым; но должна была знать, что он человек совершенно честный и не позволит себе волочиться за девушкою, которая живет под его защитою. Еще меньше могла она сомневаться в скромности и благоразумии Мери. Так и все в доме. Доктор говорил: «Она больна». Она и действительно бледнела, худела. Ее болезнь не возбуждала никаких подозрений.

Если в ней и оставалась хоть маленькая надежда, это посещение должно было окончательно рассеять мечты. Спустя несколько времени Виктор Львович стал приучать ее смотреть на него: когда madame Lenoir при нем говорила: «Пойду взглянуть на Мери», он говорил: «Пойду и я», и шел с madame Lenoir.— Понемножку Мери привыкла видеть его и тогда бросила свое затворничество.— Таков был рассказ Виктора Львовича, сделавший на меня глубокое впечатление, хоть нового в нем было

для меня только то, что эта первая страсть Мери была страстью к человеку, которого она сделала теперь своим любовником. Правда, в этом и заключается вся важность этой истории; это сильное оправдание для моей бедной Мери. Разумеется, новы были и подробности этого приключения, которых не могла она рассказать, не давая понять мне, в какой обстановке происходило все это, в чьих комнатах, и следовательно, кто был этот человек; эти подробности также имеют значение: какая трогательная чистота сердца бедненькой девушки! — Мечтала и горела,— и не решилась сказать завлекающего слова, бросить кокетливого взгляда; и упала в его объятия с лепетом: «Умираю» — и потом: «Я понимаю, Виктор Львович»,— понимаю, что не должна сметь любить... Однако пора спать. Снова продолжение до завтра. А думал, что допишу ныне. Допишу ли хоть завтра? Отчего пишу с такою охотою, так подробно?—Кроме того, что развитие характера Мери представляет большой психологический интерес, мне приятно, что мои мысли заняты моим жалким, но все-таки хорошим, благородным другом. А почему ж я гораздо меньше писал о ней, когда в тысячу раз нежнее любил ее? — Тогда думалось о ней и без помощи пера; а теперь тянет к перу, потому что без него труднее удерживать мысли на лице, хоть все еще милом, но уже слишком мало милом.

Из давнего разговора с нею.— «Вы говорили, Марья Дмитриевна, что ваша первая любовь была отвергнута».— «Что ж из этого?» — «Из этого ничего; но это само по себе странно».— Она засмеялась.— «Вы находите, что я должна была быть очень привлекательна в то давнее время? — Была. Но слишком молодые девушки не умеют заставлять любить себя. Я была девчонка, и оробела. Большая ошибка. Я была совершенно неопытна. Я не понимала, что он колебался, отвергая меня; что один мой взгляд, и он был бы у моих ног».— «Я спрашиваю: как же он мог отвергнуть вас?» — «Он был честный человек. Кажется, я уже рассказывала вам, что стала думать о любовнике вовсе не по влечению к любви, а по желанию жить в блеске, в роскоши. Размечтавшись, я влюбилась. Влюбившись, позабыла думать о бронзе и экипажах. Но любовник был выбран по моим прежним надобностям, по бездушным ребяческим мыслям о кружевах и брильянтах. Он был очень богатый человек. И я говорю вам, совершенно честный. Вот почему и отверг мою любовь».—

Она задумалась.— «Долго я не могла оправиться от этого удара. Но довольно скоро я поняла, что он не пренебрег мною, а пощадил меня по искреннему расположению ко мне, что он поступил со мною благородно, великодушно. Я должна была заглушить свою страсть, но нежность к нему долго оставалась во мне,— это было что-то вроде благоговения; это была какая-то экзальтированная признательность; это была потребность отплатить ему за его великодушие. Моя нежность к нему распространялась и на всех близких к нему. Их мне не запрещалось любить. Я полюбила их с безграничною преданностью».— Она говорила мне все, до последнего слова; у нее только недоставало силы произнесть его. Я видел после, что̀ было с нею, когда стало неизбежно произнесть его. Она не хотела скрывать от меня своего замысла; она столько раз начинала говорить, чтобы сделать это тяжелое признание,— и всегда, как в этом разговоре, изнемогала под тяжестью стыда за себя, безжалостная губительница своей чести!..

Из вчерашнего разговора с нею. «Мне поздно жалеть себя, Владимир Алексеич. Судьба была слишком безжалостна ко мне. Она не оставила во мне ничего, к чему я могла б иметь жалость. Зачем судьба обратила на унижение мне все, чем могла бы заслуживать уважение? Зачем она вложила в меня столько скромности, что я не могла ветреничать? Будь я хоть немножко кокетка, я поняла бы, что Виктор Львович готов был тогда принять мою любовь. Одно слово, один взгляд,— когда он пришел утешать меня, и он забыл бы вразумлять и утешать. Зачем я не понимала? И потом, когда, раздумывая, я поняла, зачем была так робка, зачем во мне было столько стыда? — Потому что долго,— я думаю, до самой разлуки нашей,— он оставался в моей власти. Один взгляд, и он упал бы в мои объятия, и я была бы счастлива навек и могла бы уважать себя: отдалась человеку, которого полюбила всею душою; и когда бред страсти прошел, осталась верна ему, искренне расположена к нему.— Или, если судьба хотела, чтоб моя первая любовь была отвергнута, зачем она дала мне столько силы и рассудительности, что я, наконец, подавила в себе это чувство, и мое растерзанное сердце зажило, и возродились в нем мечты о любви? И если судьба хотела, чтобы не сбылись они и, возрождаясь, возрождаясь, все никогда не сбывались, зачем она дала смелость искать счастья в наслаж-

дениях без любви? — Или, если она хотела так унизить меня, зачем она вложила в меня такое живое чувство чести? Зачем оно беспрестанно пробуждалось, и мучило, и мучит меня за мой позор? — Девушке, которая была обманута несколькими любовниками и почти всеми ими была оскорбляема,— девушке, которая в отчаянии бросалась забываться в повесничествах и понимает, какое это бесчестье,— такой девушке нечего жалеть себя».— Эти приключения, на которые так несправедливо и так упрямо ссылается она, записаны у меня.

Из разговора с нею ныне утром. «Этот замысел,— ужасный, по вашему мнению,— приобрел свои ужасные черты постепенно, одну за другою. Первая мысль была проста и так согласна с тем, чего требуете вы теперь, что мне отрадно отвечать на ваш вопрос. Вы знаете, я очень много веселилась; и если б только это, разумеется, я не вздумала бы отказаться от свободы. Но глупое сердце продолжало хотеть привязанности; да еще какой? — Сентиментальной, чуть не платонической. Что вы прикажете делать? — Как разгоню свое огорчение повесничеством, смотришь, опять полюблю! Искренне любить — это плохо для всякой женщины,— тем больше для беззащитной, хоть и смелой,— для небезукоризненной, хоть по вашему мнению и бывшей тогда благородною,— по вашему только, ни по чьему больше. Я говорю об искреннем мнении. На словах, пожалуй, многие согласны с тем, что вы говорите. Но чувствуют не так. Девушка, которая отдается мужчине без свадьбы, бесчестная девушка в глазах самого этого человека. Так он и обращается с нею. Она легкомысленна или бесстыдна, по его мнению. На ее слово нельзя положиться. Она обманщица или готова стать обманщицею. Чуть не воровка. Так он и обращается с нею. Может целовать ее руки и ноги,— но может обманывать этой экзальтациею разве сам себя,— будто бы не презирает ее. Она, как только пройдет первый пыл, сейчас видит,— если не совсем глупа и пуста: он не верит ей, не уважает ее. Она слышит от него оскорбительные слова пошлых сомнений. Потом начинаются всяческие обиды. Поверьте, Владимир Алексеич, вы проповедуете свободу любви для женщин только потому, что мало знаете, каковы мужчины, когда не связаны формально обязанностью уважать женщину... Я была горда; я не могла выдерживать таких отношений,— разрывала их, а сердце терза-

лось. И, наконец, стало надоедать это. «Брошу эту бурную жизнь. Лучше пусть уже без любви, лишь бы поспокойнее». Без любви, конечно, можно жить с любовником, не имея горя и не подвергаясь обидам: держать его в руках, это очень легко, когда не любишь его. Я стала думать об этом. Внешнего блеска для парада перед другими мне уже не было надобно в это время. В семнадцать лет я была девчонка, не знала цены себе, и вкус у меня еще не развился. Но теперь я уже давным-давно презирала всю лишнюю мишуру, не желала брильянтов, которые, право, ничем не лучше грошевых страз и гораздо хуже ленточки, которая почти ничего не стоит,— цветочка, листочка, который и вовсе ничего не стоит. Если бы вы видели меня такою, как я наряжалась, бывало, для загородного гулянья, вы не подумали бы,— как, может быть, думаете теперь,— что я только хвалюсь, будто бы не желала брильянтов! Вы увидели бы, нужны ли они хорошенькой женщине! О, я умела наряжаться, Владимир Алексеич! — Ах, теперь не то! — Сердце состарилось! Как-то не приходило в голову принарядиться и для вас, хоть я очень любила вас; или если приходило, то или недосуг, или забудешь, или поленишься. А тогда для кого я наряжалась? — Ни для кого, разумеется. Когда, бывало, бываешь влюблена, конечно, скучно проводить по целому часу перед зеркалом. Но когда не о чем и не о ком было думать,— о, я умела наряжаться! — Ни для кого, потому что для всех это значит ни для кого, для себя самой; да, саму это тешило!

«И это было всего два года назад! Вы видите, и в двадцать лет я была еще довольно пустою девчонкою. Но уже знала цену себе и не желала мишурной роскоши. А рассудительна была я с детства. Если не любить, то можно держать любовника в руках; пусть, это правда» [1].

---

[1] На этом рукопись обрывается. *(Ред.)*

## ПРИМЕЧАНИЯ

«Пролог» написан Н. Г. Чернышевским на каторге в Сибири в 1867—1870 гг. 12 января 1871 г. рукопись «Пролога» была отослана Чернышевским, находившимся в это время в Нерчинских рудниках, на Александровском заводе, в Петербург жене, для передачи его двоюродному брату, историку литературы А. Н. Пыпину, которому в письме великий революционер-демократ поручал издание романа.

Чернышевский рассматривал «Пролог» как вторую часть задуманной им трилогии, в которую, кроме «Пролога», входили не дошедшие до нас романы «Старина» и «Рассказы из Белого зала» (или «Чтения в Белом зале»). Каждый из этих романов, являясь законченным и самостоятельным произведением, был вместе с тем связан с другими по содержанию.

Рукопись первой части цикла — романа «Старина» — Чернышевский послал из Сибири Пыпину в 1866 г. Рукопись, по-видимому, дошла до Петербурга. Однако, по свидетельству русского переводчика «Капитала» К. Маркса, Н. Даниельсона, Пыпин (или кто-то другой из представителей либерально-буржуазного лагеря) из боязни полицейских преследований за хранение рукописи Чернышевского сжег ее («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-е, 1951, стр. 92). Последняя часть трилогии — «Рассказы из Белого зала» — не была завершена Чернышевским. По воспоминаниям лиц, находившихся вместе с Чернышевским в Сибири, он был вынужден уничтожить все, написанное им для этой части, в Вилюйске, во время ожидавшегося обыска, чтобы рукопись не попала в руки царских жандармов. Таким образом, из трилогии до нас дошел только «Пролог».

О содержании «Старины» и «Рассказов из Белого зала» мы можем судить по воспоминаниям лиц, отбывавших каторгу вместе с Чернышевским и слышавших эти романы в его чтении (см. П. Ф. Николаев, Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге, М. 1906, стр. 45—47; С. Г. Стахевич, Среди политических преступников, Н. Г. Чернышевский. Сб. «Н. Г. Чернышевский», М. 1928, стр.68 —74, и В. Н. Шаганов, Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке, СПб. 1907, стр. 19—25).

В основу «Старины» легли художественно переработанные впечатления и наблюдения Чернышевского, которые он вынес из своей жизни в Саратове в 1851—1853 гг. Чернышевский изображал здесь приезд молодого революционера Волгина после окончания Петербургского университета в родной приволжский город. По дороге на родину Волгин оказывается свидетелем того, как мужественная, энергичная девушка во время ледохода спасает утопающего. Эта девушка становится в дальнейшем женой Волгина.

Роман давал широкую картину быта русского провинциального города в годы, предшествовавшие Крымской войне. В нем рисовались типы представителей тогдашней администрации и различных сословий, характеризовался рост антидворянских и антикрепостнических настроений. На этом фоне Чернышевский изображал умственное развитие Волгина, его конфликт с родителями и окружающей средой. Завершался роман описанием крестьянского бунта, для подавления которого правительство вынуждено призвать войска; после подавления восстания Волгин помогает скрыться руководителю бунтовавших крестьян. Последний оказывается тем самым человеком, которого когда-то спасла Волгина. Волгину и его жене, замешанным в историю спасения руководителя восстания, приходится уехать в Петербург, где мы и встречаемся с ними через несколько лет на страницах «Пролога».

Как и «Старина», «Пролог», несмотря на настойчивое желание Чернышевского опубликовать роман в России или за границей, не был Пыпиным напечатан. Первая его часть — «Пролог пролога» — была опубликована в 1877 г. в Лондоне русским революционером-эмигрантом П. Л. Лавровым по копии, снятой с авторской рукописи революционером М. Д. Муравским, находившимся на Александровском заводе одновременно с Чернышевским. Свой список Муравский доставил Глебу Успенскому, который передал его Г. А. Лопатину, приезжавшему из-за границы в Россию для содействия освобождению Чернышевского. После неудачи предпринятой им попытки увезти Чернышевского Лопатин, возвращаясь в Лондон, взял с собой список Муравского и передал Лаврову. В судьбе Чернышевского и в издании его сочинений за границей принимали в это время горячее участие К. Маркс и Ф. Энгельс, которые, возможно, непосредственно

содействовали и опубликованию «Пролога», так же как за несколько лет до этого Маркс содействовал изданию другого выдающегося сочинения Чернышевского — его «Писем без адреса».

В России обе части «Пролога» оставались под цензурным запретом до революции 1905 г. Они были изданы впервые по автографу сыном великого писателя М. Н. Чернышевским в 1906 г.

В основу настоящего издания романа положен текст, подготовленный А. П. Скафтымовым и Н. М. Чернышевской-Быстровой для издания 1936 г. («Academia», М.—Л. 1936), который повторен в т. XIII «Полного собрания сочинений» Н. Г. Чернышевского (Гослитиздат, М. 1949), с исправлением вкравшихся в него мелких неточностей и опечаток.

Стр. 25. *Они были жена и муж.*— Образы главных героев «Пролога» имеют не только широкий типический смысл. При обрисовке многих из своих героев Чернышевский опирался на реальные черты виднейших деятелей эпохи [1].

Как уже указывалось во вступительной статье, образ Волгина наделен многими чертами самого автора. Внешний облик его — «бледноватый мужчина» «в золотых очках», его манера обращаться с людьми, смех, его работа по ночам, отношение к жене и сыну — все это совпадает с тем, что известно о Чернышевском по воспоминаниям современников. В уста Волгина в романе вложен ряд высказываний, отражающих важнейшие общественно-политические идеи Чернышевского — его глубокое презрение к либералам, недоверие к правительству и подготовляемым им реформам, убеждение в праве крестьян на помещичью землю и в том, что освобождение народа может быть достигнуто лишь революционным путем, в результате крестьянской революции. Но Волгин, конечно, не простая фотография Чернышевского конца 1850-х гг., а художественный образ, в котором историческая правда, как и в других персонажах романа, сочетается с вымыслом. Некоторые свои взгляды, особенно во второй половине романа, Чернышевский приписывает не Волгину, а Левицкому. Кроме того, Чернышевский, которому была свойственна большая личная скромность и требовательность к себе, вносит в изображение поступков Волгина и его манеры держать себя в обществе значительную долю иронии.

В образе Волгиной Чернышевский (как он сам указал в посвящении к роману) стремился создать памятник своей горячо любимой

[1] Детальное сопоставление персонажей романа с их историческими прототипами сделано А. П. Скафтымовым в его «Исторических пояснениях к персонажам романа» (см. вышеуказанное издание романа — «Academia», М.—Л. 1936, стр. 479—533).

жене О. С. Чернышевской. Чернышевский видел в ней не только своего верного товарища, но и воплощение типа передовой русской женщины, созданного эпохой подъема разночинско-демократического освободительного движения.

Стр. 26. *...тоже в золотых очках.*— Второй из главных героев «Пролога» — Левицкий — представляет в очень многом близкий портрет друга и соратника Чернышевского Н. А. Добролюбова. В отношении Волгина к Левицкому отразилась любовь великого писателя к Добролюбову, о котором после его смерти Чернышевский писал: «...невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих» (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 852).

Чернышевский не придерживается точно фактической стороны истории своего знакомства с Добролюбовым, он воспользовался лишь теми фактами биографии Добролюбова, которые соответствовали его идейному и художественному замыслу, дополняя их вымышленными эпизодами. Свою задачу Чернышевский видел в воссоздании прежде всего интеллектуального облика молодого Добролюбова, его стремлений, мыслей и чувств как типического, лучшего представителя революционных демократов 60-х гг.

Чернышевский познакомился с Добролюбовым не в 1857 г., как изображается в романе, а в апреле — июне 1856 г. Добролюбов был в это время (как и Левицкий в «Прологе») студентом Главного Педагогического института. В 1857 г. ему, так же как Левицкому, исполнялся двадцать один год. За революционные убеждения и борьбу против казарменных порядков, царивших в институте, Добролюбова преследовало институтское начальство, но как талантливого студента его поддерживали профессора, добившиеся заступничества за него товарища министра народного просвещения П. А. Вяземского (об этом говорится в романе). Вокруг Добролюбова, как и вокруг Левицкого, в институте группировался кружок передовой молодежи. Познакомившись с Добролюбовым, Чернышевский с первого свидания убедился в общности их основных взглядов, а первая работа Добролюбова для «Современника» (прочитанная Чернышевским перед их личной встречей) заставила его оценить огромный литературный талант Добролюбова. Однако, несмотря на то, что Чернышевский очень нуждался в Добролюбове как в сотруднике для журнала, он посоветовал ему отложить свое участие в «Современнике» на год, до окончания института, боясь, что оно может оказаться для Добролюбова гибельным, поскольку он уже раньше находился на политическом подозрении у институтского начальства. Таковы основные факты биографии

Добролюбова, использованные в романе. Другие факты внешней биографии Левицкого вымышлены. Так, хотя Добролюбов и был в 1857 г. учителем сыновей князя А. Б. Куракина (которому в романе соответствует Илатонцев), но после окончания института, летом 1857 г., он ездил не в деревню к Куракину, а на родину в Нижний-Новгород.

Стр. 29. *...когда бываю у Рязанцева.*— Рязанцеву Чернышевский придал черты одного из наиболее характерных представителей либерализма 50—60-х гг.— профессора-историка и юриста К. Д. Кавелина (1818—1885), о котором В. И. Ленин писал, что это был «один из отвратительнейших типов либерального хамства» (Сочинения, т. 18, стр. 13). Ленин считал Чернышевского и Кавелина основными, наиболее яркими представителями боровшихся в России 60-х гг. противоположных тенденций — революционно-демократической и либерально-монархической, реформистской.

Чернышевский познакомился с Кавелиным в 1850 г., а в годы, описанные в романе, часто встречался с ним. Относясь «с уважением» к Кавелину лично («Русская старина», 1904, № 9, стр. 527), Чернышевский иронизировал над его либеральным «благодушеством» (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 409). По словам Стахевича, Чернышевский вспоминал на каторге, как он сам и его ближайшие единомышленники на собраниях у Кавелина «любили напоминать о топорах» (С. Г. С т а х е в и ч, Среди политических преступников, стр. 101). В известном письме к Добролюбову от конца июня 1859 г., рассказывая о своих впечатлениях от встречи в Лондоне с Герценом (выявившей их разногласия), Чернышевский воспользовался для характеристики колебаний Герцена к либерализму именем Кавелина, назвав Герцена «Кавелиным в квадрате» (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 379). По замечанию М. А. Антоновича, «Кавелин представлял диаметральную противоположность Н. Г. в умственном отношении, во всех общих воззрениях и частных взглядах...» («Шестидесятые годы в воспоминаниях М. Антоновича и Г. Елисеева», М.—Л. 1933, стр. 47).

*Савелов.*— В образе Савелова отражены черты видного деятеля крестьянской реформы Н. А. Милютина (1818—1872), идеализированного впоследствии буржуазной историографией. Выразитель стремлений буржуазной части дворянства, Милютин был врагом конституции и считал, что реформа должна быть проводима бюрократическим путем «сверху», без ущерба для помещиков и самодержавия. История взаимоотношений Савелова с женой не имеет прямой аналогии в жизни Милютина: эта история позволила Чернышевскому обрисовать ничтожество либералов типа Савелова как в общественной, так и в личной жизни.

Стр. 32. *Нивельзин.*— По свидетельству современника (см. Л. Ф. П а н т е л е е в, Из воспоминаний прошлого, СПб. 1905,

стр. 327), для образа Нивельзина Чернышевский, вероятно, воспользовался чертами одного из членов тайного революционного общества «Великорусс» В. Ф. Лугинина (1834—1911). Дворянин по происхождению, В. Ф. Лугинин служил на военной службе, окончил артиллерийскую академию. В начале 60-х гг. он уехал за границу, где сблизился с Герценом и Огаревым. В 1867 г. вернулся в Россию, вел научную работу в области химии. Об отношениях В. Ф. Лугинина с Чернышевским точных сведений нет.

*...петербургских прогрессистов.*— «Прогрессистами» здесь и ниже Чернышевский называет своих политических противников — либералов, сторонников реформ Александра II. Тема сатирического обличения либерального «прогрессизма» была в 1859—1860 гг. одной из основных тем добролюбовского «Свистка» (см. стихотворения Добролюбова «Наш демон», «Мое обращение», «Чернь», «Дружеская переписка Москвы с Петербургом» и т. д.). Именуя иронически либералов 60-х гг. «прогрессистами», Чернышевский подчеркивает единство оценки либералов в «Современнике» конца 50-х — начала 60-х годов и в «Прологе».

Стр. 40. *Пальто* — здесь широкий сюртук, род домашней мужской одежды.

Стр. 54. *Пока не требует поэта...*— из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

Стр. 56. *...упадок духа в парижских работниках очень велик.*— После кровавого подавления буржуазией июньского восстания 1848 г. парижский пролетариат долго не мог оправиться. Новый подъем рабочего движения начался во Франции в 60-е гг. и завершился Парижской Коммуной 1871 г.

Стр. 73. *...со смыслом человек. Будет работать...*— Чернышевский впервые услышал о Добролюбове в 1855 г. от И. И. Срезневского. В апреле — июне 1856 г. бывший ученик Чернышевского по саратовской гимназии Н. П. Турчанинов передал Чернышевскому статью Добролюбова о «Собеседнике любителей российского слова». Статья сразу обратила на себя внимание Чернышевского, и он пригласил Добролюбова к себе. Свидание продолжалось долго и показало единомыслие Чернышевского и Добролюбова в основных философских и политических вопросах (см. воспоминания Чернышевского об этом свидании — Полн. собр. соч., т. I, стр. 755—757).

Стр. 83. *Базар* Сент-Аман (1791—1832) — французский республиканец, с 1825 г.— последователь утопического социализма Сен-Симона. После смерти Сен-Симона Базар вместе с Анфантеном возглавил движение сен-симонистов. Оценку сен-симонистов, в том числе Базара, Чернышевский дал в статье «Июльская монархия» (1860).

Стр. 84. *Ох, экзальтация!*— 12 мая 1839 г. в Париже произошло восстание республиканцев, организованное тайным революционным «Обществом времен года». Вождями восстания были Л.-О. Бланки, А. Барбес и М. Бернар. Восстание потерпело поражение. Руководители его были арестованы, и их освободила из заключения только февральская революция 1848 г. Называя восстание 1839 г. «страшным уроком», Чернышевский подчеркивает, что революционное восстание может победить, только опираясь на поддержку широких народных масс, которые революционерам нужно уметь организовать на борьбу и повести за собой; для этого, кроме революционного энтузиазма, нужны «рассудок», «терпение», трезвый учет своих сил и сил противника.

*Анфантен* Бартелеми-Проспер (1796—1864) — французский социалист-утопист, ученик Сен-Симона, после смерти последнего — один из руководителей его школы. Способствовал вырождению сенсимонизма в религиозную секту и этим сыграл в истории французского утопического социализма реакционную роль. Чернышевский говорит об Анфантене, критикуя его «восторженность», «экзальтацию», «бессознательное театральничанье», проявившиеся в организации сенсимонистского «семейства», в статье «Июльская монархия» (1860) (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 172—184).

Стр. 85. *...по-прежнему и нетерпеливы, и нерешительны, и легковерны.*— Намеченная в этих словах m-me Ленуар оценка революции 1848 г. и объяснение причин ее поражения обстоятельно развиты в последующих размышлениях Волгина. См. стр. 140 и 147 романа, а также примечания к ним.

Стр. 104. *Не смей! — Она убежала.*— Для жены Чернышевского не был тайной его революционный образ мыслей. В феврале 1853 г. Чернышевский записал в своем дневнике разговор, который был у него с Ольгой Сократовной, тогда еще его невестой (на этот разговор он намекает здесь): «У меня такой образ мыслей,— говорил Чернышевский,— что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость...» «Кроме того, у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем...» «Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня» (Полн. собр. соч., т. I, стр. 418—419). И позднее жена Чернышевского, как и он сам, отдавала себе отчет в грозящей ему опасности. Это не испугало Ольгу Сократовну, сознававшую величие дела, которому отдал свою жизнь Чернышевский.

Стр. 105. *Бозио* Анджелина (1824—1859) — итальянская певица. В 1856 — 1859 гг. пела в Петербурге, в Итальянской опере.

*В те времена русские прогрессисты любили русскую молодежь.*— Чернышевский намекает на перелом, происшедший в 1861—1863-х гг.

во взаимоотношениях между либералами и разночинско-демократической молодежью. В 1856—1859-х гг. либералы еще смотрели на себя как на признанных «вождей» русского общества и постоянно заявляли о своем сочувствии требованиям молодежи, которую они стремились подчинить своему влиянию. В последующий период, когда выявился демократический характер движения передовой молодежи 60-х гг. и влияние на нее «Современника», либеральная печать открыла поход против «нигилистов». Многочисленные факты об отношении Кавелина и либеральной профессуры к студенчеству в конце 50-х — начале 60-х гг. содержат воспоминания современников (см., например, Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, СПб. 1905, стр. 110—113, 186—188 и др.).

Стр. 110. *...с поручениями в Лондон.*— Рязанцев подозревает, что Волгин поддерживает связь с Герценом и Огаревым и что он посылал Нивельзина в Лондон с поручениями к ним.

Стр. 139. *Кто не старается заискать в Лондоне?* — Период, описанный в романе,— время широкого распространения и влияния в России лондонских изданий Герцена. Весной 1857 г. Герцен начал подготовку к изданию «Колокола», первый номер которого вышел 1 июля 1857 г. «Явился новый страх — Герцен; явилась новая служебная совесть — Герцен; явился новый идол — Герцен... Никто не смел помышлять о сопротивлении Герцену»,— с нескрываемым раздражением писал об этом времени реакционер В. П. Мещерский («Мои воспоминания», ч. 1, СПб. 1897, стр. 67—71). Желание Рязанцева снискать милость «в Лондоне» отражает заискиванье либералов перед Герценом в годы, предшествовавшие крестьянской реформе. Из дальнейших слов Нивельзина видно, что Савелов, пользуясь своим служебным положением, знакомит Рязанцева, а через его посредство Герцена, с правительственными документами, которые Герцен публикует в «Колоколе». Так поступали в первые годы издания «Колокола» многие либералы и даже представители правительственных сфер, впоследствии отшатнувшиеся от Герцена.

Стр. 140. *...в 1848 году и 2 декабря?* — Французских республиканцев 1848 г. Чернышевский критиковал за то, что они пренебрегали материальными потребностями народа и желали ограничиться «чисто политическими преобразованиями без изменений в гражданских отношениях между классом капиталистов с одной стороны, классом, живущим наемной работой,— с другой» (Полн. собр. соч., т. V, стр. 12). Эту мысль Чернышевский развивал в статьях «Июльская монархия» и «Кавеньяк» (1858). Во второй из этих статей Чернышевский доказывал, что буржуазные республиканцы во Франции кровавым подавлением июньского восстания 1848 г. расчистили путь Наполеону III. 2 декабря 1851 г. президент французской республики

Луи-Наполеон Бонапарт при поддержке буржуазии совершил контрреволюционный переворот, провозгласив себя императором под именем Наполеона III.

Стр. 147. *...разговор о 1848 годе.*— Анализируя события революции 1848 г. во Франции, Чернышевский приходил к выводу, что главной силой революции было «несколько десятков тысяч энергичных работников Парижа». Оружием парижских рабочих,— писал он,— «восторжествовало восстание и в июле 1830 и в феврале 1848 года» (Полн. собр. соч., т. V, стр. 12). Однако парижские рабочие не знали ясно, какими средствами может быть улучшено их положение. Кроме того, в самом рабочем классе революционная часть составляла меньшинство, а крестьянство в массе оставалось настроенным консервативно: «Французские поселяне заслужили всесветную репутацию тем, что их тупою силою были задушены все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции» (там же, т. VII, стр. 875). Из-за этой слабости французских трудящихся — справедливо утверждал Чернышевский — буржуазные республиканцы в феврале 1848 г. захватили власть, а в июне смогли потопить в крови восстание парижского пролетариата. Поэтому Чернышевский и считал, что февральская революция произошла «прежде времени», то есть до завоевания революционной партией влияния на массы, без чего, как сознавал Чернышевский, невозможна победа революции.

*Вот хвастуны-то, вот болтуны-то, вот дурачье-то!* — По поводу даваемой здесь Чернышевским устами Волгина оценки крестьянской реформы и уничтожающей критики либералов В. И. Ленин писал: «Крестьянскую реформу» 61-го года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он назвал *мерзостью,* ибо он ясно видел ее крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обдирают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал *«болтунами, хвастунами и дурачьем»*, ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими» (Сочинения, т. 17, стр. 97).

Стр. 150. *Литературного таланта у меня нет.*— Волгин повторяет здесь ту несправедливо суровую авторскую оценку своего художественного дарования, которую Чернышевский дал в предисловии к «Что делать?» («У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! Прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей...» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 11). Необычайная скромность в оценке своего литературного дарования характерна и для ряда высказываний Чернышевского о Добролюбове: так же, как в романе Волгин ставит литературный талант Левицкого выше своего, Чернышевский неизменно

подчеркивал превосходство над собой Добролюбова не только в смысле литературной одаренности, но и в других отношениях (см. Полн. собр. соч., т. X, стр. 120—123).

Стр. 157. *Corso* — главная улица в Риме, место вечерних прогулок горожан.

Стр. 159. *Забастовать* — заставить сдаться, сложить оружие (от термина, употреблявшегося в карточной игре: бастовать при проигрыше).

*Соколовский.*— Прообразом Соколовского является друг Чернышевского, польский революционер С. И. Сераковский (1826—1863). Арестованный царским правительством в 1848 г. (обстоятельства его ареста рассказывает в романе Волгин), Сераковский был сослан рядовым в Оренбургский корпус, где познакомился с Т. Г. Шевченко. При возвращении в Петербург в 1857 г. Сераковский был прикомандирован к Академии Генерального штаба. Он сделал много для отмены телесных наказаний в русской армии. С Чернышевским Сераковский познакомился в 1855 г. Испытав вначале, как и Соколовский в романе, колебания между либералами и Чернышевским, Сераковский стал вскоре другом и единомышленником великого революционера-демократа. По словам современника, Чернышевский высоко ценил Сераковского «за ум и многостороннее образование» (Н. Н и к о л а д з е, Воспоминания о шестидесятых годах, «Каторга и ссылка», 1927, № 34(5), стр. 31). Сераковский принимал участие в создании революционной организации среди польских офицеров, участвовал в обществе «Земля и воля» и погиб как революционер — участник польского восстания 1863 г. Взятый в плен, он был повешен по приказанию Муравьева. Памяти его посвятил статью А. И. Герцен, с которым Сераковский подружился в 1860 г.

Стр. 182. *...выведен из терпения.*— Критик и публицист, сотрудник «Современника» М. А. Антонович так вспоминает о первом свидании Чернышевского с Сераковским, который явился к Чернышевскому, еще не освободившись от либеральных иллюзий: «Сераковский просто был возмущен и взбешен приемом Н. Г., когда он явился к нему в первый раз» («Шестидесятые годы в воспоминаниях М. Антоновича и Г. Елисеева», М.—Л. 1933, стр. 36).

Стр. 185. *...как тогда у прусского — Мемель.*— Возражая Соколовскому, что потрясение, вызванное Крымской войной, было недостаточно значительно, чтобы заставить правительство пойти на серьезные демократические уступки, Волгин повторяет мысль Чернышевского, высказанную им еще в 1862 г. в «Письмах без адреса». Чернышевский писал здесь:«Крымская война, при всех своих неудачах и при всей своей обременительности, не нанесла России удара слишком тяжелого. Неприятель едва коснулся наших границ на двух

окраинах... Не могло исчезнуть и в нас уважение к старому порядку: оно также только поколебалось, но не пало. Такова была степень глубины впечатления, обратившего нас к заботам о реформах. Оно было мелко, поверхностно» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 95—96).

Стр. 188. *...я не хочу помогать вашему проекту.*— Чернышевскому было свойственно ясное понимание того, что тактика революционной борьбы и поведение революционера должны строиться в строгом соответствии с конкретной исторической обстановкой. Он осуждал тех «прямолинейных революционеров, которые не умеют, да и не хотят принимать в соображение обстоятельства времени и места» (С. Г. Стахевич, Среди политических преступников, стр. 82). Эта точка зрения Чернышевского нашла отражение в разговоре Волгина с Соколовским.

Стр. 201. *...не арестован ли он?* — Опасение Волгина, в связи с исчезновением Левицкого, делает вероятным предположение, что, по замыслу Чернышевского, Левицкий мог использовать свое пребывание в деревне для революционной работы.

Стр. 209. *...Петра Степаныча.*— Прототипами Петра Степановича были, вероятно, Я. И. Ростовцев (1803—1860) и товарищ министра внутренних дел А. И. Левшин (1799—1879). Я. И. Ростовцев (в молодости донесший Николаю I о готовящемся выступлении декабристов) был в эпоху подготовки крестьянской реформы одним из главных проводников правительственного курса. На посту председателя редакционных комиссий он часто терялся и искал помощи у более умного Милютина. Под влиянием Милютина находился также и Левшин — его непосредственный начальник, в 1859 г. уволенный в отставку и смененный Милютиным.

Стр. 220. *Чаплин.*— Создавая образ Чаплина, Чернышевский воспользовался обликом одного из наиболее видных деятелей крепостнической реакции 60-х гг. графа М. Н. Муравьева (1796—1866). В период крестьянской реформы Муравьев был министром государственных имуществ и членом Главного комитета по крестьянскому делу, где яростно защищал взгляды крепостников. Позднее Муравьев снискал позорную известность своею жестокостью при подавлении польского восстания 1863 г., за которую получил прозвище Муравьева-Вешателя.

Вот описание наружности Муравьева, сделанное современницей, которое свидетельствует о портретном сходстве Чаплина и Муравьева: «Эта фигура осталась в моей памяти в образе среднего роста тучного, жирного, скорее кругообразного шара с большой головой и с отвисшим подбородком чучелы. Он подвигался и именно не шел, а подвигался медленно, опустивши голову на грудь, так что, казалось, в сторону не мог ничего видеть» (Е. П. Елисеева, Воспоминания.

«Шестидесятые годы в воспоминаниях М. Антоновича и Г. Елисеева», М.—Л. 1933, стр. 435).

Стр. 248. *...пошли по Петербургу победителями, завоевателями.*— Показывая, что лишь вмешательство Соколовского привело Савелова и его партию, струсивших при первом же неблагоприятном повороте событий, к «победе» над Чаплиным, Чернышевский подчеркивает, что даже те незначительные успехи, которых либералы добились в борьбе с крепостниками в период подготовки реформы, являются не собственной их заслугой, а результатом давления на них снизу, подталкивания их более энергичными и решительными демократическими элементами.

Стр. 256. *...потому что живут в общинном устройстве.*— Чернышевский придавал огромное значение крестьянской общине. Подходя к общине исторически, Чернышевский, в отличие от Герцена и позднейших народников 70—80-х гг., не считал общину свидетельством самобытности русского общественного строя. Он видел в общинном владении землей историческую ступень, которая у всех народов предшествовала развитию частной поземельной собственности. Поэтому Чернышевский не исключал возможности разложения общины и в России. Но Чернышевский полагал, что при условии перехода всей земли в собственность крестьянства община могла стать исходным моментом на пути к социализму. Характеризуя мировоззрение Чернышевского, Ленин писал: «Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма» (Сочинения, т. 17, стр. 97).

Стр. 258. *«Жалкая нация... ...все сплошь рабы...»* — Ленин писал, что откровенные и прикрытые рабы по отношению к царской монархии не любили вспоминать этих слов Чернышевского. «А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было» (Сочинения, т. 21, стр. 85).

Стр. 259. *Буколические* — мирные, идиллические (от названия жанра буколической, или идиллической поэзии, который возник в древней Греции и получил свое дальнейшее развитие во времена классицизма; буколическая поэзия прославляла блаженную жизнь идеализированных пастухов и пастушек). «Буколическими соображениями» Чернышевский иронически называет мысли о возможности мирного урегулирования взаимоотношений помещиков и крестьян.

*...народ не способен поддерживать вступающихся за него.*— В. И. Ленин писал о времени проведения крестьянской реформы:

«В 1861 году крестьяне способны были только на «бунты». В течение десятилетий после 1861 года русские революционеры, геройски стремясь поднять народ на борьбу, оставались одинокими и гибли под ударами самодержавия» (Сочинения, т. 17, стр. 66).

Стр. 269. *Войско... подавляет мужицкие бунты.*— В разговоре с усатым помещиком Волгин разъясняет различие между неорганизованным, стихийным мужицким бунтом и революцией. Если мужицкий бунт правительству легко подавить, то в борьбе с народной революцией, организованной и руководимой сознательными политическими борцами, самодержавие окажется бессильным. Трагической стороной позиции Волгина — Чернышевского является, однако, как он разъясняет дальше Соколовскому, то, что в 1857 г. он не мог еще рассчитывать на непосредственную близость крестьянской революции. В следующие годы, когда в России сложилась революционная ситуация, Чернышевский считал народную революцию реально возможной. Об этом свидетельствуют прокламация «К барским крестьянам», статья «Не начало ли перемены?» и ряд других произведений Чернышевского начала 60-х гг.

Стр. 275. *«Из дневника Левицкого...».*— Посылая О. С. Чернышевской дошедшую до нас черновую редакцию «Дневника Левицкого», Чернышевский писал: «Начало второй части «Пролога», брошенное мной. Я переделал эту часть романа» (Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 506). Однако переделанная Чернышевским редакция «Дневника Левицкого» до нас не дошла.

По свидетельству П. Ф. Николаева, вторая, исправленная Чернышевским, редакция «Дневника Левицкого» имела продолжение, отсутствующее в первой редакции. Николаев вспоминает следующее о дальнейшей судьбе Мери, образ которой занимает одно из важных мест в «Дневнике»: «Она становится метрессой и тут сходится с Левицким, учится, думает; ей хотелось бы теперь уже другого исхода; она видит искреннее увлечение Левицкого, понимает широту его взглядов, в которой и есть настоящее счастье; но вернуться ей уже поздно; ее сердце пусто, оно отжило, и девушка делается женою своего барина, живет без счастья и жизни, делая много добра, но не признанная никем, тратя в пустоте богатые силы своей богатой натуры» (П. Ф. Николаев, Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге, М. 1906, стр. 44—45).

Стр. 277. *Степка.*— Под именем Степки в «Дневнике Левицкого» выведен директор Главного Педагогического института во время учения там Добролюбова, реакционер И. И. Давыдов (1794—1863). В подлинном дневнике и письмах Добролюбова он называется Ванькой. Добролюбов-студент вел упорную борьбу против режима, установленного в институте Давыдовым. Давыдов, возненавидевший мо-

лодого Добролюбова, старался мстить ему, пытался не раз выгнать его из института, но этого не допустили профессора из-за блестящих способностей Добролюбова и его успехов в науках. При окончании института в 1857 г., по настоянию Давыдова, Добролюбов был лишен золотой медали. Давыдов требовал также, чтобы Добролюбов был выпущен не старшим, а младшим учителем, но против этого восстали И. И. Срезневский и другие профессора.

Под именами Ликаонского, Черкасова и других друзей Левицкого изображены товарищи Добролюбова по институту, члены его студенческого кружка; «Антошка» — помощник Давыдова А. Смирнов (в письмах Добролюбова — «Андрюшка»).

Стр. 279. *Напишу о меценатстве Екатерины II.*— Первой статьей Добролюбова в «Современнике» была статья о журнале «Собеседник любителей российского слова», в котором в 1783—1784 гг. участвовала Екатерина II. В этой статье молодой Добролюбов показал беззубый характер сатирических произведений Екатерины II. Добролюбов указывал также, что Екатерина покровительствовала официальным одописцам и преследовала подлинно свободное и смелое слово. Направленная против либерально-монархических взглядов, статья Добролюбова вызвала недовольство в либеральном лагере. В «Отечественных записках» против Добролюбова выступил либерал Галахов. На эти факты намекает здесь Чернышевский.

*Неужели в Лондоне серьезно принимают их за прогрессистов? Не верится.*— В конце 50-х гг. Герцен и Огарев поддерживали связи с представителями либерального лагеря в России и сами допускали отступления от демократизма к либерализму. Горячее возмущение Добролюбова одним из ошибочных выступлений Герцена отразилось в его дневнике за 1859 г. (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. 6, М. 1939, стр. 487). Позднее, в 60-х гг., Герцен и Огарев стали на позиции последовательного революционного демократизма.

Стр. 280. *...доставить еще раз удовольствие Степке.*— В день окончания Добролюбовым института И. И. Срезневский сообщил ему, что в 4-й петербургской гимназии открылась вакансия учителя, для замещения которой в качестве лучшего кандидата всеми профессорами был указан Добролюбов. Срезневский посоветовал Добролюбову обратиться к Давыдову и получить от него заверение об определении на эту должность. После посещения Добролюбова Давыдов распустил провокационный слух, что Добролюбов являлся к нему, чтобы принести благодарность за прошлые милости и обещать на будущее время «вести себя хорошо», если ему дадут место. Слуху этому поверили некоторые друзья Добролюбова, члены его студенческого кружка, потребовавшие от него объяснений. Добролюбов был этим глубоко оскорблен и тяжело переживал недоверие друзей. Чернышев-

ский положил вышеизложенный эпизод биографии Добролюбова в основу этой и ряда последующих записей «Дневника Левицкого».

Стр. 283. *«О, время!»* (1772) — комедия Екатерины II.

Эпизод, рассказывающий об отношениях Левицкого и Анюты, близок к фактам, известным из дневника и переписки Добролюбова.

Стр. 287. *И тьмой и холодом объята...*— из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Гляжу на будущность с боязнью».

Стр. 288. *От Гракхов до Бабефа одна и та же история...*— Левицкий приводит примеры из истории революционного движения, когда носители передовых революционных идеалов делались жертвой клеветы господствующих классов, а раскол и усталость масс облегчали временную победу реакции.

*Гракхи* Тиберий (163—132 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) — древнеримские политические деятели, боровшиеся за передел государственной земли в пользу мелкого крестьянства.

В статье «Капитал и труд» (1860) Чернышевский отметил историческую роль Гракхов как борцов не за «политические права», а за «экономическую сторону равноправности», за «сохранение общественной земли». Здесь же Чернышевский указывал, что вопрос об «экономической стороне равноправности» получил «полное свое значение» позднее, в эпоху борьбы «простого народа», «трудящихся» против «среднего класса», «капиталистов» (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 31, 43).

*Бабеф* Гракх (1760—1797) — французский утопический коммунист, организатор и вождь движения «равных» в эпоху термидорианской реакции, после французской буржуазной революции конца XVIII в. В статье «Июльская монархия» (1860) Чернышевский указал на связь идей Бабефа с последующим движением «работников».

*Этот жалкий 1848 год...*— Левицкий называет революцию 1848 г. «жалкой», так как она закончилась победой буржуазной реакции, сумевшей расколоть силы народа.

Стр. 301. *Лоделаванд* (франц. l'eau de lavande) — туалетная вода.

Стр. 304. *Фермуар* (франц. fermoir) — ожерелье с застежкой.

*Наши деды и отцы...*— из либретто оперы А. Н. Верстовского «Пан Твердовский» (1828; слова М. Н. Загоскина).

Стр. 317. *Пока настроение общества не изменится, литература обречена оставаться пустою, мелочною, презренною, как теперь.*— В «Заметках о журналах» за май 1857 года (то есть как раз в те месяцы, к которым автором отнесено действие романа) Чернышевский писал: «Стремления человека и потребности человека существуют независимо от литературы. Ни возбудить, ни усыпить, ни усилить, ни ослабить их она не может. Не может она поставить человеку новых целей, к которым бы не стремился он и без нее» (Полн. собр. соч.,

т. IV, стр. 769). Ту же мысль о зависимости литературы и печати от степени развития общества и уровня его самосознания разъясняет Волгин Левицкому: лишь от демократического подъема Волгин ждет оживления литературы, которая вынуждена заниматься «пустяками», пока существует крепостническая цензура и в обществе господствуют либералы, неспособные возвыситься до понимания и открытой постановки подлинных, коренных вопросов народной жизни.

Стр. 318. *По воздуху вихорь свободно шумит...*— неточная цитата из баллады Шиллера «Граф Габсбургский» в переводе В. А. Жуковского (у Жуковского вторая строчка: «Кто знает, откуда, куда он летит?»).

Стр. 319. *Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше.*— Еще юношей Чернышевский понял, что «мирное, тихое развитие невозможно». «Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало»,— записал он в дневнике 20 января 1850 г. (Полн. собр. соч., т. I, стр. 357). Мысль о том, что история немыслима без «борьбы», что движение исторического прогресса совершается главным образом во время «кратких периодов усиленной работы», «скачок за скачком», Чернышевский не раз выражал и в своих статьях 50-х гг. (Полн. собр. соч., т. V, стр. 649; т. VI, стр. 13). В то же время, признавая решающую роль в истории революционных переворотов, Чернышевский разъяснял, что массы вынуждены прибегать к революционному насилию лишь вследствие сопротивления господствующих классов законным историческим требованиям народа. «Есть в истории такие положения,— писал он,— из которых нет хорошего выхода,— не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что *воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его»* (Полн. собр. соч., т. V, стр. 277. Курсив мой.— *Г. Ф.).* Эту же мысль Чернышевский разъясняет в романе устами Волгина: рассуждая теоретически, «мирный», «спокойный» ход «улучшений» был бы выгоднее для народа, но история делает его маловероятным, так как в борьбе за свои интересы народ неизбежно наталкивается на сопротивление своих угнетателей, которое может сломить только новая революционная «буря».

Стр. 320. *По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество.*— Задача этих строк — показать, что даже такому зрелому и высокоодаренному представителю молодого поколения, как Левицкий, было нелегко понять сущность революционной позиции Волгина — Чернышевского, к пониманию которой Левицкий приходит лишь в результате размышлений и внутренней борьбы. Действительный смысл позиции Волгина заключается в ожидании массовой, народной революции: именно потому, что революция, по мнению Волгина, может победить, только если в ней примут участие сами народные массы,

революционеры должны ждать условий, когда народ, сознание которого еще опутано многочисленными предрассудками и иллюзиями, придет в движение и сможет выступить в качестве активной и организованной революционной силы. Не поняв сразу этого подлинного смысла слов Волгина и истолковав их ошибочно («Он слишком холодно советует терпеть»), Левицкий затем уясняет себе свою ошибку и соглашается с доводами Волгина, что отражается в его последующих словах: «Больно, это правда».

Стр. 324. *Котошихин* Григорий Карпович (1630—1667) — подьячий Посольского приказа, изменивший родине и бежавший в Швецию, автор книги «О России в царствование Алексея Михайловича», в которой он критиковал государственный строй и нравы Московской Руси XVII века.

Стр. 325. *Штраус* Иоганн (1825—1899) — австрийский композитор и дирижер. В 1850-х гг. приезжал в Россию: дирижировал летними концертами в Павловском вокзале.

Стр. 330. *...идиллии Жоржа Занда.*— Чернышевский имеет в виду деревенские повести французской писательницы Жорж Занд («Чертова лужа», 1846, «Маленькая Фадетта», 1848 и др.). Демократические тенденции в этих повестях сочетаются с романтической идеализацией сельской жизни. Поэтому Левицкий в романе и называет их «идиллиями».

Стр. 333. *Отаитская наивность* — наивность, которая могла бы быть естественна только в среде простодушных, близких к природе людей, еще не тронутых влиянием цивилизации (Отаити — старинное название острова Таити).

Стр. 362. *Спенсер* (англ. spencer) — род женского костюма.

Стр. 374. *...из Маколея надобно мне стать Тацитом.*— Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, буржуазный либерал. *Тацит* Публий Корнелий (55—120 н. э.) — древнеримский историк.

Сравнительная характеристика стиля Маколея и Тацита, даваемая в романе Левицким, совпадает с оценкой, данной Чернышевским в предисловии к русскому переводу «Истории XVIII столетия» Шлоссера (1858) (см. Полн. собр. соч., т. V, стр. 175—177).

# СОДЕРЖАНИЕ

*Чернышевский*
*Николай Гаврилович*

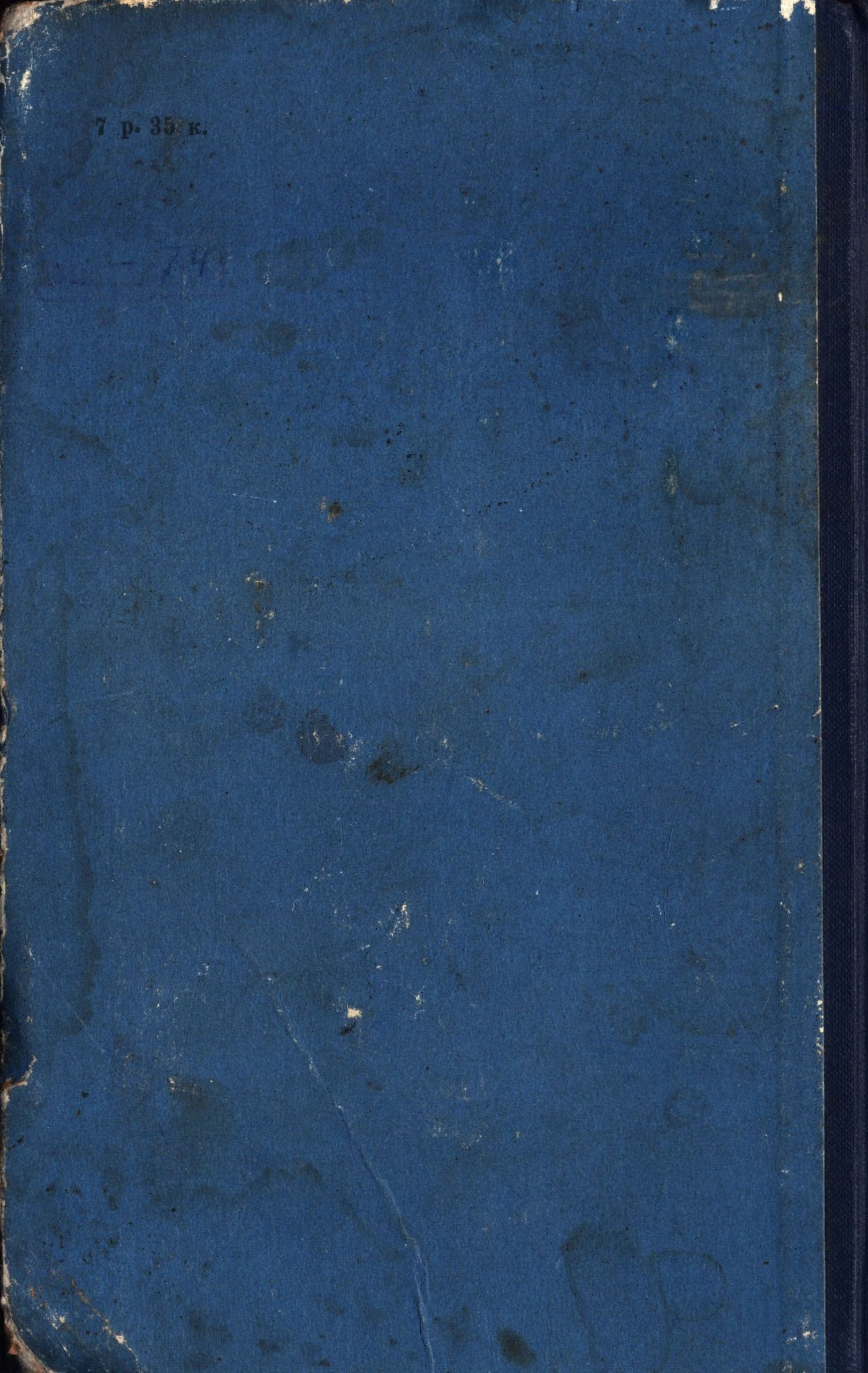
Пролог

*Редактор К. Тюнькин*
*Художеств. редактор И. Жихарев*
*Технический редактор В. Гриненко*
*Корректор Л. Петрова*

*Сдано в набор 8/I 1957 г.*
*Подписано к печати 25/III 1957 г.*
*Бумага 84 × 108 $^{1}/_{32}$ — 14,75 печ. л. =*
*24,2 усл. печ. л. 25,41 уч.-изд. л.*
*Тираж 150 000 экз. Заказ № 46-*
*Цена 7 р. 35 к.*

*Гослитиздат*
*Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.*

*Министерство культуры СССР*
*Главное управление полиграфической*
*промышленности. Первая Образцовая*
*типография имени А. А. Жданова*
*Москва, Ж-54, Валовая, 28.*


7 р. 35 к.


Н. Г.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ПРОЛОГ